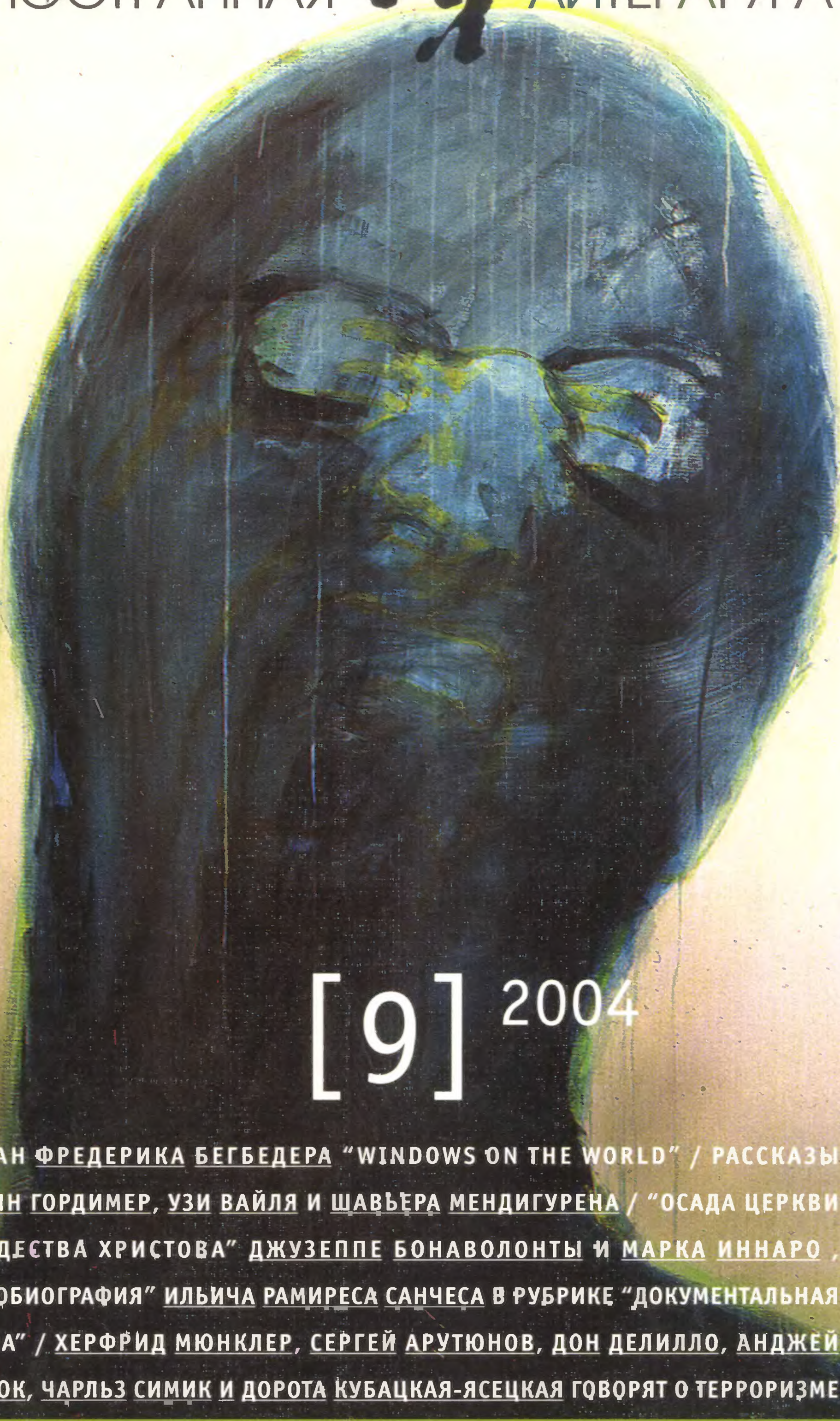
Б57483
И65

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[9] 2004

РОМАН ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА "WINDOWS ON THE WORLD" / РАССКАЗЫ НАДИН ГОРДИМЕР, УЗИ ВАЙЛЯ И ШАВЬЕРА МЕНДИГУРЕНА / "ОСАДА ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА" ДЖУЗЕППЕ БОНАВОЛОНТЫ И МАРКА ИННАРО, "АВТОБИОГРАФИЯ" ИЛЬИЧА РАМИРЕСА САНЧЕСА В РУБРИКЕ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА" / ХЕРФРИД МЮНКЛЕР, СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ, ДОН ДЕЛИЛЛО, АНДЖЕЙ СТАСЮК, ЧАРЛЬЗ СИМИК И ДОРОТА КУБАЦКАЯ-ЯСЕЦКАЯ ГОВОРЯТ О ТЕРРОРИЗМЕ

Основан в 1891 году

“ИЛ” в 2005 году

“Любовь” американской писательницы, лауреата Нобелевской премии ТОНИ МОРРИСОН – это роман-исследование любви нескольких женщин к одному человеку: отцу, мужу, любовнику, опекуну и другу, не отпускающему ни одну из них даже после смерти.

“Как я стал идиотом” – роман двадцатитрехлетнего французского писателя МАРТЕНА ПАЖА о молодом человеке, мечтавшем быть “как все”.

“Касторп” – новый роман ПАВЛА ХЮЛЛЕ – своеобразная фантазия на тему “Волшебной горы” Томаса Манна: Ханс Касторп (как мельком упомянул Манн) несколько месяцев проучился в Гданьске, и события этих месяцев интересно домыслены польским прозаиком.

“Вилла ‘Инкогнито’” – эксцентричный и остроумный роман американца ТОМА РОББИНСА, в котором переплетаются судьбы весьма своеобразных персонажей: троих оставшихся в Лаосе участников вьетнамской войны, экзотической аборигенки и загадочного зверька Тануки родом из японского фольклора.

“Пёс Одиссея” – первый роман молодого французского писателя САЛИМА БАШИ о любви, кровавых преступлениях и интригах секретных служб в современном Алжире (Гонкуровская премия “За первый роман” 2001 года).

“Утц” – роман читаемого и почитаемого в Англии (и практически не известного в России) писателя БРЮСА ЧАТВИНА о големах, об удивительном пражском коллекционере фарфора Утце и о коллекционерстве в условиях тоталитарного режима.

“Шкура” – одно из самых ярких произведений о Второй мировой войне; в центре повествования – события, связанные с высадкой в 1943 году союзных войск в Неаполе, свидетелем и участником которых был автор, один из классиков итальянской литературы КУРЦИО МАЛАПАРТЕ.

“Два убийства в моей двойной жизни” – первый написанный по-английски, смешной и печальный детективный роман живущего в Канаде чешского писателя ЙОЗЕФА ШКВОРЕЦКОГО.

“Страсти по Эвите” – документальный роман аргентинца АБЕЛЯ ПОССЕ, воссоздающий одну из самых поразительных биографий XX века – историю жизни легендарной Эвы Перон.

“Написанные жизни” – серия портретов великих писателей XX века, блестяще выполненных известным испанским прозаиком ХАВЬЕРОМ МАРИАСОМ.

“Сталинские сети” – французский историк НИКОЛА ЖАЛЛО восстанавливает трагические судьбы “русских французов”, которые после Второй мировой войны решили вернуться на родину.

“Мировая история уничтожения книг” – основанное на богатейшем материале исследование испанского писателя и культуролога ФЕРНАНДО БАЕСА.

“Грин на Капри” – воспоминания писательницы ШЕРЛИ ХАЗЗАРД, лауреата Национальной книжной премии США за 2003 год, о ее многолетней дружбе с Грэмом Грином.

“Дикие лебеди, или Три дочери Китая” – отмеченный литературными премиями документальный роман писательницы-эмигрантки ЧЖАН ЖУН о трех поколениях женщин ее семьи, живших в “старом Китае”, при Гоминьдане и Председателе Мао.

Эссеистика С. Сонтаг, П. Брюкнера, А. Байетт, И. Шульце, М. Этвуд и др.

Литературные портреты Роберта Вальзера, Данилы Киша, Антонио Муньоса Молины, Беатрикс Поттер, Мервина Пика и др.

Выпуски постоянных и новых рубрик журнала: “ИЛ: истоки и история”, “Документальная проза”, “Вглубь стихотворения”, “Из классики XX века”, “Литературное наследие”, “Путешествие по книге”, “Трибуна переводчика”, “Портрет в зеркалах”, “Наши гости”, “Среди книг”, “Зрительный зал”, “Курьер ‘ИЛ’”, “БиблиофИЛ”, “Из будущей книги”, “Carte blanche” и др.

[9]

2004

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Этот номер редакция посвящает памяти жертв терроризма

3 Фредерик Бегбедер. *"Windows on the World".* Роман. Перевод с французского Ирины Стаф

130 Надин Гордимер. *Кто для радости рожден...* Рассказ. Перевод с английского Инны Стам

143 Узи Вайль. *Это не Хамас, это Смерть, мать твою...* Рассказ. Перевод с иврита Александра Крюкова

149 Шавьер Мендигурен. *Фетиш.* Рассказ. Перевод с испанского Надежды Мечтаевой

Документальная проза

159 Джузеппе Бонаволонта, Марк Иннаро. *Осада церкви Рождества Христова.* Фрагменты книги. Перевод с итальянского Е. Дмитриевой

202 Ильич Рамирес Санчес. *Кто я?* Перевод с французского Е. Клоковой. Послесловие Леонида Радзиховского

Статьи, эссе

218 Херфрид Мюнклер. *Терроризм сегодня.* Перевод с немецкого

226 Сергей Арутюнов. *Терроризм и цивилизация: змея кусает себя за хвост*

234 Дон Делилло. *На руинах будущего.* Перевод с английского Елены Зиминой

242 Анджей Стасюк. *Сегодня умирают иначе.* Перевод с польского Ирины Адельгейм

248 Чарльз Симик. *Летопись страха.* Перевод с английского Антона Нестерова

256 Дорота Кубацкая-Ясецкая. *Психологический портрет террориста.* Перевод с польского Л. Гвозд

Письма из-за рубежа

262 Марина Фрёмке. *Берлин: пепел Кольхааса стучит в сердце*

БиблиофИЛ

266 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Авторы номера

268

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

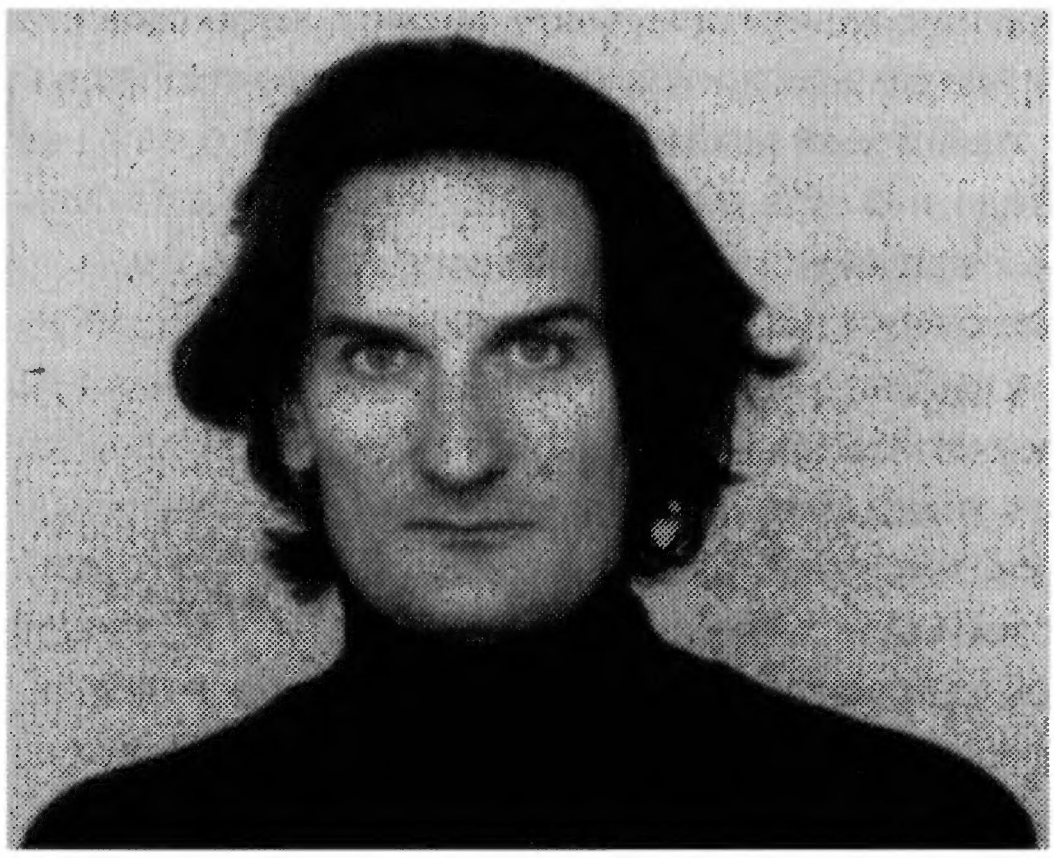
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Фредерик Бегбедер



"Windows on the World"[1]

Роман

Перевод с французского Ирины Стаф

Прости Хлоя
Что привел тебя
В пустыню этой земли.

Каждому из 2801

KILL THE ROCKFELLERS![2]
Курт Кобейн. *Дневник*, 2002

© Éditions Grasset & Fasquelle, 2003
© И. Стаф. Перевод, 2004

1. "Окна в мир" (*англ.*).
2. Убить Рокфеллеров! (*англ.*) *(Здесь и далее – прим. перев.)*

И ты, Символ, что паришь надо всем!
К тебе обращаю я слово, о хрупкий и дивный,
(и в слове моем, быть может, твое спасенье).
Вспомни: не всегда так покойно и прочно царил ты,
любимый мой флаг,
Ибо недавно еще я видел тебя
и выглядел ты по-другому,
И не так изящно распускал ты по ветру
свой непорочный шелк,
Ибо жалко свисали лохмотья твои
с поникшего древка,
И в отчаянье прижимал их к груди
юный знаменосец.
За тебя сражались не на жизнь, а на смерть,
и не было конца сраженью,
Грохоту пушек, лавине брани, крика и стонов,
сухим щелчкам ружейных затворов,
Массам людей, толпой идущих на приступ,
подобных ярящимся демонам,
жизни свои не щадящим.
Да, за останки твои, заляпанные грязью,
пропитанные дымом и кровью,
Ради одной только цели, ради тебя,
мой прекрасный, чтоб однажды
снова ты взмыл в поднебесье, красуясь,
Пал не один человек — вот что я видел.

Уолт Уитмен. *Листья травы.* 7 сентября 1871 г.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ:

Я думаю, что если романист не пишет реалистических романов, то он не понимает эпохи, в которую мы живем.

Том Вулф

Задача художника — погрузиться в самое сердце ада.

Мерилин Мэнсон

8 час. 30 мин.

КОНЕЦ вы знаете: все умирают. Конечно, умирают многие, такое случается каждый день. Но эта история необычна тем, что все умруг в одно время и в одном месте. Может, смерть сближает людей? Не сказал бы: они не разговаривают. Они сидят, хмурые, невыспавшиеся, и жуют свой завтрак в шикарном ресторане. Иногда кто-нибудь фотографирует вид из окна — самый красивый на свете. Позади прямоугольных зданий плоский круг моря; корабли чертят на нем геометрические фигуры. Так высоко не залетают даже чайки. Клиенты "Windows on the World" по большей части незнакомы между собой. Если глаза их случайно встретятся, они откашливаются и тотчас ныряют в газету. Начало сентября, раннее утро, и все не в духе: каникулы кончились, держись теперь до самого Дня благодарения. Погода чудесная, но никому до нее нет дела.

Пройдет какой-то миг, и в "Windows on the World" закричит толстая пуэрториканка. У чиновника в костюме и при галстуке отвиснет челюсть: "О боже. Oh my God". Двое коллег-служащих ошарашенно умолкнут. У какого-то рыжего вырвется: "Holy shit!"[1]. Официантка будет лить и лить чай в переполненную чашку. Бывают секунды, которые дольше других. Словно нажали на "паузу" в DVD-плейере. Пройдет миг, и время станет растяжимым. Все эти люди наконец познакомятся. Пройдет миг, и все они превратятся во всадников Апокалипсиса, соединятся в Конце Света.

8 час. 31 мин.

В то утро я стоял на вершине здания Всемирного торгового центра и был центром мироздания.

Полдевятого утра. Я знаю, рановато для того, чтобы тащить мальчишек на вершину небоскреба. Но мои сыновья очень хотели позавтракать здесь, а я ни в чем не умею им отказать: я бросил их мать и чувствую себя виноватым перед ними. В раннем вставании есть свои преимущества — не надо стоять в очереди. После теракта 1993 года на первом этаже ввели тройной контроль: чтобы попасть на службу, нужны специальные бейджики, охранники усердно копаются в ваших сумках. У Джерри даже зазвенели ворота металлоискателя — из-за пряжки с Гарри Поттером на ремне. В атриуме в стиле хай-тек тихонько журчат фонтаны. Завтрак по предварительной записи; при входе я назвал себя у стола "Windows on the World": "Good morning, my name is Carthew Yorston"[2]. Атмосфера чувствуется сразу: красный ковер, плетеный бархатный шнур, отдельный лифт. В этом зале ожидания (30 метров высотой) пюпитр ресторана играет роль стойки первого класса. Отличная идея — успеть до часа пик. Короче очередь к телескопам (опусти 25 центов, и можно разглядывать секретарш, входящих в соседние здания, с мобильником у уха, затянутых в светло-серый брючный костюм, с легкой химией, в кроссовках и с туфлями на высоких каблуках в поддельных сумках Prada). Я в первый раз поднимаюсь на вершину Всемирного торгового центра; сыновья пришли в восторг от скоростных лифтов, взлетающих на 78-й этаж за

1. Твою мать! (*англ.*)
2. Доброе утро, меня зовут Картью Йорстон (*англ.*).

43 секунды. Скорость такая, что сердце просто выскакивает из грудной клетки. Они не желали уходить из скай-лобби. После четвертого заезда мне пришлось рассердиться:

— Ну хватит, довольно! Это лифты для тех, кто здесь работает, тут нет надписи "Космические горки"!

Служительница со значком ресторана на воротнике проводила нас к другому лифту, обычному, и мы поднялись на 107-й уровень. На сегодня у нас намечена обширная программа: завтрак в "Windows on the World", затем прогулка в Бэттери-парк и поездка на пароме (бесплатно!) на Стейтен-Айленд, чтобы посмотреть статую Свободы, потом поход на 17-й пирс, немного шопинга в Старом порту, пара фотографий на фоне Бруклинского моста, заход на рыбный рынок ради славного запаха и, наконец, гамбургер с кровью в "Бридж-кафе". Мальчишки обожают толстые, сочные рубленые стейки, политые кетчупом. И большие стаканы колы с колотым льдом, только чтобы не диетическая. Дети только и думают, как бы натрескаться, а родители — как бы натрахаться. С этим у меня все в порядке, спасибо: вскоре после развода я встретил Кэндейси, она работает в рекламном агентстве Elite New York. Вы бы видели ее композитку... Рядом с ней Кайли Миноуг просто старуха. Каждый вечер она приходит в "Алгонкуин" и имеет меня сверху, хрипло дыша (хотя ей больше нравится "Роялтон" Филиппа Старка, на той же улице) (потому что она не знает Дороти Паркер[1]) (надо бы дать ей почитать "Жизнь вдвоем"[2], чтобы отбить мысли о семейной жизни).

Через два часа я умру — но, быть может, я уже мертв.

8 час. 32 мин.

Мы мало что знаем о ресторане "Windows on the World" в то утро. "Нью-Йорк таймс" пишет, что в 8.46, когда самолет рейса № 11 "Американ эрлайнз" врезался между 94-м и 98-м этажами, в ресторане под крышей находился 171 человек, из них 72 — обслуживающий персонал. Мы знаем, что одна фирма (Risk Water Group) организовала рабочий завтрак в отдельном салоне на 106-м этаже, но на 107-м, как всегда по утрам, завтракали самые разные клиенты. Мы знаем, что Северная башня (более высокая, с антенной на крыше, делавшей ее похожей на шприц) подверглась атаке первой и рухнула последней, ровно в 10.28. Так что у нас в запасе точно час сорок пять минут. Ад длится час сорок пять минут. Эта книга тоже.

Я пишу это в "Небе Парижа". Так называется ресторан на 56-м этаже башни "Монпарнас". Париж, 75015, авеню дю Мэн, 33. Тел.: 01 40 64 77 64. Факс: 01 43 22 58 43. Метро: "Монпарнас—Бьенвеню". Завтрак здесь подают с 8.30 утра. Вот уже несколько месяцев я каждый день пью здесь кофе. Отсюда можно на равных взирать на Эйфелеву башню. Панорама изумительная, ведь это единственное место в Париже, откуда не видно

1. Дороти Паркер (1893—1967) — американская писательница, поэтесса, журналистка; входила в литературный кружок, собиравшийся в отеле "Алгонкуин" ("Алгонкуинский круглый стол").
2. "Жизнь вдвоем" — название переведенного на французский язык сборника рассказов Д. Паркер.

башни "Монпарнас". Вокруг деловые люди орут в свои мобильники так, что все соседи наслаждаются их идиотскими разговорами:

– Слушай, я ручаюсь, это было забито на последнем собрании.

– Нет-нет, еще раз говорю, Жан-Филипп специально оговорил, это не подлежит обсуждению.

– Ну, это их понты!

– Да, ну так послушайте, надо уметь выйти из игры.

– Знаете, говорят, Рокфеллер разбогател, потому что всегда покупал слишком поздно, а продавал слишком рано.

– ОК, как договорились, моя секретарша пошлет тебе мейл, и мы все утрясем.

– Ни то ни другое: мы обязаны закончить неделю в плюсе.

– Вот что я тебе скажу: если рынок поддержат инвесторы, он быстро отыграет потери.

– Я привязался к индексу CAC, а рынок падал, в общем, я пролетел.

Еще они все через слово повторяют "абсолютно". Пока я записываю разговоры подмастерьев Хозяев мира, официантка приносит круассаны, кофе со сливками, баночки с вареньем "Милая мамочка" и два яйца всмятку. Уже не помню, как одевались официантки в "Windows on the World": в первый и последний раз я попал туда ночью. Наверно, они нанимали негритянок, студенток, безработных актрис или славных девушек из Нью-Джерси, в тесных передниках на больших, вскормленных на кукурузе грудях. Учтите: "Windows on the World" – это вам не "Макдоналдс", это шикарный ресторан, естественно, с большой наценкой (завтрак 35$, не считая обслуживания). Тел.: 212-9381111 или 212-524 7 000. Столик рекомендуется заказывать за много дней, без пиджака не пускают. Я попытался позвонить: теперь по этому номеру автоответчик – служба информации о спектаклях. Думаю, официантки были довольно хорошенькие, в тщательно продуманной форме. В бежевом костюме с буквами WW? Или вроде горничных в старинном духе, в маленьком черном платье, которое так и хочется одернуть? В брючном костюме? В смокинге от Гуччи, дизайн Тома Форда? Теперь уже не проверишь. Писать этот гиперреалистический роман трудно из-за самой реальности. После 11 сентября 2001 года реальность не только превосходит вымысел, но и убивает его. Писать на эту тему нельзя, но и на другие невозможно. Нас больше ничто не трогает.

Я провожаю взглядом каждый пролетающий за окном самолет. Чтобы передать случившееся по ту сторону Атлантики, я должен почувствовать, как самолет таранит черную башню у меня под ногами. Здание покачнется; странное, должно быть, ощущение: твердыня небоскреба – и шатается, словно пьяный корабль. Тонны стекла и стали вмиг превращаются в соломенный сноп. Камень мягкий. Это один из уроков Всемирного торгового центра: наша недвижимость подвижна. То, что мы полагали незыблемым, зыбко. То, что мы воображали твердым, текуче. Башни не стоят на месте, а небоскребы скребут главным образом землю. Как можно столь быстро разрушить такую громадину? Моя книга об этом: о том, как рухнул карточный домик, домик из кредитных карточек. Если бы у меня под ногами в здание врезался "боинг", я бы наконец понял то, что уже год не дает мне покоя: черный дым, встающий над полом, жар, плавящий стены, лопающиеся стекла, удушье, панику, самоубийства, бегство к охваченным пламенем лестницам, слезы и крики, отчаянные телефонные звонки. И все-таки я облегченно вздыхаю, провожая взглядом

каждый самолет, исчезающий в белом небе. Но это было. Это произошло, и это нельзя рассказать.

"Окна в мир". Первое мое впечатление: название довольно-таки безвкусное. Отдает мегаломанией, особенно для ресторана в небоскребе, где обитают посреднические конторы, банки и биржи. В такой вывеске вполне можно усмотреть еще одно свидетельство американской наглости: "Наше заведение венчает собой цитадель мирового капитализма и сердечно мозолит вам глаза". На самом деле тут игра слов, обыгрывается Всемирный торговый центр. Окна в мир. Вечно я со своей французской язвительностью вижу самодовольство там, где есть всего лишь ироничная ясность. Как бы я сам назвал ресторан на последнем этаже Всемирного торгового центра? "Roof of the World"? "Top of the World"?[1] Так еще гаже. Совершенно несъедобно. А отчего бы не "King of the World"[2], как Леонардо ди Каприо в 'Титанике'", раз уж на то пошло? ("Всемирный торговый центр – наш "Титаник"", – заявил на следующий день после атаки мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.) Конечно, задним числом мое журналистское нутро твердит одно: для этого места отлично бы подошло другое имя, величественная марка, скромная и поэтичная. END OF THE WORLD[3]. По-английски "end" значит не только "конец", но и оконечность. Поскольку ресторан под самой крышей, "End of the World" значило бы "На вершине башни". Но американцы не любят юмор такого сорта; они очень суеверны. Поэтому в их билдингах не бывает тринадцатого этажа. В конце концов, "Windows on the World" – очень подходящее название. И к тому же удачное в коммерческом плане, а иначе с чего бы Билл Гейтс несколько лет спустя тоже решил окрестить словом "Windows" свою знаменитую систему? "Окна в мир" – это прикольно, как выражается молодежь. Конечно, это не самая высокая точка в мире: Всемирный торговый центр возносится всего на 420 метров, тогда как башни "Петронас" в Куала-Лумпуре достигают 452-х, а "Сирс" в Чикаго – 442-х. Китайцы сейчас строят в Шанхае самую высокую башню в мире: Шанхайский Всемирный финансовый центр (460 метров). Надеюсь, это название не навлечет на них беду. Мне очень нравятся китайцы: это единственный народ, способный быть одновременно и очень капиталистическим, и очень коммунистическим.

8 час. 33 мин.

Такси отсюда кажутся желтыми муравьями, затерявшимися в расчерченном на квадраты лабиринте. Башни-близнецы, возведенные под руководством семейства Рокфеллеров и портовых властей Нью-Йорка, придумал архитектор Минору Ямасаки (1912–1982), совладелец фирмы "Эмери Рот и сыновья". Две 110-этажные башни, со стальным каркасом и бетонным ядром жесткости. Каждая площадью 406 000 м². В каждой 21 800 окон и 104 лифта. 2700 м² офисов на каждом этаже. Я все это знаю, потому что немного этим занимаюсь. Металлические связи представляют собой опрокинутую цепочку с треугольной секцией: база

1. "Крыша мира", "Вершина мира" (*англ.*).
2. "Король мира" (*англ.*).
3. КОНЕЦ СВЕТА (*англ.*).

16, 5 м; вершина 5,2 м; усиление каркаса 192 м, двойные перегородки толщиной от 91 до 19,7 см, вес 290 000 тонн (из них 12 127 т бетона). Стоимость: 400 миллионов долларов. Премия за технологические инновации Национального музея строительства. Жаль только, что я не архитектор, а всего лишь агент по торговле недвижимостью. 250 000 банок краски в год на косметический ремонт. 49 000 тонн оборудования для кондиционеров. Каждый год ВТЦ посещает более двух миллионов туристов. Строительство комплекса началось в 1966 году и продолжалось больше десяти лет. Злые языки сразу окрестили его "кубиками Лего" или "Дэвид и Нельсон"[1]. А я отношусь к башням-близнецам вполне хорошо; мне нравится, когда в них отражаются облака. Но сегодня небо безоблачное. Сыновья напихиваются оладьями с кленовым сиропом и отнимают друг у друга масло. Мне бы хотелось иметь девочку, посмотреть, что такое спокойный ребенок, который не находится в состоянии перманентной борьбы со всем остальным миром. Из кондиционеров тянет ледяным воздухом. Никогда к этому не привыкну. В столице мира, в ресторане "Windows on the World", VIP-клиенты могут созерцать вершину западной цивилизации, но мерзнут, как последние цуцики. Вентиляция создает непрерывный шумовой фон, этакую плотную звуковую завесу, гудящую, словно приглушенный двигатель самолета; по-моему, это отсутствие тишины утомительно. У нас в Техасе любят дохнуть от жары. Мы привыкли. Моя семья — потомки второго президента Соединенных Штатов, Джона Адамса. У Йорстонов есть прародитель по имени Уильям Харбен, правнук составителя Декларации независимости. Поэтому я член ассоциации "Сыновья Американской революции" (Sons of the American Revolution, сокращенно SAR, как "Его Королевское Величество", Son Altesse Royale). Учтите: у нас в Америке тоже есть своя аристократия. И я к ней принадлежу. Мое семейство нищее, но я аристократ. Многие американцы хвастают родством с кем-нибудь из "подписантов" Декларации независимости. Вещь совершенно бесполезная, но придает уверенности. Нет, господин Фолкнер, на Юге Соединенных Штатов живут не только буйные и умственно отсталые алкоголики. Приезжая в Нью-Йорк, я нарочно говорю с техасским акцентом. "Yeap!" вместо "Ya". Я такой же сноб, как и истинные европейские вырожденцы. Мы их тут зовем "евротрэш", "евромусор", всех этих галантных юношей из ночного клуба "О бар", франтоватых декадентов, что царят в картотеке Марка де Гонто-Бирона и фотографиях в "Пейпер мэгэзин". Мы плевать на них хотели, но и у нас есть свои, свой... Американский мусор? Я — типичный "краснорожий"[2], член Американской мусорной корзины. Но моя фамилия не так известна, как Гетти, Гуггенхайм или Карнеги, потому что мои предки все растратили, вместо того чтобы оплачивать музеи во славу своего имени.

Прилепившись носами к стеклу, дети играют в страшилки.

— Ему даже слабо посмотреть вниз, когда руки за спиной!

— Oh my Gosh! Freaky![3]

— Мокрая курица! Ты просто трус!

1. Дэвид и Нельсон — имена братьев Рокфеллеров, которым принадлежала идея строительства башен-близнецов.
2. Краснорожий — от *амер.* red neck (красная шея) — мужлан, деревенщина.
3. О Господи! Жуть берет! (*англ.*)

Я рассказываю им, что в 1974 году французский канатоходец по имени Филипп Пети без разрешения протянул трос между двумя башнями, как раз на этой самой высоте, и прошел по нему, невзирая на ветер, холод, головокружение. Ребята спрашивают: "А француз – это чего?" Я объясняю, что Франция – маленькая европейская страна, которая помогла Америке избавиться от ига англичан в 1776–1783 годах, и что в благодарность наши солдаты в 1944-м освободили ее от нацистов. (Я немного упрощаю, из педагогических соображений.)

– Видите там статую Свободы? Это подарок Америке от Франции. Кичевая немножко, а так ничего, главное – намерение.

Мальчишкам плевать на Францию, хоть они и любят French fries и french toasts[1]. Со своей стороны, я предпочитаю French kiss и French rubbers[2]. А "Французский связной", "French Connection", с его погоней на машинах под воздушным метро!

За "Окнами в мир" лежит город, как гигантская шахматная доска: прямые углы, перпендикуляры кубиков, смежные квадраты, лимитрофные прямоугольники, параллельные линии, сетки штрихов – целая искусственная серо-бело-черная геометрия, касательные проспектов похожи на воздушные коридоры, поперечные улочки похожи на следы маркера, туннели похожи на кротовьи норы из красного кирпича; мокрый асфальт, тянущийся за поливальными машинами, кажется отсюда слизью, оставленной на фанере алюминиевыми улитками.

8 час. 34 мин.

Я часто прихожу сюда, к мраморной доске на доме 56 по улице Жакоб. Всем американским туристам следовало бы совершать паломничество к дому 56 по улице Жакоб, чем фотографироваться перед туннелем под мостом Альма в память о Доди и Диане. Именно здесь Джон Адамс и Бенджамин Франклин подписали 3 февраля 1783 года Парижский мир, положивший конец Войне за независимость. Рядом живет моя мать; чуть дальше, за деревом, прячется издательство "Сёй". Пешеходы переходят улицу перед этим старинным зданием, не подозревая, что именно здесь, в двух шагах от кафе "Флора", родились Соединенные Штаты. Может, они предпочитают об этом забыть?

8 час. 34 мин. "Небо Парижа". Skyscrapers[3] – роскошная вещь, потому что позволяет человеку возвыситься над самим собой. Любой небоскреб – это утопия. В человеке с древности живет неизбывный фантазм – самому воздвигнуть горы. Возводя башни до облаков, человек доказывает самому себе, что он более велик, чем природа. И это чувство в самом деле приходит на вершине бетонно-алюминиево-стеклянно-стальных ракет: горизонт принадлежит мне, я говорю "до свидания" пробкам, канализационным люкам, тротуарам, я человек, парящий над землей. Чувствуешь не упоение своим могуществом, а скорее гордость. Гордость без всякой гордыни. Просто радость от сознания того, что способен взобраться выше любого дерева:

1. Французский картофель-фри, французские тосты (*англ.*).
2. Французский поцелуй, французские презервативы (*англ.*).
3. Небоскребы (*англ.*).

Я поднимался вместе с вами, туманы, плыл к далеким континентам и
опускался там вместе с вами,
Я дул вместе с вами, ветры,
Я припадал к каждому берегу вместе с вами, воды,
Я протекал вместе с вами, потоки и реки земли,
Я замедлял свой полет на полуостровах и высоких скалах,
чтоб крикнуть оттуда:
"Salut au monde!"
Во все города, куда проникает свет и тепло, проникаю и я,
Ко всем островам, куда птицы стремят свой полет,
стремлю свой полет и я.
Всем, всем от имени Америки
Я протягиваю высоко поднятую руку, подаю знак,
Чтобы он был виден вечно повсюду,
Из всех городов и селений, из всех жилищ человека[1].

Название этой поэмы Уитмена – "Привет миру", "Salut au monde!" (в оригинале по-французски). В XIX веке американские поэты говорили по-французски. Я пишу эту книгу, потому что мне осточертел кондовый французский антиамериканизм. Мой любимый французский мыслитель – Патрик Жюве: "I love America"[2]. Поскольку Франция объявила войну Америке, надо глядеть в оба и выбрать, на чьей ты стороне, если не хочешь потом остаться с носом.

Все мои любимые писатели – американцы: так, значит, Уолт Уитмен, но еще и Эдгар Алан По, Герман Мелвилл, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй, Джон Фанте, Джек Керуак, Генри Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Трумэн Капоте, Чарльз Буковски, Лестер Бэнгз, Филип К. Дик, Уильям Т. Воллман, Хантер С. Томпсон, Брет Истон Эллис, Чак Паланик, Филип Рот, Хьюберт Селби-младший, Джером Чарин (он живет на Монпарнасе).

Все мои любимые музыканты – американцы: Фрэнк Синатра, Чак Берри, Боб Дилан, Леонард Бернстайн, Берт Бакарак Джеймс Браун, Чет Бэйкер, Брайан Уилсон, Джонни Кэш, Стиви Уандер, Пол Саймон, Лу Рид, Рэнди Ньюмен, Майкл Стайп, Билли Коргэн, Курт Кобейн.

Все мои любимые режиссеры – американцы: Говард Хоукс, Орсон Уэллс, Роберт Альтман, Блейк Эдвардс, Стенли Кубрик, Джон Кассаветес, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен, Дэвид Линч, Расс Мейер, Сэм Рейми, Пол Томас Андерсон, Ларри Кларк, Дэвид Финчер, М. Найт Шьямалан.

Американская культура задавила всю планету не по экономическим причинам, а из-за своего особого таланта. Легче всего объяснить ее засилье политическими манипуляциями, как всякие демагоги, сравнивающие Диснея с Гитлером, а Спилберга с Сатаной. Американское искусство постоянно обновляется, потому что у него глубокие корни в реальной жизни. Американские художники всегда стремятся к новизне, но такой, которая открывает нам нас самих. Они умеют примирить новаторство с доходчивостью, а творческое своеобразие – с желанием нравиться. Мольер тоже искал выгоды, а Моцарт – успеха у публики: здесь нет ничего позорного. Американские художники высиживают меньше теорий, чем

1. Перевод М. Зенкевича и Н. Банникова.
2. "Я люблю Америку" (*англ.*) – песня французского шансонье Патрика Жюве.

их европейские собратья, потому что им некогда, они слишком заняты практикой. Они покоряют мир, дерутся с ним и, описывая, меняют его. Американские писатели считают себя натуралистами, но они все марксисты! Они очень критично подходят к собственной нации. Ни одна демократия в мире не подвергается таким нападкам со стороны собственной литературы. Нет ничего более бунтарского, чем независимое и андерграундное американское кино. Артисты Соединенных Штатов вовлекают в свои грезы весь остальной мир, потому что они мужественнее, работоспособнее и не боятся издеваться над собственной страной. Многие считают, что европейские художники страдают комплексом превосходства над американскими собратьями, но это неправда: они страдают комплексом неполноценности. В антиамериканизме есть изрядная доля ревности и обманутой любви. По сути, весь остальной мир восхищается произведениями американцев и упрекает Соединенные Штаты, что они не платят ему той же монетой. Наглядный пример? А какой прием оказал Джеймсу Липтону (продюсеру передачи "Actor's Studio") Бернар Пиво в последнем выпуске "Культурного бульона"? Ведущий лучшей литературной передачи за всю историю французского телевидения, казалось, совершенно оробел перед Липтоном, льстивым самодовольным журналистом, организовавшим на крохотном кабельном канале агиографические лекции в присутствии голливудских актеров. Пиво, создатель "Апострофов", человек, взявший интервью у всех величайших писателей своего времени, не помнил себя от счастья, что низкий жеманный льстец упомянул его имя по другую сторону Атлантики!

Нас давит не американский империализм, а шовинизм Америки, ее культурный изоляционизм, полное отсутствие интереса у американцев к иностранным авторам (разве что те работают в Нью-Йорке или в Сан-Франциско). Франция сегодня относится к Америке примерно так же, как провинция к Парижу: со смесью восхищения и отторжения; ее тянет туда, но она гордится, что противится искушению. Мы хотим всё знать о них, чтобы иметь право презрительно пожать плечами. Быть в курсе последних тенденций, новых заведений, нью-йоркских сплетен, чтобы потом подчеркнуть, насколько наши собственные корни глубоко уходят в родную почву. Американцы словно бы двигались в обратном направлении, чем Европа: их комплекс неполноценности (молодая, "нуворишская", ребяческая страна, бóльшая часть истории и культуры которой привнесена из-за рубежа) быстро сменился комплексом превосходства (демонстрацией мастерства и успешности, культурной ксенофобией, третированием конкурентов и рекламным прессингом).

Что же до исключительности французской культуры, то, что бы ни говорил один (с тех пор смещенный) генеральный директор французского радио, она не умерла: она состоит в том, что мы снимаем на редкость говённые фильмы, пишем на редкость халтурные книги и вообще создаем на редкость занудные и самодовольные произведения искусства. Естественно, сие печальное утверждение распространяется и на мой труд.

8 час. 35 мин.

Вход в "Windows on the World" бежевого цвета. В этой вершинной Америке все бежевое. Стены спокойного оттенка, толстое ковровое покры-

тие цвета яичной скорлупы с геометрическим рисунком. Мокасины утопают в шерстяном ворсе. Пол мягкий; уже одно это должно было нас насторожить.

– Угомонитесь! Keep quiet!

Мальчишки носятся как угорелые в полдевятого утра. С какого возраста начинаешь просыпаться усталым? Я без конца зеваю, а они шныряют туда-сюда, лавируют между столиками и едва не сшибают с ног пожилую даму с фиолетовыми волосами.

– Да уймитесь же, черти! Stop it, guys!

Я могу сколько угодно делать страшные глаза, они меня больше не слушаются. Я не пользуюсь ни малейшим авторитетом у сыновей; даже когда я злюсь, они считают, что я валяю дурака. Они правы: я и в самом деле валяю дурака. Я не всерьез. Я не умею быть строгим, как и все родители моего поколения. Наши дети плохо воспитаны, потому что не воспитаны вовсе. Да и воспитывали их не мы, а мультяшные сериалы. Спасибо "Дисней-каналу", всепланетной няньке! Наши дети вконец испорчены, потому что испорчены мы. Джерри и Дэвид действуют мне на нервы, но между ними и их матерью есть большая разница: их я еще люблю. Ровно по этой причине я позволил им неделю не ходить в школу. Какой был безумный восторг, что не надо делать уроки! Я устраиваюсь на неудобном стуле ржавого цвета и обвожу взглядом немыслимую панораму за окном. "Unbelievable"[1], как написано в проспекте: раз в жизни реклама не врет. Залитая солнцем Атлантика слепит глаза. Небоскребы рассекают небесную голубизну, словно на декорации из папье-маше. В Соединенных Штатах жизнь похожа на кино, потому что все кино снимается здесь. Все американцы – актеры, и их дома, машины, желания кажутся ненастоящими. Правда в Америке каждое утро выдумывается заново. Эта страна решила быть похожей на целлулоидный вымысел.

– Сэр...

Официантка недовольна, что ей приходится следить за порядком. Она подводит ко мне Джерри и Дэвида: они только что стащили оладушек у парочки трейдеров, чтобы поиграть в летающую тарелку. Мне бы врезать им, а я не могу сдержать улыбку. Я встаю, чтобы извиниться перед собственниками блина. Это двое служащих фирмы Cantor Fitzgerald: блондинка, вполне сексапильная, несмотря на костюмец от Ральфа Лорена (есть же еще телки, которые это носят!), и брюнет атлетического вида, но cool, в тройке от Кеннета Коула. Не надо быть частным детективом, чтобы понять: они любовники. Вы поведете жену завтракать на вершину Всемирного торгового центра? Не поведете... Вы оставите благоверную дома и пригласите сослуживицу, от восьми до десяти (япиверсия: с пяти до семи). Я навостряю уши: люблю подслушивать под дверью, особенно когда ее нет.

– Я играю на повышение хай-тек компаний, – это блондинка от Ральфа Лорена.

– "Меррил" вздул акции по спекулятивным соображениям, – это брюнет от Кеннета Коула.

– Разойдись с женой, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Чтобы опять все сначала и как у людей? – говорит брюнет от Кеннета Коула.

1. Невероятно (*англ.*).

– У нас никогда ничего не будет как у людей, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Я же тебя не прошу уйти от мужа, – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– Если бы попросил, я бы ушла, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Наша любовь потому и хороша, что невозможна, – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– Мне осточертело встречаться с тобой по утрам или после обеда, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Ночью я хуже, – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– Майк Уоллес пригласил меня слетать с ним на этот уик-энд в Лос-Анджелес, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Ах так? И как ты это объяснишь своему супругу? – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– Не твое дело, it's none of your business, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Если ты поедешь, между нами все кончено, – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– Ты ревнуешь к Майку, а к моему мужу нет? – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– С мужем ты уже два года не спишь, – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– Разойдись с женой, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– А ты правда играешь на повышение хай-тек? – говорит брюнет от Кеннета Коула.

8 час. 36 мин.

"The Windows of the World" – так называется песня Берта Бакарака и Хола Дэвида, ее исполняла в 1967 году Дайонн Уорвик. Она была написана против войны во Вьетнаме.

Интересно, знает ли эту песню хозяин "Windows on the World"?

8 час. 37 мин.

Мальчишкам скучно; это моя вина: я вожу их по стариковским местам. Но ведь они так упрашивали! Я думал, их развлечет вид из окон, но они быстро обозрели все окрестности. Все в отца: им слишком скоро все надоедает. Поколение, свихнувшееся на переключении телеканалов и страдающее экзистенциальной шизофренией. Что с ними будет, когда они обнаружат, что нельзя иметь все и быть всем на свете? Мне их жаль, потому что лично я до сих пор так и не пришел в себя после этого открытия.

Мне всегда странно смотреть на своих детей. Как бы я хотел сказать им: "Я вас люблю", но сейчас уже поздно. Когда им было по три года, я повторял это до тех пор, пока они не засыпали. По утрам я будил их, щекоча им пятки. У них всегда были холодные ноги, вылезавшие из-под одеяла. Теперь они чересчур мужественны и сразу поставили бы меня на место. И потом, я никогда ими не занимаюсь, не так часто их вижу, они ко мне не привыкли. Вместо того чтобы говорить им "я вас люблю", надо было бы сказать вот что:

— Есть нечто худшее, чем когда отца нет: это когда он есть. Однажды вы скажете мне спасибо за то, что я не подавлял вас. Поймете, что я помогал вам взлететь, любя вас издалека.

Но сказать им такое сейчас, наоборот, слишком рано. Они поймут, когда им будет столько лет, сколько мне: сорок три. Странная вещь братья — они неразлучны, но вечно друг с другом воюют. Сегодня утром, грех жаловаться, они не очень ругаются. Они ненадолго отвлеклись на хлопья "Райс криспис": Shap, Crackle, Pop[1]. Мы говорим о каникулах, украденных у школы. Дэвид хочет еще раз побывать в тематическом парке студии "Universal". Он весь год щеголял в футболке с надписью "I survived Jurassic Park"[2]. Не желал даже положить ее в грязное белье! Есть ли на свете больший сноб, чем семилетний мальчик? Позже человек становится более дисциплинированным и меньше выпендривается. Взгляните на Джерри, он на два года старше, и это уже взрослый мужчина: контролирует себя, идет на компромиссы. Он тоже выдрючивается — у него свитер с Эминемом, — но хоть не так часто: все-таки старший. Дэвид вечно болен, ненавижу его беспрерывный кашель, он меня раздражает, и я никак не могу понять, отчего бешусь — от звука его кашля или от беспокойства, естественного для любящего отца. Вообще-то я дергаюсь потому, что не знаю, хороший я или нет, зато точно знаю, что я эгоист.

Какой-то бразильский делец закуривает сигару. Совсем свихнулся — курить в такую рань. Я делаю знак метрдотелю, тот устремляется к нему: в "Windows" курить запрещено, равно как и во всех общественных местах Нью-Йорка. Бразилец делает вид, будто в первый раз слышит о таком законе, возмущается, требует выделить особое место для курения. Метрдотель объясняет, что ему придется выйти на улицу! Вместо того чтобы потушить сигару, курильщик встает и удаляется в сторону лифтов; наверно, для него это вопрос чести...

8 час. 38 мин.

...И вот так сигара может спасти человеку жизнь. Стоило бы написать на сигаретных пачках новое предупреждение: "Курение позволяет вам покинуть здание прежде, чем оно взорвется".

Как бы я хотел что-нибудь изменить, крикнуть Картью, чтобы он убирался оттуда, живо, мать твою, СМАТЫВАЙСЯ, УВОДИ РЕБЯТ, БЕГИТЕ БЕЗ ОГЛЯДКИ, СКАЖИ ОСТАЛЬНЫМ: СКОРЕЙ, ШЕВЕЛИТЕСЬ, ЧЕРТ, СЕЙЧАС ВСЕ ВЗЛЕТИТ НА ВОЗДУХ! GET THE FUCK OUT OF THIS FUCKING BUILDING!![3]

Вечное авторское самомнение! Я бессилен. Моя книга бесполезна, как все книги. Писатель — он как кавалерия, всегда опаздывает. Башня "Мэн-Монпарнас" шире со стороны улицы Депар: если кто захочет протаранить ее самолетом, надо целить в этот фасад. Я начинаю влюбляться в это здание, ненавистное всем. Я обожаю его ночью и не выношу днем.

1. В 1963 г. группа "Rolling Stones" записала рекламный ролик хлопьев "Райс криспис", для которого Мик Джаггер придумал фразу: "Shap! Crackle! Pop!".
2. "Я выжил в Парке юрского периода" (*англ.*).
3. Вали к чертовой матери из этой чертовой башни!! (*англ.*)

Ночь очень подходит ему по цвету. Когда светло, оно сероватое, унылое, неуклюжее; только ночь делает его похожим на маяк посреди Парижа — сияющий, электрический, с красными лампочками по бокам. Ночью башня напоминает мне монолит из "Космической одиссеи-2001": черный вертикальный прямоугольник, якобы символизирующий вечность. Вчера вечером я сводил мою невесту в ночной бар в подвале башни. В свое время тамошняя дискотека называлась "Ад", но недавно они переименовали ее в "Красный свет", Red Light. Там отмечали двадцатипятилетие журнала "VSD": толпа, пляшущая под диско, хвост в раздевалке, спонсоры и диджеи, несколько VIP-персон, ничего особенного. Я сжал свою любовь в объятиях, и мы целовались под французским Граунд Зеро. Я бы с удовольствием поимел ее в туалете, но она отказалась:

— Мне очень жаль, но сегодня вечером наше всё празднует рамадан!

Заранее приношу извинения мусульманским властям за эту шутку. Я прекрасно знаю, что во время рамадана вечером разрешается есть. Будьте снисходительны. Мне не нужна фетва: меня и так хорошо знают. 2002 год выдался у меня довольно трудным. Я много веселился, и надо мной немало смеялись. Пожалуйста, не будем в 2003-м делать из мухи слона. Похоже, башне "Монпарнас" не грозит атака исламских фанатиков, потому что там расположен французский корпункт канала "Аль-Джазира". Макая тост в чашку с кофе, я стараюсь думать только об этом громоотводе.

Высота башни "Монпарнас" — 200 метров. Так вот, чтобы получить представление о высоте Всемирного торгового центра, поставьте друг на друга две башни "Монпарнас", и они все равно будут ниже World Trade Center[1]. Каждое утро лифт поднимает меня в "Небо Парижа" (56-й этаж) за 35 секунд: я засекал время. В кабине я чувствую, как у меня тяжелеют ноги и закладывает уши. Эти скоростные лифты вызывают те же ощущения, что самолет, попавший в воздушную яму, — когда вы без ремня безопасности. "Небо Парижа" — это все, что осталось от "Windows on the World": чистая идея. Нелепая, претенциозная идея ресторана на вершине башни, высящейся над городом. Здесь все выдержано в черном цвете, а потолок имитирует звездное небо. Сегодня утром народу немного, погода мерзкая. Люди отменяют заказ, когда нет обзора. "Небо Парижа" утопает в тумане. В окна ничего не видно, один белый дым. Прижавшись носом к стеклу, можно разглядеть соседние улицы. Когда я был маленький, меня ругали за то, что я витаю в облаках; сегодня я витаю опять. Кресла фирмы Knoll стоят здесь, наверное, с семидесятых годов; скоро они опять войдут в моду. Оранжево-черная обивка напоминает фильмы Жан-Пьера Моки. Постоянный шумовой фон: кондиционеры гудят, словно атомный реактор. Я упираюсь лицом в витрину, запотевшее стекло скрывает улицу Ренн. Я устроился в отсеке, обитом коричневой кожей, как в "Драгстор паблисиз" на бульваре Сен-Жермен (это заведение тоже исчезло, как и "Windows on the World"), и заказал свежевыжатый апельсиновый сок и "венские булочки" (три хилых хлебца с шоколадом), а официантка одета в оранжевую форму (скоро она тоже войдет в моду). Она несет мне круассаны, обернутые бежевой салфеткой. Может, террористам из "Аль-Каиды" попросту осточертел бежевый цвет, оранжевые униформы и рекламная улыбка официанток?

1. Всемирный торговый центр (*англ.*).

Мне очень плохо и одиноко в "Небе Парижа" в 8.38 утра, вдали от водителей, сигналящих перед кинотеатрами Монпарнаса, выше служащих банка BNP, на 200 метров "небеснее", чем простые смертные. Моя жизнь рушится, но этого никто не видит, потому что я человек воспитанный: я все время улыбаюсь. Я улыбаюсь, потому что думаю, что если скрывать страдание, то оно исчезнет. И в каком-то смысле это правда: оно незримо, а значит, не существует, ибо мы живем в мире видимого, материального, осязаемого. Моя боль нематериальна, ее как бы нет. Я отрицаю сам себя.

8 час. 39 мин.

Допивая свой капуччино, я разглядываю остальных клиентов, они на меня не смотрят. Много рыжих спортивного вида. За одним из столиков японцы фотографируют друг друга. Вон пара любовников-трейдеров. Кругом американские туристы, вроде меня, разбогатевшие и гордые собой "краснорожие", либо "шмели"[1] в подтяжках, либо белозубые яппи. Парни в полосатых рубашках. Женщины с укладками, у них красивые руки и длинные накрашенные ногти. Большинство похожи на Бритни Спирс лет через двадцать. Арабы, англичане, пакистанцы, бразильцы, итальянцы, вьетнамцы, мексиканцы – и все толстые. У клиентов "Windows on the World" есть одна жирная общая черта: живот. Я спрашиваю себя, не лучше ли было сводить мальчишек в "Рейнбоу рум", на 65-й этаж NBC-билдинга. "Салон радуги": двадцать четыре застекленных витрины в самом центре города. Архитекторы Рокфеллеровского центра хотели назвать это заведение "Стратосфера". Но мальчуганы вряд ли оценили бы зеркала 30-х годов, отблески Манхэттена, легенды о джаз-бандах, атмосферу Безумных лет. Джерри и Дэвид хотят одного – поглощать сосиски и булочки в самом высоком ресторане Нью-Йорка. К счастью для моего кошелька, магазин игрушек "Toys'Я'Us" на первом этаже закрыт, иначе они бы вынесли все. Мои дети – диктаторы, я только слушаюсь и повинуюсь. Глотая завтрак, я гляжу вниз; люди с такой высоты неразличимы. Единственные движущиеся предметы в Нижнем Манхэттене – это машины, въезжающие на остров и выезжающие по Бруклинскому мосту, вертолеты для туристов, кружащие над Ист-Ривер, и баржи, ползающие взад-вперед под поднятыми мостами. Из какого-то путеводителя я выписал цитату из Кафки: "Бруклинский мост, маленький и хрупкий, висел над Восточной Рекой и дрожал, если закрыть глаза. Он казался совершенно пустым, под ним простиралась гладкая, похожая на ленту неживая вода". Удивительно, как хорошо он описывает то, чего никогда не видел. А я вот вижу здание Chase Manhattan Bank, слева от него Манхэттенский мост, справа Старый порт в конце Фултон-стрит, но не смог бы их описать. Вдруг оказывается, что я люблю свою полоумную страну, свое сволочное время и своих несносных детей. Во мне поднимается волна нежности – наверно, вчерашняя водка ударила в голову. Кэндейси повела меня в бар "Правда", и мы несколько перебрали вишневой водки. Кэндейси снималась для каталога "Victoria's Secret", это я говорю, просто чтобы вы поняли, до чего она отпадная. Но у нас с ней не все ладно: она хочет, чтобы я женился на ней, чтобы у нас был ребенок и чтобы мы жили вместе, а я бы

1. "Шмели" – от аббревиатуры WASP (white, anglo-saxon, protestant; wasp – шмель, *англ.*) – белый, англосакс, протестант. Элита американского среднего класса.

не хотел повторять именно эти три свои ошибки. Чтобы наказать меня за желание остаться холостяком, она больше не получает удовольствия в постели. Говорят, некоторые женщины отвечают "нет", а думают "да", а вот Кэндейси наоборот: отвечает "да", а думает "нет".

– Почему ты играешь на повышение хай-тек? – спрашивает брюнет от Кеннета Коула.

– Сейчас самое время, быки набирают силу, – отвечает блондинка от Ральфа Лорена. – Пора развернуться и ждать повышения котировок.

– Посмотри, на каком уровне валютный курс, в голове не укладывается, – говорит брюнет от Кеннета Коула. – Боюсь, мне придется туго.

– Я купила фьючерсы Enron, фантастическая компания, – говорит блондинка от Ральфа Лорена. – Ты хоть раз видел их прибыли?

– Ты, наверно, права, надо кидаться туда. И брать WorldCom. Их EBITDA красив, как миллион долларов, – говорит брюнет от Кеннета Коула. – А вообще я в полном дауне.

– Во всяком случае, 2001 год дерьмовый, и на облигациях ни черта не выручишь, – говорит блондинка от Ральфа Лорена. – Можешь распрощаться со своей виллой на Гавайях.

– Со мной все просто: плевать на Porsche, пусть провалятся, я закрыл портфель, – говорит брюнет от Кеннета Коула. – Но я уверен, в 2002-м дела пойдут получше, надо только подождать; смотри, что творится с ценами.

– Я люблю тебя, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Я хочу использовать кредитное плечо, – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– Уйди ты от своей проклятой жены, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– ОК, обещаю, что сегодня вечером, после спа-массажа, все ей выложу, – говорит брюнет от Кеннета Коула.

И они закатывают мощный, весьма сексуальный поцелуй, высовывая языки, как в хорошей калифорнийской порнушке.

8 час. 40 мин.

Все путеводители превозносили "Windows on the World" до небес. Сейчас утро, сентябрь 2002 года, и я листаю их на верхнем этаже башни Монпарнас. Через год после трагедии они приобретают странное звучание. Вот, например, "Зеленый гид Мишлен-2000" пишет:

"Windows on the World", One World Trade Center (107-й уровень). Достоинством этого элегантного бара-ресторана является один из красивейших панорамных видов Нью-Йорка. После знаменитого взрыва бомбы в 1993 г. в его помещении были произведены значительные ремонтные работы, что позволило полностью обновить интерьер и сделать его еще более роскошным.

Всемирный торговый центр был мишенью, это знали даже авторы путеводителей. Какой тут секрет. 26 февраля 1993 г. в 12 час. 18 мин. в грузовичке, стоявшем в подземном паркинге, взорвалась бомба. Подвал Всемирного торгового центра провалился. Огромная воронка, шестеро убитых и добрая тысяча раненых. Башни были восстановлены и вновь открыты менее чем через месяц.

Путеводитель “Фромерс-2000” более словоохотлив:

“Windows on the World” (вход с Уэст-стрит, между Либерти и Визи-стрит). Горячие блюда: $25–35; ужин (на закате, до 18 час.): $35; завтрак: $32,50. Принимаются кредитные карты. Метро: линии C, E, до остановки “World Trade Center”. Охраняемый паркинг на Уэст-стрит: $18. Интерьер довольно скромный, но приятный. Впрочем, он не имеет никакого значения, потому что по другую сторону “Окон” простирается весь Нью-Йорк! Из ресторана открывается недосягаемый для других вид на город. А с тех пор как у плиты стоит Майкл Ломонако, бывший шеф-повар “Клуб-21”, новая американская кухня несравненна. Имеется богатый винный погреб. Сомелье будет счастлив направить ваш выбор, независимо от того, знаток ли вы или просто любитель вина, желающий подобрать наилучшее сочетание к двум фирменным блюдам Ломонако – отбивным на гриле и запеченным мэнским омарам.

В какой-то статье я читал, что на кухне работают братья-неразлучники: они живут вместе и чистят ракообразных, стоя бок о бок. Двое мусульман.

То, что мы знаем сегодня, заставляет повсюду искать предзнаменования; глупое занятие: дурацкая гастрономическая статейка 2000 года предстает настоящим пророчеством. Если вдуматься в каждое слово в последнем описании, выйдет прямо Нострадамус. “По другую сторону ‘Окон’”? Оттуда прилетит самолет. “Недосягаемый”? Наоборот, еще как досягаемый. “Богатый погреб”? Конечно, скоро там будет целых 600 000 тонн строительного мусора. “Сомелье направит ваш выбор”? Вроде авиадиспетчера. “Отбивные на гриле”? При температуре в 1500 градусов. “Мэнские омары”? Вы намекаете на муллу Омара? Я знаю, это не смешно, со смертью не шутят. Простите меня, это инстинкт самосохранения: я пишу свои глупости на верхотуре парижского небоскреба, перелистывая кипы проспектов с приглашением посетить здания-близнецы, которых больше нет. Естественно, повсюду видишь предостережения, шифровки из прошлого. Отныне прошлое – единственное место, где можно найти “Windows on the World”. Этот единственный в мире ресторан, где можно было отменно пообедать на вершине мира, куда, забронировав заранее по телефону столик, можно было привести любовницу полюбоваться видом, а самому коситься в ее декольте, когда она склонится над сумочкой, проверяя, взяла ли презервативы, – это волшебное, уникальное, неразрушенное место именуется прошлым.

А вот что вещал путеводитель “Ашетт-2000”, не подозревая, какой жестокой иронией обернется однажды эта фраза:

По утрам ресторан работает как клуб, но за дополнительную плату вас обслужат и в том случае, если вы не являетесь его членом.

Sic.

Парадокс башен-близнецов в том, что эти ультрасовременные здания были выстроены в самом старом квартале Нью-Йорка, на южной оконечности острова Манхэттен – в Новом Амстердаме. Теперь нью-йоркский пейзаж вновь такой же, как во времена, когда Холден Колфилд сбежал из школы. Без башен-близнецов город возвращается в 1965 год, год моего рождения. Странное ощущение: знать, что тебе ровно столько лет, сколько Всемирному торговому центру. Таким был Манхэттен, где Сэлинджер

написал "Над пропастью во ржи" (1951), американского "Большого Мольна", действие которого происходит в 1949 году. Знаете, откуда взялось название романа в оригинале – "The Catcher in the Rye"? Из одной строчки Роберта Бёрнса: "Если кто-то звал кого-то вечером во ржи". Холден Колфилд (рассказчик) неправильно понял стихотворение: он решил, что там говорится "если ты ловил кого-то...". Он называет себя "ловцом во ржи". Именно этим он бы хотел заниматься в жизни. На 208-й странице он объясняет свое призвание сестренке, Фиби. Он представляет себе, что бегает по ржаному полю и пытается поймать тысячи маленьких мальчиков. Он говорит, что это лучшая профессия на земле. Мчаться по полю ржи и ловить толпы детей, бегущих к краю пропасти, множество невинных сердец, устремившихся в пустоту. Ветер далеко разносил бы их беззаботный смех. Мчаться по залитой солнцем ржи. Что может быть лучше такой судьбы: поймать их, пока не упали. Я бы тоже хотел быть ловцом – в окнах.

The Catcher in the Windows.

8 час. 41 мин.

Я делаю вид, будто не вижу, кто еще сидит за моим столом, это мой любимый вид спорта, когда мы цапаемся с детьми. Вы только посмотрите на этих выскочек; они забыли, что их предками были голландские, ирландские, немецкие, итальянские, французские, английские, испанские колонисты, явившиеся с той стороны Атлантики всего-то три-четыре века назад! Йи-хо, я это сделал, у меня дом в Лонг-Айленде! Розовощекие детки, говорящие не "shit", а "schoot"! Я уже не какое-то иммигрантское отребье. У меня мягкие дорогие простыни, мягкая дорогая туалетная бумага, мягкие дорогие занавеси с цветами и бытовая техника, от которой писает кипятком моя жена с безукоризненной прической. Американское счастье. "American Beauty". Временами мне кажется, что я – Лестер Бёрнэм, герой "Красоты по-американски". Пресыщенный циник, вдруг понявший, какое дерьмо его идеальная семья, – это so me[1] пару лет назад. Картью Йорстон в одночасье послал все подальше. Well, я, конечно, оставил квартиру жене, то ли из трусости, то ли из уважения к Мэри, не знаю. В фильме жена хочет его убить, но в конце концов он погибает от рук соседа, военного-гомофоба. Скажем так: на данный момент я держусь лучше, чем бедняга Лестер. Но сколько я мастурбировал под душем! И потом, там есть одна закадровая фраза, я ее обожаю: "Через год я умру – но, быть может, я уже мертв". У нас с Лестером Бёрнэмом очень много общего.

Надеюсь, мои сыновья скоро познакомят меня с собственными подружками. Гм-гм, не уверен, что одолею искушение и не отдеру их сам, старый потаскун. Интересно, чем они будут заниматься дальше, Джерри и Дэвид Йорстоны? Станут артистами, рок-звездами, киноактерами, телеведущими? Или промышленниками, банкирами, акулами бизнеса? Как отец я желаю им выбрать второе поприще, но как американец мечтаю о первом. А истина заключается в том, что у них максимум шансов стать в конце концов агентами по торговле недвижимостью, как их отец. Лет через сорок, когда я, лежачий старик, страдающий недержанием, перееду в Форт-Лоудердейл, они будут менять мне памперсы. Я бу-

1. В точности я (*англ.*).

ду жевать сухарики, растрачивая их наследство во флоридском ГУЛАГе! Я это сделаю: буду заниматься шопингом на дому, заказывать жратву по Интернету, а девка, клонированная с Фарры Фосетт в "Ангелах Чарли", будет, улыбаясь, сосать мой хрен. I love my country[1]. Ах, да, чуть не забыл: если меня еще будут носить ноги, я буду играть в гольф. Джерри и Дэвид станут таскать за мной клюшки!

Глядя вниз в подзорную трубу, я вижу белый прямоугольник: это эспланада, где микроскопические служащие ресторана выносят на террасу стулья для желающих позавтракать на полуденном солнце. Наверное, продавцы мороженого раскладывают ценники, а торговцы хот-догами и солеными крендельками выстраивают свои драндулеты вокруг Плазы. Что там за кубик? А, это соорудили эстраду для рок-концерта под открытым небом. А вон тот металлический шарик? Бронзовый земной шар, работа скульптора Фритца Кёнига. Современные скульптуры бывают иногда просто жуткие: груды переплетенных, перекрученных металлических балок. Не понимаю, что художники хотят этим сказать.

Стоит бабье лето; я мурлыкаю "Осень в Нью-Йорке", "Autumn in New York".

Оскар Петерсон, фортепиано, Луи Армстронг, труба, Элла Фицджеральд, вокал.

Мне совершенно необходимо сходить к врачу и сделать вазэктомию. Сначала у нас с Кэндейси все было отлично. Я подцепил ее по Интернету (на www.match.com). Нынче такого рода "свиданки" – самое обычное дело. В мире восемь миллионов клиентов match.com! Когда едешь в другой город, организуешь себе заранее пару-тройку рандеву, это не сложнее, чем забронировать номер в гостинице. Когда мы в первый раз поужинали, я предложил ей подняться ко мне, пропустить по рюмке в моем номере и продолжить беседу, вообще-то ей полагалось отказаться – в первый вечер не дают. И что она вытворяет? Глядит мне прямо в глаза и заявляет: "Если я поднимусь, то не разговоры разговаривать". Вау. Мы вместе прошли все этапы: порнофильмы на гостиничном видеоавтомате, мастурбацию и содом вдвоем с искусственными членами и вибраторами, мы даже сходили вместе в swingers club, но она меня довела до белого каления, она тащилась как никогда с каким-то здоровенным булдаком при серьгах и бритом кочане! Как узнать техасца в клубе свингеров? Он единственный, кто закатывает сцену ревности. С тех пор секс с ней был по-прежнему великолепен, но с оттенком гигиены. Как приложение к двум эгоцентрическим одиночествам. Пользуешься телом другого для собственного удовольствия, и иногда мне кажется, что мы оба немножко себя насилуем. Гм. Наверно, я рогоносец; теперь партнеры чем дальше, тем быстрее наставляют друг другу рога.

8 час. 42 мин.

У меня проблема: я не помню детства.

Все, что я из него вынес – это что не в буржуазности счастье.

Ночь, совсем темно. Звонит будильник, восемь утра, я опаздываю, мне тринадцать лет, я натягиваю коричневые вельветовые штаны, волоку

1. Я люблю свою страну (*англ.*).

здоровенную сумку с надписью US, полную шариковых ручек, чернильных ластиков, учебников, мерзость которых сопоставима только с их тяжестью, мама встала вскипятить мне и брату молоко, и мы пьем, шумно дуя на него и давясь, потому что пенка, а потом спускаемся на лифте в темное зимнее утро 1978 года. Лицей Людовика Великого от нас далеко. Дело происходит в Париже, на улице Коэтлогон в VI округе. Мне жутко холодно и жутко тоскливо. Я сую руки в карманы уродливого шерстяного пальто и кутаюсь в желтый колючий шарф. Сейчас явно польет, а 84-й автобус ушел из-под носа. Я еще не знаю, что все это сплошная чушь и никогда в жизни мне не пригодится. Не знаю и того, что это хмурое утро — единственное в моем детстве, о котором я потом буду вспоминать. Я даже не знаю, почему мне так тошно — может, потому, что слабó прогулять математику. Шарль хочет ждать автобуса, а я решаю идти в лицей пешком, вдоль Люксембургского сада по улице Вожирар, где с марта по август 1928 года жили Скотт и Зельда Фицджеральд (на углу улицы Бонапарта), но пока я этого тоже не знаю. Сейчас я по-прежнему живу неподалеку, на улице Гинмер, и с балкона мне видно, как дети с ранцами спешат в лицей, пуская струйки холодного пара: этакие согбенные дракончики, бегущие наперегонки по тротуару, не наступая на черту. Они так внимательно следят, как бы не попасть ногой между плитками, словно идут по минному полю. "Смурная" — вот самое подходящее слово, чтобы описать мою жизнь в их возрасте. СМУРНАЯ, как то ледяное утро. Я убежден, что со мной никогда не случится ничего интересного. Я неказистый, тщедушный, одинокий, и с неба льет как из ведра. Я иду мимо здания сената, мокрый и серый, как мой гребаный лицей; там меня тошнит от всего: от стен, от преподов, от учеников. Я почти не дышу; все плохо, все совсем плохо, почему все так плохо? Потому что я самый обыкновенный, потому что мне тринадцать лет, потому что у меня подбородок топориком, потому что я рахит. Чем быть скелетом, лучше уж вовсе умереть! Подъезжает автобус, и я колеблюсь, правда, я колеблюсь, в тот день я чуть не бросился под колеса. Это 84-й, он едет мимо, а в нем едет Шарль. Большие колеса заляпывают низ моих штанов смешными пятнышками (штаны бежевые, вельветовые, со слишком большими отворотами). Я шествую к нормальности. Я задыхаюсь, на улице гололед. Никогда ни одна девушка меня не полюбит, и я их понимаю, правда, я на вас не сержусь, мадемуазель, я бы и сам на вашем месте, я и сам себя не люблю. Я опаздываю; мадам Минуа, математичка, опять будет воздевать очи горе и брызгать слюной. А эти идиоты, мои одноклассники, будут вздыхать — громко, чтобы она заметила. Струи дождя будут стекать по окнам класса, воняющего отчаянием (сейчас я уже знаю: отчаяние пахнет мелом). Почему я жалуюсь, ведь со мной ничего такого не случилось? Меня не изнасиловали, не избили, не бросили, не накачали наркотиками. Разве что родители развелись и чересчур ласковы со мной, равно как родители всех моих соучеников. Я травмирован отсутствием травмы. В то утро я выбрал жизнь. Я вхожу в лицей так, словно бросаюсь волку в пасть. У здания черный рот и желтые глаза-окна. Оно заглатывает меня и готовится переварить. Я и не думаю сопротивляться. Я согласен стать таким, каким они хотят меня видеть. Передо мной встает трусость собственного отрочества.

Если приглядеться, то с высоты башни "Монпарнас" можно увидеть Лицей моей Исковерканной Юности. Я по-прежнему живу там, где перенес

столько страданий. Я не отрываюсь от корней. Я никогда не бунтовал. Даже не переехал. Чтобы добраться до работы, до издательства "Фламмарион", я иду по той же улице Вожирар, что и мальчик с замерзшими руками и ушами. Зимой я выдыхаю тот же парок. Я по-прежнему не наступаю на черту между плитами. Я так и не вышел из того утра.

8 час. 43 мин.

А мо́е детство проходит в полном зелени раю, шикарном пригороде Остина, штат Техас. Дом, похожий на дом соседей, сад, где мы поливали друг друга из шланга, "шевроле-кабриолет", катящий в сторону пустыни. В комнате софа, и через окно видно, как блики от телевизора пляшут на лицах двоих детей: в этот час картина одинакова по всему городу, да и по всей стране. Родители из кожи вон лезут, чтобы у них все было похоже на красивое кино, устраивают коктейли, во время которых мамаши обмениваются мнениями о своих интерьерах. В год мы потребляем в среднем четыре тонны бензина. Колледж? Только прыщавые белые в бейсболках, они слушают "Grateful Dead" и сминают пустые пивные банки себе об лоб. Ничего особенно дурного. Солнце, кофейни, футбольная команда, грудастые капитанши болельщиков, у которых ни одна фраза не обходится без "короче" и "как бы", полное отсутствие негров, кроме как в церкви по воскресеньям. О-ошс, прошу прощения, конечно, надо говорить "афроамериканцы". В моем отрочестве все clean, все непорочно: лэп-дансингов еще не существует, а в мотели несовершеннолетних не пускают. Я завтракаю на травке, играю в теннис, читаю комиксы в гамаке. У отца в стакане с виски позвякивают кусочки льда. Каждую неделю в моем штате приводится в исполнение пара смертных приговоров. Моя юность проходит на газоне. Учтите: это не Бунгало в Прерии, скорее Особняк в Предместье. На зубах у меня брекеты, и я, стоя перед зеркалом, включаю радио и изображаю гитариста с деревянной теннисной ракеткой от Dunlop. Каникулы я провожу в "летних лагерях": спускаюсь по рекам на надувной лодке, отрабатываю подачи, выигрываю матчи по водному поло, открываю для себя мастурбацию благодаря журналу "Хастлер". Все лолиты влюблены в Кэта Стивенса, но поскольку его под рукой нет, их лишает девственности тренер по теннису. Моя самая большая травма — фильм "Кинг-Конг" (версия 1933 года): родителей не было дома, и мы с сестрой, хоть няня нам и запретила, потихоньку посмотрели его в родительской спальне. Черно-белый образ гигантской обезьяны, лезущей на Эмпайр-стейт-билдинг и хватающей военные самолеты, — худшее мое детское воспоминание. В 70-х годах сняли цветной ремейк, где дело происходит во Всемирном торговом центре. Я ждал, что с минуты на минуту гигантская горилла полезет на башни, и у меня мурашки бежали по спине; хотите верьте, хотите нет, но я все время об этом думал.

Всю мою юность можно пролистать по лицейским дневникам. Тогда я считал ее счастливой, но теперь при одной мысли о ней меня тошнит. Может, потому, что я в ужасе от ее утраты, от того, что я покинул свое древнее семейство и пустился искать счастья на поприще недвижимости. Я преуспел в этой профессии, когда усвоил одну простую вещь: бабки делают не на больших квартирах, а на маленьких (потому что они чаще продаются). Но семьи из среднего класса читают те же газеты, что и богачи: все непременно хотят интерьеры как на скринсейвере или

такой же лофт, что у Ленни Кравица! В общем, я заключил договор с одной кредитной конторой, которая согласилась предоставлять пару миллионов долларов с рассрочкой на тридцать лет. Затем я разыскал в старых кварталах Остина бывшие сараи для скота и превратил их в художественные мастерские для крутых. Весь мой талант состоял в том, что я убеждал свои парочки, будто их жилище единственное и неповторимое, и при этом сбывал их штук по тридцать в год. Так я сделал карьеру в агентстве, потом подсидел того типа, который меня нанимал, и уже после открыл собственную контору: Austin Maxi Real Estate. Три с половиной миллиона долларов, скоро будет четыре. Это, конечно, не Доналд Трамп, но уже можно не суетиться. Как говаривал мой отец: "Самое трудное — заработать первый миллион, остальные сами придут!" Джерри и Дэвид вполне обеспечены, но пока об этом не знают, потому что перед Мэри я всегда разыгрываю аристократа без гроша в кармане, чтобы она не потребовала вчетверо увеличить ей содержание. С другой стороны, ушел я от нее именно из-за денег: я больше не мог возвращаться домой, имея столько деньжищ в кармане. Зачем столько зарабатывать, если каждый вечер приходится прессовать одну и ту же женщину? Мне хотелось быть анти-Джорджем Бэббитом[1], этим бедным идиотом, неспособным избавиться от своей семьи и своего города...

— Гони фотоаппарат, — говорит Дэвид.
— Не дам, он мой, — отвечает Джерри.
— Ты не умеешь снимать, — говорит Дэвид.
— А ты будто умеешь, — отвечает Джерри.
— Ты даже вспышку не включил, — говорит Дэвид.
— А зачем, и так светло, — отвечает Джерри.
— Ты не поставил расстояние, — говорит Дэвид.
— А на фига, это же мыльница, — отвечает Джерри.
— Сними статую Свободы, — говорит Дэвид.
— Уже снял, — отвечает Джерри.
— В последний раз все были нерезкие, — говорит Дэвид.
— Заткнись, — отвечает Джерри.
— Урод косорукий, — говорит Дэвид.
— Сам урод, — отвечает Джерри.
— Надулся-надулся-надулся, — говорит Дэвид.
— Сам такой—сам такой—сам такой, — отвечает Джерри.
— Ладно, гони аппарат, — говорит Дэвид.

8 час. 44 мин.

Если бы Джерри и Дэвид внимательно рассмотрели свои снимки (те, что никогда не попадут в проявку), они бы заметили на горизонте, за Эмпайр-стейт-билдингом, белую движущуюся точку. Что-то вроде большой блестящей чайки на синем небосводе. Но птицы не летают так высоко и так быстро. Солнечные лучи сверкают на серебристом предмете, как в "Миссия невыполнима", когда секретный агент, чтобы предупредить коллегу, не поднимая шума, зеркальцем посылает ему в глаза солнечный зайчик.

1. Агент по торговле недвижимостью из Огайо, персонаж, созданный Синклером Льюисом в 1922 году. Герой одноименного романа. (*Прим. автора.*)

В "Небе Парижа" все продумано: вы ни на минуту не должны забывать, что находитесь выше всего нормального. Даже стенки унитазов в туалете изображают крыши Города-светоча, чтобы мужская половина клиентуры могла отлить на него сверху.

Надо бы вернуться сюда пообедать: меню довольно соблазнительное. "Осень в 'Небе Парижа'" глазами Жан-Франсуа Уайона и его команды": на закуску настоятельно рекомендуется эскалоп из утиной печени на медовой коврижке с соусом из белых грибов (24,5 евро); в качестве рыбного блюда мы имеем филе барабульки на гриле с пюре из баклажанов, заваренным рыбным бульоном (26 евро); в качестве мясного Жан-Франсуа Уайон рекомендует голубя с пряностями, зажаренного в меду, с засахаренной капустой (33 евро). На десерт я склоняюсь к теплому шоколадному пирожному "Гуанаха" и сливочному мороженому с орешками. Знаю, это не самое правильное питание – Карл Лагерфельд не одобрил бы мой выбор, – и все же я предпочитаю пирожное, а не бобы тонка и вишни или даже фиги, обжаренные в ванильном масле с бурбоном.

За моей спиной разворачивается страшная драма: чета американцев требует на завтрак яичницу с ветчиной и грибами, но официантка с оранжевой улыбкой говорит: "I'm sorry[1], у нас подают только континентальный завтрак". Континентальный завтрак состоит из тостов, булочек, фруктового сока и горячего напитка, он менее плотный, чем тот, что американцы привыкли поглощать по утрам, а потому они встают, громко чертыхаясь, и покидают ресторан. Им непонятно, как это в таком туристическом центре не могут подать добрый сытный завтрак. С чисто коммерческой точки зрения они не так уж и неправы. Но зачем путешествовать, если есть все то же, что дома? На самом деле в этом жутком недоразумении у всех своя правда. "Небу Парижа" стоило бы позволить людям есть то, что они хотят, и предлагать на завтрак такой же выбор, как и на обед. А американцам пора бы перестать пытаться любой ценой навязать свой образ жизни всей планете. А вообще-то если вдруг сегодня, в 8.46 утра, в башню "Монпарнас" врежется самолет, как в Северную башню Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, то эти двое останутся в живых.

Самое потрясающее, что однажды в одну из нью-йоркских башен уже врезáлся самолет; это было в 1945 году, в туманную ночь. Бомбардировщик B-25 американской армии разбился об Эмпайр-стейт-билдинг на высоте 78–79-го этажей. 14 погибших, гигантский пожар, пламя в несколько сот метров высотой. Но Эмпайр-стейт-билдинг не рухнул, потому что стальной каркас здания не расплавился – в отличие от каркаса Всемирного торгового центра (сталь теряет прочность при 450° и плавится при 1400°, но, по оценкам, при пожаре "боинга" температура достигала 2000°). В 2001 году 40 000 литров горящего керосина разрушили металлический костяк башен, и верхние этажи рухнули на нижние. При строительстве башен-близнецов Ямасаки использовал новую технологию: он отказался от лабиринта внутренних опор и перенес основную тяжесть на внешние стены, состоящие из стальных вертикальных конструкций, расположенных очень близко друг к другу и соединенных горизонтальными балками, которыми опоясан каждый этаж. Такая архитектура позволяла

1. Извините (*англ.*).

высвободить максимум внутреннего (то есть приносящего наибольшую прибыль строительным подрядчикам) пространства. Именно из-за этих опор, покрытых тонким слоем алюминия, обе башни казались полосатыми и похожими на стереофонические колонки.

Вывод: башни-близнецы были построены так, что выдержали бы удар самолета *без горючего.*

Добро пожаловать за минуту до. Когда все еще возможно. Они могли вдруг уйти, могло же им такое взбрести в голову. Но Картью говорит себе, что времени у них много, что свою нью-йоркскую эскападу они используют на все сто, а дети сидят с довольным видом. Некоторые клиенты покидают ресторан: каждую минуту кто-то входит или выходит. Смотрите, пожилая дама, которую только что побеспокоили Джерри и Дэвид, та, что с фиолетовыми волосами, вдруг встает, она уже оплатила счет (и не забыла оставить пять долларов на чай), медленно движется к лифтам, два мелких бузотера напомнили ей, что надо купить внуку подарок на день рождения, она говорит "Have a nice day"[1] администраторше и нажимает на кнопку "Mezzanine", кнопка загорается, брякает звонок, ей только что пришла мысль побродить по торговому центру, она помнит, что вроде бы тут есть магазин "Toys'Я'Us", только не помнит где, то ли в подвале, то ли на первом этаже, вот о чем она думает, когда двери лифта плавно закрываются. Всю оставшуюся жизнь она будет говорить, что сам Господь велел ей поступить именно так, и всю оставшуюся жизнь ее будет мучить вопрос, почему Он так сделал, почему Он оставил ее в живых, почему Он позволил ей думать об игрушках, почему Он избрал ее, а не двух маленьких мальчиков.

8 час. 45 мин.

Минутой раньше все еще могло повернуться иначе. А потом меня вдруг пробрал озноб.

— Знаешь, в чем разница между Дэвидом Линчем и "Меррилом Линчем"? — спрашивает брюнет от Кеннета Коула.

— Э-э, нет... я не знаю, кто это такой, — отвечает блондинка от Ральфа Лорена.

— Ни в чем: оба делают что-то непонятное и оба бросают деньги на ветер, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

Оба дружно прыскают, а потом опять заводят профессиональный разговор.

— Ликвидность выросла, но объемы упали, — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

— Фьючерсы у Standard's & Poors фиговые, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

— Голубые фишки портят нам кровь, — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

— Я привязан к Nasdaq, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

— Чарты неблагоприятные, — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

— Дрянь дрянью, это точно, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

1. "Всего доброго" (*англ.*).

– Получили мы иеной в зубы, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Я закрыл позиции по Nikkei, – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– О господи, – говорит блондинка от Ральфа Лорена. – OH MY GOD.

Ее глаза широко открылись, нижняя челюсть отвисла, и она прикрыла дрожащей рукой непослушный рот.

– Что? Что случилось? WHAT'S THE PROBLEM? – спрашивает брюнет от Кеннета Коула и уже после оборачивается к окну.

Небо было такое ясное, Джерри со своим биноклем мог сосчитать заклепки на фюзеляже. Он кинулся ко мне, страшно возбужденный:

– Look, Dad! You see the plane?[1] – Но у меня уже тряслись руки. В одну секунду я подхватил болезнь Паркинсона. Остальные клиенты тоже поняли, что происходит: чертов "боинг" "Американ эрлайнз" мчался на малой высоте над Нью-Йорком, направляясь прямиком к нам.

– Черт, да что ж он такое творит? Нельзя же летать так низко, идиот!

Ненавижу фильмы-катастрофы, всех этих приятных блондинов с квадратными подбородками, беременных женщин, у которых отходят воды, параноиков, впадающих в помешательство, трусов, превращающихся в храбрецов, священников, раздающих последнее причастие. Какой-нибудь кретин непременно заболеет, и стюардесса обращается к пассажирам:

– Есть среди вас доктор?

И тогда студент-медик поднимает руку, едва не лопаясь от чувства собственной полезности: не волнуйтесь, все будет хорошо.

Такие вот мысли лезут в голову, когда вас таранит "боинг". Что противно оказаться в такой клюкве. Не думаешь ни о чем, просто вцепляешься в подлокотники. Не веришь своим глазам. Надеешься, что все происходящее неправда. Тело жаждет быть обманутым. Раз в жизни хочется, чтобы чувства подвели, чтобы глаза солгали. Конечно, я бы предпочел сказать, что первым делом ринулся к Джерри и Дэвиду, но это неправда. Я не бросился их защитить. Пряча голову под стол, я думал лишь о своей жалкой персоне.

8 час. 46 мин.

Теперь мы довольно точно знаем, что произошло в 8 часов 46 минут. "Боинг-767" компании "Американ эрлайнз" с 92 пассажирами на борту, считая 11 членов экипажа, врезался в северный фасад башни № 1 на высоте 94–98-го этажей, и пламя от его 40 000 литров керосина немедленно охватило офисы Marsh & McLennan Companies. Это был рейс AA 11 (Бостон–Лос-Анджелес), самолет вылетел из аэропорта Логан в 7.59 и шел со скоростью 800 км/ч. Мощность удара оценивалась в 240 тонн тротилового эквивалента (удар с амплитудой 0,9; продолжительность 12 секунд). Известно также, что из тысячи трехсот сорока четырех человек, оказавшихся в ловушке на верхних этажах, не выжил никто. Само собой, эта информация лишает мою книжку всякого саспенса. Тем лучше: это не триллер; просто попытка, быть может, обреченная на неудачу, описать неописуемое.

1. Папа, смотри! Видишь самолет? (*англ.*)

Бытие. XI:1–3.

На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину, и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей, и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.

8 час. 47 мин.

Когда у вас под ногами в здание врезается "боинг" компании "Американ эрлайнз", то первым делом вы ощущаете две вещи. Для начала небоскреб превращается в метроном, и я вас уверяю, когда первая башня Всемирного торгового центра воображает себя Пизанской, результат получается весьма своеобразный. То, что на языке специалистов называется "взрывной волной", создает у вас впечатление, будто вы на корабле в страшный шторм, а если поискать метафору, понятную моим детям, это все равно что на 3–4 секунды попасть в гигантский шейкер для молочных коктейлей. Стаканы с соком летят на пол, настенные светильники отваливаются и повисают на проводах, деревянные натяжные потолки проваливаются, а с кухни доносится грохот падающих тарелок. Бутылки из бара катятся по полу и взрываются. Букеты подсолнухов падают, и вазы разлетаются на тысячу кусков. Ведерки с шампанским опрокидываются на палас. Тележки с выпечкой катятся между столиками. Лица ходят ходуном, и стены тоже.

Во-вторых, когда за стеклом проносится огненный шар, у вас начинают гореть уши, а потом все заполняет плотный черный дым, он лезет отовсюду, через пол, через стены, шахты лифтов, вентиляционные решетки; оказывается, вокруг уйма отверстий, по которым должен поступать чистый воздух и которые теперь делают нечто прямо противоположное: ибо система вентиляции становится системой фумигации. Все сразу начинают кашлять и закрывать рот столовыми салфетками. На сей раз я вспомнил о существовании Джерри и Дэвида и протянул им две салфетки, смоченные в апельсиновом соке; мы все трое сидели на корточках под столом.

– Дышите через ткань, это тест, в Нью-Йорке такое часто бывает, у них это называется fire drill, учебная тревога. Не бойтесь, милые, это скорее забавно, правда?

– Папа, это в башню влетел самолет? ПАПАЧТОСЛУЧИЛОСЬ?

– Да нет же, – я улыбаюсь, – не волнуйтесь, мальчики, это трюк, я не хотел портить вам сюрприз: это новый аттракцион, самолет – это трехмерный фильм, Джордж Лукас придумал спецэффекты, они тут каждое утро устраивают ложную тревогу, а вы и попались, да?

– Но папа, вокруг все трясется, даже официанты воют от страха...

– Don't worry[1], они раскачивают ресторан гидравлическими домкратами, как в луна-парке. А официанты – актеры, это старый прием, статистов сажают среди посетителей, как в "Пиратах Карибского моря"! Помнишь "Пиратов Карибского моря", Дэйв?

– Угу, папа. А как этот аттракцион называется?

– "Адская башня", "Tower Inferno".

– А, ну ладно... Блин, прямо веришь...

1. Без паники (*англ.*).

— Дэйв, не надо говорить "блин", даже в адской башне, ОК?

Джерри, похоже, не шибко поверил в мои сказочки, но это было первое, что пришло мне в голову, я сказал себе, что надо стоять на своем, иначе он немедленно начнет реветь. А если Джерри заревет, то я, наверно, тоже зареву, а тогда и Дэвид последует нашему примеру. Но Дэвид никогда в жизни не плакал; стоит ли начинать сейчас?

— Потрясающие трюки, согласитесь: и дым отовсюду, и подсадные клиенты, паникующие за деньги, классно устроено, просто суперски!

Люди вокруг стояли и глядели друг на друга, окаменев от ужаса. Некоторые, из тех, кто, вроде нас, спрятался под столик, теперь поднимали головы, чуть смущенные своим негеройским поведением. Оладьи Дэйва валялись на полу, усеянные осколками фарфора. Кленовый сироп из горшочка вытекал на ковер меж опрокинутых стульев. За "Окнами в мир" теперь ничего не было видно: все заслонила плотная черная завеса. Настала ночь, Нью-Йорк исчез, а снизу доносился гул. Я точно знаю, что у всех нас была в голове одна мысль, ее довольно удачно выразил шеф-повар:

— We've got to get the hell out of here[1].

В конечном счете я бы предпочел оказаться в одном из этих дурацких фильмов-катастроф. Потому что у большинства счастливый конец.

8 час. 48 мин.

Вот как еще можно было бы назвать ресторан Всемирного торгового центра:

"Windows on the Planes"
"Windows on the Crash"
"Windows on the Smoke"
"Broken Windows"[2].

Простите за этот приступ черного юмора, мимолетное убежище от кошмара.

"Нью-Йорк таймс" собрала несколько свидетельств о той минуте в "Windows on the World". На пленках двух любительских видеокамер видно, с какой ошеломительной скоростью дым распространяется по верхним этажам. Как ни парадоксально, ресторан задымлен гораздо сильнее этажей, расположенных непосредственно над местом взрыва, потому что дым сгущается на высоте нескольких десятков метров. Сохранилась запись телефонного разговора Раджеша Мирпури из Data Synapse со своим боссом Питером Ли. Он кашляет и говорит, что в пяти метрах ничего не видно. Ситуация стремительно ухудшается. В Cantor Fitzgerald (104-й этаж) огонь перекрывает выход на лестницу. Служащие укрываются в офисах северного фасада, полсотни человек находятся в конференц-зале.

В тот момент многие еще считают, что это несчастный случай. Судя по многочисленным свидетельствам, до 10.28, когда здание обрушилось, большинство оставалось в живых. Они мучились 102 минуты: столько в среднем длится голливудский фильм.

Вот отрывок из "Наоборот" Гюисманса:

1. Надо сваливать отсюда к чертовой матери (*англ.*).
2. "Окна на самолеты"; "Окна на катастрофу"; "Окна на дым"; "Разбитые окна" (*англ.*).

Великая американская каторга переместилась в Европу. Конца и края не стало хамству банкиров и парвеню. Оно сияло, как солнце, и город простирался ниц, поклонялся ему и распевал непотребные псалмы у поганых алтарей банков!

— Эх, сгинь же ты, общество, в тартарары! Умри, старый мир! — вскричал Дез Эссент, возмущенный картиной, которую сам себе нарисовал[1].

Так я и знал! Настоящий виновник теракта — не Усама бен Ладен, а этот мерзавец Дэз Эссент. Я давно чуял, что этот денди-декадент какой-то подозрительный. Открыв для себя эстетику нигилизма, испорченные дети замышляют массовые убийства. Отныне у всех эксцентричных молодых людей, с усмешкой исповедующих ненависть, манишки запятнаны кровью. Ни одна химчистка не выведет брызги гемоглобина с их изысканных жилетов. Дендизм бесчеловечен. Эти эксцентрики слишком трусливы, чтобы перейти от слов к делу, и предпочитают убивать других, а не самих себя. Они убивают дурно одетых. Дэз Эссент своими холеными белыми руками убивает невинных людей, все преступление которых в том, что они заурядны. Его снобистское презрение — огнемет. Как мне заслужить прощение за то, что на странице 201 предыдущего романа я убил пожилую даму из Флориды? Думаешь, будто указываешь на невольных убийц — анонимные и безликие пенсионные фонды, виртуальные структуры. Но в конечном счете кричат, молят и истекают кровью живые люди. Конец света — это миг, когда сатира становится реальностью, когда метафоры реализуются буквально, а карикатуристы чувствуют себя сопляками.

8 час. 49 мин.

Первая мысль — мобильник. Но поскольку это именно первая мысль, она приходит в голову всем одновременно, и сеть перегружена. Исступленно давя на зеленую кнопку повторного вызова, я продолжаю уверять мальчишек, что эта удушающая тьма — детские игрушки.

— Вот увидите: они сейчас понарошку пришлют спасательную команду, это будет классно! Здорово они сделали это черное облако, похоже, правда?

Любовники-брокеры глядят на меня с жалостью.

— Fuck! — говорит блондинка от Ральфа Лорена. — Пошли-ка подальше из этой вонючей парилки.

Брюнет встает и бросается к лифтам, таща подружку за руку. Я несусь следом, в каждой руке по сыну. Но лифты вышли из строя, out of order. За стойкой рыдает администраторша:

— Меня не учили, как действовать в таких ситуациях... Надо выходить по лестницам... Следуйте за мной...

Большинство клиентов “Windows on the World” не стали ее ждать. Они сгрудились на полной дыма лестничной площадке. Все кашляют без остановки, один за другим. Чернокожий охранник блюет в урну. Он уже попытался спуститься на четыре этажа.

— Я только что снизу, все задымлено, не ходите, там все плавится!

Но мы идем. Дезорганизация полная: взрыв уничтожил все системы сообщения с внешним миром. Я оборачиваюсь к Джерри и Дэвиду, они начинают хныкать.

1. Перев. Е. Л. Кассировой.

— В общем так, дети, если мы хотим выиграть эту партию, главное — не дать понять, что нас сделали. Значит, без паники, пожалуйста, иначе нас уничтожат. Вы идете с папой, попробуем спуститься. Вы уже играли в ролевые игры вроде "Замков и драконов"? Побеждают те, кому удалось лучше надуть противника. Малейшие признаки страха, и игра проиграна, got it?[1]

Братья вежливо кивают.

Оказывается, я забыл себя описать. Я был очень красив, потом просто красив, потом ничего себе, а сейчас выгляжу довольно-таки средне. Я много читаю, подчеркивая понравившиеся фразы (как все самоучки; потому-то самые образованные люди часто бывают из самоучек: они всю жизнь стремятся сдать не сданный когда-то экзамен). В хорошие дни я внешне похож на актера Билла Пуллмана (президент Соединенных Штатов в "Дне независимости"). В плохие — скорее на Робина Уильямса, если только он согласится сыграть роль техасского риэлтора с неуклюжей походкой, намечающейся лысиной и удручающими морщинками в уголках глаз (просто слишком много бываю на солнце, yeah). Через несколько лет стану достойным кандидатом в шоу "Двойники Джорджа У. Буша", то есть, конечно, если выберусь отсюда.

Джерри — мой старший сын, поэтому он такой серьезный. У первенцев всегда все в первый раз. Мне нравится, что он все понимает буквально. Я могу заставить его поверить в любую чушь, он проглотит, а потом будет сердиться, что я его обманул. Прямой, искренний, смелый: Джерри такой, каким должен был быть я сам. Иногда мне кажется, что он меня ненавидит. Наверно, я не оправдываю его ожиданий. Тем хуже; такая уж судьба у отцов — разочаровывать детей. Даже у Люка Скайуокера отец — Дарт Вейдер! Джерри точно такой, каким я был в его возрасте: верит в привычный порядок вещей, беспокоится, чтобы все шло как надо. С иллюзиями он расстанется позже. Я ему этого не желаю. Надеюсь, у него всегда будут такие же честные синие глаза. Ты мне нужен, Джерри. В свое время дети считали родителей образцом. Теперь наоборот.

Дэвид на два года младше и, конечно, сомневается во всем: в своей светлой шевелюре с челкой, в том, что нужно ходить в школу, в существовании Деда Мороза и братьев Хэнсонов[2]. Он почти не раскрывает рта, разве что захочет довести брата. Вначале мы с Мэри боялись, что он не совсем нормальный: он ни разу в жизни не плакал, даже когда родился. Он ничего не требует, ничего не говорит и красноречиво молчит; подозреваю, что думает он от этого не меньше. Он проводит все время за компьютерными играми и иногда обыгрывает машину. Любимое его занятие — дразнить Джерри, но я знаю, что он отдаст за него жизнь. Что бы он делал без братана? Наверно, черт знает что, как я с тех пор, как уехал от старшей сестры. Дэвид грызет ногти на руках и, когда сгрызает напрочь, покушается на ногти на ногах. Если бы ногти росли в других местах — на носу, на локтях или коленях, — он бы и их грыз, будьте покойны. Все это он проделывает молча. Ребенок, который никогда не плачет, — это идеальный вариант, я не жалуюсь, и все-таки временами это несколько скучно. Мне очень нравится, как он чешет затылок, изображая работу мысли. Мне сорок три года, и недавно я стал ему подра-

1. Ясно? (*англ.*)
2. Намек на шумный успех первого альбома, записанного тремя братьями Хэнсонами в 1992 г., когда старшему из них было 11 лет, а младшему — 6.

жать. О том и речь: родители копируют детей. А вы знаете лучший способ оставаться молодым? Дэвид – непоседливый, ворчливый, тщедушный, бледный и мрачный мизантроп. Он напоминает мне моего отца. Впрочем, может, это он и есть! Джерри – моя мать, а Дэвид – отец.

– МАМА! ПАПА! БЕГИТЕ КО МНЕ!

– Эй, Дэйв, ни фига себе, – говорит Джерри растерянно, – старик спятил.

Дэвид поглядел на меня, насупившись, но, как всегда, ничего не сказал. Мы только что спустились на 105-й этаж.

8 час. 50 мин.

Они не знают, а я, сегодняшний, знаю (что ни в коей мере не ставит меня выше их, именно что ниже): "боинг" разрушил все выходы, лестницы завалило, лифты расплавились; Картью с сыновьями просто-напросто заперты в горящей печи.

Подпись: Господин Всезнайка. (По-английски – Mister Know-it-all.)

Башня "Монпарнас" была построена в 1974 году, почти одновременно со Всемирным торговым центром. Общая площадь: 10,5 гектара. Площадь каждого этажа: 2011 м^2. 103 000 м^2 офисов, 30 000 м^2 магазинов, 16 000 м^2 архивов и хранилищ, 100 000 м^2 общественного назначения, 21 000 м^2 служебных помещений, стоянка на 1850 мест. Ширина: 32 м. 25 лифтов и 7200 окон. Вес: 120 000 тонн. Фундамент: 56 свай, уходящих на глубину 70 м, между четырьмя линиями метро.

Вот почему это здание в 8.50 утра внушает мне панический страх. Честное слово, после Одиннадцатого сентября я смотрю на башню "Монпарнас" другими глазами, как на залетный космический корабль, ракету, готовую взмыть в воздух. Последняя кегля в кегельбане. А вы знаете, что, когда "Мэн-Монпарнас" только проектировали, Помпиду хотел возвести две одинаковые башни? Этот вопрос долго муссировали, потом он передумал.

В лицее Монтеня моим врагом была дисциплина, коллективистское воспитание, бесконечные нудные лекции, зеленая тоска капиталистической демократии. Бунт казался более романтичным. Я восхищался, глядя по телевизору на подвиги "Аксьон директ". Вот они были свободны, они взрывали бомбы, похищали разжиревших эксплуататоров. Натали Менигон[1] была сексапильнее Алис Сонье-Сеите[2]. В классе высшим шиком считалось обмотать шею палестинским платком, но я ходил в костюме от "Берберри"; а ты говоришь – бунтарь. Терроризм был куда гламурнее, чем контрольная по истории в пятницу. Мне бы бежать, жить в подполье, но заброшенные дома отапливались явно хуже, чем материнская квартира. В лицее Людовика Великого я уже глотал один за другим революционные манифесты, но продолжал учиться. Так было выгоднее по всем пунктам: меня не будет ловить полиция, я не окончу свои дни за решеткой, зато смогу цитировать Рауля Ванегейма и казаться крутым. Я был рекламный бунтарь, безалкогольный, как Canada Dry: бунтарская

1. Натали Менигон – активистка левой террористической группы "Аксьон директ", совершившая в 1986 г. вместе с Жоэль Оброн покушение на генерального директора фирмы "Рено" Жоржа Бесса, которого они застрелили несколькими выстрелами в упор.
2. Алис Сонье-Сеите (1925–2001) – министр высшего образования Франции в 1978–1981 и 1989–1995 гг.

окраска и бунтарская внешность при полном отсутствии бунта. Позже один американский журналист придумал сокращенное обозначение *Б*уржуазной *Бо*гемы: он окрестил их "бубонами". Я же готовился стать *Бо*гатым *Бу*нтарем: "бобуном".

8 час. 51 мин.

Удача (если тут вообще можно говорить об удаче): на 105-м этаже мобильник ловит сеть. И звонит у Мэри.

— Хэлло!

— Мэри? Это Картью. Прости, мы сильно кашляем, но с детьми все в порядке, мы попытаемся выбраться отсюда.

— Картью? Почему ты говоришь шепотом? И что, собственно, ты имеешь в виду?

— Случилась катастрофа, но я внушаю мальчикам, что это аттракцион. Включи телевизор, сразу поймешь.

Молчание, звук шагов, я слышу, как она включает телевизор, потом резкий вскрик: "Oh Lord, tell me this is not happening"[1].

— Картью, только не говори мне, что вы там, наверху!

— Черт, ты же сама велела мне будить их пораньше, чтобы они не отвыкли от школьного режима! Честное слово, я бы предпочел быть в другом месте. Я его видел, Мэри, я ВИДЕЛ, как этот сукин сын самолет врезается под нами! Становится жарко, всюду дым, но с мальчиками все ОК, не отключайся, Джерри хочет с тобой поговорить.

— Ма?

— О, мой дорогой, все в порядке? У тебя ничего не болит? Последи за братиком, хорошо?

— Мам, этот аттракцион, он совсем не прикольный, и вообще тут воняет, даю тебе Дэйва.

— ...

— Дэвид?

— Кха-кха! — кашляет. — Мама, а Джерри не дает мне свой фотоаппарат!

— Ладно, Мэри, это опять Картью. Попробуй выяснить, выслали ли уже спасателей, отсюда невозможно дозвониться до администрации. Тут вообще на хрен нет плана эвакуации! Перезвони, до скорого.

Мы по-прежнему на лестничной клетке, освещенной неоновыми лампами, в толпе, спускающейся по ступеням примерно так же организованно, как стадо баранов, которых гонят на бойню. Солженицын сравнивал заключенных ГУЛАГа с ягнятами. Бе-е-е-е. Какой маразм — привести сюда мальчишек, тут же с самого начала была скучища, и для них, и для меня... Вечно надо что-то делать через силу якобы из лучших побуж-

1. О Боже, скажи, что это неправда (*англ.*).

дений... Вот нам наказание за то, что не повалялись в постели. Вы поглядите на них, на этих ранних пташек, свежевыбритых, при галстуках, на этих чересчур надушенных working girls, на усердных читателей "Уолл-стрит джорнал"... Лучше бы вы все не вылезали из койки.

— Как дела, ребятки? Главное, закрывайте салфеткой нос и рот. И не касайтесь перил, они раскаленные.

Наше молчаливое стадо все растет, на каждом этаже к нам присоединяется новая когорта обезумевших серых троек и розовых дамских костюмов. Мы перешагиваем через обломки натяжного потолка, загораживающие проход. Жара убийственная. Иногда кто-нибудь поддерживает соседа или плачет, но большинство молчат, кашляют, надеются.

8 час. 52 мин.

Мои родители встретились на баскском побережье, но почти сразу уехали учиться в Америку. Сегодня никто уже не помнит, насколько американские университеты, в частности бизнес-школы, привлекали блестящих дипломированных французов. Так что мой отец улетел в Гарвард получать диплом MBA (как позднее Джордж У. Буш), мама полетела с ним и не теряла времени зря, получив степень магистра истории в Маунт-Холуок колледже. Америка 50-х — как черно-белое документальное кино. Американская мечта охватила весь остальной западный мир. Длинные "кадиллаки" с крылышками, широченное мороженое, пакетики попкорна в кинозалах, переизбрание Эйзенхауэра: магические символы совершенного счастья. То была Америка сбывшихся надежд, райская страна, описанная загорелым красавцем Филиппом Лабро. В то время отторжение еще толком не возникло. Никто не считал гамбургеры из "Макдоналдса" фашистскими. Отец хохотал над шутками Боба Хоупа по телевизору. Они ходили в боулинг. Буржуазная молодежь придумывала глобализм. Она верила в Америку — воплощение новизны, эффективности, свободы. Десять лет спустя это поколение проголосовало за Жискара, потому что он был молод, как Джон Кеннеди и Серван-Шрайбер. Блестящие, целеустремленные, простые в обращении люди. Наконец-то мы избавимся от бремени европейского воспитания. Стремиться к цели. Идти напрямик. Никуда не сворачивая. Первый вопрос, который вам задают в Соединенных Штатах — "Where are you from?"[1], потому что все откуда-то приезжают. А потом говорят: "Nice to meet you"[2], потому что любят встречать незнакомцев. Если вас в США приглашают в гости, вы можете сами брать что угодно из холодильника, не спрашивая разрешения у хозяйки дома. От этого времени остались некоторые выражения, которые я часто слышал дома: "put your money where your mouth is", "big is beautiful", "back-seat driver" (мое любимое, мама выдавала его в машине, когда мы действовали ей на нервы на заднем сиденье), "take it easy", "relax", "give me a break", "you're overreacting", "for God's sake"[3]. Капиталистическая утопия была такой же идиотской, как и коммунистическая, но насилие в ней было неявным. Благодаря своему образу она и победила в холодной войне: конечно, лю-

1. Откуда вы? (*англ.*)
2. Приятно познакомиться с вами (*англ.*).
3. "Молчание — золото", "чем больше, тем лучше", "не отвлекай водителя советами", "не бери в голову", "расслабься", "отвяжись", "не принимай так близко к сердцу", "ради Бога" (*англ.*).

ди подыхали с голоду и в Америке, и в России, но у тех, кто подыхал в Америке, была свобода выбора.

Это происходило задолго до 68 года: Битлы еще носили короткие волосы. Помнится, родители часто говорили, что Америка обгоняет Францию на десять лет. Даже Французская революция и та случилась через десять лет после их революции! Если хочешь узнать свое будущее, не своди глаз с этой идиллической страны. Отец читал "Геральд трибюн", "Тайм", "Ньюсуик" и прятал в ящике письменного стола "Плейбой". CNN еще не существовало, но "Тайм мэгэзин" с его красной каймой на обложке был вроде CNN, отпечатанной в четыре краски. Мать получила стипендию на автобусное путешествие по Америке. Она рассказывала мне о морских ветрах, о приключениях на хайвее, о мотелях, "бьюиках", киношках на открытом воздухе, драгсторах, вагонах-ресторанах, радиостанциях, все названия которых начинались на W. Весь мир смотрел на Америку с завистью, потому что на будущее всегда смотрят с завистью. Май 68 года пришел не с Востока: все много спорили о Троцком и Энгельсе, но самое сильное влияние шло с Запада. Я убежден, что Май 68-го — дело не столько СССР, сколько США. Самым сильным желанием было взорвать к черту старые буржуазные условности. Май 68-го был не бунтом против капитализма, а, наоборот, окончательным утверждением общества потребления; огромная разница между нами и нашими родителями состояла в том, что родители устраивали демонстрации *за* глобализм! Я вырос в следующее десятилетие, под благожелательной сенью звездно-полосатого флага, реющего на Луне, и афиш "Снупи" Шульца. Фильмы там выходили раньше, чем у нас, отец привозил новинки из деловых поездок: игрушки из "Маппет-шоу", из "Звездных войн", куклу Ити... Именно в эти годы, годы моего беспамятного детства, Американское Зрелище стало соблазном для остального мира.

Надеюсь, Америка так и будет обгонять нас на десять лет: значит, у башни "Монпарнас" есть еще десять лет жизни.

8 час. 53 мин.

Со 104-го этажа, сквозь черный дым, мне видна толпа людей, бегущих к морю. Человеческая лавина устремляется прочь от башен. Чего они ждут, почему не организуют эвакуацию? Нам не дали никаких указаний. На лестнице, на уровне Cantor Fitzgerald, дым становится невыносимым — ядовитым, плотным, липким и черным, как нефть (впрочем, так оно и есть). Из-за него и из-за жара мы повернули назад. Парочка трейдеров попадает в объятия измазанных сажей коллег. Этаж залит: противопожарная система плюется струями воды. Всех окатывает с головы до ног. Ступеньки покрыты водой; Дэвид, играя, прыгает в ручей, чтобы сделать "плюх".

— Потише! Поскользнешься и нос разобьешь!

Джерри держит его за руку.

— ОК, это ловушка, не надо было спускаться, Джерри, может, поднимемся обратно, как ты думаешь? Ну и аттракцион, просто полоса препятствий.

— Ммгпфгммз...

Я не понимаю, что он говорит под своей почерневшей салфеткой. Но он кивает в знак согласия. Мы поворачиваем оглобли. Джерри — мой любимчик по нечетным дням, Дэвид по четным. Следовательно, сегодня я предпочитаю Джерри, особенно за то, что он верит мне на слово, когда я объясняю, что это просто фарс, обман зрения; а вот Дэвид молчит, но все понимает. На обратном пути в людском потоке попадается все больше перепуганных лиц; какой-то человек перед нами разражается нервным смехом, размахивая пустым пожарным шлангом (наверно, самолет частично перерезал системы канализации). Напряжение растет, надо усилить напор. Я заслужил премию Американской академии! Сжимая в каждой ладони по детской руке, я разыгрываю из себя папашу Кураж.

— По-моему, отлично придумано — устроить репетицию в натуре, теперь люди будут готовы, если на самом деле случится пожар. Это хороший метод информации. Видите, нас учат, что при пожаре надо не спускаться, а подниматься. Очень поучительная игра.

И вдруг Дэвид открывает рот, пристально глядя на потоки, струящиеся по ступеням.

— Пап, а помнишь, когда мы ходили в Далласе на родео, там один ковбой упал с быка и поранился?

— Э-э, да-да...

— Ну вот, помнишь, ты нам сказал, что с ним, с этим парнем, все в порядке, что так и было задумано, чтобы он упал, это входит в программу, и он профессиональный каскадер и все такое, а на следующий день мы видели этого ковбоя по телевизору, он был в инвалидной коляске, а в газете написали, что он теперь паранытик?

— Паралитик, Дэйв. Паралитик, а не паранытик.

— Ну да, этот ковбой, он стал паралистик.

Лучше бы Дэвид ничего не говорил. Джерри взорвался; это был не бунт, а целая революция:

— Папа, нечего нас уверять, что тут все подстроено: let's face it — this time it's for real[1].

Дэвид, Джерри, милые мои мальчики, как быстро вы выросли.

— ОК, ОК, ребята, возможно, я ошибся, наверно, это не просто игра, я не настаиваю, но все-таки давайте спокойно поднимемся, скоро прибудут спасатели, so keep cool[2].

Я произнес это, возведя очи горе, чтобы показать, что не верю ни единому своему слову, и пробормотал погромче, как будто говорил сам с собой:

— Это я виноват, если мальчишки к тому же верят, что весь этот маскарад взаправду, я буду выглядеть в глазах других участников настоящим идиотом... Ну так тем хуже!

Дэвид, маленький мой. Tough guy[3]. Настоящий техасец, честное слово, а я только старый трюкач. Мы возвращаемся на 105-й этаж. Людское стадо нерешительно топчется в клетках с лимонно-желтыми свежепокрашенными стенами. Кнопки лифтов "вверх-вниз" растерянно мигают. Вот ведь проблема: умереть быстро или умереть медленно? С нижних этажей доносится тревожный вой сирен, они целы и рвут нам уши. Грохот адский, жар усиливается каждую секунду. Внезапно, с 30-й попытки, сеть снова ловится: я звоню Кэндейси. Она, наверно, спит, я сбрасываю ей месседж на автоответчик.

1. Давай смотреть правде в глаза — в этот раз все не понарошку (*англ.*).
2. Поэтому не волнуйтесь (*англ.*).
3. Крепкий парень (*англ.*).

— Я знаю, ты мне не поверишь, но я люблю тебя. Когда проснешься, поймешь, почему я впал в романтизм с утра пораньше.

Я снова шепчу, чтобы дети не слышали:

— It doesn't look good, babe[1]. Какой я был дурак. Если мы выберемся, я на тебе женюсь. Кончаю, потому что попытаюсь дышать за нас троих. Love, Carthew.

8 час. 54 мин.

Пятнадцать лет назад я тоже побывал в "Windows on the World", только не с утра. Это было поздним вечером, в июле 1986 года. Огни Торгового центра служили мне звездой волхвов. Мне было двадцать лет, я проходил стажировку в нью-йоркском отделении "Креди Лионнэ" (Уолл-стрит, 95), в аналитическом отделе. Главным моим занятием во время этой стажировки было спать в конторе, но так, чтобы не заметил Филипп Сувирон, глава филиала, приятель моего отца. В то время "Windows on the World" после полуночи превращался в логово всяких негодяев, причем название у него было действительно наглое: "The Greatest Bar on Earth". "Лучший бар на свете" устраивал по средам тематические вечера: латиноамериканская музыка, битбокс, электрик буги, с диджеями и целой оравой мелких подонков вроде меня, ну да ладно, ресторан к тому времени уже закрывался, а без пиджака по-прежнему не пускали. Мне вспоминается красный бар в форме буквы U и высокомерные бармены. Правда, тот, что в середине, меня привечал, потому что я нечаянно оставил ему слишком большие чаевые (перепутал двадцатидолларовую банкноту с пятидолларовой). Он делал мне двойной "Джек Дэниэлс" с колотым льдом до краев и двумя короткими соломинками, которыми, будь у меня дурь, я бы предпочел воспользоваться иначе. Столики в "The Greatest Bar on Earth" были расставлены на нескольких уровнях, лесенкой, как в "Небе Парижа", и по той же причине: чтобы все клиенты могли любоваться панорамой — грандиозной, ошеломительной, spectacular, — только, к сожалению, нарезанной на куски, потому что высокие застекленные витрины были поделены на прямоугольники метровой ширины. Башни, рожденные мечтой японца (Ямасаки) — он особенно настаивал, чтобы внешние колонны имели ширину человеческих плеч, — изнутри напоминали гигантскую тюрьму. Коварный японец: стальные вертикальные опоры, идущие вдоль башен по всей высоте, заслоняли мне вид, как тюремная решетка (впрочем, только они и не дали им рухнуть: эти параллельные металлические веретена потом торчали на Граунд Зеро наподобие ржавых решеток на развалинах замка XIII века после кровавой битвы или стрельчатых арок готического собора, сожженного варварами).

И все же я пил бурбон за бурбоном, глядя вниз и заранее шатаясь. Я надирался среди мигающих вертолетов в баре, которого больше нет. Неужели я — тот самый человек, что выпендривался там, на верхотуре, пятнадцать лет назад? Мы танцевали в окружении окон под "Into the Groove" Мадонны. Я проливал виски на платья упитанных девиц с Риверсайд-драйв, презиравших bridge-and-tunnel-crowd (таким прозвищем они наградили жителей пригородов, тех, кому нужно было преодолевать мосты и туннели, чтобы попасть на Манхэттен). Я мечтал о судьбе Доналда Трампа, Майка Милкена, Ника Лизона: денег немерено и всегда на виду.

1. Похоже, дело дрянь, малыш (*англ.*).

Я неплохо оттягивался в "Windows on the World"; но прошлое мертво: ничто не доказывает, что то, чего не существует, когда-то существовало.

В тот вечер, когда я поднялся туда, небо над Нью-Йорком было обложено тучами, но башня переливалась огнями. "The Greatest Bar on Earth" плыл над ватным морем. Справа VIP'ы созерцали огни Бруклина, отражающиеся в море, слева не было видно ничего, кроме белого сырого ковра, в точности как из иллюминатора летящего самолета. Всемирный торговый центр был полосатым: вообразите две колонны Бюрена, только высотой в 410 метров. Диджей напустил дыму, белый иней расползался по танцевальной дорожке. Мы танцевали на летучем ледяном ковре.

Нам с моим тогдашним напарником по девочкам, Альбаном де Клермон-Тоннером, повезло: у нас была телка по имени Ли, которую он снял в single bar, одном из знаменитых "холостяцких баров" на Второй авеню, приводивших французов в величайшее возбуждение. Он уговорил ее на любовь втроем, но она опаздывала на свидание.

— Ха, губошлеп! Ему крутанули динамо!

Альбан был не в своей тарелке, и я тоже: опыт любви втроем проезжал мимо носа. Тем не менее после нескольких "Джеков Дэниэлсов" я обнаружил их в тесном поцелуе, он прижал ее к стеклам, которые теперь разбились. Они лизались, и я, пользуясь моментом, погладил груди Ли, сразу затвердевшие под фиолетовым платьем. Она резко обернулась, и что же? Перед ней был длинный зеленовато-бледный детина, утопающий в клетчатом костюме на два размера больше чем надо, бледный прыщавый рахит с длинными сальными волосами, извращенец с торчащим подбородком, обаятельный, примерно как чахоточная гаргулья. В то время как раз свирепствовали первые серийные убийцы, и я был очень на них похож. В этом ресторане, ныне покойном, я казался мертвецом.

— Who's this guy? Are you crazy? Get your fucking hands off me![1]

Только тогда, по растерянному взгляду Альбана, я понял, что план на троих явно не прошел и он предпочел план на двоих. Мне было наплевать, она была брюнетка, вполне ничего, скорее полненькая, она так много работала, что у нее не оставалось времени на серьезные романы; поэтому она ходила в single bars, прекрасно зная, что встретит там одних озабоченных придурков вроде нас. Значит, мне опять придется держать свечку и возвращаться домой не облегчившись, в желтом такси с гаитянином-вуду за рулем. Я вернулся на танцплощадку, которой больше нет. Наверно, вид у меня был кислый; на самом деле меня парализовала робость. Грудастые телки терлись о рубашки от "Брукс бразерс" трейдеров-миллионеров. У меня был еще один плейбоистый приятель, его звали Бернар-Луи; все девицы звали его Белу: Белу-здесь, Белу-там. Я решил держаться к нему поближе. Как утомительно не быть влюбленным: все время надо кого-то соблазнять, а конкуренция жестокая. Ужасно, когда так хочется быть любимым. Думаю, именно в этот момент я решил стать знаменитым.

8 час. 55 мин.

Дым ест детям глаза.

— Закройте салфеткой и глаза тоже. Нос, рот, глаза — все лицо должно быть закрыто, do you read me?[2]

1. Это еще что за чучело? Вы что, спятили? Уберите свои поганые руки! (*англ.*)
2. Понятно? (*англ.*)

И Джерри и Дэвид превратились в Касперов — два маленьких привидения с салфетками на голове, а синее небо Армагеддона уронило на наши щеки первые слезы. Слава богу, салфетки не позволили сыновьям увидеть на 106-м этаже два человеческих факела: горящие трупы перед дверью лифта, красно-коричневая кожа, глаза без век, волосы, превратившиеся в пепел, лица, разодранные в клочья, покрытые пузырями, влившие в расплавленный линолеум. Они еще явно дышали, их животы шевелились. Все прочее было неподвижно, как статуя. Я ничего не сказал детям, и они ничего не заметили, хотя, подозреваю, учуяли запах горелой баранины.

Нужно было взять себя в руки. Простейшее дело — дышать — теперь давалось с великим трудом. Хотя бы из-за невыносимой вони. Жирный, тяжелый дым нес с собой запах горелой резины, жженого пластика, обугленной плоти. Сладковатый запах керосина, пугающий и тошнотворный, костяной порошок и пепел от человеческого мяса. Смесь ядовитого облака, едкого сжиженного газа и крематория: такой запах доносится с какого-нибудь завода, и, проезжая мимо на машине, вы жмете на газ и стараетесь побыстрее удрать. Наверно, так пахнет смерть — если у нее вообще есть запах. Рухнувший потолок не давал подняться обратно в "Windows". Приподнимать бетонную плиту пришлось вдесятером. Наконец мы просочились по одному и вернулись на крышу Города в облаках.

На 107-м этаже официантка и двое братьев, ишачивших на кухне, выбили стекло одноногим столиком. (Информация к размышлению: чтобы выбить огромное стекло, не годится ни кресло, ни компьютер "Макинтош". Лучше всего бить чугунной ножкой столика, используя ее как таран.) Теперь они вывесились из окон в 400 метрах над землей и машут белыми скатертями. Дым совершенно черный и толстый, как пропитанная машинным маслом промокашка. И все же через разрывы хоть немного видно, что происходит снаружи. Больше всего меня поражают листы бумаги формата А4, летающие в небесной синеве: архивы, фотокопии, срочные досье, списки на бланках холдингов, рекомендательные письма, папки с секретными документами, портфолио, распечатки в четыре цвета на лазерном принтере, самоклеящиеся конверты, крафтовые пакеты, этикетки, стопки договоров со скрепками, пластиковые обложки, разноцветные бумажки для заметок, фактуры в четырех экземплярах под копирку, сводные таблицы и графики, — распавшийся бумажный круговорот, разлетевшаяся канцелярия, вся наша якобы важная суета. Тысячи летящих бумажек напоминают фонтаны конфетти и серпантина, которые американцы обожают устраивать во время грандиозных праздничных шествий на Бродвее. Вот только какой сегодня праздник?

Бытие. XI:4.

И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя...

8 час. 56 мин.

Все мы точно знаем, где находились 11 сентября 2001 года. Лично я давал интервью "Culture Pub", в подвале издательства "Грассе"; в 14.56 по французскому времени ведущему Тома́ Эрве сообщили по сотовому, что в одну

из башен Всемирного торгового центра только что врезался самолет. Тогда мы оба решили, что это маленький спортивный самолетик, и продолжили беседу. Мы говорили о маркетинге в культуре. Как выпустить книгу? Надо ли подчиняться правилам игры и насколько? Являются ли телевидение, реклама, промоушн врагами искусства? Всегда ли письменный текст — соперник видеоизображения? В то время я только что согласился вести еженедельную литературную передачу на модном телеканале. Я пытался объяснить свой противоречивый имидж писателя-критика-ведущего:

— Задача книг — описать то, чего нельзя увидеть по телевизору... Литература в опасности, нужно встать на ее защиту, это война... Людей, любящих читать и писать, все меньше, поэтому им приходится сражаться на всех фронтах... Использовать все имеющееся в распоряжении оружие, чтобы защитить книгу...

...когда внезапно пришел кто-то из издательства и сказал, что вторую башню Всемирного торгового центра протаранил второй самолет. Мои военно-литературные разглагольствования принимали комический оборот. Помню, я произнес вслух весьма простое (хотя и далекое от Евклида) математическое уравнение:

1 самолет = 1 несчастный случай

2 самолета = 0 несчастных случаев.

Мы с Тома оба согласились, что моя борьба-в-защиту-писательского-искусства-от-давления-средств-массовой-информации подождет. Мы поднялись на второй этаж, в кабинет Клод Далла Торре, одной из пресс-атташе издательства: у нее единственной работал телевизор. TF1 транслировал LCI, который транслировал CNN: было видно, как второй самолет направляется прямиком на уцелевшую башню; второй небоскреб был похож на олимпийский огонь или на торнадо, как на афише "Смерча". Молодые ведущие выпуска выглядели недоумками. Они старались как можно меньше говорить и торчали для мебели на переднем плане, чтобы не сморозить какую-нибудь глупость, которую потом будут повторять ближайшие лет тридцать. Скоро кабинет Клод оказался набит битком: у Грассе любой предлог годится, лишь бы не работать. На происходящее каждый реагировал по-своему.

Самовлюбленный: — Ну и ну! А я-то был там, наверху, меньше месяца назад!

Статистик: — Боже, сколько же народу там внутри? Наверно, тысяч двадцать погибло!

Изгой: — Теперь, я чувствую, в ближайшие месяцы все легавые будут цепляться к моей иностранной физиономии.

Беспокойная дама: — Надо обзвонить всех наших тамошних друзей, выяснить, как они.

Лаконичный: — Н-да, ну, это уже не смешно.

Агент по маркетингу: — Это замечательно для рейтинга, надо купить время на LCI!

Вояка: — Мать вашу, да ведь это Третья мировая война.

Сторонник мер безопасности: — Надо, чтобы в каждом самолете были полицейские и бронированные кабины для пилотов.

Пророк: — А, ну об этом я давно говорил, и даже писал.

Журналист: — О-ля-ля, мне надо срочно сделать комментарий для "Europe 1".

Узколобый антиамериканист: — Вот что выходит, когда хотят править всем миром.

Фаталист: — Рано или поздно это должно было случиться.

Минуты шли, а мы все смотрели и смотрели, как загипнотизированные, на одну и ту же повторяющуюся картинку: рейсовый самолет врезается прямо в башню (он не пытался ее обогнуть, он *целил* в нее, словно его притягивало магнитом, и башня заглатывала его, изрыгнув оранжево-черный огненный шар), шутки иссякли, лица вытянулись, люди садились, звонили сотовые, под глазами залегали тени. Громада трагедии постепенно наваливалась на наши плечи. Мы все горбились. Короче, когда третий самолет упал на Пентагон, уже никто ничего не говорил. Ни хрена себе, небо буквально обрушилось им на голову. Остальное вы знаете: когда обвалилась Южная башня, а за ней, в 16.30 по французскому времени, Северная, вокруг царило всепланетное отчаяние. Я был бледен как мел, не помню, попрощался я с Франсуазой Верни, спускаясь по лестнице, или нет. Домой я пошел пешком. В какой-то момент, на улице Сент-Андре-дэз-Ар, зазвонил телефон. Это был Эрик Лорран, коллега-романист, печатающийся в издательстве "Минюи"; он как раз закончил книгу, действие которой происходило в Соединенных Штатах ("Руками не трогать", не слушайтесь заглавия, очень советую почитать). Он сидел без работы и хотел предложить свои услуги в литературной передаче. Уж не знаю почему, но он был не в курсе.

— Прости, Эрик, мне как-то не по себе, ну... Сегодня такой странный день...

— Да? а что случилось? Ты не в порядке?

— Э, ну, обрушились обе башни Всемирного торгового центра, всюду эти самолеты, как снег на голову, Пентагон горит, и все такое...

— Нет, кроме шуток, я серьезно, если есть работа, я бы пошел, я сейчас на жуткой мели.

Он никак не мог мне поверить и был прав. У меня всегда была эта проблема: мне не верили, что бы я ни делал, даже когда я говорил правду. Все потому, что я сколотил состояние, критикуя богачей. Я выглядел циником, который без конца издевается над цинизмом. Даже когда я говорил "Я люблю тебя", мне никогда не верили. Следующий звонок — дочери, я только хочу узнать, где она находится. Хлоя недоступна, мама выключила ее мобильник. Пришлось ждать добрых полчаса, прежде чем мне перезвонила няня: малышка ходила в кукольный театр и смотрела "Трех поросят". Мне повезло: в тот день никакой "боинг" не врезался в Люксембургский сад. По телефону Хлоя рассказала мне о спектакле:

— Это история про волка, он хотел съесть поросят, но они спрятались в каменный домик, и волк их не съел.

Я подумал, что зря мы с пеленок забиваем детям голову всем этим враньем.

8 час. 57 мин.

Концерт для кашля, чихания, перхания и предсмертных хрипов

Странно, почему это не пришло в голову никому из авангардных музыкантов. Даже Джону Кейджу? А ведь у него такое говорящее имя[1]. Мы слушаем концерт для кашля в прозрачной клетке. Я вспоминаю путешествие на остров Реюньон, мы с Мэри возили детей посмотреть на дейст-

1. От *англ.* cage — клетка.

вующий вулкан. Выбросы серы, удушающая жара, Джерри и Дэвид кашляют и плюются; теперь мне казалось, что я очутился там снова. Всемирный торговый центр — это извергающийся вулкан. Когда мы вернулись обратно в "Windows on the World" (107-й этаж), я видел только одно решение проблемы: заткнуть все входы и выходы нашими рубашками и куртками, закрыть противопожарную дверь, затянуть все отверстия мокрыми салфетками, поставить перевернутые столы перед вентиляционными решетками и ждать спасателей. В ресторане с северо-восточной стороны (где меньше дыма) сбились в кучу клиенты из Risk Water Group. Кое-кто, вскарабкавшись на колонны, высовывает голову в окно. Там еще есть место для трех, может, четырех человек, если потесниться и встать друг другу на плечи. Я залезаю на стол и поднимаю Джерри и Дэвида, чтобы они по очереди подышали свежим воздухом. В главном зале и перед стойкой бара дым лежит на земле, словно водоносный пласт.

Люди начинают понимать, что попали в ловушку. Администраторшу и шеф-повара донимают вопросами. Что говорится в планах эвакуации? У вас нет плана здания? Им приходилось чуть ли не с кулаками объяснять, что они сидят в том же дерьме, что и мы. Толстуха-официантка, пуэрториканка по имени Лурдес, помогает мне подносить детей к окну.

— Не волнуйтесь, — говорит она, — нас обязательно спасут. Я была здесь, когда в феврале 93-го взорвалась бомба. Слышите полицейские вертолеты?

— Но как вы хотите чтобы они нас вытащили? Это слишком опасно, они не могут подлететь к фасаду!

— Well, в 93-м они довольно много народу эвакуировали через крышу.

— Damn it! You're right! Gimme a hug![1]

Я обнимаю ее и забираю мальчишек.

— Идемте со мной, Лурдес. Оказывается, мы пошли не в ту сторону: чем пытаться спуститься, надо было подниматься! Пошли, ребята, игра продолжается: все на крышу!

И мы вчетвером вновь устремляемся к задымленным лестницам. Джерри и Дэвид, взбодрившись от свежего воздуха, играют в Битлджуса, размахивая своими салфетками. Но чернокожий охранник не дает нам выйти на лестницу.

— Невозможно, там все полыхает.

— И нет никакого другого способа попасть на крышу?

— Энтони, — говорит Лурдес, — remember 93! We've got to get to the roof[2]. Они наверняка будут снимать нас вертолетами с крыши, может, они нас уже ждут!

Энтони размышляет. У него на руке ожог второй степени, но он размышляет. Рубашка в лохмотьях, но он размышляет. И я даже знаю, о чем он думает: дело пропащее, но нельзя лишать их надежды.

— OK, follow me[3].

Мы идем за ним следом по лабиринту кухонь и офисов самого высокого в мире ресторана. Он огибает смертоносные лестничные клетки, пересекает коридоры, заставленные ящиками с французским вином, и велит нам карабкаться по железной лесенке. Джерри и Дэвид веселятся

1. Черт возьми! Вы правы! Обнимите меня!
2. Вспомни 93 год! Нам надо попасть на крышу (*англ.*).
3. OK, идите за мной (*англ.*).

как сумасшедшие. Со своими белыми салфетками на лицах они похожи не то на бандитов с большой дороги, не то на двух маленьких украинских селяночек. Мы добираемся до 108-го этажа. Не нам одним пришла в голову эта мысль. Скоро нас уже человек двадцать, мы все ищем выход на крышу. Я как одержимый набираю на телефоне 911, чтобы предупредить спасателей. Джерри спрашивает, почему я все время пишу на дисплее телефона сегодняшнее число: 911, 911, 911. Nine Eleven.

– Это совпадение, милый. Просто совпадение.

– А совопадение это что такое? – спрашивает Дэвид.

– Это когда похожие вещи случаются одновременно и все считают, что это нарочно, а на самом деле не нарочно, это называется совпадение, да, папа? – говорит Джерри.

– Да, верно. Это чистая случайность, но легковерные люди считают, что это тайные знаки. Например, вот как сейчас, какой-нибудь простак мог подумать, что это шифровка – то, что сегодняшняя дата совпадает с номером полицейской службы спасения. Что кто-то пытался нас предупредить. Но это, конечно, фигня собачья, просто совпадение.

– А "фигня собачья" – это грубо? – спрашивает Дэвид.

– Да, – отвечает Джерри.

– Тогда нехорошо говорить "фигня собачья", папа.

8 час. 58 мин.

В "Небе Парижа" памятки на случай пожара остались теми же, что и до Одиннадцатого сентября: спускаться по лестницам, сохраняя спокойствие и порядок. А если лестницы разрушены, задымлены, раскалены добела, превращены в печку? Э-э, ну тогда послушно ждать смерти от ожога, удушья или завала. Отлично, спасибо. Проходы на крышу всегда закрыты, чтобы никакой придурок не полез туда ночью с пьяных глаз. Такое уже бывало: однажды, несколько лет назад, целые банды бродяг устроили гулянку на крыше башни. С тех пор здесь устанавливают наблюдение за всяким мало-мальски подвыпившим юнцом.

– В любом случае, – заявил мне один из охранников, – если "боинг-747" врежется в башню "Монпарнас", она сразу развалится пополам, так что вопрос отпадает.

Это обнадеживает. Чтобы отвлечься, я обдумываю важную семантическую проблему: каким глаголом передать, что самолет врезается в здание? "Приземлиться" не подходит, потому что он не касается земли (в английском та же проблема: go to land предполагает наличие земли под колесами шасси). Я предлагаю: "призданиться". Например: "Дамы и господа, – говорит командир экипажа. – Мы приближаемся к пункту назначения и скоро призданимся в Париже. Пожалуйста, верните столики в исходное положение, поднимите спинки кресел и пристегните ремни. Спасибо. Мы надеемся, что ваше путешествие с компанией "Эр Франс" было приятным, и сожалеем, что больше не увидим вас ни на борту нашего самолета, ни в любом другом месте. Приготовьтесь к жесткой посадке".

Тем не менее днем на крышу выйти можно. В отличие от Северной башни Всемирного торгового центра, в башне "Монпарнас" туда водят посетителей за 8 евро. Можно подняться на лифте на 56-й этаж в компании нескольких японцев в черных костюмах и усатого охранника в темно-синем блейзере с золотыми пуговицами. (Меня в детстве тоже так одевали – же-

сткие фланелевые брюки и капитанская куртка, и я строил такие же свирепые рожи.) На 56-м этаже вы попадаете на небольшую выставку, посвященную Парижу, и уже можете любоваться панорамой. Мой взгляд устремляется через стекло на кладбище Монпарнас, я ищу глазами могилу Бодлера, белый камешек в каменном саду. Слева – Люксембургский сад, моя ушедшая юность, которую я пытаюсь продлить, не меняя квартиру, как будто пребывание в одной точке пространства может остановить ход времени. Я уже не молодой, я именно стационарный. В унылом кафетерии ("Бельведер-кафе") усталым провинциалам предлагают стаканчики с горячими напитками. Чтобы попасть на крышу, надо еще подняться по лестнице, пахнущей жавелевой водой (вспоминается бассейн, галдящие школьники, махровые полотенца и вонючие ноги). Я, отдуваясь, преодолеваю последние ступени; мои усилия вознаграждают надписи с обозначением высоты (201 м, 204 м, 207 м). Металлическая дверь выходит в небо. В решетках ограждения свистит ветер. Отсюда видно, как в Орли взлетают самолеты. В центре бетонной крыши нарисован белый круг, чтобы могли "призданиться" вертолеты. Если бы я захотел, я мог бы что-нибудь сбросить вниз, на голову прохожим. Меня бы арестовали за вандализм, или за покушение на убийство, или за непредумышленное нанесение телесных повреждений, повлекших за собой смерть, или за острую шизофрению, беспричинную истерию, буйное помешательство. Далеко-далеко Сакре-Кёр утопает в розовом тумане. На одном из плакатов даже что-то вроде каламбура: "Виды на Париж". Я тоже так умею: меня зовут Фредерик Бельведер. Я спускаюсь обратно в "Небо Парижа". Похожий ресторан есть в Берлине, на вершине телебашни на Александерплац, к тому же он вращается вокруг своей оси, словно музыкальный диск. В 70-х годах весь продвинутый мир непременно хотел обедать в небоскребах, питаться в стратосфере, закусить на высоте было высшим шиком, уж не знаю почему. На этаже с "панорамой" есть кинозал, там показывают старый фильм: виды Парижа с воздуха под унылые звуки флейты. Пленку заедает. Люди в анораках бродят туда-сюда и умирают от скуки. Влюбленная парочка запыхалась, но непременно хочет поцеловаться. Какой-то ребенок зевает; я следую его примеру; впрочем, быть может, это я и есть.

А потом, инстинктивно, без всякой особой причины, мой взгляд обращается в сторону Данфер-Рошро, и я вижу людской поток, сотни тысяч человек, море голов, собравшихся на площади. Самая крупная антивоенная демонстрация за последние полвека; сегодня 15 февраля 2003 года. Вчера Соединенные Штаты выступили против Франции в Совете Безопасности ООН. Президент США хочет воевать с Ираком, как его отец. Президент Франции против. Антиамериканисты ополчаются на франкофобов. Два берега Атлантики поливают друг друга грязью по телевидению. У подножия моей башни чудовищная манифестация тянется от площади Данфер до Бастилии, 200 000 человек шагают по замерзшему бульвару Сен-Мишель, под ледяным небом бульвара Сен-Жермен... В тот же день такие же толпы демонстрантов провозглашали те же лозунги на улицах Нью-Йорка. Я спускаюсь на лифте, чтобы присоединиться к ним. Быть может, я пособник агрессора, трус, антисемит и петэнист, как именуют сегодня противников войны в американской прессе? Обернувшись к монолиту из дымчатого стекла, в котором отражаются солнечные лучи, я решаю переименовать башню "Монпарнас". В отличие от башен-близнецов я буду называть ее Одинокая башня. Этот скругленный прямоугольник, в форме

обрезанного с двух концов миндального ореха, этот одинокий, смешной маяк высится посреди ресторанчиков с кус-кусом и лотков с арабскими колбасками. На улице Депар мне попадается множество выходцев из Магриба — как раз там, где "Уолт Дисней пикчерз" расписала целую стену рекламой "Книги джунглей-2". Медведь Балу отплясывает с Маугли на десятиметровом фасаде, окутанный запахом шеш-кебабов. Демонстранты несут плакаты: STOP THE WAR[1]. Действие диснеевского фильма происходит в индийских джунглях, ставших английской колонией. Но в книге есть мораль, которой нет в мультфильме: "С тех пор в джунглях действует не только закон джунглей". Киплинг, вернись, они сошли с ума!

8 час. 59 мин.

О господи, высокий рыжеволосый тип съехал с катушек. Он вопит изо всех сил, но что — непонятно. С него градом льется пот. Чтобы дети не распсиховались, я решаю снова вернуться к теме аттракциона. Оставляя их с Лурдес, я подмигиваю ей, чтобы она включилась в игру.

— Простите, Лурдес, можно попросить вас об одном одолжении? Так вот: дети не хотят верить, что мы участвуем в аттракционе, они ничего не знают о "Tower Inferno", короче, окажите мне любезность, присмотрите за ними минутку, а мы с Энтони пока разведаем дорогу на крышу. Дети, вы будете вести себя хорошо, обещаете?

— Обещаем.

— И не обращайте внимания на господина, который кричит, это просто актер, и он очень плохо ломает комедию.

— Почему тебя зовут Лурдес? — спрашивает Дэвид.

— Заткнись, Дэйв, — говорит Джерри.

— Дети, — говорит Лурдес, — лучше бы вам держать язык за зубами, потому что я здесь работаю и могу вам сказать, что обычно мы не пускаем мальчиков вашего возраста на эти русские горки, вы даже по росту еще не годитесь, так что на вашем месте я бы не выступала, do I make myself clear?[2]

Энтони держит рыжего за плечо и что-то настойчиво ему внушает. Они сидят на корточках в застекленном коридоре. Столбы тошнотворного дыма ползут по шахтам лифта, как черные лианы.

— It's OK, it'll be OK. Don't worry, it's gonna be OK[3].

Он твердит это, пока тот не успокаивается. Рыжий вопит от отчаяния, сдали нервы. Я пытаюсь вступить в разговор:

— Как вас зовут?

— Джеффри.

— Послушайте, Джеффри, давайте помогать друг другу. ОК? Не волнуйтесь, все образуется. Сохраняйте спокойствие.

— О ГОСПОДИ ГОСПОДИ ЭТО Я ВИНОВАТ ЭТО Я УСТРОИЛ ЭТОТ ЗАВТРАК Я НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ ПРОСТИТЕ ИЗВИНИТЕ МЕНЯ О БОЖЕ Я СМЕШОН ПРОСТИТЕ ПРОСТИТЕ МНЕ СТРАШНО О ГОСПОДИ СЖАЛЬСЯ НАДО МНОЙ!

1. НЕТ ВОЙНЕ! (*англ.*)
2. Я ясно выражаюсь? (*англ.*)
3. Все ОК, все будет ОК, не волнуйтесь, все будет ОК (*англ.*).

Я оборачиваюсь посмотреть, не слетели ли с катушек и мальчишки: нет, они держат удар, только затыкают уши, чтобы не слышать крика Джеффри: I WANT OUT![1] Лурдес показала им пример. По забитой трубами лестнице Энтони ведет меня на 109-й этаж. Мы идем через залы с громадными многоцветными механизмами, между турбинами вентиляции, отопительными системами и подъемниками лифтов. Похоже, не только нам одним пришла в голову эта идея. Впрочем, у нас не было выбора: внизу жаровня, верная смерть, либо сгоришь, либо задохнешься. Единственная наша надежда — выбраться через крышу. Понемногу к нам присоединяется около сотни человек, рассыпавшихся по всем помещениям в поисках утраченного воздуха. Группки людей, обхвативших голову руками, сидящих на земле, стоящих, залезающих на столы, чтобы лучше дышалось, пытающихся столкнуть в окно металлический сейф, чтобы впустить кислород (да, металлический сейф тоже годится). Гроздья слипшихся людей поддерживают друг друга, держат друг друга за руку, утешают, кашляют.

— На крышу ведет только одна лестница, — говорит Энтони. — Ключи есть у всех охранников, и у меня тоже.

Мы стоим перед красной дверью с написью: EMERGENCY EXIT[2]. Я еще не знаю, как я буду ненавидеть эту дверь.

Этажом ниже Лурдес слушает разговор моих сыновей, поворачивая голову то к одному, то к другому, как будто смотрит матч по теннису между сестрами Уильямс.

— Лучше бы мы в школу пошли, — говорит Дэвид.

— О нет, тут так прикольно, — говорит Джерри.

— Да уж, школа по приколу, — говорит Дэвид.

— Это точно, — говорит Джерри.

— Жарковато только что-то, — говорит Дэвид.

— Точно, — говорит Джерри, — прямо как в сауне.

— А сауна это что? — говорит Дэвид.

— Сауна — это вроде бани, там очень жарко и там потеют, — говорит Лурдес.

— А зачем? — говорит Дэвид.

— Кажется, чтобы похудеть, — говорит Лурдес.

— Тебе бы надо ходить туда почаще, — говорит Дэвид.

— Заткнись, — говорит Джерри. — Это не смешно.

— Нет, смешно, смотри, Лурдес помирает со смеху, так что сам заткнись, — говорит Дэвид.

В самом деле, Лурдес согнулась пополам от смеха. Она так хохочет, что у нее текут слезы. Она достает пачку бумажных платков, чтобы промокнуть глаза.

— Думаешь, нас покажут по телевизору? — говорит Дэвид.

— Естественно, кретин, — говорит Джерри. — Небось уже крутят по всем каналам.

— Мощно, — говорит Дэвид.

— Прямо до смерти, — говорит Джерри.

— И почему у тебя, дурака, не осталось пленки в фотоаппарате, — говорит Дэвид.

1. Я ХОЧУ ВЫЙТИ ОТСЮДА (*англ.*).
2. АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД (*англ.*).

– Хватит о нем говорить, надоело уже, – говорит Джерри.
– А у тебя кровь идет из носа, – говорит Дэвид.
– А, черт, опять начинается, – говорит Джерри.
Он запрокидывает голову, зажимая салфеткой ноздрю. Лурдес протягивает ему бумажный платок.
– Не беспокойтесь, Лурдес, у него все время так.
– Только когда со мной спорят, – говорит Джерри.
– Я и говорю: все время, – говорит Дэвид.

9 час. 00 мин.

Другие свидетельства? Они как апокалиптический роман Дж. Г. Балларда, только это правда. Эдмунд Мак-Нэлли, инженер-технолог из Fiduciary, звонит своей жене Лиз, а снизу доносится рокочущий гул. Он сильно кашляет. Он спешно перечисляет все свои страховые полисы и счета. В последний момент добавляет, что она и дети были для него всем, и советует ей отменить их поездку вдвоем в Рим. Успел ли он насладиться последним в жизни кофе, глядя, как люди падают из окон? Вряд ли, он слишком сильно кашлял. С 92-го этажа Деймен Михан звонит своему брату Юджину, пожарному в Бронксе: "Здесь очень скверно, – кричит он. – Лифты вырубились". Питер Олдермен, продавец в "Bloomberg LP", шлет мейл сестре со своего лэптопа; сообщает про дым, а потом добавляет: "Мне страшно". Думаю, с 9.00 это было общее чувство. Вначале – удивление, шок, надежда, но спустя четверть часа остается только ужас, дикий страх, от которого мутится рассудок и подкашиваются ноги.

В то утро я повел дочку на башню "Монпарнас". Те, у кого нет детей в возрасте трех с половиной лет, могут сразу переходить к следующей минуте: они не поймут. Сначала ее надо было убедить, что на башне "Монпарнас" куда интереснее, чем на ближайшей карусели. В результате она попала и туда и туда. Ей непременно хотелось бегать за голубями, чтобы они взлетали, карабкаться на каждую бетонную тумбу и изображать канатоходца на бордюре тротуара. Первая сцена – рев, переговоры, примирение. После того как я разрешил ей идти по эскалатору в обратную сторону, мне удалось дотащить ее до лифтов. Она расплакалась, что я не дал ей нажать на кнопку 56-го этажа. Засмеялась, почувствовав, как поехала кабина, как сдавило виски. В "Небе Парижа" она скакала под ногами метрдотелей в нейлоновых костюмах. Мы выбрали столик у окна. Я показал ей Город-светоч. Она не желала снимать пуховик. Вторая сцена – рев, переговоры, примирение. Жизнь у детей не слишком увлекательная, вот они и развлекаются как могут. По любому поводу – драмы, истерики, крик, восторг, взрывы хохота, приступы бешенства. Жизнь маленького ребенка полна страстей, как пьеса Шекспира. К тому же моя дочь – чистая Сара Бернар. В мгновение ока беспросветное отчаяние сменяется у нее величайшим блаженством. Редкостный дар. Официантка (она меня видит каждое утро и уже узнаёт) дает ей конфетку – абсолютное счастье, сияющие глаза, воздушные поцелуйчики. Шоколад слишком горячий – буйная ярость, насупленные брови, обиженная физиономия, надутые губы. Когда открываешь мир вокруг себя, важна каждая мелочь. Моя дочь живет на пределе чувств. Она сотый раз за утро поет "Зеленая мышка бежала по травке". Я больше слышать не могу эту дурацкую песенку! Несколько минут Хлоя сидит смирно, созерцая Па-

риж, а потом отворачивается: ей больше нравится собачка у соседнего столика. Она заговаривает с ней, сперва боязливо, а через минуту уже по-свойски показывает ей вид из окна и объясняет:

– Высоко. А я осень-осень маенькая.

Коккер не спорит. В благодарность она пытается завязать ему уши бантиком. Я встаю, чтобы ее оттащить, и извиняюсь перед хозяевами собаки, которые ничего не заметили.

– У вас чудная дочка!

– Спасибо, только скоро вы не будете так думать.

– ХОССЮ игать с СОБАКОЙ!

Третья сцена – рев, переговоры, примирение. За соседним столиком оглохли от крика и в самом деле больше так не думают. Я пытаюсь купить ее молчание, предлагаю ей леденец на палочке.

– Не хосю, он йипкий.

Как бы я хотел время от времени вести себя так же, как моя дочь! Обещаю: в следующий раз, когда мне станут перечить, все равно где – на телестудии или в каком-нибудь литературном обществе, – я разревусь и начну вопить и кататься по земле. Уверен, это очень действенный метод, например, в политике. "Голосуйте за меня, а то я буду громко плакать". Вот что надо было делать Роберу Ю![1]

Мы кончили завтракать, оставив шоколад (теперь он был слишком холодный). Спускаясь в лифте, дочка улыбнулась и прошептала: "Папа, я тебя юбйю". Я взял ее на руки. Я прекрасно знал: она просто хочет, чтобы ее простили за несносное поведение в "Небе Парижа". Ну и пусть: я не отвергну ее подарок. Однажды у меня разболелись зубы и я принял большую дозу морфина. Это было что-то невероятное – и все равно не давало такого ощущения полета, как эта ласка; я уткнулся носом в ее волосы, окутанный запахом шампуня со сладким миндалем и переполненный благодарностью.

9 час. 01 мин.

Можно пройти этот путь не дыша. Набрать побольше воздуху, потом шагнуть в дым, идти, вытянув руки вперед, спуститься вслепую по ступенькам, повернуть после бара направо, пройти мимо лифтов и двигаться вперед прямо до северного фасада. Инструктаж альпиниста. Мне кажется, будто мы экспедиция, совершающая восхождение на вершину Гималаев без запасов кислорода. Я быстро спускаюсь обратно к мальчикам и ругаю себя, что оставил их на минуту одних. Лурдес держала в руках запачканный кровью бумажный платок.

– Ч-черт! У тебя опять пошла кровь?

– Ничего, па, все пройдет через пару...

– Подними правую руку и зажми ноздрю. Не запрокидывай голову, а то будет затекать в горло и не остановится. Спасибо, Лурдес, они хорошо себя вели?

– Конечно, но не надо делать из меня няньку только потому, что я черная, ОК?

– Но... э-э, нет, конечно, я вовсе...

– Энтони нашел дорогу на крышу?

1. Робер Ю – лидер французских коммунистов, кандидат в президенты на выборах 2002 г.

– Да. Мы туда пойдем, как только у Джерри перестанет идти кровь. Надеюсь, вы можете задержать дыхание на одну минуту?

Когда же я успел превратиться в негодяя? Когда на Мэри у меня стало стоять хуже, чем на секретарш моей фирмы? В какой момент я сорвался с якоря? Когда родился Джерри или когда родился Дэвид? Кажется, я сломался в тот день, когда увидел в зеркале гардероба, что одеваюсь как отец. Все произошло слишком быстро: работа, женитьба, дети. Я больше не хотел так жить. Я не хотел становиться таким же, как отец. Когда я был маленький, а он ходил по улицам Остина в своей ковбойской шляпе, я стыдился его; а теперь Джерри стыдится меня, когда я ношу кепарик с логотипом бейсбольной команды "Mets".

Pater familias[1] – работа с ненормированным рабочим днем; самое неприятное – это что я знаю все меньше мужчин, готовых ею заниматься. Нам слишком часто показывали свободных, соблазнительных, поэтичных мужчин, рожденных для удовольствий, этаких рок-н-ролльных личностей, прячущихся от любой ответственности в объятиях девиц в треугольных бикини. И вы хотите, чтобы в обществе, которое видит идеал в Джиме Моррисоне, человек хотел быть похожим на Лестера Бёрнэма?

Я очень люблю смотреть, как Кэндейси танцует. Она прибавляет звук на хай-фае и раскачивает бедрами, кружится босиком на ковре, ее волосы разлетаются, она смотрит мне прямо в глаза и стягивает майку... По-моему, самое прекрасное, что я видел в жизни, – это Кэндейси в лифчике push-up на моей необъятной кровати, когда она танцует или красит ногти на ногах. Она купила компакт с "музыкой любви", сборник расслабляющих треков, и я знал: если она его ставит, я уже никуда не денусь... Мне очень ее не хватает с тех пор, как я не уверен, что снова ее увижу.

Вперед, дети, идите за папой, задержите дыхание, как в бассейне, ОК? Делаем ртом глубокий вдох, потом быстро идем сквозь дым, руки вперед, пройти мимо лифтов, свернуть налево после бара, подняться вслепую по ступенькам...

На 110-м этаже Лурдес ткнула пальцем в плакат: IT'S HARD TO BE DOWN WHEN YOU'RE UP. No comment[2].

Чем хороша холостяцкая жизнь – когда какаешь, не нужно кашлять, чтобы заглушить "плюх".

Однажды Мэри провела рукой по моему лицу, холодной рукой по моей робко зардевшейся щеке. Она сказала, что я ее любимый, я ответил: нет, я твой муж, так уж вышло. Не думал, что когда-нибудь мне будет нужен кто-то другой. Из моего левого глаза, согревая ей правую руку, вытекла слеза. Я знал, что у меня будет ребенок от этой женщины. Я был юный, чистый, может, слишком зависимый, но совершенный оптимист. Искренний. Живой. Круглый дурак.

– Папа! Я целую минуту не дышал, я побил свой рекорд!

1. Отец семейства (*лат.*).
2. Сверху трудно попасть вниз. Без комментариев (*англ.*).

Джерри засекал время пробега до запасного выхода на крышу.

– Ха, расхвастался! Да я так на раз сумею!

– Врун, я слышал, как ты кашлял, значит, ты дышал!

– А вот и неправда, это ты жухал!

– Папа, скажи ему, я не жухал!

– Тихо, ребята, сидим здесь и ждем, когда вернется Энтони, он нам откроет эту чертову дверь. Лады?

– Лады, но я не жухал.

– Жухал.

– Нет.

– Да.

– Нет.

– Да.

Вот не думал, что когда-нибудь буду получать удовольствие от их постоянных перепалок и что их бесплодные споры станут для меня высокогорным убежищем. Наши дети – это сенбернары. Джерри уселся в позе лотоса. Он вытер слезы, я улыбнулся ему. Каждому свое: теперь мне хотелось плакать. Будем считать, что мы поменялись местами.

9 час. 02 мин.

В Южной башне, той, что была цела, всем поступило четкое указание: эвакуацию не проводить. Незачем получать по башке расплавленной металлической балкой, летящей с Северной башни. Так что security guards велели всем, кто спустился в холл, разойтись обратно по конторам. Те, что вернулись, не получили награды за послушание. Как, например, Стенли Преймнат. Он поднялся к себе на 81-й этаж, в контору Fuji Bank. И посмотрел в окно. Вначале он увидел серую стрелочку на горизонте. За статуей Свободы летел самолет. И постепенно вырастал. Он еще успел заметить красную полосу на фюзеляже: "Юнайтед эрлайнз". А потом самолет встал на дыбы и врезался прямо в него. Было 9 часов 02 минуты. Какой поганый день, какой fucking поганый день.

Когда лифт в башне "Мэн-Монпарнас" пошел вниз, мне показалось, что желудок у меня застрял в горле. Надо было бы пойти пешком, понять, что такое спускаться по лестнице с 57-го этажа, когда над головой полыхает огонь. Но я писатель, а не каскадер, да и дочка расплакалась бы через пять этажей. Пойду завтра утром.

В 9 часов 02 минуты 54 секунды еще один "боинг-767" – рейс № 175 "Юнайтед эрлайнз", тоже Бостон-Лос-Анджелес, – чуть накренившись влево, врезался между 78-м и 84-м этажами второй башни, удар с магнитудой 0,7; продолжительностью 6 секунд. На его борту находилось 65 человек, в том числе 9 членов экипажа, а скорость была выше, чем у № 11 "Американ эрлайнз" (930 км/ч). Компьютерное моделирование показало, что на такой скорости алюминиевые крылья и фюзеляж, а также стальные моторы прошли сквозь опоры башни почти без задержки. Бетонные перекрытия рассекли самолет, как топором, а потом превратились в пыль. По мнению некоторых экспертов, Южная башня получила в тот момент такие повреждения, что здание должно было рухнуть немедленно. Впрочем, оно и рухнуло первым: в 9 часов 59 минут.

"Серебристая молния, летящая с Юга, доисторическая птица, острие копья, ятаган, сверкающий в утреннем солнце", – напишет потом Расселл Бэнкс. Лучше не скажешь.

9 час. 03 мин.

Снова удар грома, снова землетрясение, снова огненный шар.

Лурдес получила SMS автоматической службы информации: в соседнюю башню врезался второй самолет. Значит, это не катастрофа, а террористический акт. Кто это сделал? Это могли сделать многие. Америку ненавидит немыслимое количество людей. В том числе и американцы. Но ведь я же не питаю ненависти к остальному миру. Я считаю, что он грязный, старый и слишком сложный, вот и все. Честно говоря, мне на него абсолютно наплевать. Его, остальной мир, взрывать бесполезно: он и так уже умер. Безумие, абсурд... Джеффри опять сломался, и Энтони уводит его подальше. Дети ведут себя смирно, они послушны как никогда. Но не в их силах удержаться от неприятных вопросов.

– Папа, а мы когда отсюда уйдем?

– А мама за нами придет?

– Это тянется слишком уж долго для аттракциона, нет?

На этот раз я сдался. Все эти непонятные вещи, которые я не хотел понимать, все эти зарубежные новости, о которых я предпочитал не думать, которые гнал из головы, как только кончался информационный выпуск, все эти чужие беды вдруг коснулись лично меня, все эти войны решили меня уничтожить, меня, а не кого-то другого, моих детей, а не чужих, все, чего я не знал, что было так далеко от меня географически, властно входило в мое бытие, становилось его важнейшим событием. Я не собирался вторгаться в чужие государства, но драмы внешнего мира только что вторглись в мою жизнь; я не имел ни малейшего отношения к инородцам и их оборванным, обкуренным, опущенным, покрытым мерзкими навозными мухами детям, но они только что вломились в мой дом и хотели убить моих малышей. Нужно объяснить одну вещь: меня воспитывали в евангелической, епископальной, методистской вере Вновь рожденных христиан, насчитывающей в США 70 миллионов адептов, среди которых – Джордж Уолкер Буш, бывший губернатор Техаса, ныне проживающий на Пенсильвания-авеню, 1600. Наше кредо: американцы – Избранный Народ. Европа – наш Египет, Атлантика – Красное море, а Америка – Израиль, как вам топография? Вашингтон = Иерусалим. Земля Обетованная – это здесь. "One Nation Under God!"[1] А до остальных нам нет дела.

Ты не хотел знать их при жизни?

Они станут твоей смертью.

Лурдес осела на пол. Она без конца повторяет текст SMS-сообщения: "Breaking News[2]: второй самолет только что врезался в Южную башню Всемирного торгового центра" – и пускает по рукам свой мобильник, чтобы каждый мог прочитать его на дисплее. Люди реагируют по-разному. У большинства вырывается потрясенное "Fuck!", некоторые опуска-

1. "Один народ под Богом!" (*англ.*)
2. Чрезвычайное сообщение (*англ.*).

ются на пол и обхватывают голову руками. Энтони срывает ярость на перегородке: он так пинает ее ногой, что пробивает насквозь! Джеффри рыдает еще громче, пуская слюни на розовую рубашку. А я сижу на корточках и изо всех сил прижимаю головы мальчиков к своему лбу, чтобы они не видели, что я сдался.

– ОК, Джерри, Дэйв, признаюсь, это не игра.

– Да неважно, папа. Мы и так знали, не нервничай.

– Нет, это важно, Джерри. Это не игра. Понимаете? Это все взаправду!

– Не беспокойся, до нас уже давным-давно дошло, – говорит Дэвид между двумя приступами кашля.

– Oh my goodness![1] Мальчики, слушайте хорошенько. Это не игра, но мы все-таки выиграем, все вместе, идет?

– Но почему самолеты врезаются в башни? Они спятили или чего?

Глядя на озадаченное лицо Дэвида, я больше не в силах сдерживать слезы. Я превращаюсь в Джеффри. Я падаю на колени. Я стискиваю зубы, вытираю глаза, сгибаюсь пополам; я побежден.

– Мать вашу, как могут люди делать такое с другими людьми?

– Не надо говорить "мать вашу", папа.

Джерри отводит глаза, ему стыдно видеть меня таким.

Мы уже больше получаса находимся на вершине одного из самых высоких в мире небоскребов. И только теперь я почувствовал, что у меня кружится голова.

9 час. 04 мин.

С высоты "Неба Парижа" я гляжу на столицу Франции и ее древние достославные памятники. Единственное, что нам оставил Дядя Сэм, – это наш возраст. Французы чванятся своей древностью, словно образцовые служащие, подсчитывающие размер пенсии. На нас давит тяжесть веков. Франция, Египет, Великобритания, Марокко, Голландия, Португалия, арабы, Турция правили нашей планетой по очереди и колонизировали Землю. Спасибо, это мы уже проходили, и слава богу, что избавились от колоний, от них одна головная боль. А вот Соединенные Штаты со своим юношеским энтузиазмом еще хотят посмотреть, каково это – быть владыкой мира. Старые нации давным-давно отреклись от трона, но американцы умилительны в своем беспамятстве: в конце концов, они тоже были колонией, должны бы помнить, насколько их раздражало иностранное господство.

Америка не оставляет угнетенным выбора, доводит их до крайности, когда, как напевала Брижитт Бардо в "Бонни и Клайде" Сержа Гензбура: "Выход один – это смерть". Мы живем в странное время; война переместилась на новое пространство. Полем битвы стали средства массовой информации, и в этом новом конфликте трудно отделить Добро от Зла. Сложно понять, кто добрый, а кто злой: стоит переключиться на другой канал, и противники меняются местами. Телевидение приносит в мир зависть. Раньше бедняки, жители колоний, вообще угнетенные в своих бидонвилях не любовались каждый вечер на чужое богатство. Они не знали, что в некоторых странах есть все, тогда как сами они надрываются понапрасну. Французская революция случилась бы гораздо раньше,

1. О Господи! (*англ.*)

будь у сервов телевизор, чтобы наблюдать за роскошной жизнью королей и королев. Сегодня по всему миру страны нечистые испытывают одновременно восхищение и ненависть, неодолимую тягу и отвращение к странам чистым, чей образ жизни они ловят через спутник при помощи пиратских декодеров с дуршлагом вместо параболической антенны. Это явление возникло недавно; его именуют глобализмом, но настоящее его имя — телевидение. Глобализм существует в экономике, в аудио-видео, в кино и в рекламе; все прочее остается прежним: и политика, и общество.

Ладно, хватит, я не могу все анализировать, я не специалист. Хотите распутать геополитический клубок терроризма — читайте Шпенглера, Хантингтона, Бодрийяра, Адлера, Фукуяму, Ревеля... Только не обещаю, что вам все сразу станет ясно.

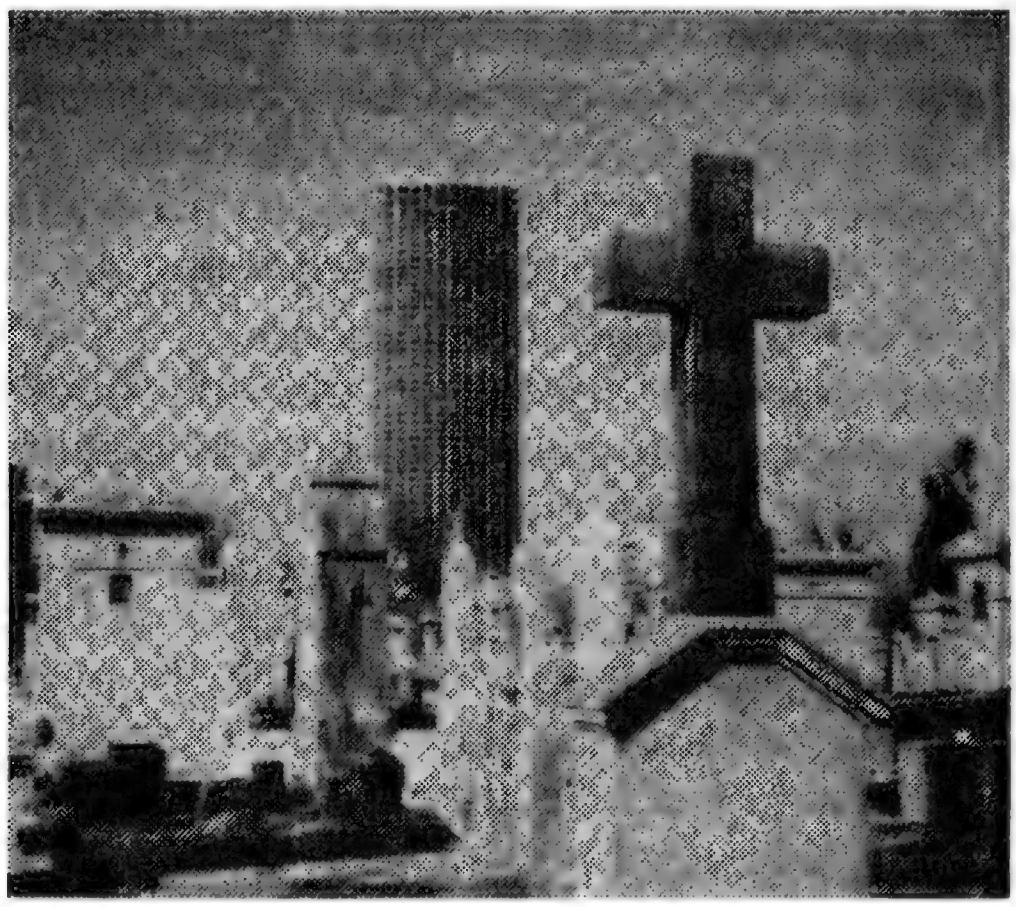
Вид из окна сегодня утром изумительный. Вид меняется в зависимости от погоды. Сейчас, в 9.04 утра, слева от меня сверкает Эйфелева башня, металлическая игрушка того самого Гюстава, что сконструировал стальной каркас для статуи Свободы. Справа — Инвалиды, где покоится Наполеон Бонапарт, человек, продавший американцам Луизиану за 15 миллионов долларов (говорите что хотите: император был куда лучшим бизнесменом, чем индейцы-алгонкины, уступившие Манхэттен за 24 бакса Питеру Минуиту, гугеноту французского происхождения). Между ними, чуть подальше в солнечном свете, Триумфальная арка на площади Звезды — триумф в перспективе. И все эти каменные блоки такие хрупкие... Я сделал, что обещал: спустился по лестнице пешком. 56 этажей. Сначала больше всего угнетает однообразие, голова идет кругом. Потом, очень быстро, нарастает отчаяние и клаустрофобия. Один на лестничной клетке, я пытаюсь вообразить, как протекали минуты сотен спускавшихся людей. Почти все, кто работал на этажах, расположенных ниже места взрыва, остались целы и невредимы. Они не впали в панику, потому что не знали того, что знаю я. Они верили в прочность зданий. Они не торопились. Они выполняли инструкции пожарных, погибших в следующие минуты. Они вышли, сохраняя спокойствие, а потом, обернувшись, увидели, как прочные здания превращаются в груду камней.

Одно хорошо, когда спускаешься с башни "Монпарнас" без дочки: улица Гэте совсем рядом. Можно прогуляться среди секс-шопов, театров и японских ресторанчиков. Противно только, если прохожие узнаю́т меня и просят автограф ровно в ту минуту, как я выхожу из кабинки peep-show. По-моему, неудобно пожимать кому-то руку, когда только что вытирал свою бумажным платком. Это глупо, но я всегда краснею: чертов католицизм буквально въелся в меня.

Поднимаясь по бульвару Эдгара Кине, я иду мимо бара с девочками (у него чудно́е название: "Монокль Он-Она"), знаменитого заведения с групповухой (2+2), и бесчисленных похоронных бюро. Сразу за ним начинается стена кладбища "Монпарнас", где покоятся Сартр, Бовуар, Дюрас, Чоран, Беккет, Ионеско... Монпарнас — квартал секса, литературы и смерти; наверное, поэтому его так полюбили американцы. Я вхожу в ограду кладбища и направляюсь к могиле Шарля Бодлера, бывшего ученика лицея Людовика Великого. "Умер в 46 лет". Маленькое белое надгробие имеет

жалкий вид рядом с мавзолеем знаменитого Шарля Сапе, "сенатора, великого командора Почетного Легиона, бывшего депутата от Изера, скончавшегося 5 мая 1857 г.". Поэт покоится вместе с отчимом, генералом Опиком, и матерью, дважды вдовой. На другом конце кладбища в память Бодлера воздвигнут странный монумент: надгробие в виде лежачей фигуры художника, спеленутого вроде египетской мумии, над которой склоняется каменный "гений зла", облокотившийся на балюстраду почти как роденовский "Мыслитель".

Гений зла...



... и что он видит

Согбенный, мрачный, с мощными бицепсами, гений зла восседает прямо напротив башни "Монпарнас" и словно бросает ей вызов своим торчащим подбородком. Я вытаскиваю поларoид.

Я выхожу с кладбища, поднимаюсь обратно по бульвару и оказываюсь перед фондом Картье, где Поль Вирилио развернул обширную выставку, посвященную катастрофам. Я спускаюсь по бетонной лестнице (опять!) и оказываюсь в подвале, наполненном глухим механическим гулом.

9 час. 05 мин.

Со 109-го этажа, из-под самой крыши, с Чердака мира, я все смотрю сквозь толстую дымовую стену на бегущую от нас прочь толпу. Самолет врезался в северный фасад, но дыма с этой стороны меньше всего. Я подсаживаю детей, чтобы они хоть немного подышали чистым разреженным воздухом. Когда-то была золотая лихорадка, теперь — воздушная. Если б я знал, захватил бы кислородные подушки или противогазы. Так или иначе на Западе скоро все будут ходить с противогазами через плечо.

Энтони возвращается вместе с Джеффри; он заставил его принять две таблетки успокоительного, и тот в полном дауне. Чудной у него вид, словно сдувшаяся боксерская груша. Энтони выглядит еще более печальным, чем Джеффри. Лурдес тихонько плачет. Я беру ее руку и глажу, словно

знакомого котенка. Мало-помалу маски спадают, а люди падают. Становится все жарче. Страх передается от человека к человеку, как вирус. Стоит мне поглядеть в полные отчаяния глаза Джеффри, и я уже болен. Я стараюсь не смотреть на сыновей, чтобы они не заметили моих покорно опущенных век. Никто не должен догадаться, что я теряю веру. Мы сидим на полу перед единственным выходом: толстой красной противопожарной дверью, на которой написано: EMERGENCY EXIT. Вокруг все громче слышатся стоны и плач. К нам подходят группки растерянных, шатающихся существ, похожих на сомневающихся зомби. Надежда – самая болезненная вещь на свете. Нового разочарования я не вынесу.

Вашу мамашу, что бы сделал Брюс Уиллис на моем месте? Телефон Джеффри наконец ловит сеть: он звонит своему дружку. Мне отсюда слышны рыдания его собеседника. Джеффри – гей, но носит обручальное кольцо. Какая чушь этот брак! Черт, не надо поддаваться эмоциям. Перед детьми надо держать хвост пистолетом. У Джерри больше не идет носом кровь, уже хорошо. Я съезжаю с катушек, меня гложет ненависть. Какое варварство, как они могли сотворить с нами такое? Я рос во времена холодной войны, тогда все было просто... У Америки был один враг – Россия. Очень практично иметь одного большого, ясно обозначенного врага, тогда у остального мира есть выбор. Что вы предпочитаете: полные магазины или пустые? Хотите иметь право на критику или обязанность заткнуться? Сегодня, лишившись своего антипода, Америка стала Властелином, которого так и хочется свергнуть. Америка стала своим собственным врагом.

Сам не знаю, почему я думаю о Книге Бытия. Может, это отзвук моего религиозного воспитания: методисты часто ссылаются на Первую книгу Библии, некоторые упертые "креационисты" даже продолжают отрицать дарвинизм. Пуританский кальвинизм моих родителей был почти целиком завязан на Ветхом Завете. Они считали, что Адам и Ева существовали на самом деле... И яблоко, змий, Каин и Авель, Потоп, Ноев ковчег, и т. д. и т. п. ... А Вавилонская башня? Не в ней ли я сейчас нахожусь? Все мы помним этот рассказ, он встречается во многих месопотамских текстах: люди научились изготавливать стройматериалы и решили построить башню до самого неба. Они хотели "...сделать себе имя, прежде нежели рассеются по лицу всей земли"[1]. Бог не одобрил их решения: человеку не пристала гордыня, человеку не пристало мнить себя Богом. По логике, чтобы его наказать, Бог должен был в приступе гнева разрушить Вавилонскую башню – но на самом деле ничего похожего! Слово "Вавилонская" обозначает не только город, оно связано с речью, со словом (отсюда французский глагол "babiller", лепетать). И месть Бога оказалась куда более изощренной и жестокой: он запретил людям употреблять одни и те же слова для обозначения вещей. Бог задумал смешать земные языки. Бог предпочел рассеять наречия: отныне вещи будут называться разными словами, связь между реальностью и словом утратится, люди перестанут понимать друг друга и не смогут построить свою надменную башню. Божественная кара состоит в том, чтобы помешать людям общаться друг с другом. Вавилонская башня была первой попыткой глобализации. Если понимать Книгу Бытия буквально, как миллионы американцев, тогда Бог против глобализма. Иудеохристианство основано на идее, что нужны синхронные переводчики, чуждые друг другу

языки, что еще долго придется потеть, прежде чем возможно будет донести до всех Писание, что род человеческий разделяют экзотические идиомы и темные словеса. Бог против Нью-Йорка.

Бытие. XI:5–8.

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что́ начали они делать, и не отстанут они от того, что́ задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню].

9 час. 06 мин.

В 9.06 Глена Фогта, генерального менеджера “Windows on the World”, не было (к счастью для него) на рабочем месте. Через двадцать минут после того, как в башню врезался самолет, ему домой звонит ассистентка, Кристина Олендер. Трубку снимает не он, а жена: Глен в этот момент уже стоит на улице, у подножия Всемирного торгового центра, потрясенный катастрофой, и зарабатывает шейный остеохондроз. Мисс Олендер объясняет миссис Фогт, что у них нет никаких указаний, как выбираться из ресторана. “Потолки рушатся, а полы плавятся”, – добавляет она. По меньшей мере 41 человек сумел дозвониться из ресторана до кого-то в городе.

В то утро в Новом Амстердаме горели три факела: пламя статуи Свободы, пламя Северной башни, пламя Южной башни.

Сохранилось еще одно свидетельство из “Windows on the World”: Иван Луис Карпио позвонил двоюродному брату. “Я не могу никуда отойти, они велят нам оставаться на местах. Я должен ждать пожарных”. Вполне возможно, что большая часть посетителей покорно выполняла приказ оставаться на месте, борясь за каждый глоток воздуха, разбивая стекла, залезая на столы, чтобы не сгореть. Но мы знаем и то, что многие звонки на номер 911 шли с крыши: видимо, некоторые, не послушавшись указаний, предприняли безнадежную попытку спастись по воздуху.

Может ли человек расплавиться?

Еще один звонок, положение описано предельно ясно: “Мы в ловушке”, – сказал Говард Кейн своей жене Лори.

Никто не говорит об одном: всех рвало.

Я могу дойти до самых глубин кошмара, все равно моя книга будет на 410 метров ниже реальности.

Джулиан Шнейбел писал, что люди, прыгавшие из окон, разбивались со звуком лопающихся арбузов.

9 час. 07 мин.

– У нас проблема.

Энтони остервенело жмет кнопки мобильного телефона. У Энтони проблема. Именно это не давало ему покоя, но он не решался нам сказать. И потому в глубине его глаз — бездонная печаль.

— Что? В чем проблема?

— Моего ключа недостаточно, чтобы открыть дверь. Нужно, чтобы служба безопасности внизу, на своем посту, нажала кнопку. А я не могу до них дозвониться. С мобильного звонок не проходит, а внутренние телефоны отрезаны...

— Spare me the bullshit! (Данное выражение переводится вполне изящно: "Убери от меня бычье дерьмо". Я бы мог сказать: "Cut the crap", но это было бы не так изысканно.) Да где ж она, эта служба безопасности?

— Командный пост находится на 22-м этаже, он не отвечает. Черт, если оперативно-контрольный центр эвакуирован, я ничего не смогу поделать. Они должны разблокировать замок своим buzzer'ом, а иначе мы заперты. И меня это радует не больше, чем вас.

Джеффри выходит из столбняка:

— Тем хуже для этого говняного buzzer'а! Мы взломаем дверь к чертовой матери!

Энтони хотел бы быть таким же оптимистом.

— Дверь заблокирована, ее невозможно открыть даже дрелью. А у нас нет дрели.

— МАТЬ ВАШУ ЗА НОГУ, НО КАК ЖЕ НАМ ОТСЮДА ВЫЙТИ?!

Джеффри хватает ламинатор, длинную, тяжелую литую штуковину, и начинает колотить ею, как молотком, по ручке двери. Он лупит по замку как полоумный. Энтони и я отступаем назад, чтобы не получить по башке: увесистая дубина так и летает в его мускулистых руках, накачанных регулярными занятиями гимнастикой в Ист-Виллидж.

Энтони качает головой. Я вдруг понимаю, что ненавижу этого человека; Джеффри нравится мне гораздо больше. Коллеги надеются на него, и он не хочет обмануть их ожиданий. Терпеть не могу фатализм, лучше энергия отчаяния, буйство природы, инстинкт самосохранения. Я признáю себя побежденным, только когда разобью себе плечи об эту дверь. Я хочу потеть, хвататься за любую возможность, продолжать верить. В конце концов под ударами палицы Джеффри ручка подается, но дверь по-прежнему герметично заперта. Он оборачивается к нам, его руки бессильно повисли, но эта горечь внушает только уважение. Надеюсь, Джерри и Дэвид ничего не слышали. Они стоят с Лурдес на самом краю окна. С тех пор как стало трудно дышать, страх высоты пропал. Салфетка Джерри испачкана кровью, майка тоже. "Это только с виду ужасно, ничего страшного, у него часто идет носом кровь", — я твержу себе эту фразу, я пытаюсь в нее поверить.

Энтони сгорбился над мобильником, он все жмет и жмет зеленую кнопку. Надо дозвониться до секьюрити на 22-м этаже или хотя бы копам. С той стороны двери доносится стрекот полицейских вертолетов. Я отказываюсь гореть заживо только потому, что запасной выход не дает нам выйти. Девять—один—один. Nine—One—One. SOS. SOS. Как в конце "Джонни берет свое ружье". Спасите Наши Души.

Я возвращаюсь к детям, подышать свежим воздухом. Восседая на плечах Лурдес, громко читающей молитвы, они повторяют за ней слова. В свое

время на зданиях для защиты устанавливали гаргульи, как на Крайслер-билдинге. Эти скульптуры, изображавшие драконов, чудовищ, демонов, как на башнях Нотр-Дам, должны были отпугивать чертей и захватчиков. Дети мои, две маленькие светленькие гаргульи, висящие над бездной; хватит ли им сил отогнать злых духов? Почему архитекторы перестали считать небоскребы соборами? Ведь не просто так они ставили гаргульи на башнях, наверно, была причина. Какая? Непонятно, разве что они... предвидели то, что случилось с нами. Знали, что однажды опасность нагрянет с воздуха. В эти жуткие моменты молитва приходит сама собой. В нас просыпается религиозность. В следующие минуты Всемирный торговый центр, международный храм атеизма и наживы, постепенно превратится в импровизированную церковь.

9 час. 08 мин.

В "Шутке" Милана Кундеры один из персонажей задает вопрос: "Вы думаете, разрушения могут быть красивыми?" Я двигаюсь как сомнамбула, я совершенно уничтожен выставкой "Такое случается", организованной философом и урбанистом Полем Вирилио совместно с агентством "Франс Пресс" и Национальным институтом аудиовизуальных искусств (29 ноября 2002 – 30 марта 2003). На стенах фонда Картье висят выцветшие фотографии железнодорожной катастрофы на вокзале Монпарнас 22 октября 1895 года: паровоз протаранил фасад первого этажа и рухнул на площади на мостовую. Покореженный каркас обступили люди в котелках. Инсталляция представляет собой вереницу темных, наполненных гулом залов, где крутят видеосъемки всяческих катастроф. Всюду дым и группы спасателей, переговаривающихся по рации (оказывается, панические крики по-английски звучат шикарнее, возникает малоприятное ощущение, что смотришь художественный фильм). На широком экране возникают экскаваторы на Граунд Зеро (десятиминутное цифровое видео Тони Аурслера, непрерывный показ): огромный столб белого дыма нависает над гигантской кучей железа; несколько крохотных человечков ходят между кранами, похожими на бессильных кузнечиков. На заднем плане несколько уцелевших бетонных плит Всемирного торгового центра, словно смехотворная крепостная стена. А самое поразительное – опять-таки грязь. Железобетонное здание превратилось в жидкое месиво. Искусственная чистота стала естественной слякотью. Гладкие, сверкающие башни сделались отвратительным хаотическим беспорядком. Я наконец понимаю, что хотел сказать скульптор Сезар, расплющивая в лепешку машины. Бульдозеры пытаются привести в порядок эту груду. Восстановить чистоту стекла, совершенство прошлого. Когда видишь подобную мясорубку, невольно перехватывает дыхание. Но я все равно не могу избавиться от чувства неловкости – того же, что испытываю, когда пишу эту книгу. Имеем ли мы право? Нормально ли, что разрушение настолько завораживает? Вопрос Кундеры среди всех этих катастроф приобретает странное звучание. Улицы Нью-Йорка белы, покрыты слоем бумаг и пыли, словно после снегопада; посередине спит в коляске черный малыш. Когда выставка Вирилио только открылась, разразился скандал. Не рано ли эстетизировать подобное горе? Конечно, искусство – штука необязательная, никто не обязан ни ходить на выставки, ни читать книги. И все же. "Такое случается" коллекционирует катастрофы, словно трофеи: снимки зараженного ртутью залива Минамата, Япония, 1973 г.; выброс диоксина на заводе "Ик-

меза", Севезо, Италия, 1976 г.; авиакатастрофа на Тенерифе, Испания, 1977 г.; крушение танкера "Амоко-Кадиз", Финистер, 1978 г. Некоторые посетители вытирают слезы, или сморкаются, или отводят глаза, чтобы не оказаться лицом к лицу с фотографиями. Я их понимаю. Но это наш мир, и на данный момент нам никуда от него не деться. Утечка радиоактивного газа, Три-Майл-Айленд, Пенсильвания, 1979 г. Утечка ядовитого газа с завода "Union Carbide", Бхопал, Индия, 1979 г. Взрыв челнока "Челленджер", мыс Канаверал, Флорида, 1986 г. Позиция Вирилио вполне может шокировать: он не отделяет промышленные катастрофы от терактов. Взрыв реактора на Чернобыльской атомной станции, Украина, 1986 г. Крушение танкера "Эксон Вальдес", 1989 г. Газовая атака в токийском метро, Япония, 1995 г. Плюс природные катастрофы, вроде урагана во Франции в 1999 г., пожаров в Австралии в 1997-м, землетрясения в Кобо, Япония в 1995-м. И на все это накладывается музыка, как в киношной драме. Я брожу среди чудовищных вещей. Мне бы хотелось умыть руки, верить, что я непричастен к подобным ужасам. Однако я, как всякий человек, тоже в этом замешан — в своем, микроскопическом масштабе. У входа читаем фразу Фрейда: "Многократный повтор устраняет впечатление случайности"; это загадочное изречение 1914–1915 годов словно отвечает на вопрос, который чуть раньше задал Дэвид:

— А совопадение это что такое?

Чем дальше развивается наука, тем страшнее катастрофы, тем красивее разрушения. В конце выставки Вирилио, пожалуй, переборщил: здесь крутят на телеэкране пиротехническое чудо, потрясающий фейерверк над Шанхаем. Он осмелился соотнести реальный ужас и художественную красоту. Выставка оставила у меня горький привкус. Уходя, я обвинял себя еще сильнее, чем раньше. Можно ли равнять рухнувшие башни-близнецы с обыкновенным фейерверком, будь он хоть самым грандиозным на свете? О, какое красивое пламя, какой красивый синий цвет, какие красивые горящие тела? Смогу ли я смотреть на себя в зеркало, опубликовав подобный роман? Мне хочется выблевать весь мой завтрак в "Небе Парижа", но я не могу не признать, что получаю удовольствие, глядя на этот ужас. Мне нравится огромный столб дыма, встающий над обеими башнями на широком экране (в реальном времени): белый султан в синем небе, словно шелковый шарф протянулся между землей и морем. Он нравится мне не только своим эфирным великолепием, но и тем, что мне известен его апокалиптический смысл, таящееся в нем насилие и ужас. Вирилио ставит меня лицом к лицу с бесчеловечной частью моего человеческого существа.

9 час. 09 мин.

Папин способ не трусить — это говорить не закрывая рта.

— Как только нас вывезут отсюда на вертолете, я веду вас в "FAO Schwarz" и покупаю все игрушки, какие вы захотите. Учиним грандиозный набег.

— И будем пить "Доктора Пеппера"?

— Ладно. А вы знаете, как ваш прапрадедушка чуть не вложился в Coca-Cola Company? Я вам не рассказывал эту историю? В те времена наше семейство жило в Атланте. Однажды к нам в гости зашел местный аптекарь: ему нужны были деньги, чтобы запустить в производство только

что созданный новый напиток. Поскольку мы были из числа богатых городских патрициев, он, естественно, предложил вашему предку поделить прибыли. У Йорстонов эта история превратилась в сущий анекдот: ведь аптекаря на нашем ранчо даже пригласили на обед! Он дал всему семейству попробовать свой странный продукт на основе листьев коки. Все нашли, что пить эту гадость невозможно. "Да еще и цвет такой противный!", "Йок! Это никогда не будет продаваться!" Аптекарь возражал, ссылаясь на то, что его формула способствует пищеварению и содержит витамины. Ваш предок с хохотом воскликнул, что "до сих пор еще никто не предлагал ему вложить деньги в слабительное". И изобретатель кока-колы ушел без копейки. Долгие годы вся семья потешалась над этой историей. А потом, в один прекрасный день, стало не до смеха: если бы мы помогли скромному аптекарю, сегодня красовались бы в верхней части топ-листа журнала "Форбс"...

Эту историю папа рассказывал уже, наверно, раз тридцать, но мне не надоело. У него такой довольный вид, когда мы с Джерри его слушаем. Мне нравится, что мы чуть не стали богачами. Каждый раз, когда я пью стакан коки, я думаю, что мог бы быть ее совладельцем. Но на предков нечего обижаться. Нам в школе рассказывали. Они предпочитали свои плантации, где рабы собирали хлопок. Они же не знали, что разорятся во время войны с янки, а потом найдут нефть. На самом деле они были круглые дураки, но где-то им везло, где-то нет, как когда. Вроде как нам сейчас. Сначала я думал: супер, отмазались от школы, смотались в Нью-Йорк, лопаем супер-оладьи, папа разрешает поиграть с кнопкой лифта, она загорается и динькает, и вообще все тип-топ. А сейчас, похоже, дело плохо, тут и пожар, и у Джерри кровь из носа, и я все время кашляю, что-то совсем напряг. Лурдес ничего себе, симпатичная, только все время хнычет, надоела до смерти. Энтони сидит тихо, Джеффри мотается туда-сюда, то занимается своей группой, то возвращается посмотреть, ловят ли мобилы. Они все симпатичные, только мы все равно в глубокой заднице. Наверно, пора папе пускать в дело свои бессознательные суперспособности, которые включаются в случае мега-опасности. Думаю, через пару секунд они включатся, ему бы только успеть переодеться в костюм супергероя, как Кларку Кенту. А пока он предпочитает трепаться о предках, которые проморгали сделку века; уж без этого мы бы как-нибудь обошлись. Блин, я и в комиксах-то этого терпеть не могу: вечно надо ждать уйму времени, пока герой наконец не проснется и не спасет тех несчастных, что не могут выбраться из горящего здания. Надоело, но это всегда так. Если бы герой явился с самого начала, не было бы саспенса. Та же фишка и в боевиках по телевизору. Да и парни, которые делают мультики, это знают: юные телезрители должны ждать. Ну, мы и ждем. Вообще мы, дети, только и делаем, что ждем. Ждем, когда состаримся, чтобы сколько угодно объедаться M&M's и не умолять каждый раз родителей сходить с тобой в парк студии "Universal". От нечего делать я притворяюсь, будто мне интересно слушать папину историю.

— Скажи, па, кроме шуток, это правда, что мы чуть не стали "семейством Кока-кола"?

И папа доволен, он больше не плачет, он улыбается, это гениально: "Ну да, Дэвид, представляешь?", а Джерри пожимает плечами, потому что тоже знает эту историю наизусть и не понимает, почему я делаю вид, будто слышу ее в первый раз. Тоже мне бином Ньютона: надо поднять

папин моральный дух, а то он будет не в форме и не сможет использовать свои гигасилы.

9 час. 10 мин.

"Клозери-де-Лила" (1804), "Дом" (1897), "Ротонда" (1911), "Селект" (1925), "Куполь" (1927). Потерянное поколение знало, где друг друга найти: на Монпарнасе. Я шатаюсь по барам, перечисленным у Хемингуэя в "Празднике, который всегда с тобой". Писательство с тех пор, спасибо старине Хэму, стало отличным поводом промочить горло в одиночку, особенно если разругался с подружкой. Я заказываю в "Клозери" вермут с черносмородиновым ликером, исключительно из профессиональной солидарности. И как могли гении пить такой кошмар? Я прохожу мимо дома 27 по улице Флёрюс, это в двух шагах от меня; здесь жили Гертруда Стайн и Алиса Бабетт Токлас. К моему изумлению, на нем висит доска, напоминающая о важной роли этого здания, где по стенам были развешаны картины Гогена и Миро и где обрела бессмертие знаменитая фраза бармена из "Селекта": "Вы все — потерянное поколение". Гертруда Стайн, американка, познакомившая Пикассо с Матиссом, с 1902 года жила в Париже, на первом этаже, с окнами на внутренний сад. Русские в этом квартале поселились еще раньше американцев. Хемингуэй приехал сюда копировать Модильяни, Сутина, Шагала и пр., следом за ним явился Шервуд Андерсон. Здесь Троцкий и Ленин готовили революцию. Почему Хемингуэй в мыслях вернулся сюда, перед тем как пустить себе пулю в лоб? В 1957 году, когда он начинал писать "A Moveable Feast"[1], ему было пятьдесят восемь лет. Тремя годами раньше он получил Нобелевскую премию. А через четыре застрелится из охотничьего ружья. Эти последние четыре года он решил провести в машине времени под названием "литература". Физически он будет жить в Кетчеме (Айдахо), потом в Испании, на Кубе. Но мысленно весь конец жизни он проведет в Париже 1921–1926 годов, со своей первой женой Хэдли Ричардсон. Он не желает знать, что ему уже шестьдесят; он пишет, чтобы вновь вернуться в свои двадцать пять, вновь стать тем никому не ведомым, бедным и влюбленным юнцом, который в апреле 1925 года встретил в стельку пьяного Скотта Фицджеральда в баре "Динго" на улице Деламбр (с тех пор он превратился в "Оберж де Вениз"), где семьдесят восемь лет спустя я царапаю эти слова, попивая "Лонг-Айленд-айс-ти" (рецепт которого он придумал сам: все белое спиртное, какое есть, в один стакан + кока-кола и лед). В "Динго" можно было встретить Айседору Дункан, Тристана Тцара (он покоится на кладбище Монпарнас), Ман Рэя... Я поднимаю бокал за великих художников, чей дух витает в этих обшитых деревом стенах, пропахших сигарами, бурбоном и отчаянием. Помпиду не зря решил возвести миниатюрное подобие Всемирного торгового центра именно на Монпарнасе: душа этого квартала родом из-за Атлантики. Хемингуэй хотел вернуться в свое прошлое; за него это делаю я. "Фальстаф" по-прежнему находится на улице Монпарнас, 42. Но борделя на углу больше нет: того самого "Сфинкса" (бульвар Эдгар-Кине, 31) с его цыганами, где Генри Миллер просаживал деньги, которых у него не было. Теперь это отделение "Банк популер" с банкоматом при входе. Теперь здесь можно получить деньги, когда их нет! Возвращаясь (с трудом) домой, я ищу дом 113 по улице Нотр-Дам-де-Шан, где Хемингуэй поселился в 1924 году, вер-

1. "Праздник, который всегда с тобой" (*англ.*).

нувшись из Торонто (на той же улице, в доме 70/2 жил Эзра Паунд). Прохожу дом 115, потом 111. Э! Так 113-й тоже исчез? Но это же был не бордель! Я возвращаюсь... На улице Нотр-Дам-де-Шан после дома 115 идет сразу 111-й, можете сходить проверить. Так что здания, где Фрэнсис Скотт Фицджеральд помочился на лестнице, став причиной достопамятного препирательства Эрнеста Хемингуэя с консьержкой, больше нет. Все, что от него осталось, — это книга. Париж — город подвижной недвижимости. Даже мемориальной доски и то нет. Жаль, здесь было что выгравировать на мраморе: "В этом доме американский писатель Эрнест Хемингуэй любил свою жену Хэдли и сына Бамби, и принимал Гертруду Стайн, Сильвию Бич, Уильяма Карлоса Уильямса, Джона Дос Пассоса, и написал "И восходит солнце", а Фрэнсис Скотт Фицджеральд помочился в подъезде субботним вечером 1925 года, и консьержка рассердилась, а Фицджеральд написал Хемингуэю письмо с извинениями, в котором говорилось:

"Та жалкая личность, что явилась к вам домой в субботу вечером, был не я, а человек по имени Джонстон, который часто выдает себя за меня".

Мораль: когда здания исчезают, только книги могут хранить о них память. Вот почему Хемингуэй перед смертью писал о Париже. Потому что он знал, что книги прочнее зданий.

9 час. 11 мин.

Суперконфиденциальное послание секретного агента Дэвида Йорстона Силам Галактического альянса

11 сентября 2001 года я обнаружил, что мой отец обладает супервозможностями. Когда все началось, мы со старшим братом находились в "Windows on the World". Вообще-то официально моего отца зовут Картью, но это его ненастоящее имя. Он не знал, что у него есть мегаэкстрасенсорные способности, как в "Людях Х", когда парень понимает, что видит сквозь стены, а раньше он об этом даже не знал. А я знал, потому что мне об этом сообщили межгалактической грамотой в 7987 году до нашей эры (я агент Межпланетного совета). На самом деле моего отца зовут не Картью, а Ультра Пи (Ультра Пижон). Все его способности пока неизвестны, потому что он ими еще не пользовался, его силы включаются только в момент мегаопасности, например, когда пожар. Тогда он может пробивать бетон, гнуть металл и летать по воздуху, потому что страх заряжает его батареи. А потом он ничего не помнит, потому что у него в памяти есть моментальная самонастройка, и он может стереть все данные с жесткого диска в своем мозгу, чтобы нельзя было добыть из него микрофильмы в случае допроса с пристрастием в застенках Звездного Воинства, во главе которого стоит его заклятый враг Морг (известный также под именем Джерри Гад).

Я ел оладьи в компании нескольких землян, когда Темные Силы атаковали нас: наверняка это было давно спланированное нападение, лейтенант Дьявол Раптор попытался застать Ультра Пи врасплох. Превратившись в самолет с помощью своего секретного превращателя, зарытого тысячи лет назад под Северным полюсом, подлый Дьявол Раптор прибегнул к телепортации и врезался в небоскреб с целью получить макровознаграждение от Звездного Воинства (Дьявол Раптор — межзвездный охотник за вознаграждениями со способностью к сублиминаторным трансформациям: он принимает форму любого объекта, к которому при-

коснется, конечно, если у него нет насморка). Короче, атака только началась, я буду выходить на связь, чтобы держать вас в курсе эвентуальных событий. Ультра Пи включится в ближайшие минуты, как только обнаружит свои деструктивные и метанолитические суперспособности. Пока он даже не подозревает, что он супергерой, который отомстит Темным Силам за нападение и еще за ужасное убийство своей матери, которую пожрали Жадные Рыбы Ужаса двенадцать веков назад. Ультра Пи скоро выйдет из столбняка, и вот тогда посмотрим. Они узнают, где раки зимуют. Дьявол Раптор получит хороший урок, когда Ультра Пи направит на него свой развоплощающий звездный лазер. Битва только начинается. Используя ковчег Альянса и Священное кольцо, Ультра Пи сумеет противостоять подлым укусам противника, наслав на него Магический огонь. Агент X-275 — ордену Непокорных.

9 час. 12 мин.

"Растения более aware[1], чем прочие виды"; "Ешьте арахис, it's a really strong feeling"[2]. Люблю франко-английский, это язык будущего. У нас только что вышла книжка во славу его: россыпь цитат из Жан-Клода Ван Дамма, актера-каратиста бельгийского происхождения, обосновавшегося в Голливуде. "Наркотик — это кайфово". "У бисквита нет спирита". В 2050 году весь мир будет спикать как Жан-Клод Ван Дамм, герой фильма "Репликант". "Умирать это strong"[3]. "Никто не right и не wrong"[4]. Молодые люди, не вылезающие из видео, стихийно устремились вслед за бельгийским киборгом: "Кто юзал этот басовый драйв?", "Я говорю yes лайфу", "Ты лайкаешь ночь?", "Я серфингую по вебу". Не надо бояться английских слов. Они мирно входят в наш язык, создавая язык всемирный, непокорный Богу: единый язык Вавилонской башни. World'овские words. Новая лексика SMS (A1 2C4), смайлики в Интернете, популярность "придурошной" орфографии, распространение арго — все это помогает родиться новоязу третьего тысячелетия. Anyway, whatever[5]. Пускай последнее слово останется за Жан-Клодом Ван Даммом: "Общий язык, общая валюта и никакой религии, тогда нам всем будет лучше. Но мы здесь не для того, чтобы говорить о политике".

Я люблю еще массу прочей американской гадости, вроде ванильной кока-колы, арахисового масла, чизкейков, корнфлекса, чокопаев, наггетсов, рутбира.

Но больше всего я люблю Хьюга Хеффнера, основателя "Плейбоя". Наши отцы все хотели быть похожи на него. Надо попытаться понять, что случилось с поколением наших родителей в 60-х годах, когда все богатенькие буратины считали себя Хьюгом Хеффнером. Его особняк для оргий и личный "боинг" изменили представление о мужественности в XX веке. Мужчина 60-х годов превратился в womanizer[6]. Новому Дон-Жуану полагалось сидеть за рулем спортивной машины, курить американ-

1. Осмысленны (*англ.*).
2. Это и впрямь острое ощущение (*англ.*).
3. Круто (*англ.*).
4. Прав... неправ (*англ.*).
5. Как ни крути (*англ.*).
6. Бабник (*англ.*).

ские сигареты, валяться у голубого бассейна в окружении пышногрудых блондинок в бикини. Сегодня эта модель мужественности канула в Лету. Ничего нет бездарнее потаскунов из ночных баров; между прочим, именно по назойливым попыткам кого-нибудь соблазнить и можно узнать старика, несмотря на все лифтинги. Мадемуазель, к вам пристает какой-то тип с седеющими висками, изображающий из себя плейбоя? Значит, ему лет семьдесят, потому что он не может отлипнуть от своих тридцати пяти, а столько ему было тридцать пять лет назад.

В Америке 60-70-х плейбой был сверхчеловеком. Всякий уважающий себя самец обязан был походить на Тома Джонса, Гюнтера Сакса, Порфирио Рубирозу, Малко Линге, Хулио Иглесиаса, Курта Юргенса, Роджера Мура, Уоррена Битти, Роже Вадима, Берта Рейнолдса. Нужно было носить рубашку, распахнутую на груди, чтобы торчали волосы. Нужно было любой ценой клеить каждый вечер новую женщину. Нужно было круглый год щеголять загаром. Все то, что на рубеже столетий считается верхом старомодности и пошлости, тогда было высшим шиком. Французские буржуа просто молились на Эдди Барклея и Сашá Дистеля, Жан-Поля Бельмондо и Филиппа Жюно, хиппи или рок-звездам было до них далеко. Добавьте появление противозачаточных таблеток, упрощение процедуры развода, феминистскую и сексуальную революцию — и вы получите МЕЖДУНАРОДНОГО ПЛЕЙБОЯ, "несерьезного человека", описанного психиатром Шарлем Мельманом, того, кто стремится к "наслаждению любой ценой". Что произошло? Свобода уничтожила брак и семью, супружество и детей. Верность превратилась в реакционное, немыслимое, бесчеловечное понятие. В этом новом мире любовь длилась самое большее года три. Сегодня МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕЙБОЙ по-прежнему жив. Он сидит в каждом из нас; его волей-неволей переварил и усвоил каждый мужчина. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕЙБОЙ холост, потому что отрицает любые узы. Он каждую неделю меняет гражданство. Он живет один и умирает один. У него нет друзей, только светские и профессиональные знакомства. Он говорит на франко-английском. Он выходит из дому, только чтобы снять гирлу (по-нашему телку). Вначале, когда он богат и красив, он соблазняет легкомысленных женщин. Потом, порастратив богатство и красоту, он будет платить проституткам или смотреть порнофильмы и дрочить. Он ищет не любви, а только наслаждения. Он никого не любит, особенно самого себя, потому что отрицает страдание и боится потерять лицо. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕЙБОЙ обливается шампанским в Сан-Тропе, подсаживается к продажным девкам в гостиничных барах и кончает свои похождения в клубе свингеров с наемной бабой. Конечно, это кичевая фигура (во Франции его часто пародировал Жан-Пьер Марьель, а в США — Майк Майерс с его персонажем Остина Пауэрса), но следом за ним идет мужчина-мутант XXI века, сидящий на виагре до самой смерти. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕЙБОЙ смешон, он ходит в мокасинах на босу ногу, чтобы казаться молодым, но он ставит правильные вопросы: зачем нужна любовь в цивилизации желания? Зачем обременять себя семьей, когда отстаиваешь свободу как высшую ценность? Зачем нужна мораль в обществе гедонизма? Если Бог умер, значит, весь мир — бордель, и надо просто этим пользоваться, покуда не сдохнешь. Если индивид сам себе король, значит, нам не остается ничего, кроме эгоизма. И если отец перестал быть единственным авторитетом, значит, единственный предел насилию в нашей материалистической демократии — это полиция.

9 час. 13 мин.

The only thing standing between me
and greatness is me.[1]

Вуди Аллен

Под нами: стеклянные двери, зеленые растения, колоннады, блестящий паркет, изысканнейшие лампы с белыми абажурами... Деревянные, натертые воском перила, банкетки, обитые бежевой кожей, охряный бар...

Над нами: вертолеты, кружащие, словно алюминиевые осы, и столб дыма, из-за которого башня достигает высоты 620 метров.

Мы: дрожащие люди, сбившиеся в кучу перед запертой дверью, посреди механизмов и труб, оглохшие от грохота компрессионных насосов и гидравлических генераторов. Человеки в процессе варки.

В первый вечер Кэндейси сказала: "Ты так меня оттрахал, что мне показалось, будто вас было семеро".

Я смотрю на Джерри. В этом ракурсе он очень на меня похож. Дэвид, к счастью для него, похож на меня меньше. Но я повторился в них, это бесспорно. А потом скоренько смылся. Если общество оставляет вам выбор – слушать вопли младенца или сходить на вечеринку без жены, то не надо удивляться, что матерей-одиночек на Западе становится все больше. Я прекрасно знаю, что́ Джерри обо мне думает, он сам мне сказал. Он думает, что я считаю себя Джеймсом Бондом и заваливаю всех девиц, какие попадутся под руку.

А Дэвид воображает, будто я что-то вроде сверхчеловека:

– Слушай, па, знаешь, тебе уже не надо скрывать свою суперсилу.

Чем хорошо снимать все время разных девиц: им всем можно говорить одно и то же. Очень удобно.

Джеффри показывает мне бутылку "Шато-О-Брион" 1929 года.

– Эй! Пора ее распить, я по дороге нашел целый ящик, почему бы не попробовать? Остальные я раздал своей группе!

– Осторожней, вы же принимали таблетки...

– What the hell! Come on! Enjoy![2]

Джеффри откупоривает французское марочное сухое вино и делает изрядный глоток.

– Вау! Хорошо бы, конечно, еще и проветриться, но это сущий нектар...

– Думаю, нам всем неплохо было бы проветриться, – говорит Энтони. – Где вы взяли эту бутылку?

– Спок, я только позаимствовал, моя контора все оплатит, don't worry be happy...[3]

Я пью из бутылки. Старая пурпурная жидкость урожая 1929 года стекает в горло, как последняя ласка, как поцелуй дьявола. Правильно, что

1. Единственное, что стоит между мной и величием, – это я сам (*англ.*).
2. Плевать! Поехали! Твое здоровье! (*англ.*)
3. Расслабься, лови кайф (*англ.*). Слова из известной песни Бобби Макферрина.

не отказался, вино расслабляет. Я протягиваю бутылку Энтони, но он качает головой.

— Нет, спасибо, я не пью, я практикующий мусульманин.

— Вашу мать! А я иудей! — кричит Джеффри, хватая "О-Брион" за горлышко и опрокидывая его в открытый рот. — Так ты хочешь, чтобы мы все погибли? Рад, что твои дружки такое натворили?

— Come on! Мы не знаем, кто это сделал. Could be anybody[1].

— Ладно, хватит, убийцы-камикадзе — это ваши штучки. Вы взрываете себя в пиццериях, и Аллах вас вознаграждает.

Энтони оскорблен.

— Блин, я мусульманин, но я не фанатик, give me a break, man[2].

— Не нервничай, Тони, — говорю я, забирая пузырь, — просто нельзя мешать винишко с антидепрессантами, он в отключке, вот и все.

— ОК, я в отключке, — взвился Джеф, — я в отключке, потому что еврей и педераст, так что ли? может, это я тараню самолетами башни и гроблю невинных людей, только чтобы уничтожить государство Израиль?

Уф! Я делаю добрый глоток вина 1929 года и принимаюсь изображать Бутроса Гали.

— Слушай, я христианин, он мусульманин, ты иудей, а это значит, что мы все трое верим в одного и того же Бога, ОК? Так что успокойся. Надо только молиться, как положено в наших трех религиях, тогда у Бога будет втрое больше шансов нас услышать и открыть эту чертову дверь, goddam door!

Вино прекращает религиозные войны. Энтони неправ, что не попробовал. Он снова садится и опять нажимает кнопки на мобильнике. Джеффри с бульканьем вливает в себя вино:

— И ведь даже не кошерное!

Джерри ржет, я тоже. Дэвид все мечтает. Лурдес по-прежнему висит на шторах. Как бы я хотел рассказывать о невероятных перипетиях, об удивительных поворотах событий, но правда есть правда: не происходило ровно ничего. Мы ждали, что нас спасут, но никто нас не спасал. Воняло паленым паласом и батончиками "Марс", плавящимися в конфетных автоматах несколькими метрами ниже, в брюхе чудовища.

9 час. 14 мин.

У меня большой зуб на изобретателя офисного парашюта: почему эта идея пришла ему в голову только после трагедии? Ведь ничего тут сложного нет: не мог, что ли, подумать об этом раньше, кретин несчастный? Как бы мне хотелось увидеть сотни мужчин и женщин, бросающихся в пустоту с рюкзаком за спиной, и как их парашют раскрывается над Плазой. Как бы я хотел посмотреть на них, парящих в синем небе на зло земному притяжению и террористам, мягко приземляющимся на бетон, падающим в объятия пожарных.

А архитекторы, решившие, что у зданий не будет пожарных лестниц? Лестницы есть во всех нью-йоркских билдингах, кроме тех, где слишком много этажей, а значит, где они нужнее всего. Они не очень красиво

1. Что ты несешь!.. Это может быть кто угодно (*англ.*).
2. Отвяжись (*англ.*).

смотрятся на башне? Учтите, эстетика убивает. Что, невозможно было вообразить себе пожарную лестницу в 110 этажей?

А почему не изменились правила безопасности полета? Служба контроля по-прежнему рассеянно наблюдает, как рентгеновские лучи просвечивают багаж. Иногда они выбирают наугад какую-нибудь сумку и досматривают вручную. Заменили металлические ножи пластмассовыми, — но оставили металлические вилки! Как будто нельзя убить человека вилкой. Надо только метить в глаза или в глотку и ударить раз тридцать. Они не видели Джо Пеши в "Славных парнях", или как?

Почему нет охранников в каждом самолете? Есть же они при входе на дискотеки! Неужто ночные заведения опаснее самолетов? До сих пор безопасность пассажиров доверяют стюардессам, чьи шейки так легко перерезать.

А еще можно было спустить несчастным длинные канаты, чтобы они выбрались по ним, как узники, что привязывают простыни к решеткам камеры и спускаются по ним вдоль стены. Почему никто ничего не предпринимал снаружи? Или спустить веревочные лестницы с той стороны, где не было пламени. Или расстелить гигантский надувной пневмоматрас, чтобы смягчить падение "jumpers"[1], как в "Смертельном оружии".

На самом деле никто не думал, что башни могут рухнуть. Слишком все полагались на технологии. Странное отсутствие воображения. Вера в превосходство реальности над вымыслом.

"Это все равно что сидеть в камине", — говорит один из пожарных в "Аде в поднебесье" Джона Гиллермина (фильм вышел в 1974 году, как раз когда открылся Всемирный торговый центр). Наверное, полиция не пыталась организовать спасение по воздуху потому, что копы видели этот фильм-катастрофу: там пытаются спасти людей, уцелевших при подобном пожаре и запертых в банкетном зале на последнем этаже небоскреба, спуская им трос с вертолета. В фильме вертолет падает на крышу и разбивается. Может быть, в 9 час. 14 мин. полиция побоялась сделать вымысел реальностью.

9 час. 15 мин.

Уже полчаса у нас под ногами горит самолет

Эвакуации как не было так и нет

Мы становимся орущим металлом

Люди висящие на окнах

Люди падающие из окон
Забытое кресло на колесиках

Письменные столы на козлах без козел

1. "Прыгуны" (*англ.*).

Брошенный на ксероксе степлер

Перевернутые каталожные шкафы со всеми ящиками

Ежедневник, полный назначенных важных встреч

Сводка погоды: сегодня утром обещают 26 градусов, без осадков

Все стекла полопались

Пылающая жидкость в шахтах лифтов

58 лифтов, все не работают

Белый мрамор в офисах забрызган кровью

Два коридора с галогеновыми лампами, словно пунктир на потолке

Охряное пламя в голубых завитушках

В воздухе летают бумаги, как в День независимости

Люди со всего мира

United Colors of Вавилон

Ладони в клочьях

кожа свисает с рук

словно платье от Иссеи Мияке

Красивые женщины в слезах

Куски самолета на эскалаторах

Красивые женщины заходятся в кашле

Никакого контакта с внешним миром

Разбитые бело-синие тарелки и чашки

Все сумрачно пыльно мертво грязно

Тишину прорезают сирены

Куски человеческих лиц перед кофейными автоматами

Замкнутое пространство, а внизу огонь

Мы спеклись

Мы поджариваемся как цыплята

Мы коптимся как лососи

Сирены внутри здания

Dust in the wind

All we are is just

Dust in the wind[1]

Фигуративные картины текут от жара

И превращаются в абстрактную живопись

Ливень из человеческих тел на Плазе.

9 час. 16 мин.

Я часто спрашивал себя, почему люди при пожаре прыгают вниз. Просто они знают, что умрут. Им не хватает воздуха, они задыхаются, они горят. Все равно конец, так уж лучше быстрая смерть, и чистая. "Jumpers", "прыгуны" — не депрессивные субъекты, а разумные люди. Они взвесили все "за" и "против". Они решили, что лучше падать с головокружительной высоты, чем обугливаться, как колбаски, в задымленной комнате. Они выбирают прыжок ангела, вертикальное "прощай". У них нет иллюзий, хотя некоторые пытаются использовать куртку как парашют. Они не хотят упустить шанс. Они вырываются на свободу. Они — люди, потому что предпочитают сами выбрать свою смерть, а не гореть заживо. Последнее свидетельство собственного достоинства: они сами решат, когда покончить счеты с жизнью, вместо того чтобы покорно ждать. Никогда слова "свободное падение" не были так осмысленны.

9 час. 17 мин.

Что ты несешь, Бегбедер несчастный! Если от 37 до 50 человек бросились в пустоту с высоты Северной башни, то просто потому, что не могли иначе, их толкало удушье, боль, инстинкт самосохранения, просто это не могло быть хуже, чем находиться внутри удушающей жаровни. Они прыгали потому, что снаружи было прохладнее, чем внутри. Знаешь, можно быть специалистом по плавке, но плавиться самому — это немножко другое. Спроси любого пожарного, он тебе объяснит. "Прыгуны" находятся на такой высоте, что не воспринимают опасность. Они в полубессознательном состоянии, у них адреналин зашкаливает, они в такой панике и шоке, что почти впадают в экстаз. Ты прыгаешь с 400-метровой высоты не потому, что ты свободный человек. Ты прыгаешь потому, что ты затравленное животное. И не затем, чтобы остаться человеком, а потому что огонь превратил тебя в зверя. Пустота — не обдуманный выбор. Просто это единственное, на что приятно смотреть сверху, сюда хочется попасть, здесь не полосуют тебе кожу раскаленными добела когтями, не вырывают пылаю-

1. Прах на ветру / Мы все лишь прах на ветру / Прах на ветру (*англ.*).

щими клещами глаза. Пустота легка. Пустота — это выход. Пустота приветлива. Пустота протягивает тебе руки.

9 час. 18 мин.

ОК, Картью, раз уж ты заговорил таким тоном, я лечу в Нью-Йорк. Нет, башня "Монпарнас" — это не третья башня Всемирного торгового центра. Да и все равно моя жизнь тоже начинает напоминать фильм-катастрофу: сегодня утром, в 9.18, моя любовь ушла от меня. Флобер писал: "Я путешествую, чтобы проверить, правда ли мои сны". Я должен проверить, правда ли мой кошмар. Чтобы покончить с собой, я лечу "конкордом". Я помню, что этот сверхзвуковой лайнер, созданный при де Голле в 60-х годах, но торжественно введенный в эксплуатацию при Жискаре д'Эстене в 1976-м, имеет неприятное свойство время от времени падать на дома парижских пригородов. Так что я забронировал билет — люблю рисковать. Я авантюрист, я экстремал. Сколько стоит билет? 6000 евро в один конец, цена одной юбки от Шанель; не так уж дорого за то, чтобы повернуть время вспять. Потому что рейс "Париж-Нью-Йорк" на "конкорде" — это машина времени, придуманная Гербертом Уэллсом: самолет взлетает в 10 часов утра и приземляется в 8 часов утра, то есть до того, как меня бросит Амели. Через три часа я буду в Нью-Йорке, остается два часа.

Настоящее путешествие во времени начинается с холла семидесятых годов. Lounge seventies. Я воображаю, что пишу об Одиннадцатом сентября, но на самом деле я пишу о 70-х: десятилетии, когда возник Всемирный торговый центр, и башня "Монпарнас", и связывающий их "конкорд". Стюардессы в бежевых костюмах с пухлыми коллагеновыми губами, стюарды с загаром из солярия, белые кресла, стены с мягкой обивкой, как в психбольнице, деловые люди, не отрывающиеся от ноутбуков, бизнесвумен, вооружившиеся ручками "Пайлот": все устаревшее, как в "Космической одиссее-2001". 2001-й был два года назад: мечта Кубрика 70-х годов не осуществилась. Мы не летаем на Луну под вальсы Штрауса; вместо этого "боинги" призданиваются под вопли муэдзинов.

Передо мной, нос к носу, в окне аэропорта Руасси, сверхзвуковой лайнер. Его клюв еще острее моего. Синие надписи "конкорд" напоминают, что эта штуковина — один из главных предметов национальной гордости, исчезающий вид. Недавно у "конкорда" прямо в воздухе отвалился руль. Я вхожу в крохотный салон; VIP-пассажирам приходится наклоняться. После катастрофы в деревушке Гонесс была еще масса технических неполадок: поломки двигателя, износ кабины пилота; 70-е годы постепенно отдают богу душу, и я, быть может, навсегда останусь в них, в моем позабытом детстве. Впрочем, самолет почти пуст. В самом деле, надо быть камикадзе вроде меня, чтобы лезть на борт этой птицы с треугольным крылом. Поскольку удаль моя отнюдь не безгранична, во мне уже пять стопарей "Абсолюта". Я падаю в свое кресло номер 2D. На улице дождь, и я отчаянно трушу, развалясь в стельку пьяный на борту стоящего на земле "конкорда".

Стюардесса: — Месье, к черной икре предлагаем вам шампанское "Круг"...

Я: — Д-да, действительно, не помешает...

Я разочарован: умирать, сидя, как идиот, в теснотище, прямо как в дешевом отеле где-нибудь в северном парижском пригороде. По крайней мере хоть попользуюсь на все сто. К тому же это иранский осетр: исламистская икра!

Нужно быть совершеннейшим болваном, чтобы отвалить шесть штук только за то, чтобы выиграть три часа полета. Интересно, люди, которые придумали эту машину, совсем спятили — или и впрямь верили, что ничтожный выигрыш во времени стоит того, чтобы сжигать лишние тысячи тонн керосина? Кто были эти инженеры 60-х годов? Их потуги выглядят такими несовременными... так отдают XX веком... Белый, гладкий, скоростной, одетый в пластик мир, где треугольные самолеты взирают сверху вниз на часовые пояса... Больше никто в это не верит... Мой лысый сосед читает "Экспресс" и зевает... Всё из того времени, последней эпохи оптимизма... автоответчики... расстройство биоритмов от смены часовых поясов... политические журналы... Тогда было жутко модно жаловаться на "джет-лег", разницу во времени, сейчас никто об этом и не заикается, настолько это старо... Я нагрузился под завязку, и тут "конкорд" взлетает, с чудовищным грохотом и подозрительной вибрацией... Будь я бабой, сел бы верхом на подлокотник и имел бы три оргазма... Я расплющен в кресле, как блин... Рекламный проспект бахвалится: "Статическая тяга каждого двигателя — 17 260 кг"... Интересно, не вывернет ли меня всей моей икрой... "Соотношение тяги с весом самолета в 1,66 выше, чем у 'боинга-747'"... Ну и лексика, тяни-толкай какой-то... Прошу прощения, мадам стюардесса, по-моему, я сейчас буду метать икру по всей вашей гермокабине... "Подобная сила тяги достигается при помощи классического реактивного двигателя, снабженного системой форсажа: выхлопные газы двигателя нагреваются и их скорость повышается. В результате тяга возрастает на 17 %..." Я все выблевал в бумажный пакет... Когда мы преодолеваем звуковой порог над Атлантикой, мне уже все равно... Жидкокристаллический счетчик напротив меня показывает, что мы летим со скоростью 2 маха... Я рассекаю стратосферу со скоростью 2200 км/ч и, кажется, имею бледный вид... Мне никак не удается стать тем рисковым и удачливым субъектом с билетом на чужое место, о котором мечтали изобретатели (в то время, наверно, усатые) "конкорда"... Может, я просто пьян, но меня умиляет их торопливость... раз уж американцы скачут по Луне, надо придумать что-то другое... Французы как дети... Они были взрослые, серьезные научные работники, специалисты по аэронавтике; и при этом мальчишки, младенцы, игравшиеся с новой погремушкой.

9 час. 19 мин.

Стоя на вершине искусственной скалы, влюбленные взялись за руки.

— Всегда терпеть не могла вторники. Неделя еще только начинается, но не по-честному, как в понедельник, — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

— Черт, хреново, что нельзя отсюда выбраться, — говорит брюнет от Кеннета Коула. — У тебя не найдется пары таблеток эдвила?

— Не-а, я приняла последние, когда наглоталась дыма от паласа, — говорит блондинка от Ральфа Лорена. — Очень горло драло.

Из кондиционеров в конференц-зал извергалось дымное облако. От паласа дым поднимался сперва тонкими спиралями, а потом вставал вдоль стен тремя толстыми столбами, словно туман над болотом или блуждающие огни, нарисованные каким-нибудь итальянским декоратором.

— Как подумаешь, что ты так и не увидишь мой домашний кинотеатр: плазменная панель размером с Верхнее озеро, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

– Too bad...[1] Только не надо падать духом, сейчас явятся пожарные, это дело каких-нибудь минут, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Святой Джордж Сорос, помолись за нас! – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– О Тед Тернер, приди на помощь! – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

Они прыскают, но смех переходит в приступ кашля. А может, это с самого начала был кашель.

– Знаешь, в чем разница между Майкрософтом и "Парком юрского периода"? – спрашивает брюнет от Кеннета Коула.

– Нет, но чувствую, это опять что-то очень умное, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

– Первое – это парк динозавров, где они пожирают друг друга. А второе – это фильм.

Теперь она действительно хохочет. Брюнет от Кеннета Коула заходится в приступе смеха. Он не может остановиться, собственная шутка душит его, он багровеет. Блондинка тоже закатывается; оба тонут, захлебываются, обессиленные нервным смехом. Если уж задыхаться, так хоть от смеха. Но они берут себя в руки. Блондинка снимает пиджак. Полосатая блузка полурасстегнута. На груди висит тонкая золотая цепочка с маленьким сердечком. По ту сторону окон – объятая пламенем Америка.

– Ты дозвонилась матери? – спрашивает брюнет от Кеннета Коула.

– Нет, – говорит блондинка от Ральфа Лорена. – Оно и к лучшему. Нечего попусту ее беспокоить. Либо мы отсюда выберемся, тогда я позвоню, либо не выберемся, тогда не позвоню. Что ты хочешь, чтобы я ей сказала?

– Прощай, мама, я тебя люблю. Поцелуй от меня всех наших, – говорит брюнет от Кеннета Коула.

– Идиот несчастный, – говорит блондинка от Ральфа Лорена.

Он был не идиот. Он уселся на стол. Тоже снял пиджак. Дышалось плохо. Он любил эту женщину. Он не хотел ее потерять. Он не хотел, чтобы она страдала. Он вспоминал про их встречу в конторе, все их кафе, все пивные бары, все гостиничные номера. Ее нежную, пахнущую сливками кожу. Его сердце стучало не только от страха; он был способен чувствовать. И он чувствовал, что все это в прошлом и никогда не вернется. Он постепенно понимал, что их роман кончится здесь, в этой комнате с бежевыми стенами. Она была восхитительная блондинка, и он воображал ее девочкой – розовощекой, кровь с молоком, с летящими по ветру волосами, бегущей в цветастом платье по лугу, по полю пшеницы или ржи со змеем или еще какой-нибудь глупостью в руках.

9 час. 20 мин.

Я выбрал самолет, который так и норовит упасть, и направление, где выше всего угроза терактов: в принципе все должно было кончиться довольно быстро.

С какой бы скоростью ни лететь самолетом в Нью-Йорк, это уже никогда не будет таким удовольствием, как прежде. В свое время было ощущение легкости, ребяческий восторг, смесь влечения и зависти, напускная

1. Скверно (*англ.*).

усталость, маскирующая возбужденную дрожь, простодушное восхищение, дух предприимчивости и старое доброе клише об "электрической энергии Большого Яблока", реанимированное словами New York, New York ("I'm gonna be a part of it, / If I can make it there / I'll make it anywhere"[1]). А теперь – ощущение, что ты попал во второсортный фильм, параноидальный ужас, липкая жалость к самому себе, отсутствующий вид, за которым пытаешься скрыть смехотворный страх, пристальное наблюдение за соседом, особенно если он смуглолицый, удесятеренное внимание к любым мелочам, предчувствие конца света и совершенно неуместная гордость, что остался в живых, когда самолет приземляется.

Все сортиры "конкорда" были забиты моей блевотиной, но об этом лучше помолчать, ведь я пишу целомудренный роман. Перед посадкой стюардессы раздали нам зеленые картонные карточки. Пассажирам полагается заполнить анкету Иммиграционной службы США:

– Страдаете ли вы психическими расстройствами? ДА НЕТ
– Перевозите ли вы наркотики или оружие? ДА НЕТ
– Являетесь ли вы коммунистом? ДА НЕТ
– Испрашиваете ли вы разрешение на въезд в США для занятий преступной или аморальной деятельностью? ДА НЕТ
– Связаны ли вы со шпионской деятельностью, саботажем, терроризмом, геноцидом? Участвовали ли вы в 1933–1945 гг. в массовых убийствах, организованных нацистской Германией или ее союзниками? JA NEIN[2]
– Обращались ли вы с просьбой освободить вас от судебного преследования в обмен на свидетельские показания? ДА НЕТ

Мне повезло: тут нет вопроса "Намерены ли вы написать роман про Одиннадцатое сентября?".

Мой совет – отвечайте отрицательно. Что-то мне подсказывает, что, ответив "ДА", вы, скорее всего, поимеете проблемы с властями.

Департамент юстиции США мог бы добавить сюда и другие вопросы:

– Являетесь ли вы педофилом? ДА НЕТ
– Являетесь ли вы членом семьи бен Ладена? ДА НЕТ
– Имеете ли вы привычку мастурбировать перед фотографиями расчлененных трупов? ДА НЕТ
– Курите ли вы? ДА НЕТ
(если вы женщина) – Имеете ли вы намерение отсосать у президента Соединенных Штатов под письменным столом? ДА НЕТ

Вы считаете, что я в очередной раз плюю в колодец? Что мне в моем положении балованного ребенка неплохо было бы сидеть смирно и заткнуть глотку? Мне очень жаль, но я расследую обстоятельства гибели семидесятых годов. Утопия этого десятилетия – тот самый мир, в котором отказывается жить большинство землян. Три часа от Парижа до Нью-Йорка: столько ехать от Парижа до Марселя на скоростном поезде TGV. "Конкорд" – это AGV, скоростной самолет, не продвигающий нас ни на шаг вперед. Очередной бред, да и не самый страшный. Но за скоростным самолетом стоит определенная идеология: ее символом слу-

1. Мы будем одно целое, / Если у меня получится здесь / У меня получится везде *(англ.)*.
2. ДА НЕТ *(нем.)*.

жит задранный нос лайнера, игла, опускающаяся вниз при посадке, словно выражая презрение к тем, кто не находится на его борту.

Есть коммунистическая утопия — эта утопия кончилась в 1989 году. И есть утопия капиталистическая — эта утопия кончилась в 2001-м.

Пока мы летели, я все время теребил стюардессу:

— Когда мы прибываем? О-ля-ля, так долго... Скажите, а мы не опаздываем? Такое впечатление, что мы еле тащимся... Нет, просто, понимаете, я единственный пассажир, чей билет нигде не проходит по статье расходов...

В аэропорту Джона Фицджеральда Кеннеди на светящемся панно значится: "Gates[1] 9—11". Честное слово, лучше бы им заменить эти цифры, это какой-то дурной вкус. Мы прибыли вовремя, то есть раньше, чем вылетели. Перед отлетом лил дождь, а после посадки лил слезы я сам. В дождь все кажется красивее, но он ничего не смывает, тем более наши грехи. Было 8.25. Амели еще не ушла от меня. Я доставал персонал на борту, изображая нетерпение, но это была неправда: я никуда не спешил.

Я вовсе не хотел, чтобы снова настали 9 часов 18 минут.

9 час. 21 мин.

Мне осточертело, что дерет горло. Тут так воняет. Глаза жжет, и жутко горячо ногам. Я пытаюсь не плакать, но слезы все равно текут. Дэвид объяснил, что папа ждет, когда у него перезарядятся батареи, и тогда начнет действовать; он думает, что папа до сих пор не вмешался только потому, что "не так-то легко вести на полном ходу "корвет" по краю Большого Каньона, притом одной рукой и оглядываясь, ведь сзади вот-вот начнется извержение вулкана, а тут как раз летит Камерон Диас на тросе вертолета и Джон Малкович орет в рупор, потому что осталось десять секунд до взрыва глубоководной атомной бомбы, и тогда наводнение затопит Нью-Йорк, а там его детей взял в заложники двойник президента Соединенных Штатов и держит их в бункере под охраной кровожадных динозавров, которых тайно вырастило одно правительственное агентство на дне суперсекретного термоядерного колодца". Короче, Дэвид уверен, что папа — это Ультра Пи в фазе реактивации. Дебил все-таки этот Дэйв.

А мне просто страшно и жутко хочется отсюда выйти. Папа говорит, надо слушаться Энтони, а Энтони говорит, надо оставаться здесь и не паниковать, вот-вот появятся спасатели. Что паршиво, это что папа трусит еще больше моего, я же чувствую. Блин, меня заколебала эта кровь из носа, надо его все время зажимать, одна рука занята, а другую держит папа, и мы смотрим на эту дверь, и это просто кошмар какой-то. Джеффри молится по-еврейски, Тони по-арабски, как послушаешь, ну просто песни народов мира. Но самый кайф (не считая Дэвида, который думает, что он в компьютерной игре) — это молитва папы.

— О Господи, я знаю, я совсем забыл о вас в последнее время, но есть ведь притча о блудном сыне, у нее практический смысл, у этой притчи, если я правильно понял, она означает, что отступников и предателей

1. Выходы (*англ.*).

примут с распростертыми объятиями, если они вернутся к вам, ну так вот: сегодня утром я себя чувствую суперблудным сыном.

— А, вот видишь, что я говорил, он станет супер-чего-то, — кричит Дэвид.

— Заткнись ты к черту, папа молится, это святое.

Мы все трое беремся за руки, и папа продолжает молитву.

— Господи, я слаб, я грешил и я каюсь. Да, я развелся с женой, это я виноват, я очень-очень виноват. Я бросил домашний очаг, своих сыновей, которые здесь, со мной...

— Не говори так, па... Хватит уже...

Он меня просто пугает, shit, я больше не могу сдерживаться, я реву, хоть я и уставился на пятно на полу, из глаз так и льет. Офигеть, до чего жарко. Честное слово, я хочу куда-нибудь еще. Я хочу быть мухой и летать по ту сторону этой двери. Кто бы мне сказал, что я буду завидовать мухе... Но честное слово, клево быть мухой-цокотухой, она летает, у нее не идет носом кровь, муха, она свободная и всегда может удрать, и потом, она не умеет думать. Я бы жужжал вокруг башен, глядел бы своими фасеточными глазами на всех этих идиотов за стеклом, а потом ж-ж-ж — и оп! небольшой вираж, пике, и я убираюсь отсюда, сдачи не надо. Это было бы классно.

— О Господи, я эгоист и свинья, я на коленях прошу у вас прощения...

А самое лучшее — быть глухой мухой.

9 час. 22 мин.

В Нью-Йорке я свободен, могу идти куда хочу, выдавать себя за кого хочу. Я кто угодно: человек мира. У меня нет корней, меня ничто не связывает, нет телевизионной мини-славы, моей тюрьмы. Слава — она как брак или старость, она делает человека предсказуемым. Свобода — это когда ты одинок, молод и безвестен. Никогда в жизни я не был так свободен: одинокая личность в чужом городе и с деньгами в кармане. И что дальше? Моя свобода пуста. Я могу делать все что угодно и потому не делаю ничего. Потягиваю вино в гостиничном номере и смотрю порнуху, приглушив звук, потому что в соседнем номере спит Милен Фармер. Дохну в дизайн-барах. Я до того дошел, что, когда меня спрашивают, как дела, я заговариваю о чем-нибудь другом и отвожу глаза, чтобы не заплакать. "How are you?"[1] — страшный вопрос. "Everything OK?"[2] кажется ловушкой дотошного следователя.

В последний раз, когда невеста ушла от меня, я не придал этому значения: она часто от меня уходит. Но этот раз действительно последний, я чувствую. На этот раз она не вернется, и мне придется учиться жить без нее, а я рассчитывал на нечто прямо противоположное: умереть с ней.

Я не умел ее любить, и вот она меня больше не любит; женщины часто опережают события; но не страдать же мне молча:

— Ты была моей лучшей любовной историей.

— Терпеть не могу признаний в прошедшем времени.

Я жил с женщинами с тех пор, как ушел от матери. А теперь мне надо учиться жить одному, как отец. Лучше бы моя жизнь выглядела чуть посложнее. К несчастью, жизнь унизительна в своей простоте: мы изо всех сил убегаем от родителей, а потом превращаемся в них.

1. Как дела? (*англ.*)
2. Все ОК? (*англ.*)

Биржа рушится. Скоро индекс Доу–Джонса опустится до 7000 пунктов? до 6500? еще ниже? Растет безработица. В городском бюджете Нью-Йорка дыра (дефицит в 3,6 миллиарда долларов) – значит, скорей нужна война, чтобы поднять экономику! По всем каналам сообщают о бомбардировках Ирака. В ответ ньюйоркцы ждут теракта с применением атомной бомбы. В школах детям раздают пособия с указаниями, как заклеивать изолентой щели под дверью в случае химической атаки. Многие семьи обзавелись набором для выживания: карманные фонарики на батарейках, веревки, вода и йодистые пилюли (считается, что это защищает от радиации). Желтый уровень опасности стал оранжевым. А я брожу, созерцая собственный пуп, по улицам города, над которым нависла угроза.

Каждое десятилетие изобретает собственную болезнь. В 80-х это был СПИД. В 90-х – шизофрения. В 2000-х – паранойя. Один смертник в метро на "Таймс-сквер" – и начнется всеобщая паника. И притом в США после Одиннадцатого сентября не было ни одного теракта. Это должно было их успокоить. Но нет. Каждый день, прошедший без теракта, увеличивает вероятность теракта. Альфред Хичкок не раз повторял: террор – это математика. Сегодня утром американцы арестовали Халида Шейха Мохаммеда, одного из главарей "Аль-Каиды". Это должно было их успокоить. Отнюдь: власти ожидают актов возмездия.

Я чувствую себя чертовски своим в самом опасном городе мира. Терроризм – это постоянный дамоклов меч, рассекающий здания. Я здесь в своей стихии. Все равно без тебя нет места, где бы можно было жить. Когда таскаешь за собой собственный апокалипсис, лучше быть в городе-катастрофе.

Чего я здесь ищу? Себя.

Найду ли?

9 час. 23 мин.

Терроризм не уничтожает символы, а рвет на куски людей из плоти и крови. Наши слезы смешались. Слезы Джеффри, Джерри, мои. По счастью, Дэвид живет в воображаемом мире. Он уходит от негостеприимной реальности, и он прав. Лурдес откуда-то приносит бутылки "Эвиана", God bless her[1]. Мы набрасываемся на воду. Наглотавшись дыма и вони горючего, страдаешь не только от удушья, но и от дегидратации. И тут у Энтони начинается приступ астмы. Бедняга катается по земле, а мы не знаем, как ему помочь. Я совершенно беспомощен. Лурдес вливает ему в рот минеральную воду, но он все выплевывает. Джеффри делает мне знак, и мы относим его к туалетам на этаже. Я держу его за ноги, а Джеф – за подмышки (одна рука у него серьезно обожжена). Дэвид и Джерри в очередной раз остаются с Лурдес. Энтони бьется, пытается вдохнуть или выдохнуть. Я дрожу, как последний трус, Джеффри более хладнокровен. Он сует его голову под кран. Энтони рвет чем-то черным. Я достаю из ящика бумажные салфетки, чтобы вытереть его. Когда я поворачиваюсь к ним, Джеффри прижимает голову Энтони к своей груди. Тот больше не двигается.

– Он... умер?

– Черт, не знаю, я не врач, он не дышит, может, просто в обмороке.

1. Благослови ее Господь *(англ.)*.

Он встряхивает его, бьет по щекам. Дыхание рот в рот его не вдохновляет (из-за рвоты), за это дело берусь я. Все напрасно. Мы молчим. Я говорю Джеффри: оставим его здесь, может, он придет в себя, а я должен вернуться к детям. Он качает головой.

— Ты что, не понимаешь, этот тип был нашим последним шансом выбраться отсюда. Все кончено. Мы позволили ему сдохнуть и скоро последуем за ним.

Я открыл двери туалета. Я подумал: ну и ну, трехслойная туалетная бумага под цвет розовых мраморных стен. Я еще успеваю замечать такие вещи. Я еще забиваю себе голову всеми этими мелочами, когда мне вовсе не до того.

— Мне надо идти туда.

Больше я Джеффри не видел. Последнее мое воспоминание: он сидит на полу, на серой плитке, и причесывает охранника Энтони. Розовая дверь закрывается. Я бросаюсь к детям. Я налетаю на людей, которые, вроде меня, бродят взад-вперед, ищут укромное место, запасной выход, место для некурящих, выход из лабиринта. Но сегодня утром в первой башне нет "No smoking zone"[1]! Мы не в Лос-Анджелесе!

Хотел бы я вот так шутить, послать все к черту и пусть будет что будет; но я не мог. Не имел права. Я считал, что должен спасти моих мальчишек; на самом деле это они меня спасали, потому что не давали опустить руки. Мои подошвы липли к полу, словно там была жвачка: на самом деле, скорее всего, они начали плавиться.

9 час. 24 мин.

Нью-Йорк для меня — это завывание сирен, резко контрастирующее с французским бибиканьем. Нечто мигающее, еще одна мелочь, настраивающая на серьезный лад, нагоняющая страх. Нью-Йорк — город, где говорят на 80 языках. Жертвы теракта были 62 разных национальностей.

По приезде я первым делом прошу таксиста отвезти меня взглянуть на Граунд Зеро.

— You mean the World Trade Center Site?[2]

Ньюйоркцы не любят говорить "Граунд Зеро". Шофер едет в нижнюю часть города, на самое побережье, и высаживает меня перед решеткой. В 9.24 утра Нью-Йорк — это решетка, на которой висят фотографии погибших, свечи и увядшие букеты цветов. На черной доске перечислены имена всех "героев" (то есть жертв). Точнее было бы — "мучеников". К тому же на мемориале воздвигнут крест. Но ведь не все погибшие были христианами... Цветы на земле, в снегу. Стоит сильный мороз: пятнадцать градусов ниже нуля. Меньше нуля: идейка для Брета Истона Эллиса. Less than Ground Zero[3]. Я вхожу в первое здание Всемирного финансового центра, это единственный сохранившийся дом на углу. Никакого досмотра, никакого контроля, я мог быть увешан динамитом с головы до ног. В зимнем саду, под стеклянным куполом, в подражание лондонскому Хрустальному дворцу, я подхожу к застекленной стене, выходящей прямо на зияющую дыру. Граунд Зеро — это кратер, полный бульдозеров. Тысячи рабочих уже приступили к реконструкции. На первом этаже выставлены различные архитектурные проекты. Выбор пал

1. "Пространство некурящих" *(англ.)*.
2. То есть место Всемирного торгового центра? *(англ.)*
3. Меньше, чем Граунд Зеро *(англ.)*.

на проект студии Дэниела Либескинда: самая высокая башня в мире, четыре кристалла в форме буквы U, окружающие бассейн, словно разбитые вдребезги кварцы. Такое здание никому не захочется взрывать, оно уже взорвано. Жаль: мне очень нравился проект Всемирного культурного центра группы "Think". Другой фасад Всемирного финансового центра выходит на море – ветер, пена и кофейня на берегу.

Я обращаю внимание, что везде стоят непрозрачные урны. Французская полиция явно не информировала местные власти о modus operandi[1] исламских террористов в Париже: набитые гвоздями газовые баллоны в урнах и все такое прочее... Мы у себя во Франции уже давно привыкли жить с паническим страхом под ложечкой. Здесь везде легавые, в черных очках и с рациями, но они еще слишком верят людям. В 30 метрах от Граунд Зеро – "Pussycat Lounge" (Гринвич-стрит, 96): оголенные девицы свидетельствуют, что жизнь продолжается. Позже, уже пропустив водки с тоником, я иду мимо Федерального резервного банка, где в 24 метрах под землей хранятся 10 108 475 кг золота. Потом захожу в чудом уцелевшую часовню Святого Павла, построенную в 1764 году. Здесь выставка в честь спасателей: на витринах рядком лежат фотографии пропавших без вести, вещи, найденные в развалинах, тюбики зубной пасты, детские подгузники, бинты, конфеты, распятие, листы бумаги и сотни, тысячи детских рисунков. Я прикрыл рот рукой. Я перестал жалеть самого себя. Посреди всего этого милого, прелестного горя стоял циник и плакал.

Еще позже и чуть выше, в "Carrousel Café", еще одном стрип-клубе, танцовщица в трусиках-стрингах говорит, что после Одиннадцатого сентября Армия спасения две недели дважды в день брала у них лед, чтобы раздавать в помещении Арсенальной выставки прохладительные напитки родственникам погибших и спасателям, работавшим в пекле дымящихся развалин.

– Когда клуб снова открылся, через неделю после теракта, многие девушки не могли опомниться: тут было полно измотанных рабочих, они набрасывались на бесплатные напитки, но и на нас тоже! Они хотели говорить. Под дверью без конца гудели машины "скорой помощи" и грузовики. Все горело, парни хотели отвлечься. Помню, все мои шмотки были покрыты белой пылью.

9 час. 25 мин.

Обычно в ресторане жарят всякие блюда, а не клиентов. А тут мы сами как барбекю. Папа вернулся, высунув язык. Лурдес вопросительно посмотрела на него, он покачал головой.

– Энтони остался там, с Джеффри, – сказал он, в надежде, что мы с Дэвидом не поймем. Не знаю, как Дэйв, а я точно понимаю, что происходит. Мы заперты в этой башне и не можем ни подняться, ни спуститься вниз. Да еще эта жуткая жара. Мне так жарко, так жарко. Не могу думать ни о чем другом. По-моему, я слишком молод, чтобы умирать. Я хочу учить астрономию, смотреть на звезды в свой телескоп, стать ученым-космонавтом НАСА и парить над голубой планетой. В космосе прохладнее.

Мне ужасно хочется писать; я выпускаю папину руку, а он объясняет Дэвиду, что он не Бэтмен.

1. Способ действий (*лат.*).

– Если б ты был Бэтмен, ты бы говорил, что ты не Бэтмен, – возражает Дэвид.

– Ты куда? – спрашивает папа.

– По маленькому, – отвечаю я.

– Погоди... нет...

Поздно, я уже мчусь в полный дыма коридор и – вот. Передо мной Энтони, он лежит на земле, а над ним стоит Джеффри и смотрит на себя в зеркало.

– Он умер или чего?

– Нет, он спит.

– А ты что делаешь?

– Думаю.

– Ладно, пока ты думаешь, я пописаю.

– ОК.

Но у меня не получалось. Я ждал, и все никак. Со мной такое иногда бывает, я не могу писать, когда вокруг народ. Черт, надоело, стою дурак дураком.

– Ну так ты писаешь или нет? – сказал Джеффри.

– Не могу. Заперло.

– Меня тоже заперло. Мы все тут заперты.

Я застегнул штаны. Я пытался казаться спокойным, но Джеффри прекрасно видел, что я плачу. Мы глядели друг на друга, как две глиняные собачки. Джеффри все время начинал какие-то непонятные фразы: "Тут слишком... Я не... Я их всех позвал... Как быть... Я не могу..." Я чувствовал, что ему надо поговорить, но не получается. Вот тогда-то я и описался.

Когда я вышел из туалета, папа стоял там с Дэвидом на руках, и я был жутко рад, что он здесь, а главное, что он совсем не ругается. Он отнес нас к запасному выходу. Я сказал ему, что Энтони спит и что Джеффри спустился.

– Как это спустился?

– Он сказал, что попытается что-то сделать для своих коллег, и ушел. У него был странный вид. Он говорил, что выйдет через окно. Думаешь, он сможет?

У папы был озабоченный вид. Он унюхал, что я написал в штаны, но ничего не сказал. Слава богу, а то Дэвид уделал бы меня как миленького. У меня еще и кровь носом шла, уж теперь-то он бы своего не упустил.

– Дети, у меня такое впечатление, что Джеффри мы больше не увидим.

Мать вашу, это просто ужасно.

9 час. 26 мин.

Я заказываю белое вино в "Пастис", модном ресторане Кейта Мак-Нэлли, владельца еще одного французского заведения, "Бальтазар". По-моему, идея воссоздать декор французской пивной посреди Meat Market – это здорово, только вот мало девиц в купальниках. Я сказал любимой, что мне нужно одному съездить в Нью-Йорк; после этого она окончательно решила уйти от меня. Люди думают, что у меня веселая жизнь; как бы не так. Я не способен ничего создать. Я был женат – и развелся. Я заимел ребенка – и не воспитываю его. Я влюбился – и сбежал в Нью-Йорк. Я урод, и я не один такой. Я живу на ничейной земле: ни МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ПЛЕЙБОЙ, ни ЖЕНАТ И ТЕМ ДОВОЛЕН. Я ни то ни сё, и никому меня не жалко. Я человек конченый и не вправе возражать. Я урод сердцем: прямо как в песне Энрико Масиаса "Попрошайка любви". Как-никак я знаю чертову уйму тридцатилетних, которые в том же положении. Калеки любви. Взрослые, много повидавшие люди, а ведут себя как дети малые. Снаружи все чин чином, а внутри калеки. Без воспоминаний, без планов на будущее. Хотят быть похожими на своего отца и в то же время не иметь с отцом ничего общего. Отец ушел от них, и они так его и не нашли. Это не упрек: виновато общество. Дети 68 года — люди без образца. Они ни на что не годны. Несерьезные люди. Ущербные. В браке они задыхаются. На свободе киснут. Даже их психоаналитик в ауте: непонятно, что им сказать. У них нет примера для подражания. Беде моего поколения ничем не помочь. Я забыл свое детство, хотя во всем люблю только начало. Я не занимаюсь своим ребенком, при том что обожаю первые шаги. Тысячелетиями все было иначе. В доме был папа, была мама и были их дети. Всего сорок лет назад мы решили убрать из дома отца и теперь хотим, чтобы все шло как прежде? Чтобы все шло как прежде, нужны тысячелетия. Я — результат этого исчезновения отца. Побочный ущерб.

Однажды утром, в 9.26, я обнаружил, что не способен любить никого, кроме себя. День был моим зеркалом. Утром я думал о том, что́ буду говорить на телевидении. После обеда я произносил это перед камерами. Вечером я смотрел, как говорю это по телевизору. Иногда я глядел на себя по четыре раза, потому что интервью повторяли еще трижды. Накануне я смотрел монтаж другой передачи семь часов подряд. Я постоянно любовался на собственное лицо на цветном экране, и мне все равно было мало. Я звонил друзьям перед передачей, чтобы напомнить им время программы, а потом перезванивал, проверяя, смотрели они или нет. Я устраивал посиделки за рюмкой и оставлял телевизор включенным, чтобы, как я говорил с наигранной иронией, "посмотреть на меня хором".

Я обвиняю общество потребления в том, что оно сделало меня таким, какой я есть: ненасытным. Я обвиняю моих родителей в том, что они сделали меня таким, какой я есть: бесхребетным.

Я часто обвиняю других, чтобы не обвинять себя самого.

Никаких детских воспоминаний. Какие-то обрывки, две-три картины. Завидую людям, способным поведать вам каждую деталь своей младенческой жизни. Я не помню ничего, лишь несколько проблесков, которые в беспорядке описываю здесь, — и все. По-моему, моя жизнь началась в 1990 году, когда я выпустил первую свою книгу: как нарочно, мемуары. Писательство возвратило мне память.

Вот, например, Вербье, шале отца, 1980 год. В этом доме нет женщин. Я люблю наши мужские каникулы: парни на лыжах. Каждый вечер мы объедаемся фондю, и ни какая дамочка не плачется на такой режим. Я разжигаю камин, Шарль катается на лыжах до ночи, а папа читает американские журналы. И каждое утро будит нас с братом, щекоча нам пятки, вылезающие из-под икейского одеяла, наверстывая упущенное за пятнадцать лет.

А еще когда я, десятилетний, начал вести путевой дневник на пляже в Бали (Индонезия), в перерыве между морскими сражениями со стар-

шим братом, пока папа снимал загорелых телок в гостиничном баре. Я не знал, что так и не перестану записывать свою жизнь на бумаге. Маленькая тетрадка в зеленом переплете. Вот так я и попал в переплет.

Я решил задавать вопросы самому себе. Чем ждать, когда вернется прустовская "невольная память", я отправляюсь на репортаж, возвращаюсь в свое прошлое.

От Ней́и-сюр-Сен не осталось никаких воспоминаний. Однако же я родился там, в маленькой белой клинике. Я — мальчик из "Девять-два"[1]. Наверно, отсюда и мой вкус к роскоши. Я люблю чистоту, аккуратные садики, бесшумные машины, детские сады, где быстренько мочат любителей брать заложников. Немки-гувернантки, которых тем не менее называют по-английски "nurses". Детство видится мне чем-то чистым, гладким и беспросветно тоскливым.

Я родился по уши в серебряных ложечках. Как бы я хотел рассказывать вам о тяжелом детстве про́клятого художника. Завидую Козетте: сам я не пережил ничего патетического. Моя патетика в том, что ее так мало.

Я не был желанным ребенком. Я родился через семнадцать месяцев после старшего брата: довольно обычная в то время незапланированная вторая беременность. Мальчик, явившийся слишком рано. Никакого эксклюзива: в 65-м таблетки еще не были легализованы, и большинство детей являлось на свет, когда их никто особенно не ждал. Но от двоих детей больше ора, чем от одного. Вынужден признать, что на месте отца я бы, наверное, поступил точно так же: быстренько смылся. Впрочем, я это и сделал тридцать три года спустя.

Я не был по-настоящему предусмотрен в программе, все так, но это не так уж важно, тысячи людей как-то с этим разбираются. К тому же раз уж я появился, то дальше все шло как по маслу: со мной носились, меня окружали заботой, баловали, портили, так что грех жаловаться. Впрочем, дети всегда недовольны. Либо им слишком мало любви, либо чересчур много. В конце концов, не сетовать же мне, как Ромен Гари, что меня слишком любила мать! Очень важно получить травму от родителей. Нам это необходимо. Мы все — травмированные дети, которые будут травмировать своих детей. Лучше уж травма от родителей, чем от чужих людей!

Ладно, и все-таки я — нежданный гость. У меня нет законного места в жизни. Я сам себя пригласил на эту планету. Для меня пришлось ставить лишний прибор, сожалею, вам достанется меньше десерта. С тех пор меня всегда преследует странное чувство, что я мешаю другим. Отсюда страсть к паразитизму: моя жизнь — вечеринка, на которую меня никто не звал.

В телевидении я нашел средство сделать себя желанным. Я хотел, чтобы коленопреклоненные толпы молили меня жить. Я хотел, чтобы орды влюбленных людей желали, чтобы я пришел. Я хотел быть избранным, почитаемым, знаменитым. Не правда ли, смешно, что такие дурацкие мелочи заставляют нас непрерывно работать, вместо того чтобы нормально жить?

1. Почтовый индекс престижных предместий Парижа — в отличие от "Девять-три", где живут преимущественно выходцы из Магриба и т. д.

9 час. 27 мин.

Почему так хорошо было с Кэндейси? Потому, что бывшая лесбиянка лучше знает свое тело и точно знает, где ее трогать, чтобы доставить наслаждение. Женщины, не спавшие с другими женщинами, не так хороши, равно как и мужчины – не бисексуалы. Почему я думаю о сексе вместо того чтобы спасать наши шкуры? Потому что это тоже способ спастись. Покуда я буду озабоченным, я буду. Если я буду думать о другом, значит, меня больше не будет. Джерри смотрит на меня так же, как на жизнь вообще: с неоправданной доброжелательностью. Может, это и есть любовь? Ни на чем не основанная доброта?

– Что будем делать, папа?

– Не знаю. Подождем здесь, спускаться бесполезно.

– С минуты на минуту, – говорит Лурдес, – они высадят команды спасателей на крышу. Они выломают эту дверь, и мы выйдем первые.

– Думаешь? может, слишком много дыма, невозможно сесть?

– Им незачем сажать вертолеты, достаточно спустить несколько копов на веревке и пожарных с необходимыми инструментами, черт подери, их ведь готовили к таким миссиям...

К Лурдес возвращается надежда, это главное. Обязательно нужно, чтобы кто-нибудь проявил способность к самовнушению, когда одолевает клаустрофобия в этом поганом углу. Надежда – как свидетель, как кислородный баллон, который мы передаем друг другу.

– Они будут прыгать на крышу в черных костюмах, и в масках, и во всем прочем? – спрашивает Джерри.

– Ну да, не переодеваться же им в Микки, Динго и Дональда, – говорит Дэвид.

– Крутые парни с газовым резаком, они тебе в три секунды вскроют эту дверь, даже если замок полетел.

– Может, они сумеют подсоединиться к электронной системе запоров, вроде как Том Круз в “Миссия невыполнима”.

– Вау! Вися на тросе головой вниз! Суперкласс!

Нам нужно во что-то верить. Лурдес и Джерри снова начинают молиться, бормочут “God save us, please save us”[1], сложив руки и глядя в грязный потолок нашей тюрьмы. На данный момент мы по-прежнему живы.

9 час. 28 мин.

Катастрофы полезны: после них хочется жить. Нью-Йорк 2000-х – словно Париж 20-х, после резни 1914–1918 годов. Безумные годы крестили шампанским, американцы приезжали в Париж отрываться. Сегодня, после Одиннадцатого сентября, Безумные годы настали в Нью-Йорке и французы приезжают сюда нарываться на оскорбления. Впрочем, лично я покоя ради изображаю испанца:

– Olé! Está magnífico! Muy muy caliente! Si si si señorita![29]

Нью-йоркские грогги принимают меня за союзника. Большое Яблоко – запретный плод, который грызут ослепительно-белыми зубами все Евы мира. Самолеты воздвигли гигантский бордель. Может, я чересчур

1. Господи, спаси нас, пожалуйста, спаси (*англ.*).
2. Оле! Великолепно! Очень-очень горячо! Да, да, да, сеньорита! (*искаж. исп.*)

оптимист? Город по-прежнему в трауре; наверно, поэтому все ходят в черном. Только отдельные неподдающиеся забывают горе в праздниках и живут так, словно ничего не изменилось. Но изменилось все, я это очень скоро пойму. Просто я вижусь с одними строптивцами.

Например, в баре "Idlewild", в Нижнем Ист-Сайде, в 9.28 вечера все парни и девушки голые до пояса. У девиц на сосках нарисованы цветы. Это направление называют swinging lite – легкий свинг. Все ласкаются, целуются, трутся друг о друга, но трахаться нельзя. В таком стиле организуют многие вечеринки, самая знаменитая – "Cake".

– Это не оргия! – говорит хозяйка. – Просто секс-вечеринка.

Часто парочка уезжает с кем-нибудь третьим, все равно какого пола, и потом ему пару дней не дозвониться... Но многие мужчины просто любят смотреть, как жена лижется с подружкой, и все. Записаться на такие вечеринки можно по адресу: www.cakenyc.com, есть еще www.oneleupnyc.com для тех, кто любит погорячее (скажем, на последней вечеринке пароль был: "Eat me"[1]). Вход: $50 с пары, $15 с одинокой женщины. Учтите: вечеринки кончаются рано, потому что все довольно быстро разъезжаются потрахаться. Цель этих новых празднеств – вырваться за пределы верности, брака, изобрести способы любить иначе, не жертвуя своим желанием.

Нью-Йорк – единственное место в мире, где еще встречается исчезающий вид: девицы в босоножках посреди зимы, пьющие розовые коктейли из треугольных стаканов, покачиваясь под Крейга Дэвида. Рецепт "Космополитена": смешать лимонный "Абсолют", "Куантро", клюквенный сироп и лайм в стакане для мартини. Этот коварный напиток напоминает мне "Тониос" в Ируне времен моей молодости (джин, водка, гранатовый сироп, апельсиновый сок): первые попойки, сладковатая смесь в жилах, страшно вспомнить. Я заказываю один стакан или пять. Бен Ладен желает этим девочкам зла. А я хочу только добра их твердым сиськам в слишком тесных топах. Алкоголь – он как любовь: до чего же хорошо вначале... И тут-то меня озарило. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕЙБОЙ сегодня – это женщина. Это Бриджит Джонс, или Керри Бредшоу, героиня "Секса в большом городе". Это их боятся исламисты, и я их понимаю! На меня их тяжелая артиллерия тоже наводит страх: тушь, блеск, восточные ароматы, шелковое белье. Они объявили мне войну. Они пугают – что-то подсказывает мне, что соблазнить их всех не удастся. Обязательно свалится на голову еще одна, новенькая, и ее шпильки будут еще выше, чем у предыдущей. Сизифов труд. Даже если они будут обрушивать на этот город по чартерному рейсу в день, им не удастся остановить поток опасных красоток, сексуальный империализм роскошных поблядушек с надписью на майках I ESCAPED THE BETTY FORD CLINIC[2], силу их разрушительных декольте и порхающих ресниц, когда они награждают вас презрительным жестом.

– You're not on my "to do" list. Отвали, мужик. Сегодня вечером охочусь я. Scram! Beat it![3]

– Кофе и такси, пожалуйста. (Да нужны мне твои сиськи! Одна эрекция, а больше ничего. Так что катись со своими сандалиями. Меня не колышет.)

1. Съешь меня (*англ.*).
2. Я СБЕЖАЛА ИЗ КЛИНИКИ БЕТТИ ФОРД (*англ.*). В клинике Бетти Форд лечатся от алкоголизма и наркомании.
3. Тебя нет в моей программе... Отвали (*англ.*).

Может, удовольствие вытесняет страх? Интегристы дезинтегрированы. Действие их угрозы оказалось прямо противоположным тому, на какое они рассчитывали. Гедонизм достиг предела. Вавилон жив! Ни одна женщина не закрывает лица — наоборот, все бегут в ресторанные стриптизерши, играют в жмурки, ласкают коллег по офису и целуют первых попавшихся мальчиков на вечеринках. Новые Безумные годы стартуют разгулом, покуда кто-то где-то бомбит дальние страны. Люди ласкаются, смеются, и террор разлетается вдребезги. Терроризм никого не терроризирует; он придает силы свободе. Секс пляшет со смертью. Здесь нет победителей, только проигравшие вроде меня. Когда я возвращаюсь в китайское кабаре транссексуалов ("Lucky Cheng"), они запевают трогательную песню на мотив "Happy birthday to you":

— Happy blow job to you! Happy blow job to you![1]

Бородатые многоженцы, обкуренные гашишем, вознамерились учить нас добродетели? ОК, парни, вы выиграли, будем жить как вы: все будем многоженцы и наркоманы! Разочароваться всегда успеем. Мы хохочем как одержимые и тут же впадаем в тоску. Вот так и живем.

9 час. 29 мин.

Самолет горел под нами уже три четверти часа, и тут Джерри сказал, что хотел бы стать мухой.

— Ты спятил? — завелся Дэвид. — Ты когда-нибудь видел муху на стекле? Бьется во все стороны как полоумная, а вылететь не может.

— Он прав, Джерри. Незачем тебе становиться мухой. Ты уже муха, и я тоже. А Дэйв у нас комар. Ну, давайте жужжать и биться о "Windows"!

И я начинаю гудеть как оса и метаться во всех направлениях. Ошарашенное лицо Лурдес. Растерянная физиономия Джерри. А потом наконец награда: смех Дэвида, он делает себе на лбу усики из белой салфетки. Лурдес хлопает, Джерри присоединяется к нам, и мы жужжим хором, налетая на стены. Энтони удачно выбрал место. Это помещение более или менее изолировано от остальной башни, покуда все отверстия заткнуты. Лурдес приникает ухом к выходу на крышу. Время от времени она велит нам помолчать и слушает, не высаживают ли с вертолета спасателей. Но все, что мы слышим, — это скрежет плавящихся стальных балок, рыдания обожженных и глухой, гнетущий рокот пожара. И тогда Дэвид-москит снова заводит свое ж-ж-ж, и жалит брата пальцем, и хоровод начинается снова.

Еще минута умирания.

9 час. 30 мин.

Путешествие в Америку — великая французская традиция, начало которой положили Шатобриан и его племянник Токвиль. Мы любим взирать на американского колосса с насмешливым восхищением. В XIX веке был романтизм и скво. В XX — рождение мирового капитализма и общества потребления (Нью-Йорк Морана и Селина). В XXI мы прекрасно чувствуем, что в системе нелады и что, если хотим понять, как исчезнем с лица земли, нужно подняться пешком по Бродвею под дождем. Потрепанные жизнью функционеры лежат посреди улицы на деревянных станках, и китайцы массируют им затылок под сенью киноафиш. Вместо секс-шопов

1. Пососи на здоровье! (*англ.*)

выросли Дисней-сторы. Жидкокристаллические рекламы кока-колы сломаны: кроваво-красный логотип нервно мигает, словно испорченный стробоскоп. Чего хочет эта промокшая толпа? Деньги перестали быть ее божеством. В 1925 году по этому самому проспекту поднимался Луи-Фердинанд Селин; он упоминает об этом в "Путешествии на край ночи" в 1932 году: "Весь квартал полон золота, настоящее чудо, это чудо даже слышно через двери, слышен хруст перебираемых долларов. Доллар становится все легче, настоящий Святой Дух, драгоценнее крови". Теперь все не так, никто больше не молится на баксы, людям они надоели, но люди не знают, как жить иначе, и вот они чешут репу, делают массаж, обманывают жену с любовницей, а любовницу с мужиком, они ищут любви, покупают банки с витаминами, жмут на газ, сигналят, да, вот это и есть всеобщий отчаянный бег, они сигналят, чтобы все знали, что они существуют.

Отношения Франции и Америки – длинная история; сейчас она слегка заглохла, но, быть может, пришло время ее реанимировать. Франция снова может помочь, если моя страна хоть на что-то годится. Франция не мать Америке (мать – Англия), но может претендовать на роль крестной. Знаете, это такая старая усатая тетка, которую видишь лишь по большим праздникам, у нее плохо пахнет изо рта, ее немного стыдишься и чаще всего забываешь о ее существовании, но время от времени она напоминает о себе отличным подарком.

На Мэдисон-авеню навстречу мне идет девушка с нарисованным на лбу черным крестом. Потом вторая. Потом два банковских служащих с тем же крестом на лбу. Может, мне мерещится? Но я ничего не пил за завтраком. Теперь их уже десятки, больших и маленьких, руководящих работников и секретарш, они разгуливают по улице с нарисованным сажей крестом на лбу. Я говорю себе, что, наверно, за несколько домов отсюда какой-нибудь псих заморочил им голову и разрисовал лицо черной краской так, что они и не заметили. Тротуар забит людьми с крестом на лице. Я продираюсь сквозь поток этих городских крестоносцев и в конце концов понимаю, в чем дело: они выходят из собора Святого Патрика. Сегодня среда, первый день Великого поста. Очередь тянется на несколько кварталов; люди терпеливо ждут, когда им помажут лоб святым пеплом. Представляете, какова атмосфера в этой столице мира? Труженики всех мастей готовы пожертвовать обеденным перерывом ради того, чтобы священник им нарисовал прахом крест на лице. Во Франции я такого не видел.

Еще одно новшество: ньюйоркцы стали невероятно предупредительны, услужливы, внимательны, обходительны. Я помню безудержный индивидуализм 80-х, когда обитатель Нью-Йорка запросто мог перешагнуть через лежащего на земле бездомного бродягу, даже не замедлив шаг. Сейчас ничего подобного. Во-первых, потому что все бездомные были либо выдворены из города мэром Джулиани, либо перемерли; но появилось и кое-что другое: апокалиптическая вежливость. Конец света делает великодушным. Я видел, как прохожие помогают слепому перейти улицу в снегопад, как дама подняла мужчине зонтик, как двое, остановившие одно такси, пропускали друг друга вперед. Ну просто как в фильме Фрэнка Капры! По десять, двадцать раз на дню мне встречался невозможный гибрид, мутант, немыслимое существо: ньюйоркец-альтруист.

Одиннадцатое сентября имело два диаметрально противоположных следствия: любезность внутри страны и жестокость вне ее.

9 час. 31 мин.

Меня зовут Дэвид Йорстон, и мой отец вот-вот превратится в супергероя. Он без конца это отрицает, но его мутация неизбежна. Еще пару минут назад он подражал мухе: такие знаки не обманывают.

— Нет, Дэвид, я не супермен! Хотел бы я им быть! Думаешь, я сильно горжусь тем, что я — это только я?

Классическое запирательство. Люди, наделенные супервозможностями, всегда выдают себя за слабаков, так они сохраняют свободу маневра и автономию действий. Доносится сильный запах шоколада. М-м-м.

— Это автомат на 108-м этаже, — говорит Лурдес. — Он плавится.

ОК, ну и вонища. Папа бегает кругами, как мутант в клетке. Вот тут-то он и замечает камеру слежения: серую коробочку на потолке. Он бросается к ней, размахивая руками, как мельница.

— Эй! Мы здесь! Йо-хо!

Он показывает Джерри в объектив, потом поднимает и меня. У меня даже синяки на бицепсах, так сильно он меня сжал. Наверно, его суперсила активируется.

— They can see us! Hello there![1] Заберите нас!

Он подпрыгивает, поворачивая камеру к двери, и показывает на нее пальцем.

— Look at the door! OPEN THE DOOR![2]

Папа пляшет пого, прямо все перчики Red Hot в одном лице.

Но эти маленькие камеры, они без микрофона, так что нечего орать как ненормальный.

Несколькими сотнями метров ниже, в безлюдном центре слежения, на одном из черно-белых настенных мониторов возник жестикулирующий мужчина лет сорока, с двумя детьми, и сидящая у стены молчаливая женщина с лицом цвета кофе с молоком. Другие камеры теленаблюдения показывали опустевшие офисы с разбитыми стеклами, застрявшие лифты с обугленными трупами, полные дыма коридоры, холлы, затопленные автоматическими противопожарными системами, лестницы, забитые сотнями людей, цепочкой спускающихся вниз, навстречу сотням тяжело дышащих пожарных. Тысячи красных лампочек мигали на стенде перед пустыми креслами. Если Бог вообще существует, я спрашиваю, какого черта он делал в этот день.

9 час. 32 мин.

Я пристаю ко всем встречным с одним и тем же вопросом:

— Have you been to “Windows on the World”?[3]

И все глядят на меня недоверчиво и растерянно.

1. Они могут видеть нас! Эй, там! (*англ.*)
2. Посмотрите на дверь! ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ! (*англ.*)
3. Вы бывали в “Windows on the World”? (*англ.*)

— Зачем опять вспоминать этот ужас?

Из уст француза вопрос казался неприличным, вуайеристским. Я хотел разбудить ресторан-призрак. The Ghost diner. Тогда я вновь начинал изображать испанца:

— Ma qué esta muy intéressante and I lova youra countrya. Penelopa Cruz she's hot, no? olé, olé![1]

Многие ньюйоркцы в один голос говорили, что перестали любить голубое небо над городом. Хорошая погода здесь — больше не синоним безмятежности. Моя книга могла бы называться (подмигиваю Хантеру Томпсону) "Страх и ненависть в Нью-Йорке". Департамент внутренней безопасности советует всем запастись пластиковой пленкой и клейкой лентой, чтобы перекрыть приток воздуха в случае химической или бактериологической атаки.

Сегодня я снова иду в город, поднимаюсь вдоль реки Гудзон; у 86-го пирса стоит на приколе гигантский авианосец "Неустрашимый". 25 ноября 1944 года он подвергся атаке двух японских самолетов с пилотами-камикадзе. С тех пор его превратили в Музей военно-воздушных, военно-морских и космических сил. На самом деле это настоящее святилище американской национал-милитаристской пропаганды. На стене у входа я читаю девиз US Air Force: "Aim high" (целься точнее). Немногочисленным посетителям — мальчишкам с мороженым в руках да нескольким неуверенным японцам — крутят фильмы во славу US Army. Сам я пришел сюда из-за куска фюзеляжа от рейса № 11 "Американ эрлайнз", он выставлен под стеклом в трюме авианосца. Я несмело приближаюсь к реликвии. Подано очень торжественно. В плексигласовом кубе, на слое серого пепла, собранного на Граунд Зеро, бережно выложены несколько сломанных предметов: развороченный ноутбук, отпечатанные на ротаторе листы с пятнами засохшей крови. А в центре — обугленная стальная пластина величиной примерно в квадратный метр: передо мной лежит все, что осталось от "боинга", врезавшегося под "Windows on the World". Искореженный, исполосованный, горелый кусок металла. Посередине можно опознать овальную дыру в расплавленном алюминии: иллюминатор. Все посетители подходят к этому окну в пепел. Window on the dust. Я наклоняюсь, я в нескольких сантиметрах от рейса № 11, не будь стекла, я бы мог потрогать первый самолет Одиннадцатого сентября.

Никогда я не стоял так близко к морю крови.

9 час. 33 мин.

Как Иисус не спас меня

Как мне хочется еще раз попробовать мамин яблочный пай, запах которого, поднимаясь на второй этаж, будил меня в кровати. Под огненно-оранжевым небом мы катим на машине — маленькой металлической коробочке под звездами. Мы часто совершали дальние поездки по Техасу, самому большому штату Америки; папа вел машину, мама спала, и мы на заднем сиденье тоже храпели, только я не спал. Я притворялся, что сплю. Я слушал такие огромные бобины, помните? Вроде больших кассет, размером с

1. Очень интересно, и я любить ваша страна. Пенелопа Крус — очень горяченькая? Оле, оле! (*искаж. исп., англ.*)

карманную книжку. Можно было переключать с одной песни на другую, папа слушал "Drive My Car" из битловского альбома "Rubber Soul", и я подпевал про себя: "bee-beep, bee-beep, yeah!" Или был еще альбом "L. A. Woman" группы "Doors", начинавшийся эдаким адским блюзом под названием "The Changeling". Я качал головой в такт, закрыв глаза, и боялся, что папа заснет за рулем, и кричал про себя: папа, проснись!

– Папа, проснись! Папа, проснись!

Я узнаю голос сына.

– А? Я долго спал?

Лурдес объясняет, что я на мгновение отключился, потерял сознание. Дети вялые, отравленные, как и я. Должно быть, ядовитые пары постепенно приканчивают нас, а мы и не замечаем. Мне хочется снова уснуть, вернуться в свой детский семейный сон. Я начинаю любить родных, как любят надувную лодку в бурю. Лурдес заговорила – теперь ее черед. Она рассказывает, что ей не удалось завести детей, потому она и хочет помочь Джерри и Дэвиду, и что в ресторане без нее спокойно обойдутся, и что надо сохранять спокойствие, что мы выйдем отсюда, надо только подождать, и я чувствую, что верит она в это железно. Ей удается поймать сеть, она звонит брату, тот не помнит себя от волнения. Она повторяет ему то же, что я говорил Мэри: предупреди спасателей, мы на крыше, все хорошо, но дыма все больше, мы не знаем, что делать... Его она не утешает.

Эта женщина – святая. Каждый день мы, сами того не зная, встречаем ангелов. Она роется в кармане, вытаскивает пачку жвачки и молча раздает ее нам. Мы кладем ее в рот, словно гостию. Потом мальчики снова начинают играть с Лурдес.

Я сознательно решил расстаться с плотью от своей плоти. Два этих шалопая тяготили меня, и я их скинул. Я все равно считаю, что все мужчины, живущие с одной женщиной больше трех лет, трусы или лжецы. Мне хотелось послать подальше буржуазную семейную схему: отец не должен бросать мать своего ребенка, даже если любит другую. А если он это делает, значит, он негодяй, мерзавец, безответственный тип. Стало быть, "ответственный" – это тот, кто обманывает жену за ее спиной. Я не согласен. Настоящая ответственность – это показать своим детям правду, а не искусственную подделку, не липу. Сегодняшнее так называемое свободное общество, общество cool, превозносит любовь из папье-маше. Шестидесятые были "чудесной передышкой". А я хотел сказать сыновьям, что нельзя оставаться с человеком, которого уже не любишь, что надо хранить верность только любви и по мере возможности слать общество подальше. Я хотел им сказать, что любовь отца к детям нерушима и не имеет ничего общего с любовью папы к маме. Я хотел им сказать то, чего никогда не говорил мне мой отец, потому что никогда не слышал этого от своего отца: я люблю вас. Я люблю вас, но я свободен. Я люблю вас, но мне плевать на христианскую религию. Вы – единственные, кого я буду любить дольше, чем три года.

А теперь я сижу здесь, на раскаленной плите, растроганный как последний кретин, и любуюсь на них, мягко погружаясь в ту самую, реакционнейшую схему; скоро мы вместе умрем, и я понимаю, что раньше все было ложью.

9 час. 34 мин.

В 9.34 служащие Cantor Fitzgerald залезли под металлические столы, чтобы превратиться в угли каждый в своем углу. Человек пятьдесят собрались в конференц-зале; мы не знаем, молились ли они, но по телефону они очень часто повторяли слово "God". На 92-м, у Carr Futures, все стояли по колено в воде. Две дюжины брокеров задохнулись прямо в разгар сессии и лежали штабелями у двери, как в газовой камере. На 95-м левое крыло самолета распороло потолок, стены, окна, справочный киоск и даже мраморную стойку приемной. Было абсолютно темно, кругом струилась кровь и пахло паленными волосами; только тишина и неподвижные тела. В Южной башне, у Keefe, Bruyette & Woods сотрудники отдела инвестиций спустились вниз и остались в живых; но все трейдеры погибли, потому что боялись проморгать момент начала торгов.

Над городом идет снег. Тротуары покрываются белой пудрой, она летит на асфальт с неба, как Одиннадцатого сентября, только на этот раз она естественная. Со смотровой площадки на вершине Эмпайр-стейт-билдинг город выглядит так, словно покрыт белым чехлом, как диваны в заколоченном загородном доме. Но доносится вой полицейских сирен, рокот и вибрация большого города. Мало кто из туристов решился прийти сюда сегодня утром; ледяной ветер метет поземку, режет глаза. Из громкоговорителя несется песня Эллы Фицджеральд: "In my solituuuude, you hauuunt me". Панорама размыта, но, приглядевшись, я могу отличить камень от воды, даже вижу волны на поверхности Ист-Ривер, округлые черно-белые складки. Над моей головой — шпиль Эмпайр-стейт-билдинг, к нему, по замыслу, должны были швартоваться дирижабли. Он похож на стрелу Эйфелевой башни, которую американцы пытались превзойти с 1899 года: этот шпиль превзошел ее в 1931 году. Я обхожу всю площадку: за снежной стеной видны дымящие трубы, словно Нью-Йорк — это гудящая кузница, завод с десятью миллионами рабочих. Разные оттенки серого громоздятся пластами под белой, словно сахарная пудра, скатертью, а потом вдруг — оранжевое пятно: брезент вокруг строящегося здания; или позолоченное пятно: купол какого-нибудь небоскреба; или серебристое пятно: отливающий перламутром "Крайслер" в снежной вате. Влюбленная парочка просит сфотографировать их. Я их ненавижу. Их беззаботность хлещет меня по щекам, словно ледяной воздух. Мне хочется схватить девицу за меховой воротник и заорать ей в лицо:

— Пользуйся, пока можешь! В один прекрасный день он пойдет по бабам с приятелями, а ты будешь изменять ему в гостинице с коллегой по офису. В конце концов ты его бросишь, и кто будет хранить фотку, которую я сделаю? Да никто. Только понапрасну тратить пленку, которая будет валяться в обувной коробке где-нибудь в глубине шкафа.

На чемпионате мира по вредности я бы точно занял призовое место. Но я, конечно, молчу и увековечиваю их поцелуй перед объективом. Потом, обернувшись к югу, еще раз убеждаюсь, что обеих башен больше нет. Эмпайр-стейт-билдинг может быть доволен: он снова стал вершиной города. Тридцать лет два здания пытались оспорить его владычество, но теперь все кончено: семидесятые умерли. Эмпайр-стейт с его 381 метром снова господин. От игры света пейзаж каждую секунду меняется. На севере здание Pan Am Building сменило название: MetLife, пишу

имя твое. И RCA Building теперь зовется GE Building. Три вещи придают горизонту новый облик: облака, теракты и смена торговых марок.

9 час. 35 мин.

Война за воздух. Здесь командуют легкие: выйти, хотя бы высунуться по пояс в окно, не сидеть в этой духовке. Джеффри помогает коллегам из Risk Water Group отыскать хоть глоток кислорода в "Windows on the World". Залезть на стойку бара. В холодильник на кухне. Встать у окон северного фасада. Пожар бушует. Другие сотрудники компании сумели дозвониться в пожарный департамент, оттуда повторили инструкции: "никуда не уходите, мы сейчас будем". Как будто можно отсюда уйти. Джеффри ищет воды, но в кранах ее больше нет, и тогда он переворачивает висящий на потолке вазон, чтобы намочить для своей группы салфетки. Он срывает красные занавеси, чтобы перекрыть дым или хотя бы устроить фильтр. Он машет скатертями из окна, откуда свешиваются люди, зовущие на помощь. Джеффри больше не страшно. Он становится героем. Он переворачивает столы в громадную лужу, чтобы друзья могли выйти в коридор и их не убило током: в этом болоте мокнут оголенные провода.

Он и вправду сделал все, чтобы помочь другим, прежде чем попытать счастья самому. Ему хотелось осуществить свою идею, к тому же, быть может, ему осточертело смотреть, как умирают любимые люди, которых он не может спасти. Он хватает занавес за четыре угла (по два в каждом кулаке) и прыгает в пустоту. Вначале ткань надувается, словно парашют. Друзья придают ему смелости. Он видит их полные ужаса лица. Скорость растет. Руки не выдерживают, нагрузка слишком велика, занавес складывается пополам. А ведь он занимался парашютным спортом в Аспене, он умеет использовать восходящие воздушные потоки. Но он падает камнем. Как бы я хотел рассказать, что он спасся; но меня бы стали упрекать за то же, за что и Спилберга, у которого в газовых камерах шла вода из душа. Джеффри не удалось изящно приземлиться на кончики пальцев. Его несчастный кусок ткани за несколько секунд превратился в факел. Джеффри буквально взорвался на мостовой, убив пожарного и обожженную женщину, которую тот выносил. Жена Джеффри узнала о его смерти от его любовника. Иначе говоря, узнала одновременно и что он бисексуал, и что он умер. Для рассказа о занимательных приключениях я выбрал неудачный сюжет.

9 час. 36 мин.

В романе "99 франков", который вышел в августе 2000 года, я описывал "внедренческую" революцию с помощью одной сквозной метафоры: "Невозможно захватить самолет, не войдя в него". Октав Паранго был уверен, что сможет изменить ход вещей изнутри. Потом, под конец романа, он вдруг заметил, что самолетом никто не управляет. Когда его назначили шефом агентства, он обнаружил, что не может произвести революцию в автономной системе, в организации, не имеющей ни главы, ни направления, ни смысла. Торжество глобального капиталистического общества рекламы: самолет-самодур. (Метафору "самолет без пилота" я взял из американской комедии "Есть ли пилот в самолете?") 11 сентября 2001 года этот образ предстал передо мной во всем своем чудовищном значении. Конечно, надо сесть в самолет, чтобы его развернуть. А

если самолет совершает самоубийство? Тогда мы превращаемся в огненный шар: это, безусловно, большой шаг вперед. Может, садясь в него, мы и рассчитываем изменить курс – а если только затем, чтобы протаранить небоскреб? Революция возможна только вне этой самоуничтожающейся системы. Ни в коем случае нельзя садиться в самолет. Принять этот мир, быть причастным к рекламе или массмедиа означает обречь себя на верную гибель в гигантском взрыве – в прямом эфире на CNN. Сегодня внедрение превратилось в самоистребление. Настоящая революция в том, чтобы уйти. Главное – *не* участвовать. Пора предпочесть пассивному сопротивлению активное дезертирство.

Бойкот лучше, чем сквот.

Так что нечего ругать других и весь мир. Золя обвинял богатых; пора мне написать: "Я обвиняю себя".

Я обвиняю себя в том, что потакал своему нарциссизму.
Я обвиняю себя в нездоровой страсти соблазнять других.
Я обвиняю себя в левачестве а-ля Парк-авеню[1].
Я обвиняю себя в карьеризме и продажности.
Я обвиняю себя в зависти и вечном недовольстве.
Я обвиняю себя в наигранной искренности.
Я обвиняю себя в том, что своим самообвинением, предупреждающим будущие нападки, опять-таки хочу нравиться.
Я обвиняю себя в двоемыслии.
Я обвиняю себя в том, что пошел на "Canal +" отыгрываться за то, что я не звезда.
Я обвиняю себя в спесивой лени.
Я обвиняю себя в том, что пишу стыдливые автобиографии.
Я обвиняю себя в том, что я не Эрве Гибер, в гетеросексуальном варианте.
Я обвиняю себя в том, что впал в пошлость в 9 час. 36 мин.
Я обвиняю себя в том, что неспособен ни к чему, кроме пошлости.
Я обвиняю себя в том, что я и только я ответствен за свою неврастению.
Я обвиняю себя в полном отсутствии мужества.
Я обвиняю себя в том, что бросил своего ребенка.
Я обвиняю себя в том, что не пытался изменить себя к лучшему.
Я обвиняю себя в том, что обожаю все то, что критикую, особенно деньги и славу.
Я обвиняю себя в том, что не вижу дальше собственного носа и члена.
Я обвиняю себя в том, что выдаю самодовольство за самоуничижение.
Я обвиняю себя в неспособности любить.
Я обвиняю себя в том, что всегда искал лишь восхищения женщин и никогда не интересовался их проблемами.
Я обвиняю себя в эстетике без этики.
Я обвиняю себя в интеллектуальном (и физическом) рукоблудии.
Я обвиняю себя в умственном (и физическом) онанизме.
Я обвиняю себя в том, что приписываю моему поколению собственные недостатки.

1. Парк-авеню – фешенебельная улица в Нью-Йорке.

Я обвиняю себя в том, что путаю нелюбовь и поверхностность (нет нелюбви, когда не способен любить).

Я обвиняю себя в том, что ищу совершенную женщину, зная, что совершенства не существует, только для того, чтобы удобнее было вечно плакаться и ныть.

Я обвиняю себя в расизме по отношению к дурнушкам.

Я обвиняю себя в том, что мне плевать на все, кроме самого себя.

Я обвиняю себя в том, что обвиняю других, потому что завидую им.

Я обвиняю себя в том, что хочу лучшего, а довольствуюсь малым.

Я обвиняю себя в том, что у меня с городом Нью-Йорком нет ничего общего, кроме индивидуализма и мегаломании.

Я обвиняю себя в том, что сжег все корабли, сбежал от прошлого, то есть от самого себя, и у меня нет друзей.

Я обвиняю себя в том, что создаю много шума на пустом месте, и в том, что не умею быть отцом.

Я обвиняю себя в хронической безответственности, то есть в онтологической трусости.

Я обвиняю себя в том, что начиная с 1990 года публично ворошил свое грязное белье.

Я обвиняю себя в том, что оставляю за собой одни руины.

Я обвиняю себя в том, что меня притягивают руины, потому что "рыбак рыбака видит издалека".

А теперь приговор:

Я приговариваю себя к вечному одиночеству.

9 час. 37 мин.

Хуже всего то, что в этом помещении нет телефонной кабины. Кларк Кент не может стать суперменом без телефонной кабины, он там переодевается. Не раздеваться же папе догола перед Лурдес! Мы с Джерри ладно, нас его стручок не волнует, подумаешь, невидаль. Но как вы хотите, чтобы он трансформировался, если ему переодеться негде? Глупо, конечно, и как я раньше не подумал. А Джерри-то, надул в штаны, хорошенькое дело! И думает, я не заметил! Я слепой, что ли? Я молчу, потому что не хочу отвлекать папу от его протонной метаглюцидации. Я было решил, что он переоденется в туалете, но нет; по-моему, это чтобы никто не узнал о его суперсиле. Ну конечно, обычно у супергероев не бывает детей, ему поэтому приходится все время скрываться, не позавидуешь. Что он сделает, когда придет в рабочее состояние? Очень интересный вопрос, спасибо. Ну, во-первых, он расплавит бронированную дверь своими лазерами, они у него в глазах. Потом выйдет на крышу и поднимет башню, у него же будет ультрасила, а дальше окунет ее в Гудзон, чтобы погасить пламя. Раздастся ПШШШ, как когда мама сует под воду сковородку, на которой жарила попкорн. Потом он поставит башню на место и сделает то же самое со второй. А если это слишком опасно, ведь люди внутри могут набить себе шишки, тогда он сделает наоборот: засосет в себя 100 миллиардов тонн морской воды и выльет ее на башни-близнецы. И то и то вполне возможно. Еще он может соорудить гигантскую горку, надо просто содрать брезент со строительных лесов, их тут полно, и пускай люди съезжают вниз; или он растянет свое эластичное тело и сделает из него висячий мост между башнями, или (но это уж на крайний случай, если остальное не получится) заставит

Землю вертеться в обратную сторону, чтобы вернуться во времени на два часа назад, пока еще ничего не случилось, тогда надо будет просто сказать людям, чтобы не ходили на работу, и все тип-топ. Вот что папа сделает, когда опять обретет гиперспособности.

9 час. 38 мин.

Большая проблема Соединенных Штатов в том, что они хоть и хозяйничают в мире, но больше ему не хозяева. Я где-то вычитал, что Дэвид Эмил, владелец "Windows on the World", теперь всегда носит с собой в портфеле стихотворение У. Х. Одена:

> The winds must come from somewhere when they blow
> There must be reasons why the leaves decay
> Time can say nothing but I told you so[1].

С тех пор как я приехал в Нью-Йорк, во мне вдруг проснулись старые рефлексы газетчика из отдела светской хроники: просматривать "Time out" и вкладки в модных журналах, названивать нескольким старым приятелям, вечно спешащим на очередную попойку, делать записи на танцплощадках, как когда мне было двадцать и я писал для "Гламура"... По-моему, ночь – вполне подходящий термометр, чтобы понять, болен город или вполне здоров. Нью-Йорк как в тумане. Упивается горем и новой водкой – "Grey Goose", ее гонят во Франции. Перебрав несколько безлюдных, пребывающих в запустении баров, я потащился в "Scores", самый большой "лэп-дансинг" Большого Яблока. Огромный черный зал; мужчины приходят сюда, в одиночестве или целыми стаями, и платят по 20 долларов не за сам стриптиз (девицы великолепны, но они и так раздеваются на подиуме), а за то, чтобы их воспламенили, приласкали, околдовали. Они платят 20 долларов, чтобы уткнуться носом в чистые волосы, упиваться их ароматом, чувствовать ласку медового колена, руку на своем плече и карамельную попку на своих джинсах. Тот, кто не понимает лэп-дансинга, никогда не поймет Америку. Здесь платят, чтобы стояло, а не за то, чтобы трахаться. Здесь покупают не женщину, а мечту. "Eye candy". Соединенные Штаты – страна, где мужчины готовы потратить все, чтобы ощутить виртуальность, попасть в воображаемое. Они торчат ради удовольствия торчать. Они любят все недосягаемое. Это, конечно, пуританство (когда они возвращаются домой, это идет на пользу их супругам), но пуританство оптимистичное, честолюбивое, рассудочное: в отличие от француза, американец не хочет сразу в койку, он предпочитает идею удовольствия конкретному удовольствию, фантазм – реальности.

– What are you writing? – спрашивает Бьянка, когда я записываю эту теорию в блокнот.

– Nothing, darling[2].

Она оттягивает трусики-стринги и показывает мне свою щелку, намазанную сахарным лосьоном. И тут я вдруг чувствую себя таким жалким французишкой... Она дышит мне в ухо, я чувствую ее дыхание, она разговаривает со своей подружкой Никки, до чего же они хорошо пах-

1. Если ветер дует, то он дует откуда-то / Если листья вянут, то неспроста. / Время не скажет ничего, но ведь я тебе об этом говорил.
2. Что ты пишешь?.. Ничего, дорогая (*англ.*).

нут... ("Giorgio Beverly Hills"?) В упоительной сладости выздоравливающего города двадцатибаксовые бумажки улетают сами собой. Они платят за собственную фрустрацию. Они думают: это хорошо, что не все мечты сбываются. В Америке мечты сбываются не потому, что американцы хотят, чтобы они сбылись, а потому, что они мечтают. Они мечтают и не думают о последствиях. Чтобы мечта стала реальностью, нужно сначала помечтать. Вперед, девицы в мини-шортах из лайкры, девицы в пурпурных лифчиках, девицы с рыжими волосами, девицы в шнурованных ботинках, девицы с отбеленными зубами, девицы с безразмерными грудями, девицы, знающие наизусть слова Дженнифер Лопес ("Don't get fooled by the rocks that I got / I'm still I'm still Jenny from the block / Used to have a little now I have a lot / No matter where I go I know where I came from"[1]), девицы в розовых туфлях на каблуках стиллето, девицы в расстегнутых рубашках поверх черных бюстгальтеров на косточках, девицы с голым животом, девицы с украшениями на пупке, девицы с цветочком, вытатуированным над попой, поток свежих, новеньких девиц, как из рога изобилия, – ускользайте от меня! Мне не нужны покладистые девицы. Как только вы меня поцелуете или оставите номер телефона, ваша власть рухнет.

Тем же вечером, только позже, я размышляю, не заказать ли мне escort-girl в "Мёрсер" (набрать на гостиничном компьютере www.new-york-escorts.com или www.manhattangirls.net), но колеблюсь: фотографии обманчивы, никогда не знаешь, кто попадется – хорошенькая или уродина. А я еще не настолько пьян, чтобы трахать уродину. Или слишком влюблен?

9 час. 39 мин.

Лурдес на пейджер пришла информация, что Пентагон тоже подвергся нападению. Тотальная война. Где же, к черту, американская армия? Кому, спрашивается, легче от сознания, что умираешь не один? Никому. Если б я знал, что подохну здесь, я бы жил иначе. Я бы любил без презерватива. Я бы раньше ушел от Мэри, больше путешествовал, попробовал опиум и героин. Я бы меньше учился и тратил меньше времени на талассотерапию. Я бы чаще пытал счастья с женщинами, вместо того чтобы все время трястись – а вдруг меня унизят. Я бы мог стать гангстером, грабить банки, а не тупо подчиняться законам. Я бы женился на Кэндейси, чтобы она стала прелестной вдовой. Я бы не бросил курить. Что сохранять-то? мое здоровье? Я бы создал рок-группу – лучше сдохнуть с голоду, чем заниматься нудным ремеслом ради денег.

Я бы гораздо раньше подсидел своего босса. Я бы жил в Нью-Йорке, носил длинное черное пальто и солнечные очки глубокой ночью, круглый год мазался кремом для загара и обедал в ресторанах, где, наверное, кто-то отключил электричество, если только это не короткое замыкание: почему в богатых странах они вечно освещаются свечами? Бедность – это роскошь богатых. Я бы покупал больше машин: какая гадость эти деньги, я же никогда их не потрачу! Я бы попытался сделать себе клона. Я бы выбрил голову – посмотреть, как оно будет. Я бы, на-

1. "Пусть не обманывают тебя мои груди / Я по-прежнему все та же Дженни из нашего квартала / Раньше тут было мало, а теперь вон сколько / Куда бы ни занесло, я помню, откуда я родом" (*англ.*).

верное, убивал людей — посмотреть, как оно будет. Я бы, наверное, больше рисковал, потому что мне все равно нечего терять.

А может, просто попробовал бы стать лучше.

9 час. 40 мин.

Я бы хотел изобрести новый жанр: автосатиру. Я бы хотел знать, почему я все забыл. Почему я вычеркиваю прошлое из своих ежедневников. Почему мне надо напиться в стельку, чтобы я мог разговаривать с кем бы то ни было. Почему я пишу, вместо того чтобы кричать.

Я так и не видел родителей вместе, когда они были женаты. Я знал их уже после развода, когда они вынуждены были встречаться из-за меня. Друзья, но не любовники. Не помню, чтобы они целовались, разве что в щеку. Разве это важно? Нет, потому что я повел себя так же, как они. Впрочем, так себя ведет большинство: разойтись после рождения ребенка уже почти стало нормой. Но если это не важно, то почему я волнуюсь, говоря об этом?

Определение счастья: ловля креветок в Гетари. Мне шесть лет. Дедушка несет сачки для бабочек (мы ловим креветок сачками для бабочек, видел бы Набоков!). Счастье — это пляж Сеница во время отлива, когда камни колют ноги, спина покрыта солью, а в вышине сияет солнце. В то время еще не было черных приливов. Чудесные были экспедиции — только не для креветок, те кончали свой век сваренными заживо в морской воде. Почему счастье похоже на Гетари? Ведь только по чистой случайности мои родители встретились, полюбили друг друга и поженились именно в Гетари.

Я пуст; мне хочется размозжить себе голову, трахаться до посинения и читать книжки еще хуже моих. Только чтобы забыть, что у меня вовсе нет прошлого и я пустозвон.

Когда родители развелись, мне было пять лет и у меня так часто шла носом кровь, что врачи решили, будто у меня лейкемия. А я был страшно доволен, что можно месяцами не ходить в школу.

Мой девиз: стань тем, что ненавидишь.

Почему мы все хотим быть художниками? Кругом одни мои одногодки — кто пишет, кто играет, поет, снимается в кино, занимается живописью или сочиняет музыку. Что, все они ищут красоты или правды? Это только предлог. Они хотят быть знаменитыми. Мы хотим быть знаменитыми, потому что хотим, чтобы нас любили. Мы хотим, чтобы нас любили, потому что все мы подранки. Мы хотим иметь какой-то смысл. На что-нибудь сгодиться. Что-то сказать. Оставить по себе след. Не умереть. Восполнить отсутствие значимости. Мы хотим перестать быть абсурдными. Нам мало делать детей. Мы хотим быть интереснее соседа. А он тоже хочет попасть на телевидение. Это что-то совсем новенькое: наш сосед хочет быть интереснее нас. С тех пор как Искусство ударилось в нарциссизм, все друг другу завидуют.

На Таймс-Сквер только что открылся гигантский магазин “Toys‘Я’Us”, еще более необъятный, чем огромный магазин игрушек “FAO Schwarz”.

Я еду вверх на эскалаторе мегастора: пятиэтажное здание ломится от подарков, песенок, ярчайших красок и сопутствующих товаров. На меня со всех сторон движутся гигантские роботы, очаровательные тираннозавры, компьютерные игры, Playstation 2, 3, 8, 47... Почему такого рода места вгоняют меня в жуткую тоску? Производство игрушек стало одной из основ американской промышленности. Каждый день открывается новый мегастор "Дисней" или "Toys'Я'Us". Это места, где родители тратят все больше и больше денег, чтобы искупить свою вину. Это места, где дети бегут от реальности, заменяя ее подарками. Это мегасторы, где дети и родители спасаются друг от друга.

9 час. 41 мин.

– So, Dad, you're not a super hero?[1]

В 9.41 Дэвид, не плакавший ни разу в жизни, расплакался. О, далеко не сразу, нет, он медлил, пытаясь понять, что с ним происходит. Углы рта у него поползли вниз, образуя крышечку, как в комиксах Чарли про Брауна. Потом глаза стали больше раза в три. Он не отрываясь смотрел на загерметизированную дверь, на ее проклятый замок, на ее бесполезную ручку и красную пластмассовую табличку, на которой написана огромная ложь: EMERGENCY EXIT. Его нижняя губа вдруг надулась, задравшись к носику, а подбородок нервно задрожал. Вначале мы с Джерри растерянно переглянулись: что это еще за невиданная гримаса? Ничего не скажешь, самое время нашему семейству изобретать новые рожи. Дэвид ерошил себе волосы, не слишком понимая, что такое с ним творится. Было слышно его учащенное дыхание. Я было решил, что он опять задыхается, однако дыма сейчас было поменьше. Он дышал прерывисто, словно кто-то другой, сидевший в нем где-то глубоко долгие годы, теперь искал выхода. Дэвид-невозмутимый, Дэвид – сама солидность, Дэвид-флегматик в первый раз в жизни пытался разреветься. Его рот широко раскрылся, и из него вырвался яростный крик. Он бормотал какие-то отчаянные слоги: but, but, why, but, it's, we, but, what...[2], и, наползая друг на друга, они в конце концов слились в огромное УЫЫЫЫЫЫ, а потом из его глаз хлынул фонтан, по розовым щекам текли крупные капли. Джерри изо всех сил глядел на меня, чтобы не сломаться, но я сломался сам, и тогда он заплакал тоже. Мы крепко-крепко обнялись, как футбольная команда в перерыве, только у нас не было шлемов и плакали мы потому, что проиграли.

Я думал, что делать детей – лучший способ победить смерть. Ничего подобного. Можно умереть вместе с ними, и тогда никого из нас как будто и не было на свете.

9 час. 42 мин.

Трудно представить себе более хрупкий город. Скопление такого количества людей на таком ограниченном пространстве делает его удобной мишенью для всякого рода разрушителей. Если вы хотите причинить максимум ущерба, приложив минимум усилий, то Нью-Йорк для вас – идеальная цель. Отныне его жители это знают: башни уязвимы, их го-

1. Так что, па, ты не супергерой? (*англ.*)
2. Но, но, почему, но, это, мы, но, что... (*англ.*)

род — потенциальная куча металлолома, монумент из стекла. Еще никогда за всю историю человечества такой могучий город не было так легко стереть с лица земли. И однако умные, понимающие люди продолжают там жить. Как в Сан-Франциско: они знают, что однажды очередное страшное землетрясение сметет их город в океан, но не бегут из него. Еще один поразительный американский феномен: и Нью-Йорк, и Сан-Франциско — мегаполисы с апокалиптической судьбой, но никто и не думает их покидать. Это противоречие — главное в характере ньюйоркца: сознание угрозы не мешает исступлению жизни, наоборот, только подстегивает его.

Беспамятные воспоминания об американской ночи моей молодости... Президентом был Рональд Рейган... каждый вечер перед нами вставал выбор... "Danceteria" с его пятью этажами... "Palladium" с его сортирами, где все стены расписаны граффити... "Webster Hall" с его очередью на вход... "Eria", где каждый месяц обновляют интерьер, с его манекенами в стеклянных кубах... "Nell's", похожий на большую квартиру... "Limelight", похожий на неоготический собор... "Club USA"... Много вы знаете наций, у которых бы ночной кабак носил название страны? Все эти заведения исчезли... Сгинули в тумане прошлого, в беспамятстве далеких празднеств... А теперь ничего не осталось... Веселье поутихло... Клиентов стало меньше... Клубы микроскопические, и все равно пусты... Все рестораны на одно лицо... Подвалы со свечами. Магия исчезла.

9.42 вечера. Я сижу в гостях у великого французского писателя, ему 80 лет и живет он в квартире, предоставленной Нью-Йоркским университетом. Его жена объясняет, что все садомазохистские клубы закрыты: нет больше ни "Vault", ни "Hellfire", ни "Nouvelle Justine". Сегодня вечером она идет на "Submit party", но взять меня с собой не может, вечеринка только для девочек. Я принес бутылку красного калифорнийского вина от Фрэнсиса Форда Копполы, но великий писатель ее даже не откупорил, он наливает мне стакан хереса, отдающего кленовым сиропом. Такое ощущение, будто пьешь блинчик; восхитительно. Мне бесконечно хорошо в гостях у этой свободной, счастливой четы, поженившейся в 1957 году. Великий писатель рассказывает, как встречался в "Ла Куполь" с Уильямом Берроузом. Жуткий тип, как все наркоманы.

— Он убил жену, — говорит он, глядя на свою собственную. — Но для этого повез ее в Мексику.

— Если ты повезешь меня в Мексику, я буду осторожна! — с улыбкой парирует она.

Я говорю, что в Сохо есть новый бар под названием "Naked Lunch"[1]. Великий писатель шутит:

— Там что, надо завтракать в чем мать родила?

Здесь только что перевели его последний роман; назвав по-английски "Repetition", "Повторение". Потом великий писатель говорит, что меня вот-вот напечатают в Америке и мы отметим это событие, закатив обед с его другом Эдмундом Уайтом. Между моими корнями и мною намечается сближение. Я возвращаюсь в страну своей бабушки. Я не сумел избавиться от своего происхождения, своей истории, своей крови. Все-таки я не совсем гражданин мира, что-то держит меня здесь помимо моей воли.

1. "Голый завтрак" (*англ.*) — роман американского писателя Уильяма Сьюдрда Берроуза (1914–1997).

– Зачем ехать в Нью-Йорк, чтобы писать об этом? – спрашивает великий писатель, поглаживая седую бороду. – Когда я пишу роман, действие которого происходит в Берлине, я не еду писать его в Берлин.

– Просто я пишу роман в старинном духе. Новизна – дело молодых, вроде вас!

Чуть позже, в "Thom's bar", согретый огнем камина и коктейлем "Маргарита", я думаю, что надо бы попросить мою невесту выйти за меня замуж, тогда у этой книги будет счастливый конец. Знаешь, мне бы хотелось, чтобы мы были свободны и прекрасны целых пятьдесят лет, как супруги Роб-Грийе.

9 час. 43 мин.

Свет гаснет, потом зажигается снова. Лампочки начинают мигать, как в ночном баре. Потом настает непроглядный мрак. Дети отчаянно кричат в темноте. Мы в самом сердце ада. У меня больше нет выбора. Либо мы ждем, пока не подохнем здесь, либо спускаемся обратно в ресторан. Я размышляю недолго, слишком страшно сидеть на одном месте.

– Идемте, мои дорогие, спустимся обратно.

Они плачут все громче. Я сжимаю их руки, и мы встаем. Лурдес качает головой, она предпочитает остаться здесь. Мы долго обнимаем ее. Она откалывает свой значок "Windows on the World" и протягивает мне, на память.

– Мы еще встретимся, здесь или в ином мире.

– Ты благословен, Картью. С двумя такими ангелочками по бокам.

– Ты правда не хочешь спуститься?

– Молитесь за меня. Он откроет дверь, и я приду за вами. Ну, ступайте! Живо!

И мы покидаем ее, сидящую в темноте, прекрасную как мир.

Проходя по конторам "Windows on the World", я нахожу подключенный к Интернету ноутбук. Я пользуюсь случаем и на предельной скорости строчу e-mail Кэндейси, не перечитывая, не исправляя опечатки. "Кэнди, ты меня обманула, потому чтоя кзался несерьезны. So what? Это свршенно неважно, твое тело немоя собственност. Нам прнадлежит толко наше одиночество, аты прервала мое своим весельем, свими розовыми губами, своим глдким лобком. Я боялся сказать "Я любл тебя". Я полный идиот, что считал тбя чемто неважным. Я обнружил что помню только тебя. Кэнди постарайся меня простить. Я скоро здесь умру я скаждой мнутой слабе, ты можеш меня спасти, когда я думаюонас, я вижу что пытался быть кемто другим я играл рол, незнаю, чего я ждал оттебя, чтобы ты прикоснулсь ко мне, но ты меня спасла, ты слишко пздно вошла в мою жизнь, я уже все совершил, тебе не нашлос места каког ты заслуживала, не знаю с чегоначать но уменя есть оправдание просто мне конец. Не забывай Твой Карт". Ну, в общем, я бы хотел написать что-то такое, если бы у меня было время. Письмо, которое она получила, было короче: "I loved U. C. Y."[1].

Я перешагиваю через кучу чистых CD на полу, этажерка сломалась и ножи для бумаги рассыпались по линолеуму.

1. "Я любил тебя. К. Й." (*англ.*).

9 час. 44 мин.

I am dazzled by the glorious
collapse of the world[1].

Генри Миллер. *Черная весна*

Я не стал знаменитым. Меня более или менее знают в парижских литературных кругах. Моя крохотная слава по сравнению со славой какого-нибудь актера или рок-звезды просто смешна. Я могу спокойно выходить на улицу, меня не осаждают толпы фанов. Заказывая билет на самолет, я по-прежнему вынужден по буквам произносить свою фамилию! Пока люди не научились правильно произносить БЕГБЕДЕР, до звезды мне еще расти и расти.

И тем не менее я схожу с ума: собираю все газетные статьи, где упомянуто мое имя. Вырезаю их и складываю в кляссер, чтобы лет через двадцать, когда буду уже "экс", показать их дочери:

— Видишь, дорогая? В молодости папа был очень известным человеком. Как жаль, что ты этого не видела! Люди обожали меня, честное слово, спроси у мамы, это было просто невыносимо, потому-то она и выставила меня за дверь!

— Да-да, папа, да, конечно, ты был звездой... Ты мне уже раз сорок показывал этот альбом... И вообще, кончай говорить глупости, я прекрасно знаю, почему она тебя послала, при чем тут это... Просто с тобой невозможно жить.

— Но, э-э... ты меня любишь?

Лучше уж не воображать, что мне на это ответят через двадцать лет.

Когда приходит успех, некоторые делают вид, будто их нет; я же, наоборот, предпочел быть везде где только можно. Не понимаю, с чего бы мне исчезать под тем предлогом, что меня сильно любят. Уж лучше подождать, пока я всем не надоем, и тогда испариться навсегда. Тем более что ждать осталось недолго.

В приступах паранойи мне кажется, что система предусмотрела все, чтобы свести мой бунт к нулю: она дала мне деньги, успех, известность, и мои псевдореволюционные словеса выглядят смешно. Я еще не знаю, сработает ли эта удобная кара. Можно ли роскошью заткнуть человеку рот? Может ли слава быть блистательным трауром по непокорности? Этот прием использовал Энвер Ходжа, назначив Исмаила Кадаре́ депутатом. Лишить писателя силы обличения, сделав всесильным его самого. Как люди могут верить тому, что американцы называют "left limo"[2], а мы окрестили "левыми, жрущими икру"? Можно ли быть богатым и стремиться к переменам? Да: для этого нужно воспитывать в себе неблагодарность. Быть "бубоном" или "бобуном" означает одно: что ты еще не вышел из неблагодарного возраста. Хорошо быть буржуазной богемой, гораздо лучше, чем простым буржуа. Мне надоело, что меня считают испорченным ребенком и упрекают за то, что я ломаю игрушки. Я их ломаю, чтобы сделать новые.

1. Я потрясен великолепным крахом мира (*англ.*).
2. Левые на лимузине (*англ.*).

9 час. 45 мин.

10 июня 1797 г. мой предок Джон Адамс подписал в Триполи договор с Ливией, в котором Оттоманской империи (владевшей в то время Магрибом) было специально указано, что Америка "ни в коей мере не основана на христианской религии". Америка не выступает в крестовый поход против ислама! Первая афганская война велась против русских, а не против афганцев! В то время наметился союз между Вновь рожденными христианами и саудовскими ваххабитами – последователями Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба (1703–1792), "Кальвина песков". Мы нередко забываем, что ислам, как и иудеохристианство, опирается на наследие Авраама. Господствующая религия Америки – родная, но враждебная сестра исламского фундаментализма. На наших глазах разворачивается новая Варфоломеевская ночь. Джерри и Дэвид – жертвы Варфоломеевской ночи нефтедобывающих стран. Правоверные христиане против правоверных мусульман: я вот-вот умру из-за инцестуальной ссоры между двумя сектами миллиардеров.

Но я-то никогда в это не верил! Мои родители боролись против абортов, против алкоголя, против проституции и гомосексуализма, но мама принимала противозачаточные таблетки, отец каждый вечер выпивал, а поблядушки и педерасты заполонили и Техас, и всю остальную страну! Я никогда не одобрял их воспитания; в университете я одно (очень недолгое) время даже был сторонником американской компартии – только чтобы позлить папу, поддерживавшего Рональда Рейгана! Почему же я должен за них расплачиваться? Берите моих родителей, они свое отжили, эти "сочувствующие консерваторы"! Я был, черт побери, марксист, а не евангелист! O my God, у меня едет крыша...

– Папа! У меня голова болит...

– Дыши ртом.

Мы спускались вниз в черном облаке, окутавшем "Windows on the World".

9 час. 46 мин.

В Нью-Йорке вам всюду подают лососевый мусс, или лосося в нарезке, или просто лóсося. И что им дался этот лосось? Они не едят ничего другого. В Париже всюду "салаты с молодой зеленью", а тут – стейки из лосося, лосось под горчичным соусом. Но модный квартал, как ни парадоксально, называется "Мясной рынок".

Клубы в Meatpacking District вполне соответствуют его названию: это и впрямь сущие мясные лавки. Модели пляшут, как куски говядины на крючьях. Я спрашиваю у накокаиненного по уши ньюйоркца, где он отдыхает от этого сумасшедшего дома. Он отвечает – на Ибице. Честное слово, некоторые ньюйоркцы неизлечимы. Их невозможно спасти от их апокалипсиса. Красота упертости.

Вышибала в "Cielo" на вид не слишком open-minded[1].
– Are U on the list? Вы в списках?
– Э-э... yeah, конечно...
– Ваше имя, сэр?
– My name is Oussama[2]. Усама Бен Гребаный Ладен, ОК?

1. Широко мыслящий (*англ.*).
2. Меня зовут Усама (*англ.*).

Когда отпускаешь подобные шуточки эдакой роже, надо уметь быстро бегать.

Чтобы писатель боялся книги, которую пишет, — такое нечасто встретишь.

В "Taj" я любуюсь длинноволосой блондинкой в черном — высокой, печальной и окруженной братьями. Сам не знаю, как я с ней заговорил. Может, пролил на нее свой стакан, потому что меня толкнул молодой расхристанный француз. Я прошу прощения и вытираю яблочный мартини на ее белых грудях. Тут-то она говорит, что ее телохранители начистят мне морду. Я прошу их урезонить. Она смеется и представляет мне двух своих гигантов-братьев. Я замечаю, что ногти у нее накрашены в цвет ее жвачки. Я спрашиваю, куда она потом. Когда ты — незнакомец в далеком городе, надо этим пользоваться и идти напролом. Она говорит, что они едут в "Лотос". Потом исчезает в толпе. Я беру такси и жду ее в "Лотосе". Час спустя, когда приезжает она со своими церберами, мне уже море по колено. Она узнает меня и улыбается. Чтобы понравиться американке, нужно показать, что ты настойчив. Все ее жесты прелестны. Похоже, ей небезразлично мое присутствие, но смущают охранники-братья. Она подходит и заговаривает со мной, тронув за локоть. Я говорю, что всю жизнь мечтал заделать детей фотомодели. Она спрашивает, не француз ли я. Я изображаю испанца. Она смеется звонким, хрустальным смехом. Я беру ей стакан, она выпивает его залпом. Нью-йоркские женщины сделаны из очень крепкого хрусталя. Она первая наклоняется к моим губам. Она целует меня, язык у нее холодный и мокрый от льда. Ее шея пахнет мылом. Я все беспокоился, сможет ли мой член сегодня прийти в рабочее состояние, но все в порядке, у меня тут же встает. Я спрашиваю, как ее зовут. Она отвечает — Кэндейси. Я спрашиваю, где я мог видеть ее раньше. Она отвечает: на плакатах "Victoria's Secret". Она спрашивает, чем я занимаюсь. Нью-йоркские женщины часто задают этот вопрос, а потом прикидывают в уме вашу зарплату. Я говорю, что пишу роман о "Windows on the World". Ее лицо каменеет. Как будто я огрел ее дубиной. Она говорит, что ей надо на минутку отойти, она сейчас вернется. Она так и не вернулась.

9 час. 47 мин.

A hundred times I have thought:
New York is a catastrophe,
And fifty times:
It is a beautiful catastrophe[1].

Ле Корбюзье

А вы знаете, что Вавилонских башен было две? Археологи не оставили на этот счет никаких сомнений. В Борсиппе, около одного из рукавов Евфрата, в нескольких километрах к югу от Вавилона до сих пор высятся развалины Зиккурата, храма, который, согласно местной традиции, и мусульманской и христианской, был первой Вавилонской башней (До-

1: Сотни раз я думал: Нью-Йорк — это катастрофа, и пятьдесят раз — это прекрасная катастрофа (*англ.*).

мом семи связующих неба и земли). Эти руины даже и сейчас имеют высоту 47 метров и обломок стены на вершине. Как гласит местная легенда, Бог, в наказание богохульникам, наслал на башню комету, которая врезалась в ее вершину и вызвала пожар, следы которого и по сей день хранят почерневшие плитки (можете проверить на месте).

Но была и вторая башня, чуть севернее. Вторую башню, возведенную в Вавилоне, разрушили ход веков и череда нашествий. Сейчас от нее остались лишь следы фундамента, но, согласно Геродоту (V век до н. э.), который утверждает, что поднимался по ее ступеням, в ней было 7 этажей и 91 метр высоты.

Жили-были две Вавилонские башни-близнецы... в Ираке.

9 час. 48 мин.

Арт Шпигельман нашел точное слово: он сказал, что ньюйоркцы обращали лица к Всемирному торговому центру, словно к Мекке. Может, эти башни заполняли какую-то духовную пустоту? На этих двух ногах покоился американский миф. Трудно даже вообразить, что такое был Всемирный торговый центр на закате дня: две светящиеся колонны, а если подойти поближе, тысячи желтых квадратиков, горящие окна мелких контор, гигантская шахматная доска из гладкого стекла; внутри тысячи марионеток снимали телефонную трубку, набирали что-то в текстовых редакторах, ходили взад-вперед со стаканом кока-колы без кофеина в руках, перебирали страшно важные бумаги, рассылали эпохальные e-mail'ы по всему миру; тысячи огней в темноте, сияющий муравейник, атомная станция, с которой все начиналось и которой все кончалось, маяк непобедимого мира, меч, рассекающий облака, – он давал опору ньюйоркцам, когда день угасал, небо багровело и они чувствовали, что на душе у них неспокойно.

9 час. 49 мин.

Те немногие, кто еще жив в "Windows", начинают петь "God bless America" Ирвинга Берлина (1939):

> While the storm clouds gather far across the sea,
> Let us swear allegiance to a land that's free,
> Let us all be grateful for a land so fair
> As we raise our voices in a solemn prayer...
>
> Когда вдали над морем собираются грозовые тучи,
> Поклянемся в верности стране что свободна,
> Исполнимся благодарности к стране столь справедливой,
> Возвысив голос в торжественной молитве...

(Эту главу понимать буквально.)

9 час. 50 мин.

Что изменилось по сравнению в 80-ми годами: тогда ньюйоркцы говорили "Hi", а теперь – "Hey, what's up?"[1]. В их манере здороваться поубавилось деликатности, зато добавилось удивление. "Hi" вспоминается как

1. Привет... Ну, что нового? (*англ.*)

улыбчивый, учтивый привет, радость от встречи. "Неу" после катастрофы звучит иначе. В нем мне слышится: "Гляди-ка! а ты чего тут делаешь? ты еще живой? браво". Но, наверно, это опять моя паранойя. Я кружу между билдингами, словно стервятник в поисках падали. Я хожу по вертикальным улицам, вдыхая запах свежего горя. Писатель — это шакал, койот, гиена. Ну дайте же дозу отчаяния, я ищу трагедию, у вас не найдется под рукой небольшого зверства? Я жую жвачку и скорбь сирот.

Некоторые критики называют кино окном в мир. Другие говорят то же самое о романе. Искусство — это window on the world. Как дымчатые стекла стеклянных башен, в которых я вижу свое отражение: длинный сутулый силуэт в черном пальто, журавль в очках, меряющий тротуар широкими шагами. Я пытаюсь убежать от этой картины, ускоряю шаг, но она гонится за мной, словно хищная птица. Я пишу автобиографический роман не для того, чтобы сбросить с себя покровы, но чтобы скрыться. Роман — это зеркало без амальгамы: я прячусь за ним, чтобы видеть все, а меня чтобы не видел никто. Зеркало, в которое я смотрюсь, я в конце концов протягиваю другим.

Когда не можешь ответить на вопрос "Почему?", надо хотя бы попробовать ответить на вопрос "Как?".

Грусть не мешает богатым пожилым дамам по-прежнему выгуливать маленьких собачек на Мэдисон-авеню, а подпольным торговцам — выставлять на тротуаре фальшивые сумки от Гуччи, в двух шагах от настоящего магазина Гуччи. По-прежнему существуют вернисажи, где все до единого одеты в черное, существуют заведения, куда пускают по списку, и отели, где все прекрасно — и обстановка, и клиенты. Я все так же хочу повернуть время вспять: в 9.50 я вхожу в дом № 95 по Уолл-стрит посмотреть, проснутся ли во мне прустовские воспоминания при виде здания, где я работал в 80-х. На стене холла по-прежнему висит логотип "Креди Лионнэ", но администратор объясняет, что French Bank уже давно переехал из центра города. Как за десять секунд перейти от Пруста к Модиано? Брошенное помещение. Подозрительный взгляд консьержа. Молчаливые охранники. Загадочные бизнесмены. Память пуста. Неужели я действительно проводил здесь целые дни? Я жду напрасно, из глубин ничего не всплывает.

— Sir, you can't stay here[1].

Ко мне медленно приближается плечистый коротышка в униформе.

— But I worked here a long time ago...[2]

Я говорю с испанским акцентом, но делать нечего. Я выброшен из прошлого. Мое прошлое меня не хочет. Мое прошлое отправляет меня за Revolving Door[3]. И я вынужден снова повернуться к нему спиной.

9 час. 51 мин.

Wild[4] Trade Center

Кэт Стивенс пел: "Ooh baby baby it's a wild world"[5]. У меня были все его пластинки. Кэт Стивенс был моим кумиром, наряду с Нилом Янгом и

1. Здесь нельзя находиться, сэр (*англ.*).
2. Но я здесь в свое время работал (*англ.*).
3. Вращающуюся дверь (*англ.*). "Revolving Door" — песня группы "Crazy Town".
4. Дикий (*англ.*). Игра слов: World — Wild.
5. О, бэби, бэби, это дикий мир (*англ.*).

Джеймсом Тейлором. Написать столько потрясающих песен, тонких, хрустальных, драгоценных миниатюр! Музыка к "Гарольду и Мод". Единственно верные слова и рвущие душу мелодии, лиричные, но очень простые. Словно этого автора-композитора-исполнителя коснулось нечто большее, чем он сам, словно ему открылся доступ к высшей силе. "Когда я был сам по себе, — заявил он, — и песни приходили сами по себе".

Times leaves you nothing
Nothing at all
("Time", 1970)

Oh mama mama see me, I'm a pop star
Oh mama mama see me on the TV
("Pop Star", 1970)

Trouble oh trouble set me free
("Trouble", 1970)

Главная тема Кэта Стивенса — потеря невинности. Начало "Where do the children play?"[1] в 9 час. 51 мин. отзывается странным эхом:

Well I think it's fine building Jumbo planes...
Will you tell us when to live
Will you tell us when to die?

По "Morning Has Broken", "Home in the Sky" и еще одной, более старой песне, "The View from the Top Can Be oh so Very Lovely"[2] (1967), я бы мог составить целый цитатник предсказаний катастрофы.

Кэт Стивенс обладал простотой истинного поэта, но для меня он воплощал нечто большее. Он был мой брат по одиночеству, мой друг, мой спутник. Я часами сидел босиком на кровати в своей комнате в Техасе, разглядывая конверты его пластинок. От резкого звука его гитары в душе воцарялся покой. В то время конверты пластинок были размером в двенадцать дюймов. Сменив винил на CD, музыка превратилась в "индустрию дисков". Это был ее месседж: музыку больше нельзя созерцать, ее можно только потреблять в пластмассовых коробочках. Я мог бы часами рассказывать вам о плачущей урне. На альбоме "Mona Bone Jakon" изображена серая урна, роняющая слезу. Может, вы знаете более точную метафору нашего времени? Мы создали мир рыдающих "garbage cans"[3]. Еще я любил их странные названия: "Tea for the Tillerman", "Teaser and the Firecat" и витиеватые надписи на манер Элтона Джона. И роскошные (журнал "Rolling Stone" писал: "пышные") аранжировки. Скрипки в "Lilywhite" (1970) — самый красивый понт в поп-музыке со времен "Stand by Me" Бена И. Кинга.

Кэт Стивенс попытался что-то сказать, а потом исчез.

You may still be here tomorrow
But your dreams may not
("Father and Son", 1970)

1. "Где играют дети?" (*англ.*)
2. "Утро разбилось", "Дом в небесах"... "Вид с высоты может быть, о, сколь прекрасен" (*англ.*).
3. Мусорных баков (*англ.*).

Все свои шедевры он написал за один год, с января по июль 1970 года, в возрасте двадцати двух лет, когда лежал в больнице и чуть не умер от туберкулеза. Болезнь романтиков: последствия недолеченного кашля, злоупотребления наркотиками и алкоголем и бессонных ночей с девицами. Именно в больнице Кэт Стивенс отпустил бороду.

23 декабря 1977 года, после того как его альбомы разошлись сорокамиллионным тиражом, причем семь из них на протяжении 70-х годов входили в десятку лучших, Кэт Стивенс исчез. Король свинга шестидесятых, застенчивый человек, который выходил из "роллс-ройса" под крики фанатов, скандировавших его имя, перемежал записи и турне, вел жизнь рок-звезды с кайфом и сексом в роскошных отелях, единственный англичанин после "Битлз", ставший звездой в Америке, певец, сделавший на два вечера подряд аншлаг в "Мэдисон-сквер-гарден" (зрители аплодировали стоя по ходу песен), — Кэт Стивенс в 1977 году обращается в ислам. Коран подарил ему брат. Он посещает мечеть в Иерусалиме. 4 июля 1978 года он меняет свое имя на Юсуф Ислам. Ему тридцать один год. Ни одна звезда его величины не уходила так внезапно. Он продает на аукционе свой белый рояль, свои золотые диски и раздает деньги благотворительным организациям. Объявляет, что отныне будет писать, только чтобы донести послание Магомета. Когда аятолла Хомейни приговаривает Салмана Рушди к смерти, Юсуф Ислам заявляет по британскому телевидению, что "только смерть может быть карой за святотатство". Это все тот же человек, автор "Peace Train". Он носит тюрбан, длинную бороду, туфли без задника и традиционное арабское платье. Финансирует медресе, которое открыл в окрестностях Лондона. Считает, что "в исламе нашел спасение".

Наверно, мне тоже надо было перейти в ислам, как Кэт Стивенс или Кассиус Клей. Я бы забыл Картью Йорстона. Взял бы себе арабское имя: Шафик Абдулла. Я бы окрестил Джерри и Дэвида Мухаммедом и Али. Я бы перестал есть бекон.

Ooh baby baby it's a wild world.

Аллах, обещаю вам,
Если нам повезет,
Мы перейдем в ислам.

9 час. 52 мин.

Ко мне возвращаются обрывки Америки. В десять лет я заснял Всемирный торговый центр на кинокамеру: отец подарил мне 8-миллиметровку. Мы добирались до башен на такси. Здания вокруг образовывали коридор, это было вроде спуска по горной реке на дне каньона. Я был не в городе, я был на дне пропасти. В билдингах отражались билдинги напротив, в которых отражались билдинги напротив. Моя крошечная фигурка множилась, как в зеркальном лабиринте в Ботаническом саду. Очутившись на эспланаде, я принял свое первое операторское решение: снял одну из башен снизу вверх. В этом ракурсе башня казалась шоссе, уходящим в небо. Ее полосы были как белая разметка, сплошные осевые, за пересечение которых штрафуют водителей. Я не мог снимать долго: в отличие от видео, 8-миллиметровые фильмы длились только три минуты, и главное было не ошибиться: переснять невозможно, ошибка непоправима. Мне пришлось сде-

лать общий план первой башни Всемирного торгового центра, потом второй, потом снова вернуться к первой. Из-за моего дурацкого ракурса снизу вверх кружилась голова, я чуть не грохнулся, так отклонился назад. Тогда-то я в первый раз заметил, что смотреть вверх, когда ты очень низко, так же страшно, как смотреть вниз, когда ты очень высоко. Сокрушительные размеры этих мастодонтов дали мне первое наглядное представление о метафизике; уроки катехизиса в школе Боссюэ были не столь экзотическими. Я чувствовал себя ошеломленным, а главное, физически подавленным двумя бетонными колоссами. В мире было нечто сильнее нас. Сила, вдохновившая создателей этих конструкций, не могла принадлежать человеку. И, однако, архитектор рассчитал расстояние между соседними колоннами точно по ширине плеч моего отца. Несмотря на колоссальные размеры башен, в них было что-то органическое. Эта штука была сильнее нас, и все-таки была нами. Теплый летний ветер кружил по площади, унося жирный запах хот-догов со сладкой горчицей. Я тоже кружил по площади: снял туристов, гуляющих по гранитным плитам, брата Шарля, мальчишек, гонявших на роликах, танцовщика, изображавшего робота. Но я не мог оторваться от башен, две эти опоры небесного свода буквально притягивали мою камеру. Казалось, башни соприкасаются у нас над головами, изгибаясь, как триумфальная арка, как перевернутое V. Их разделяла только жалкая, робкая полоска неба. Надо было абсолютно свихнуться, чтобы выстроить эдакое чудище, — или иметь душу ребенка, или и то и другое вместе. Я удивлялся прохожим, спешившим по своим делам и даже не понимавшим, что бегут между ног великана. Они подвесили у себя над головой опасную игрушку.

9 час. 53 мин.

Лучше бы Манхэттен оставили индейцам. Дата ошибки — 1626 год, когда Питер Минуит выбросил псу под хвост 24 доллара. Им бы поостеречься человека с подобной фамилией: полночь — время преступлений[1]. Питер Минуит был страшно горд, что надул алгонкинов, всучив им стеклянные бусы в обмен на их остров. Но на самом деле это индейцы обманули бледнолицых. Стеклянные бусины стали зернами: они посадили их в землю, и из них вырос прозрачный город, куда менее прочный, чем вигвам.

9 час. 54 мин.

Мне осточертело писать безысходные романы. Осточертели бесплодные постэкзистенциалистские метания. Осточертело быть ловцом во ржи, который никого не может поймать. Я ищу утопию будущего.

Чем больше я думаю, тем больше уверен: террористы выбрали не ту мишень. Почему они не атаковали здания ООН на Первой авеню, между 42-й и 48-й стрит? Потому что это международная зона? А ведь эта Организация провалила свою миссию. На самом деле это на ней лежит ответственность за войны, несправедливость, конфликты, на ней! Заверять государства, что существует правосудие, и ни разу его не применить! Вот и наслали бы на этот бардак все свои "боинги"! Миру нужно действующее правительство, международная армия, которая бы навела в нем порядок. Голубые каски в Югославии? Просто безоружные солда-

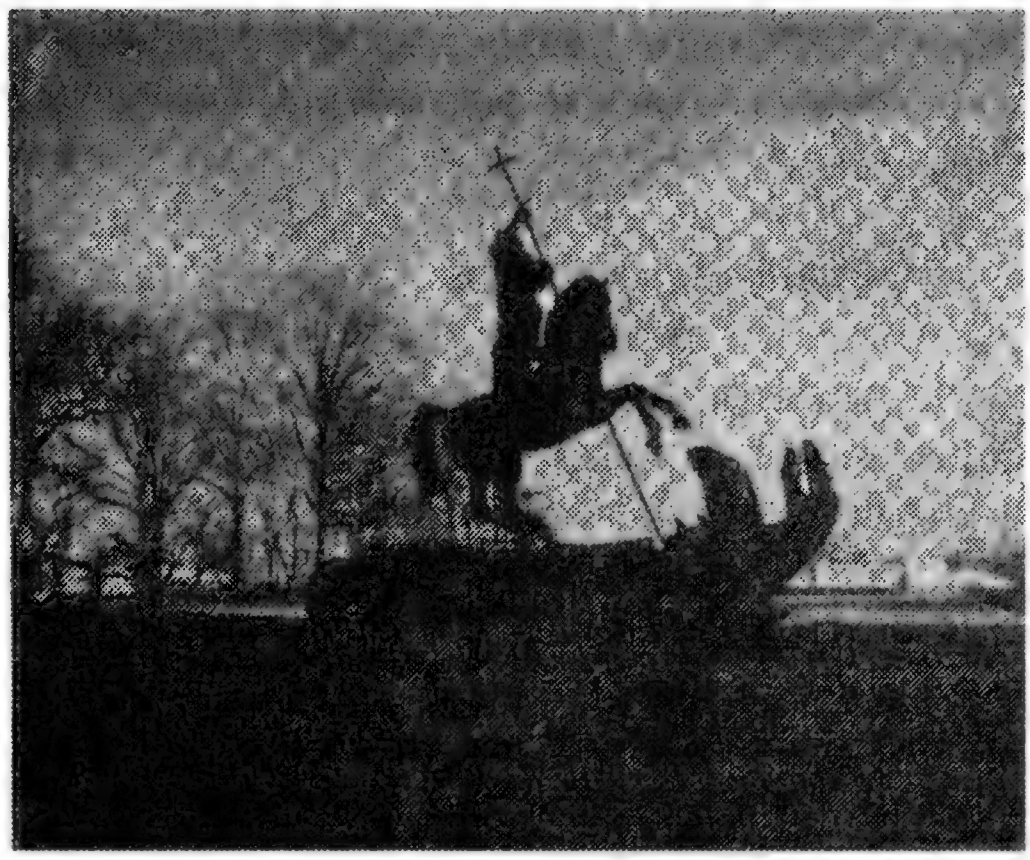
1. По-французски minuit — полночь.

ты, которым платят за то, чтобы они созерцали массовые убийства и никак не реагировали. Объединенные Нации дискредитировали себя, уже когда назначили Ливию главой Комиссии по правам человека. Надо реформировать эту бюрократическую, склеротическую, коррумпированную и бессильную организацию! ООН возникла на обломках Лиги Наций; что создадим мы на обломках ООН? Почему бы не построить планетарную демократию, лозунг которой провозглашал еще Гарри Дэвис, основавший в 1948 году (при поддержке Альбера Камю, Андре Бретона, Альберта Эйнштейна) Движение граждан мира? Единственное спасение от ужасов терроризма и нынешней экологической катастрофы — это Всемирная республика под контролем Международного парламента, избранного общим голосованием. Я мечтаю уничтожить нации. Я хочу, чтобы у меня не было страны. Джон Леннон пел: "Imagine there's no countries". Не за это ли Нью-Йорк его убил?

В саду скульптур ООН я фотографирую статую святого Георгия, поражающего дракона, удивительно похожего на фюзеляж самолета. Ее плохо видно: мешает множество грузовиков с телетехникой. Массивная скульптура под названием "Добро побеждает зло" ("Good defeats evil") была подарена ООН Советским Союзом в 1990 году. Она изготовлена из остатков двух космических ракет — советской и американской. "Good defeats evil": эта битва разворачивается ежедневно в каждом из нас, а теперь и в мире. Здесь, в этом квадратном здании, члены Совета Безопасности будут сегодня голосовать резолюцию о войне в Ираке. Вчера вечером, на пресс-конференции, президент Буш сказал дивную фразу:

— После Одиннадцатого сентября наша страна — это поле битвы ("Our home is a battlefield").

Образцом может служить та немыслимая смесь, какая существует в Нью-Йорке: мир без границ возможен, потому что его модель успешно прошла испытания на этом маленьком острове. Результат получился сложный, опасный, грязный и шумный, но система работает. Можно жить бок о бок с людьми со всего мира, людьми любой расы, любого происхождения; этого можно добиться, это доступно. Как в Сараево.



Добро побеждает зло

Одиннадцатого сентября Америка вступила в войну со Злом. Может, это смешно, но это так. Проблема в том, что это не ее дело. Она оставляет без работы ООН. Всепланетная демократия не должна быть приватизирована Соединенными Штатами. Надо дать ООН новое название: "Соединенные Штаты Мира". И организовать всеобщие выборы во всем мире.

В Париже я часто встречался с Троем Дэвисом. У меня было такое впечатление, что этот верзила устал от миссии, возложенной на него отцом. Но в то же время он выглядел очень собранным: колесил со своим

кейсом из страны в страну. В первый раз, когда я его видел, он требовал денег у Пьера Берже. Во второй раз он мне показался не таким симпатичным, потому что требовал их у меня. Трой Дэвис вечно без гроша в кармане: с тех пор как он бросил работу в банке и посвятил себя делу World Democracy, вся его зарплата уходит на авиабилеты. Он задумал написать "Манифест за Всемирную демократию". Помню, я направил его к Жан-Полю Энтовену в надежде хоть ненадолго от него избавиться. После мы общались главным образом по электронной почте. Он хотел перехватить деньжат у моего брата и до того меня достал, что я дал ему номер мобильника Ардиссона... А уж когда он узнал, что я работаю в издательстве, от него с его проектом книги проходу не стало. Честно говоря, он со своей Всемирной демократией у меня в печенках сидит. И все же, сколько я ни ломаю голову, я не вижу иной утопии для эпохи после Одиннадцатого сентября.

9 час. 55 мин.

Знакомства по Интернету становятся все популярнее. Скоро можно будет вывесить свой автопортрет, снятый веб-камерой, и указать все параметры человека, которого ищешь: возраст, происхождение, хобби, цвет глаз и т. д. Скоро люди перестанут встречаться случайно. Вывешиваешь в сети свое фото или фильм и уточняешь: "Ищу рыжую озабоченную бисексуалку со склонностью к групповым контактам, с большой грудью и узким влагалищем, любящую диски Кэта Стивенса и баскетбол, фильмы Тарантино и Республиканскую партию". Когда кто-нибудь, отвечающий твоим критериям, окажется в твоем квартале, тебя предупредят по мобильнику или по e-mail'у. И не надо больше ходить в эти идиотские бары. Какая жалость: я не увижу этого совершенного мира, где знакомства рациональны, как объявления в разделе недвижимости. Я хотел жить в виртуальном мире, но скоро умру в мире реальном.

9 час. 56 мин.

Я стою на Бруклинском мосту, словно на краю пропасти. Я любуюсь Ист-Ривер: гудящие буксиры рассекают морские волны с белыми барашками. Белые линии кораблей на море — и белые линии самолетов в небе. С тех пор как я перестал нюхать кокаин, мне повсюду мерещатся белые линии. Остался ли еще в нью-йоркском воздухе человеческий пепел? Каждый горожанин знает, что у него в легких обязательно есть микроскопическая частичка пыли от Всемирного торгового центра. В "99 франках" Октав вдыхал прах своего патрона. Хочешь не хочешь, но это пришлось сделать всем ньюйоркцам — невольные каннибалы, они отравлены угольной пылью с высоким содержанием летучей человечины. В Нижнем Манхэттене и в Бруклине (там, где прошло облако дыма) вспыхивают эпидемии болезней. По-моему, мэру Джулиани следовало бы принять решение об усилении мер санитарной безопасности, чтобы не вгонять население в еще большую панику. А еще стоило бы однажды поставить вопрос об ответственности работников службы безопасности, которые остались в живых, потому что решили проводить эвакуацию, не разблокировав выходы на крышу, и об ответственности пилотов девяти вертолетов Нью-йоркского департамента полиции, отказавшихся рассматривать возможность эвакуации по воздуху.

Летавший с ними фотограф заявил: “Мы сделали несколько кругов над крышами, чтобы посмотреть, удалось ли людям на них выбраться. Там никого не было. Что мы могли сделать в такой ситуации? Садиться было слишком рискованно, прежде всего потому, что дым очень затруднял маневрирование. Конечно, мы могли бы спустить веревочную лестницу. К несчастью, я был почти уверен, что в качестве меры безопасности выходы на крышу были закрыты. А жара была адская. Мы ощущали ее в кабине, а пилот видел температуру на экране внешнего термометра. Внутри башен нельзя было ничего рассмотреть, но я видел людей, высунувшихся из разбитых окон, иногда окровавленных, в разорванной и обгоревшей одежде. Некоторые махали нам, но что мы могли поделать? Я часто думаю о женщине в окне, она одной рукой держалась, а другую протягивала к нам... Но что мы могли поделать?”

“Что мы могли поделать?” Наверняка этот вопрос не даст ему покоя до самой смерти. Что они могли поделать? Я турист-парижанин, и у меня перед ним большое преимущество: я пишу по прошествии времени, удобно устроившись в кресле, я могу ответить без паники и без всякого риска для собственной шкуры. Что надо было сделать — это связаться со службой безопасности башен и сказать им, чтобы открыли выходы на крышу, или передать это указание пожарным, находившимся внутри здания, на 22-м этаже, а потом совершать круговые облеты на вертолетах, как во время спасательных работ на море или в горах. Просто снимать людей вертолетами, в принципе это вполне обычная операция, если учесть, какое буйство стихий приходится преодолевать пилотам, когда они подбирают жертв горных лавин или штормов. Перед моими глазами все время стоит потрясающая картина: вертолет над Всемирным торговым центром несет людей, уцепившихся за веревочную лестницу. Эта картина могла бы стать самым прекрасным ответом самолетам-самоубийцам. Жаль, что мы ее так и не увидели.

9 час. 57 мин.

Мне пришла в голову неудачная мысль, правда, из лучших побуждений: я протянул детям значок “Windows on the World”, который дала мне на прощание Лурдес. Проблема в том, что значок был один. Джерри и Дэвид тут же начали препираться, кому он достанется. В конце концов значком завладел Джерри — по праву сильного. У меня не хватило духу решить дело иначе. Дэвид надулся, но, как ни странно, спор его отвлек и, к величайшему моему облегчению, слезы у него высохли. Он вынашивал месть. Через несколько секунд, когда Джерри прикалывал значок к майке, он толкнул его под руку, чтобы тот укололся булавкой. Выступила капелька крови. Джерри сжал зубы, Дэвид улыбнулся. Око за око, зуб за зуб. Джерри не возражал: такова жизнь. Я провел рукой по волосам; я вдруг понял, что происходит на этой земле. Просто значков не хватает на всех.

9 час. 58 мин.

В конце концов я снова встретился с Троем Дэвисом: серый твидовый костюм, серое пальто, серая сумка. Как все утописты, Трой абсолютно не гонится за модой; он живет в грядущих десятилетиях. Когда Ленин ел

бесплатный хлеб в "Клозери-де-Лила", он тоже был похож на счетовода. Мы сидим в "Лайф-кафе", перед нами сандвичи, на полу плитка, вокруг в основном студенты, стайки жизнерадостных девиц и пошловатые картины на стенах. Трой на два года старше меня. Он окончил Гарвард, как мой отец, только учился на физическом факультете.

— Я абсолютно дохлый, но дело движется: Рабочий комитет за Всемирный парламент получил поддержку Эдгара Морена, Жака Делора, Сони Ганди, Фелипе Гонсалеса, Нельсона Манделы, Шимона Переса, Даниэль Миттеран, Хавьера Переса де Куэльяра, Леа Рабин, Мишеля Рокара, Раймона Барра, Амартии Сен (нобелевского лауреата по экономике 1998 года), Алехандро Толедо (президента Перу), мима Марсо, аббата Пьера...

— Шикарно, просто список приглашенных на коктейль у Арно Лагардера.

— Да, может, и ты хочешь числиться в моем комитете поддержки, чтобы тебя приглашали?

— Мне для этого не нужен твой комитет, достаточно публиковать бестселлеры в одном из его филиалов. Конкретно, объясни мне, как создание новых институтов может ускорить, например, введение "налога Тобина" или списание долгов стран третьего мира?

— У нового, демократического мирового порядка хватит политического веса, чтобы проводить такого рода законы. Или чтобы установить тарифы за выброс углекислого газа или продажу оружия, или чтобы создать Всемирное агентство по окружающей среде. Проблема нашего времени в том, что в экономике глобализм уже есть, а в политике еще нет. Нужна революция, чтобы принять новые законы. Люди забыли, что революции 1776 и 1789 годов были связаны с налоговыми бунтами.

— И ты искренне веришь, что доживешь до подобных вещей?

— История движется скачками (последний по времени пример — крах коммунизма). А потом, есть Международный уголовный трибунал: существование мирового гражданства впервые признано на уровне закона. Если вести умную кампанию, чтобы люди прониклись идеей, Всемирный парламент можно создать лет за десять.

— И где он будет находиться, твой Парламент? Опять в Соединенных Штатах, как ООН?

— Нет, на искусственном острове, который будет постоянно двигаться вокруг пяти континентов. Великая задача для всех судоверфей мира.

— Знаешь, что мне в тебе нравится? Что у тебя не все дома. А роман? Ты считаешь, роман может помочь?

— Да, только если не ты его напишешь! Сотни тысяч молодых людей выходят сегодня на демонстрации из чистого идеализма, никто даже не предложит им связного плана действий. Завтра, когда они узнают об этой мирной идее федерации, их будут миллионы. Всемирная демонстрация против войны в Ираке 15 февраля 2003 года собрала десять миллионов человек на всей Земле. 15 февраля — не менее важная дата, чем 11 Сентября: первая великая всепланетная демонстрация. Мир демонстрирует!

— А ты не думаешь, что уже слишком поздно, что мы переживаем апокалипсис, что цинизм всегда одолеет утопию? Что пускай себе Джимми Картер занимается миром во всем мире?

— Так или иначе, даже и из цинизма, все равно придется принимать решение и создавать единый нетоталитарный мировой порядок. Про-

блему голода в мире можно решить меньше чем за пять лет, но она не решается, потому что у всех свои интересы и они друг друга блокируют. А потом придет время водяных войн... Решение должны принимать все земляне, а не кучка политиков, продавшихся торговым и энергетическим компаниям. В общем, если называть вещи своими именами, то на данный момент мы живем под игом мировой диктатуры.

— "Мировой диктатуры"? Ну ты хватил! В развитых-то странах люди все-таки свободны, или как?

— Это не я сказал, это Камю.

— Ну конечно, если это Камю, тогда другое дело... ОК. Напомни мне, когда в следующий раз приедешь в Париж, чтобы я тебя сводил к дому 56 по улице Жакоб. Там-то все и началось: рождение нации, как говорил Гриффит.

— Перестань, пожалуйста, нести ахинею, да еще с набитым ртом. Это началось гораздо раньше, еще во времена шумеров. До 5000 года до Рождества Христова люди жили в раю. Государств не существовало. Это несколько шумерских царей придумали войны и националистический абсолютизм. А знаешь, где все это было? В Ираке! Эта свара идет со времен Шумерского царства. И теперь Буш обращается с Саддамом Хусейном как какой-нибудь месопотамский царек!

— Не надо так уж ругать шумеров. Они, помимо прочего, еще и письменность придумали. Кабы не шумеры, торчать бы мне на телевидении!

"Лайф-кафе" не зря так называется; здесь царит интеллигентный гомон, от которого так и хочется переделать мир в компании девиц с промытыми волосами и с именем Сэнди.

— Скажи, Трой, как ты собираешься назвать свой идеал? Ты же знаешь, обязательно нужен какой-нибудь "изм", иначе твоя утопия будет выглядеть несерьезно. Предлагаю: "Иноглобализм". Чтобы отдать должное глобализму. Или "Интернационализм". Нет, чересчур несет коммуняками... "Многополярность"? "Космополитизм"? Нет, это все слишком капиталистическое...

— Слушай, я пока не думал, но по-моему, это вопрос второстепенный...

— Да нет! Вовсе нет, это самое главное — найти название, от которого хочется встать в ряды. "Универсализм"? Нет, смахивает на "Вивенди Юниверсал". Нашел: "Планетаризм". Вот. Мы — планетаристы.

— Смахивает на секту самоубийц.

— Ну и что, тем хуже! Ты же Шарль Фурье новой эпохи! Ты наш гуру, тринадцатый апостол! О святой Трой, вежды нам открой!

— Фредерик!

— Yes?

— Это твоя которая рюмка?

— О, да все в порядке, ты что думаешь, Карл Маркс пил одну воду?

Мы дурачились, мы несли бред, и все равно — хорошо во что-то верить!

9 час. 59 мин.

Земля снова содрогнулась.

— А это что за взрыв?

— Вторая башня рухнула, — говорит кто-то из тех, кто дышал у окна.

Дымовая завеса настолько плотная, что невозможно понять, где пожар, а где пыль. Здание, атакованное после нас, обрушилось первым.

Лучше не пытаться понять, но все понятно и так: это значит, что наша башня обвалится с минуты на минуту.

— Let us pray[1]. Господи, молю Тебя, хоть в Тебя и не верю. Прими нас к себе, несмотря на наш оппортунизм.

Шума от падения соседней башни было не больше, чем от разломанной пригоршни спагетти. Наверно, такой же звук бывает от горного обвала. Сухой треск. Массовое убийство не грохочет, как гром, массовое убийство хрустит, словно надкушенное печенье. Или короткий водопад, только вместо воды — бетон.

В какой-то момент Джерри повернулся к автомату с водой, — из него неслось странное клокотание. В прозрачной бутыли возникали и лопались пузыри. Вода внутри закипала.

10 час. 00 мин.

Нижний Манхэттен без обеих башен — это другой город; тридцать семь лет скрылись в дыму. Нью-Йорк, подправленный пламенем. Именно в такой гавани высадился Лафайетт.

Нижний Манхэттен — единственная часть города, где отсутствуют номера домов и где можно заблудиться, начать ходить по кругу; деловой центр на Манхэттене больше всего похож на какой-нибудь бардачный европейский город. В десять утра я иду по Уолл-стрит, "Улице денежной Стены". Ее так назвали, потому что здесь высилась крепостная стена, защищавшая город от индейцев. Сегодня надо было бы добавить в стену кирпичей, как в песне "Пинк Флойд". В Израиле сейчас строят стену вроде Берлинской. Скоро придется нам говорить не "Wall Street", а "Wall City", "Wall Countries", "Wall World".

На этом самом месте высились до небес две башни; но прежде здесь была бревенчатая изгородь, защищавшая наших голландских предков от алгонкуинов, медведей и волков. Изгородь построили в 1653 году, и местные жители регулярно разносили ее по бревнышку: доски и колья шли на обогрев, ими укрепляли островерхие дома, крытые глазурованной черепицей. Под моими ногами, в Новом Амстердаме, Всемирный торговый центр воссоединился с руинами колониальных построек, кувшинами для вина, кирпичами, стеклом и гвоздями былых веков, с полями пшеницы, овса и табака, с останками свиней, бродивших по мрачным улочкам трущоб, с костями баранов и людей, пришедших на эту землю с другого конца мира. Когда-то очень-очень давно на том месте, где высился Всемирный торговый центр, индейцы выращивали рожь.

10 час. 01 мин.

Спасатели так и не добрались до нас. Вы не видели нас по телевизору. Никто не фотографировал наши лица. Все, что вы знаете о нас, — это растрепанные фигуры, карабкающиеся по фасаду, тела, бросающиеся в пустоту, руки, машущие белыми тряпками в эфире, словно обрывками облаков. Оглушительный звук падающих тел в документальном фильме братьев Ноде. Единственная лента о трагедии — произведение двух французов.

1. Давайте помолимся (*англ.*).

Но они не показали падающие человеческие куски, фонтаны крови, сплавленные воедино сталь, пластик и плоть. Вы не ощущали запаха горящих проводов, запаха короткого замыкания в 100 000 вольт. Вы не слышали звериных криков — таких, словно режут свиней, словно живьем разделывают телят, только это были не телята, а человеческие тела, способные умолять.

Что? Стыдливость? Не стоило шокировать детей? Не стоило превращать в сенсацию наши растерзанные трупы? Слишком отвратительно и жестоко по отношению к семьям погибших? Когда бойню учиняют за границей, вы не работаете в белых перчатках. Вы торгуете фотографиями, снимая все авиакатастрофы — все, кроме тех, что случились в Нью-Йорке. Пресловутое "уважение к семьям погибших" обычно не слишком мешает журналистам, особенно американским. Что? В нашей мясной лавке, торгующей человечиной, слишком грязно? Но эта мерзость реальна, и отказываться на нее смотреть еще более мерзко. Почему вам ни разу не показали наши раздробленные руки и ноги, наши разорванные туловища, наши вываленные внутренности? Почему скрывали мертвых? Это не профессиональная этика, это самоцензура, или даже просто цензура. Не прошло и пяти минут, как первый самолет врезался в нашу башню, а трагедия уже стала ставкой в информационной войне. Тогда патриотизм? Безусловно. Именно националистический рефлекс заставлял американскую прессу надувать щеки, прятать наши муки, вырезать съемки падающих людей, фотографии обожженных и "фрагментов" тел. Это был стихийный заговор молчания, беспрецедентный со времен первой войны в Заливе, блэк-аут в массмедиа. Я отнюдь не уверен, что все жертвы согласились бы вот так взять и исчезнуть. Лично я бы хотел, чтобы нас показали всему миру. Чтобы люди осмелились смотреть на нас: ведь заставляют же они себя не закрывать глаза на "Ночи в тумане"! Но война уже началась, а в военное время всегда скрывают урон, нанесенный противником. Надо делать хорошую мину, без этого нет пропаганды. За погибших выплатили огромные суммы. Мэри теперь богата — со всеми моими страховками, фондами содействия, государственными компенсациями, наследством мальчиков. Кэндейси не получит ничего, Кэндейси придется еще много раз рекламировать нижнее белье. Вот так и была осуществлена одна из величайших за послевоенные годы операций по массовой ауди-, видеодезинформации. Спрячьте кровь, я не смогу на нее смотреть. Когда билдинг рухнет, картинку будут повторять снова и снова. Только не показывайте то, что внутри: наши тела.

10 час. 02 мин.

Воздушные пираты жили себе со всеми удобствами на маленьких морских курортах во Флориде, среди пляжей и гипермаркетов. Кто бы мне объяснил эту загадку. И все-таки я надеюсь, что когда-нибудь мне объяснят, каким образом пятнадцать молодых арабов, дипломированных, европеизированных, в костюмах-тройках, пятнадцать парней, переселивших свои семьи в Германию, а потом в Америку, пивших вино, не отлипавших от телевизора, водивших машину, обучавшихся на авиатренажерах, объедавшихся в "Пицце-Хат", захаживавших к девкам и в секс-шопы, — каким образом вот такие люди оказались способны зарезать

стюардесс пластмассовым ножом (надо одной рукой держать девицу, стюардессы ведь отбиваются и пронзительно кричат, надо очень сильно нажать лезвием на сонную артерию и дыхательное горло, и надсечь кожу, и перерезать жилы, отовсюду хлещет кровь, она вырывается, бьет каблуками в мошонку, а локтями в солнечное сплетение... нет, это совсем непросто), каким образом эти типы сумели справиться с рычагами четырех "боингов", чтобы разнести их к чертовой матери о небоскребы во имя Аллаха. Аллах, конечно, велик, но все же... Клод Ланзманн говорит, что Шоа — это тайна; 11 Сентября тоже тайна. Они что, были под кайфом, а если да, то под каким? Кокаин, амфетамины, алкоголь, гашиш, эритропоэтин, еще какая дурь? Может, им обещали что-то другое, а не только тысячи девственных поблядушек в раю? Подкинуть деньжат их наследникам? А впрочем, еще неизвестно, сколько из коммандос были в курсе того, что эта операция — самоубийство...

Когда я был маленький, Жак Мартен вел на "Антенн-2" передачу под названием "Очевидное — невероятное"; она шла как раз перед "Школой фанатов". Он взывал к пенсионерам, которых привозили на автокаре в "Театр де л'Ампир":

— Невероятно, но...

И они хором подхватывали:

— ...ОЧЕВИДНО!

Думаю, он бы мог посвятить специальную передачу Одиннадцатому сентября. Это событие было непредсказуемо, потому что невозможно. Оно в буквальном смысле непостижимо, то есть превосходит человеческое понимание. Кто эти люди, способные совершить такое? Кто такие Мохамед Атта, Абдулазиз аль-Омари, Марван аль-Шеххи и их товарищи?

Кто они такие (поставить любой знак в соответствующей клеточке):

Чернозадые арабские фанатики? ..... ☐
Психопаты? ..... ☐
Неофашисты? ..... ☐
Святые в тюрбанах? ..... ☐
Идиоты, зомбированные миллиардером, бывшим агентом ЦРУ? ☐
Герои угнетенного третьего мира? ..... ☐
Отмороженные постпанки, любители дистроя, вконец очумевшие от дури? ..... ☐
Бедуины, по которым напалм плачет? ..... ☐
Депрессивные нигилисты? ..... ☐
Воинствующие антиглобалисты? ..... ☐
Камикадзе (а теперь все вместе!), невероятные но... ОЧЕВИДНЫЕ? ..... ☐

10 час. 03 мин.

Я совершил две ошибки:

1. Заимел детей.

2. Повел их сюда завтракать.

Я начинаю иначе смотреть на вещи. Не как на совершающиеся сейчас события, а как на воспоминания. Странное чувство — видеть все из-

далека, с расстояния неминуемой гибели. Насколько прекраснее становится мир, когда вас в нем почти уже нет! Я знаю, что буду помнить об этом, даже когда у меня больше не будет памяти. Потому что после нашей смерти другие будут помнить за нас.

10 час. 04 мин.

"Killer-cloud" – вихрь строительного мусора, тридцатиметровых стальных балок (словно падающие с неба железнодорожные рельсы), острых осколков стекла в 10 квадратных метров (словно гигантские бритвенные лезвия) – облако-убийца неслось, словно прилив, со скоростью 80 километров в час по узким улочкам, по Фултон-стрит; и опять-таки эта картина списана с фильмов-катастроф: мы видели то же самое и на том же самом месте в "Капле", в "Годзилле", в "Дне независимости", в "Армагеддоне", в "Крепком орешке-2" и в "Столкновении с бездной" – в то утро реальность всего лишь подражала спецэффектам. Некоторые очевидцы даже не пытались укрыться – настолько сильно было впечатление дежа-вю. Быть может, кто-то из них погиб только потому, что помнил: в последний раз, когда показывали то же самое, он жевал попкорн, а через час, живой и невредимый, выходил из кинозала.

10 час. 05 мин.

Телефон зазвонил в последний раз. Это была плачущая Мэри. Я не пытался ее успокоить.

– We're not going to make it out. Pray for us[1].

– Ты не мог спуститься по лестнице?

– Тут нет ни выходов, ни спасателей. Пожалуйста, верь мне, не задавай вопросов, клянусь, я сделал все что мог. Продолжай звонить 911. Скажи, пусть откроют выход на крышу.

– ПОДОЖДИ! Не отключайся! УМОЛЯЮ ТЕБЯ!

Связь прервалась. Здание ревело, как раненый динозавр, как Кинг-Конг в конце фильма. Я со смехом выбросил в окно пачки долларов. Одни сотенные купюры. Там, наверное, было тысяч пять-шесть баксов, они разлетелись по ветру. И все хохотали: исступленный, безумный, расслабляющий смех, начавшись с меня, лавиной пронесся по последнему этажу стеклянной тюрьмы.

10 час. 06 мин.

На следующий день после терактов в мегаполисе повсюду расцвели американские флаги. Спустя год они завяли. Иссяк поток национализма? Нет: вернулся страх, не стоит привлекать внимание вероятного противника. Слишком у многих аллергия на звездно-полосатое полотнище, не надо дразнить их понапрасну. Соединенные Штаты продолжают нести 40 % мировых военных расходов. Я уже несколько дней пытаюсь по-

1. Мы не выберемся. Молись за нас (*англ.*).

нять, что изменилось в атмосфере Нью-Йорка. И только что понял: Америка открыла для себя *сомнение*. Они не знали Рене Декарта. Фрейд стал для них чумой, но райская страна моих родителей не имела опыта Сомнения. А вот теперь, куда ни глянь, я вижу лишь Сомнение, закрадывающееся в идеал США. И не только у людей. Машины сомневаются. Супермаркеты сомневаются. Паркинги ни в чем не уверены. Бездействующие церкви, превращенные в дискотеки, силятся понять, что же они такое. Пробки на дорогах уже не уверены в своей необходимости. Шикарные магазины вопрошают, стоит ли все это труда. Красные огни светофоров горят недолго. Рекламные афиши стыдятся. Самолеты страшатся внушать страх. Здания предпочитают ничего не знать. Америка вступила в эру Рене Декарта.

10 час. 07 мин.

Женщины победили: теперь никто не хочет стареть вместе с ними.

Я возбуждал себя так, что в конце концов у меня стояло при виде пачки прокладок. Я был сорокалетний жеребец. Я наслаждался в режиме нонстоп. Я думал, что это свобода, но это было одиночество. Я отказался от любви. Я сделал выбор и предпочел удовольствие счастью. Семейные пары вгоняли меня в тоску. Я считал всех женатых мужчин кастрированными пленниками. Я думал: ты не мужчина, если не заваливаешь каждый день новую женщину.

Я был не способен жить для кого-то, кроме себя самого.

10 час. 08 мин.

11 сентября 2001 года одна из забегаловок "Бургер кинг" превратилась в морг. Магазин "Брук бразерс" казался выбеленным известкой. На Втором пирсе высились две гигантские афиши фирмы Apple со слоганом "Think different"[1] и фотографией Франклина и Элеоноры Рузвельт. (Рузвельт был президентом Соединенных Штатов во времена Пёрл-Харбора, но это просто совпадение.) На Уэст-стрит куски тел прикрыли простынями, но земля все равно была усеяна частицами живой плоти. Шасси "боинга", застрявшее в куске фасада Всемирного торгового центра, расплющило несколько машин. Назойливый запах, смесь расплавленных компьютеров и горелого мяса, чувствовался даже на Таймс-Сквер. "Я видел целое сердце, прилепившееся к окну. Площадь была усеяна руками, ногами, внутренностями, половинками тел, человеческими органами. Я все время думал: это неправда, это кино. Это не могло быть правдой. Я не хотел этого видеть". (Свидетельство Медхи Дадгарьяна, выбравшегося с 72-го этажа.) Начиная с 14-й улицы шли сплошные завалы. На всем юге Манхэттена не было ни электричества, ни газа. У подножия башен-близнецов нашли разбитые скульптуры Родена, бронзовые тела валялись вперемешку с растерзанными человеческими телами. Под обломками, в куртках раздавленных по-

1. Думай иначе (*англ.*).

жарных, звенели сотни телефонов. Под Граунд Зеро — темная станция метро, потолок разворочен обломками, перекрученные балки, бетонная крошка. Газетный киоск покрыт тонкой белой пылью, горелые провода болтаются над журналами и шоколадными батончиками. Через всю Плазу по диагонали идет ров, разлетевшиеся колонны башен похожи на ветви дерева, сломанные ураганом. Жители Нью-Йорка всех возрастов, вероисповеданий, рас, общественных слоев терпеливо стояли в очередях по четыре квартала длиной, только чтобы записаться на сдачу крови.

Земли не видно под обломками и мусором, словно в бальной зале после праздника. Нужно убрать, но непонятно, с чего начинать. Осознав необъятность задачи, мы вздыхаем — и вытряхиваем пепельницу; шампанское больше не искрится. Окна мира непрозрачны, глаза ослепли. Весело могло быть раньше, когда сама ночь смеялась. Теперь все улицы холодны, а все люди спешат. Они бегут, потому что боятся остановиться. Они уже не помнят, зачем им так надо разбогатеть. Между башнями скользит машина, как игрушка на батарейках. На улице все мы делаем вид, будто и не были тяжело ранены. Все выздоравливают.

С этого места мы вторгаемся в то, о чем нельзя говорить, что нельзя рассказать. Приносим наши извинения за множество недомолвок. Я опустил невыносимые описания. Не из стыдливости и не из уважения к погибшим, потому что считаю, что описать их медленную агонию, их крестный путь — тоже знак уважения. Я опустил их, потому что считаю: заставить вас вообразить то, через что они прошли, еще более жестоко.

10 час. 09 мин.

О, как бы я хотел, чтобы сейчас было вчера. Вернуться в накануне. "О, я верю во вчера", как поют "Битлз".

Вертолеты летали мимо нас и смотрели, как мы умираем. (Абзац опущен.)

— Все, что я могу теперь сделать, это молить Бога, чтобы такое никогда больше не повторилось.

Когда вы родились, я плакал от счастья, глядя на вас.

— Папа, — говорит Дэвид, он очень бледен, — у меня живот болит, ты не можешь позвать доктора?

— Не волнуйся, дорогой, он сейчас придет.

Живот у него обожжен на 40 %.

— Я хочу спать... Можно мне баиньки?

— НЕТ! Дэвид, слушай меня внимательно. Главное, не закрывай глаза.

— Я сейчас немножко посплю.

— Нет! Дэвид! Послушай папу! Дэвид?

— Ты просто разбуди меня, когда галактика будет спасена.

10 час. 10 мин.

"Windows on the World" был шикарной газовой камерой. Его клиентов удушили газом, а потом сожгли и превратили в пепел, как в Освенциме. Они достойны той же памяти.

(Страница опущена.)

10 час. 11 мин.

Смерть Дэвида Йорстона (1994–2001)

Он в вечности останется ребенком.

Эдгар По

10 час. 12 мин.

И вот тут-то я извлекаю на свет божий очередную свою знаменитую CHOOT (спонтанные но не обязательно оригинальные теории). Ненависть, которую внушает Америка, сродни любви. Если кто-то настолько вас ненавидит и хочет, чтобы и вы его ненавидели, значит, этот кто-то добивается вашего внимания. Значит, этот кто-то бессознательно любит вас. Бен Ладен, сам того не зная, обожает Америку и хочет, чтобы она любила его. Он бы не тратил столько сил, если бы не хотел, чтобы Америка постоянно думала о нем.

Кто безумец? Кто святой? Наш Бог – распятый. Мы поклоняемся бородачу в набедренной повязке, претерпевшему крестную муку. Пора основать новую религию, символом которой будут две горящие башни. Выстроим церкви в форме двух параллелепипедов, и пускай в момент причастия в них врезаются две телеуправляемые модели самолетов. И когда самолеты протаранят башни, присутствующих попросят преклонить колена.

10 час. 13 мин.

Либерализм не имеет ничего общего с моралью. Девиз Франции "Свобода, Равенство, Братство" должен был бы стать девизом всего мира. Проблема в том, что этот человеческий идеал – бесчеловечная ложь.

Запад орет, что нужно быть свободным! Свободным! Кричать о том, что ты свободен, хвастать этим. Умирать, защищая свободу. Отлично. Но когда я свободен, я не счастлив. Напрасно я верчу эту проблему и так и эдак: теперь, когда назад уже не вернуться, мне приходится это признать, несмотря на всю свою техасскую упертость. Я предпочитаю свободе Мэри в машине моего отца, ее тонкие пальцы с длинными ногтями, и запах цветов повсюду, и темные круги у нее под глазами. Мы встречались урывками до самого последнего момента. Я предпочитаю рождение Джерри: осклизлая, раздутая синюшная голова, о боже, теперь всю жизнь возиться с этой пакостью, а потом он вдруг открыл глаза и улыб-

нулся. Я предпочитаю покрепче прижаться к Кэндейси, чтобы забыть ужас от того, что я — это я.

Я не был счастлив, когда был свободен.

10 час. 14 мин.

I'm on a plane
I can't complain[1].

"NIRVANA"

Альбер Тибоде в своей "Истории французской литературы" 1936 года пишет, что поколение — это возрастной класс, переживший в двадцать лет некое историческое событие, от которого так и не сможет оправиться и которое навсегда оставит на нем свою печать. В его случае (Тибоде родился в 1874 году) это было дело Дрейфуса. Для следующих поколений были две мировые войны, война в Алжире, потом Май 68-го. Поколение моих родителей несло неизгладимую печать 1968 года. Их общество изменилось полностью: возникли иные ценности, иные нравы. Все перестало быть как прежде: манера одеваться, жаргон, привычки, воспитание. Все, чему их учили, оказалось бесполезным. В 1968-м мои родители словно заново родились, отсюда и их неизбежный развод. У них больше не осталось ориентиров, их родители оказались за бортом, они перестали понимать их веру, не знали, о чем с ними говорить. Как можно оставаться вместе с кем бы то ни было, когда вокруг все взрывается? Для моего поколения таким событием стал 1989-й: мне было 25 лет, и падение Берлинской стены прозвучало похоронным звоном по идеологиям. Родилась безудержная надежда: либерализм вот-вот распространится по всей планете! Я тогда начинал работать в рекламе, боевом отряде капитализма. Я оттуда ушел, но это другая история, ее я уже рассказывал. Как и все писатели моего поколения, я всегда буду нести на себе печать 80-х с их поклонением деньгам, гламурным гипнозом и наглостью яппи, с их синтетической музыкой и стильной мебелью, дефиле высокой моды и демократизацией порно, любовью к дискотекам и поэзией аэропортов. Да, это так: мое поколение — это поколение Франсуа Миттерана и еженедельника "Глоб", поколение, на глазах которого левые стали реалистами, отказались от утопий. Мое поколение ненавидит Май 68 года, потому что любое поколение считает своим долгом уничтожить предыдущее. Мое поколение навсегда травмировано скорбью по коммунизму, фотомоделями и кокаином. Следующему поколению, тому, что родилось в 80-х, тому, что уничтожит мое, было 20 лет 11 сентября 2001 года. В его глазах я — живое воплощение светской легковесности, внедренческого противоречия, продажных СМИ и надменного пустозвонства. Мне не дает покоя вопрос: как оно будет жить после Всемирного торгового центра, сумеет ли повзрослеть на дымящихся развалинах материального комфорта? Что оно выстроит на месте Всемирного торгового центра? Из чего будут сотканы его мечты, кроме расплавленной стали и обугленных внутренностей? Как и что можно созидать на обломках моего поколения, на крушении 70-х и провале 80-х, на крахе общества торговых марок? Что увидит оно из своего Окна в мир? И точ-

1. Я в самолете, мне не на что жаловаться (*англ.*).

но ли религия комфорта, потребления, а значит, денег как единственного упования, — точно ли эта утопия умерла в Нью-Йорке в 2001 году?

Наше будущее исчезло. Наше будущее — это прошлое.

10 час. 15 мин.

— Покажи мне грудь, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

Оба трейдера находятся в конференц-зале, они знают, что это конец, они стоят по пояс в воде, но тонут в дыму. Вокруг перевернутые кресла и фиолетовые трупы, трупы их задохнувшихся коллег и начальников.

— Я своей мохнатке сделала лазерную эпиляцию, специально для тебя, — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

— Ну так отсоси у меня в последний раз, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

— Я тебя проглочу, я хочу чувствовать твои жгучие струи у себя на гландах, — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

— Высуни язык получше, чтобы я чувствовал твой пирсинг на головке, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

Они забрались на стол для заседаний, овальный эбеновый стол в восемь метров длиной. Он спустил брюки, она сбросила блузку. Кожа у обоих загорелая, из солярия; несмотря на запах смерти и чудовищную жару, вид у них очень сексапильный.

— Чувствуешь мои три пальца в заднице? — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

— Задери юбку, насади свой анус мне на член, да поглубже, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

— Закрути мне соски, раздави мне груди, — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

— Любишь, когда я щиплю тебе клитор, грязная шлюха? — говорит брюнет от Кеннета Коула.

— Ради тебя я бы переспала с целым полком, — говорит блондинка от Ральфа Лорена. — Я была твоя, чтобы ты отдавал меня другим.

— О yeah, я бы велел тебя связать и пороть первым встречным, я бы отодрал твою младшую сестренку у тебя на глазах, потаскуха, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

— Ммм fuck me deep[1], как бы я хотела, чтобы твой отец надраил мне передок, — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

Вокруг ничего не было видно, факсы закипали, пол плавился, в воде плавал держатель для бумаг, среди дня настала ночь, и горящие "Макинтоши" показывали тысячу градусов по Фаренгейту.

— Сейчас залью тебе задницу кипятком, — говорит брюнет от Кеннета Коула.

— Ооооа, я тоже кончаю. Потом я ХОЧУ тебя отсосать, — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

— Не спеши, я хочу сперва залезть по локоть в твою текущую п..ду, — говорит брюнет от Кеннета Коула. — Я хочу, чтобы тебе было больно, когда я кончу. Высуни язык, я кончу на него.

— Плюнь мне в рот, искусай меня, вырви мне волосы, оторви мне ноги ОООо I'm comiiiing, I feel your cock in my ass[2], — говорит блондинка от Ральфа Лорена.

1. Вставь мне поглубже (*англ.*).
2. Я вот-вот, я чувствую твой член у себя в заднице (*англ.*).

— Я тебя замучаю до смерти, я тебя убью, я распорю тебе живот и буду целовать твои внутренности, разорву вагину и войду внутрь целиком, всем телом, умру там же, где родился, ОООо, чувствуешь, любовь моя, я иду, ОООо, как долго... — говорит брюнет от Кеннета Коула.

Они кричат вместе. Их поцелуй полон спермы. Они любят друг друга, хотя вокруг все рушится, как в "Поруганной чести Катарины Блюм".

— Я умерла от удовольствия, — говорит блондинка от Ральфа Лорена. — Я умерла, любя тебя.

— Смерть лучше виагры, — говорит брюнет от Кеннета Коула. — Ты была смыслом моей жизни, теперь ты смысл моей смерти.

В раю не было тысячи девственниц. В раю были они двое. Гореть можно не только в аду.

10 час. 16 мин.

Во Франции только что перевели записные книжки Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. И там я выяснил, что "Великий Гэтсби" должен был называться иначе: В ГРУДАХ ПЕПЛА И МИЛЛИОНЕРОВ.

Я боюсь смерти. И горжусь своей трусостью. Полное отсутствие физической храбрости заставляет меня жить под постоянной защитой полиции и закона. Именно полное отсутствие физической храбрости и отличает меня от животного.

Быть мертвецом в будущем легко. Труднее быть мертвецом в настоящем. Нужно жить, покуда жизнь не кончится. Говорить спасибо, все время помня, что по-английски "mercy" значит "милосердие". Нет времени на соборование, нет времени обдумать блестящую эпитафию или шикарную остроту, чтобы испустить ее вместе с последним вздохом, — для будущего. Когда смерть наступает внезапно, есть ли у нее будущее?

10 час. 17 мин.

Клал бы я с прибором на ваше сострадание. Иудеохристианских демократов можно размазать в два счета именно потому, что они сострадательны. Ровно это и хотели доказать воздушные мясники. Отныне у нежных, милосердных либералов-иудеохристиан никто не может чувствовать себя в безопасности. Они хотели, чтобы эти славные баловни судьбы почувствовали, что такое Ненавидеть. Как татуировка на пальцах у Митчема в "Ночи охотника": LOVE HATE. Ненависть — это любовь.

Иисус подставлял вторую щеку, согласен, Иисус не любил насилие. Но в нем была ненависть, пускай он отрицал это, пускай не высказывал ее, она все равно жила в нем, неумолимая жажда справедливости. А на кресте он поносил весь свет и отрекался от отца. Плевать ему было на сострадание — Иисусу на кресте.

10 час. 18 мин.

Вдали от тебя сердце мое разбилось, словно окно.

Дизайн-отель "Мёрсер", оформленный французом (Кристианом Льегром), находится в даунтауне, в Сохо, в нескольких кварталах от Всемирно-

го торгового центра, просто я опоздал приехать ровно на год. Новый мэр Нью-Йорка, Майкл Блумберг – которого, как Сильвио Берлускони в Италии, избрали за то, что он – телемагнат, – поставил перед собой две цели: изничтожить всех курильщиков и шум. Его предшественнику удалось выселить проституток с 42-й улицы и бомжей из Виллиджа. Скоро Готхэм Сити станет просто очень большим и чистеньким торговым центром. Остров "Trade center". Курить запрещено – и в барах, и в ресторанах, даже в ночных заведениях. Кое-где запрещено даже танцевать! Вавилонские прожигатели жизни – жалкое меньшинство, вымирающий вид. Навязчивая идея покоя и чистоты кажется бессознательным ответом на заповеди чистоты и добродетели фанатиков-исламистов, этих бородатых тартюфов. Она выдает тревогу метрополии, оказавшейся под угрозой. Когда демократия в опасности, Манхэттен становится... Швейцарией.

Я больше не выхожу из "Мёрсера". Я живу здесь затворником, как Полнарёфф в "Руаяль Монсо". Завтракаю и обедаю в гостиничном ресторане на первом этаже. В 10.18 вечера спускаюсь выпить свою водку с черносмородиновым сиропом в "Сабмёрсер", гостиничный бар. Я живу совершенно один в самом модном здании Нью-Йорка, словно в семейном пансионате в Тоскане. Портье и администраторша одаряют меня жалостливыми улыбками и думают, хватит ли у меланхоличного клиента-француза денег оплатить счет, когда он будет съезжать. Знаменитости, захаживающие в гостиничный бар (Бенисио дель Торо, Аманда де Кадене, Гийом Кане, Тьерри Клеменюк), недоумевают, отчего этот бородатый мужик, напевая в одиночестве песни Кэта Стивенса, записывает малейшие их жесты в маленький черный блокнот. Я методично напиваюсь, валяясь на стильной софе, ни с кем не говорю, часто плачу и думаю о тебе, жалею о тебе.

10 час. 19 мин.

Они хотят, чтобы мы чувствовали себя виноватыми. Но виноватыми в чем? Я не отвечаю за то, что сделала моя страна, чтобы стать великой. Ни за рабство негров, ни за геноцид индейцев, ни за дикий либерализм – это же не я, парни, я пришел гораздо позже! Все, что я сделал, – это родился здесь, у Хозяев, но я-то не хозяин. Все, чем я управляю, – это мое агентство по торговле недвижимостью. Конечно, я продавал квартиры дороже, чем они того стоили. Не могу не признать: все торговцы недвижимостью – мошенники; они продают вам нечто такое, чем вы никогда не будете владеть. Вы что, не понимаете, что на земле вам ничто не принадлежит? Что все мы в этом мире – квартиросъемщики? Я торговал воздухом, временными квадратными метрами, за которые людям потом приходилось горбатиться всю жизнь. Задолженность среднего американца достигает 110 % от годового дохода: мировой рекорд! Самое смешное – это молодежь: счастливы, что не надо больше платить за жилье, и при этом будут каждый месяц на протяжении тридцати лет погашать кредит. И где разница? Агент по торговле недвижимостью – это человек, заставляющий других работать, чтобы оплатить то, что принадлежит им только по найму, ибо собственник жилья – это всего лишь пленный квартиросъемщик, должник, который не может переехать в другое место.

ОК, я не агнец, но я и не преступник! Я не заслужил смертной казни. Вряд ли я воплощение Добра, но я никому не хотел Зла. Я грешил,

я изменял Мэри, я развелся, сбежал от Джерри и Дэвида, согласен, я далек от совершенства, но когда же за это сжигали живьем? Что я могу поделать, если гватемальские дети работают вместо меня по пятнадцать часов в сутки за нищенскую зарплату? А когда были Хиросима и Нагасаки, я еще вообще не родился на свет, for God's sake! Блин, какое я имею отношение к тому, что происходит в лагерях палестинских беженцев, ко всем этим смуглолицым парням, которые забрасывают танки камнями и с утра до вечера взрывают себя в автобусах, вместо того чтобы ходить на службу, как все люди? Какого хрена, ведь это все далеко и совершенно непонятно. Лохматые бородачи, поедающие песок, сидящие на корточках в своих вьетнамках, с автоматом в руке, и выкрикивающие непонятные, но полные ненависти лозунги. В этих странах слишком много пыли, к тому же они дохнут от жары, конечно, раздражает, когда так жарко, а ты глотаешь насекомых на завтрак и умираешь от жажды, в конце концов либо ты отдыхаешь, либо бьешь кому-нибудь морду, как все.

Кто нанес удар? Арафат? Унабомбер? Ты скажешь, какая тебе разница, кто тебя убил — бен Ладен или Тимоти Маквей, "Аль-Каида" или ку-клукс-клан? Frankly, my dear, I don't give a Saddam![1] Насилие в природе человека. В принципе культура, религия, общество, цивилизация призваны обуздывать его. Но только в принципе. Сжальтесь над нами. Oh Lord, пожалейте Джерри, Дэвида и Картью Йорстона из Остина, штат Техас. Have mercy on us[2]. А по-арабски, как будет "mercy" по-арабски?

10 час. 20 мин.

Гавань — спасительное прибежище для душ, уставших от схваток с жизнью. Необъятный простор неба, подвижные контуры облаков, переменчивые краски моря, вспышки сигнальных огней на маяках словно в единой необыкновенно ясной призме образуют зрелище, которое радует взгляд и никогда не утомляет. Стройные очертания кораблей с полной оснасткой, чуть покачивающиеся на морской зыби, пробуждают в душе стремление к ритму и красоте. И еще, помимо всего этого, существует особый вид таинственного и утонченного наслаждения для того, у кого не осталось больше ни любопытства, ни честолюбия, — лежа на террасе или облокотившись на каменную ограду набережной, наблюдать за суетой тех, кто отплывает или возвращается, кто еще сохранил в себе силу стремиться к чему-то, страсть к путешествиям или обогащению[3].

Шарль Бодлер. *Парижский сплин*, 1865. Надо было бы назвать иначе: "Нью-йоркский сплин".

10 час. 21 мин.

С тех пор как Дэвид умер, Джерри не отходит от него ни на шаг, плачет, гладит его холодный лоб и закрытые глаза. Я встаю и беру его на руки; без-

1. Если честно, мне насаддамить (*англ.*).
2. О Боже... Смилуйся над нами (*англ.*).
3. Перев. Т. Источниковой.

дыханный маленький принц с мягкими волосами. Джерри читает мои мысли; он дрожит от горя. У меня больше нет сил изображать из себя героя. Как говорила администраторша, меня этому не учили. Джерри крепче сжимает мою руку, другой он держит вялую ладошку Дэвида, она свисает и качается в воздухе. Я прижимаю плоть от плоти моей любви к своей потной рубашке. Его личико почернело, как когда он сделал себе индейскую раскраску жженой пробкой летом 1997 года в Йосемитском национальном парке. Лучше все забыть, слишком тяжело на сердце. Пошли, идемте, мальчики, мы выберемся отсюда, сделаем то, что давно надо было сделать: слиняем отсюда все трое, on the road again, adios amigos, hasta la vista baby[1], окно разбито, взгляни за Окна мира, посмотри, Джерри, это высшая свобода, let's go[2], нет, Джерри, мой герой, don't look down[3], пусть твои голубые глаза смотрят на горизонт, на нью-йоркскую гавань, на бессильный танец вертолетов, ты не видел "Апокалипсис сегодня", вы были такие маленькие, как эти убийцы посмели, идемте, мои дорогие, агнцы мои, вы увидите, по сравнению с этим космические горки — чушь собачья, держись за меня крепко, Джерри, я люблю тебя, идем с папой, мы возвращаемся домой вместе с твоим младшим братом, пойдем покатаемся на облаках огня, вы были моими ангелами, и больше ничто нас не разлучит, рай — это быть вместе с вами, дыши глубже, а если боишься, надо просто закрыть глаза. Мы тоже умеем жертвовать собой.

Перед самым прыжком Джерри посмотрел мне прямо в глаза. Остатки его лица искривились в последний раз. Кровь из носа больше не шла.

— Мама очень расстроится?

— Не думай об этом. Надо быть сильным. Я люблю тебя, сердце мое. Ты чертовски славный парень.

— I love you daddy[4]. А знаешь, папа, я не боюсь падать, смотри, я не плачу и ты тоже.

— Я никогда не встречал человека мужественнее тебя, Джерри. Никогда. Ну, ты готов, малыш? считаем до трех?

— Раз, два... три!

Наши рты перекашивались от скорости. Ветер заставлял нас дико гримасничать. Я до сих пор слышу смех Джерри, нырнувшего в небо, сжимая мою руку и руку братишки. Спасибо за этот последний смех, oh my Lord, спасибо за смех Джерри. На какой-то миг я и вправду поверил, что мы улетаем.

10 час. 22 мин.

Цвейг писал: "Бессознательно Нью-Йорк подражает горам, морю и рекам". И Селин тоже говорит о "городе, стоящем стоймя": он не видел, как Всемирный торговый центр лег на землю.

Американцы ходили по Луне, но на следующий день после 11 сентября не надо было ходить так далеко: Нью-Йорк превратился в мертвую планету. Асфальт скрылся под ковром белой пыли. От 110-этажного здания не осталось ничего, кроме двух скрюченных металлических балок, похожих на пальцы, царапающие небо. Словно расплющенный космический

1. Опять в пути, прощайте, друзья, до свидания, бэби (*исп.*, *англ.*).
2. Пошли (*англ.*).
3. Не смотри вниз (*англ.*).
4. Я люблю тебя, папа (*англ.*).

модуль. Тишину прорезают полицейские сирены. В Америке грандиозно все, даже теракты. У нас взрывают станцию метро, разносят магазин одежды, но все здания более или менее целы. А здесь первый же иностранный теракт стал самым страшным за всю историю Западного мира: величайшее одномоментное истребление гражданских лиц со дня основания Соединенных Штатов.

Сюда я думал вставить главу под названием "СМЕРТЬ. СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ"[1]. Как если бы Жорж Перек заменил дом 11 по улице Симон-Крюбелье на перекресток Черч-стрит, Визи, Либерти и Уэст. Но я слишком спешу вернуться; я хочу съесть мой свадебный пирог и прижаться к тебе, если ты меня примешь.

Я задираю голову и заговорщически подмигиваю Картью, Джерри и Дэвиду: быть может, они видят меня в сером зимнем тумане. Море уносит звуки сирен, крики чаек, грохот лебедок и стрекот туристских вертолетов. Черно-белый Нью-Йорк, гранит и мрамор, исчезает, тонет в тумане, зацепившемся за стальные пилоны. Я все-таки жив. Что тут еще скажешь?

10 час. 23 мин.

Иногда мне снится тысячетонная дымящаяся груда человеческой плоти и расплавленной стали, где смешались человек и камень, компьютеры и оторванные руки, лифты и обожженные ноги, верующие и атеисты, огонь и кровь... А потом это проходит. А потом возвращается снова: я вижу стены с впечатавшимися в них глазами, расколотые стеклами черепа, распотрошенные туловища на факсах, мозги, вытекающие на копиры. Бог создал и это тоже. И мне снится, что мы с детьми, держась за руки, летаем над горой останков. И что, быть может, это не сон. Быть может, мы парим над Плазой, такой же ветреной и опустевшей без башен. Теперь они называют ее "Site" и водят по ней экскурсии. Между нулем и бесконечностью все так же дует ветер. Мы в нем, мы стали ветром.

Когда-то давно, помните? человек возвел здесь две башни. "Rest in peace"[2]: мы покоимся не с миром, а с войной. Только смерть делает бессмертным. Мы не умерли: мы пленники солнца и снега. Осколки солнечных лучей прячутся в снежинках, они падают тихо, словно дождь конфетти в замедленной съемке. Кажется, что кусочки стекла проникают под кожу. Введите стекло себе в вены. Сделайте это в память обо мне. Я умер за вас и вас и вас и вас и вас и вас и вас и вас.

10 час. 24 мин.

На самом деле я не знаю, почему написал эту книгу. Может, потому, что мне было абсолютно неинтересно говорить о чем-то другом. О чем еще писать? Единственно интересные сюжеты — это сюжеты табуированные. Надо писать о том, что запрещено. Французская литература — долгая история непослушания. Сегодня книги должны делать то, чего не делает телевидение. Показывать невидимое, говорить несказанное.

1. Отсылка к роману французского писателя Жоржа Перека "Жизнь. Способ употребления".
2. Покойтесь с миром (*англ.*).

Может, это невыполнимо, но в этом смысл литературы, ее миссия. "Миссия невыполнима".

Весь интерес жить при демократии в том, чтобы ее критиковать. Собственно, потому и знаешь, что живешь при демократии. Диктатуру критиковать нельзя. А демократия, даже когда ее атакуют, угрожают ей, низвергают ее, должна доказать, что она демократия, потому что говорит гадости про демократию.

Написав это, я обнаруживаю, что не вполне искренен. Приходится признать и то, что, опираясь на первый великий акт гипертерроризма, моя проза обретает силу, которой бы иначе у нее не было. Мой роман использует трагедию как литературный костыль.

Есть и другая причина. Древо моих американских предков восходит к борцу за независимость Амосу Уилеру, герою Американской революции (род. в Пеппереле, штат Массачусетс, 1741, умер в Кембридже, штат Массачусетс, 21 июня 1775 вследствие ранения в бедро, полученного в битве при Банкер-Хилле пятью днями ранее). Его имя выбито на памятнике в честь Банкер-Хилла, а также на монументе Д. Вашингтону. У него был сын, родившийся через месяц после его смерти, в июле 1775 г. — Амос Уилер II. Его дочь Олайв Уилер вышла за некоего Джоба Найта и имела от него сына, Эльдорадо Найта, который женился на Фрэнсис Матильде Харбен, чья дочь Нелли Харбен Найт была матерью Грейс Картью Йорстоун, моей бабушки по отцовской линии. Я — потомок Амоса Уилера в восьмом поколении, через 228 лет после его смерти. Грейс Картью Йорстоун вышла замуж за Чарлза Бегбедера, отца моего отца. Она переехала во Францию, растолстела на пятьдесят кило, потому что ела фуа-гра, и умерла в По, в Беарне, предварительно родив двух дочерей и двух сыновей (одним из них был мой отец), но так и не избавилась от своего американского акцента, вызывавшего улыбку у членов "Ротари-клуба" (отделение "Пиренеи-Атлантика").

Если вернуться на восемь поколений назад, все белые американцы окажутся европейцами. Мы с ними похожи, и пусть мы не все американцы, но наши проблемы — это их проблемы, и наоборот.

10 час. 25 мин.

В то утро мы стояли на вершине здания Всемирного центра, и я был центром мироздания.

Я был прав, когда сказал Джерри и Дэвиду, что мы в воображаемом луна-парке: сегодня по Граунд Зеро гиды водят туристов. Теперь это достопримечательность, как статуя Свободы, до которой мы так и не доедем. В районе Старого порта можно взять билеты на WTC Site; их дают бесплатно. Над пустой эспланадой нависает деревянная эстрада; чтобы подняться на нее, надо отстоять длинную очередь. Гид поторапливает зевак. Но здесь не на что смотреть: необъятный цементный пустырь, автостоянка без машин, самая большая могила в мире. Иногда ночь краснеет, думая об этом; здания вокруг не хотят сверкать. И темнота согревает нас. Река фиолетово-синяя, сверху она очень красива.

Мы стали достопримечательностью для туристов; видите, дети? теперь люди приходят посмотреть на нас.

10 час. 26 мин.

В "Ноче" (это новый ресторан, открытый на Таймс-Сквер Дэвидом Эмилом, владельцем "Windows on the World") я пристаю к одному из прежних служащих "Окон в мир".

— Я французский писатель, я работаю над романом о вашем старом ресторане.

— Почему?

— Потому что моя бабушка была американка, ее звали Грейс Картью-Йорстоун и я не был на ее похоронах. Я был в Швейцарии с братом и отцом, когда нам сообщили о ее смерти. Мне больше хотелось кататься на лыжах, погода стояла прекрасная, отец сильно поссорился с братом, и мы не поехали в По.

— I'm sorry sir but I don't understand what you're talking about[1].

— Я ее плохо знал. Ее имя было Грейс, как у Грейс Келли, но мы звали ее Бабулей. Она была из южан, из старой буржуазии. Под конец жизни она была похожа на Мистера Магу. Видите мой торчащий подбородок? Он у меня от нее.

— Listen, I've got work to do. And I don't understand French. You're bothering me, Mister![2]

— Ее предком был Джон Адамс, второй президент Соединенных Штатов. У меня есть кузены в Далласе, Хербены. Я их не видел двадцать пять лет. Они сказали мне, что я еще и потомок знаменитого траппера, Дэниела Буна.

— So what?[3]

— We do not hate you[4]. Мы вас боимся, потому что вы в мире главные. Но мы с вами одной крови. Франция помогла вашей стране родиться на свет. Потом вы нас освободили. А мой кузен погиб в вашем ресторане 11 сентября 2001 года, с двумя сыновьями.

Не знаю, что меня дернуло так соврать. Я хотел его разжалобить. Трус всегда мифоман. Картью Йорстоун — это фамилия моей бабушки. Убери "у" и получишь Картью Йорстона, вымышленного персонажа.

— Excuse me but I'm so sick and tired of Nine-Eleven...[5]

— Не сердитесь, я ухожу, я не хочу вам надоедать. Один последний вопрос: вы знаете песню Дайонн Уорвик?

— Of course[6].

И вот мы, два жителя планеты Земля, напеваем "The windows of the world are covered with rain"[7]; поначалу мы чувствуем себя полными идиотами, смущаемся, клиенты думают, что мы перебрали, мы поем негромко, а потом идет припев и мы начинаем орать как свиньи, как босяки, как братья.

1. Мне жаль, сэр, но я не понимаю, что вы говорите (*англ.*).
2. Послушайте, у меня работа стоит. Я не понимаю по-французски. Вы мне надоели, мистер (*англ.*).
3. И что дальше? (*англ.*)
4. Мы не ненавидим вас (*англ.*).
5. Извините, но у меня Одиннадцатое сентября в печенках сидит (*англ.*).
6. Конечно (*англ.*).
7. Окна в мир залиты дождем (*англ.*).

Тут нечего понимать, маленькие мои привидения с беззащитными ручками. Мы умерли ни за что. Северная башня рухнет ровно через минуту (сила ударной волны 2,3 балла по шкале Рихтера, длительность 8 секунд), но мы этого не увидим, потому что нас там уже нет. Телеантенна, падая среди дыма и обломков, оставалась прямой и только потом слегка изогнулась влево. Шпиль уходил в дым, как мачта корабля в пену океана. Прошло десять секунд, и первая башня рухнула целиком, прямая, как стартующая ракета, если пустить пленку задом наперед. И все-таки: вспоминайте о нас, пожалуйста. Мы — три сгоревших феникса, которые возродятся из пепла. Фениксы бывают не только в Аризоне. (Страница опущена).

1
0
час.
28
мин.

Ночью проспекты Нью Йорка превращаются в алмазные реки. Ночью в этом городе не бывает ночи. Убежденный в собственной неповторимости, я иду по Вест-Сайд-хайвею в 10.28 ночи — так, словно поднимаюсь на сцену получать "Оскара". Смерть не взяла меня в Нью-Йорке. Современную ситуацию на Западе часто сравнивают с крушением Римской империи. Может, я декадент? Не думаю. Я не самоубийца, просто у меня самоубийственный образ жизни. Я просто нигилист, не желающий подыхать. На Site опускается ночь: поляна в стеклянном лесу. Через полтора года после трагедии от Всемирного торгового центра остался лишь пустырь, серая равнина, обнесенная сеткой. Я никогда не узнаю, все ли было так, как я вообразил, и вы тоже. Сирена в ночи: ее крик мечется рикошетом по прямым улицам. Из канализационных люков, между уцененным "кадиллаком" и потрескавшимся тротуаром, поднимается белый пар. Вечно этот дым: он был и прежде, но теперь он видится иначе. Мертвый мир, населенный торговцами солеными крендельками. Недалеко от Мемориала Холокоста (Фёрст Плейс, 18, южнее Бэттери-Парк-сити) я поднял голову: из какой-то квартиры доносилась музыка, и женский смех, и звон льда в стаканах, и желтый свет американских праздников. Я знал эту песню, мировой хит ("Shine on Me" группы "Praise Cats", сумасшедший ритм рояля и абсолютно дебильные слова, как во всех таких хитах: "I've got peace deep in my soul / I've got love making me hope / Since you opened up your heart and

shined on me"[1]). Внезапно на меня нахлынула немыслимая радость, та же волна благодарности, какую я испытал 29 августа 1999 года, когда держал тебя на руках и приветствовал твое появление на земле. Я щупаю в кармане маленькую синюю коробочку от Тиффани, в ней лежит обручальное кольцо. Корабельная сирена смолкла. Только мелодия — дон-дон-дон-дзынь-дзынь-дзынь — несется из окна, словно поток теплого воздуха вздымает летом легкие шторы, а все остальное молчит. Я напеваю эти слова как псалом. "I've got peace deep in my soul / I've got love making me hope". Мне стыдно за свое католическое счастье. Я неприличен рядом с величайшим в мире крематорием. Непристойно, необъяснимо доволен тем, что я жив, просто потому, что думаю о людях, которых люблю. Самолеты летят прямо на стену, и наше общество тоже. Мы — камикадзе, которые хотят остаться в живых. Только любовь дает мне право надеяться. Грузовые суда идут в темноте навстречу друг другу — красные огоньки, словно в водном аэровокзале, скользят по черному зеркалу. Птицы улетают к мертвым звездам. Я иду мимо Канарбилдинга, где сто лет назад путешественники покупали билеты на "Титаник". Грязное устье реки сливается с небом. Мы без конца заигрываем с небытием, смерть наша сестра, мы можем любить, наверно, наше счастье прячется где-то в этом хаосе. Будет ли через тридцать лет всемирная демократия? Через тридцать лет мне придется оставить надежды, как и всей остальной планете, но мне плевать, потому что через тридцать лет мне самому будет 70. Где-то вдали скоро взойдет луна и отразится в море, и тогда вода станет похожа на танцевальную дорожку или надгробную плиту. Мне жаль, что я жив, но придет и мой черед. Придет мой черед.

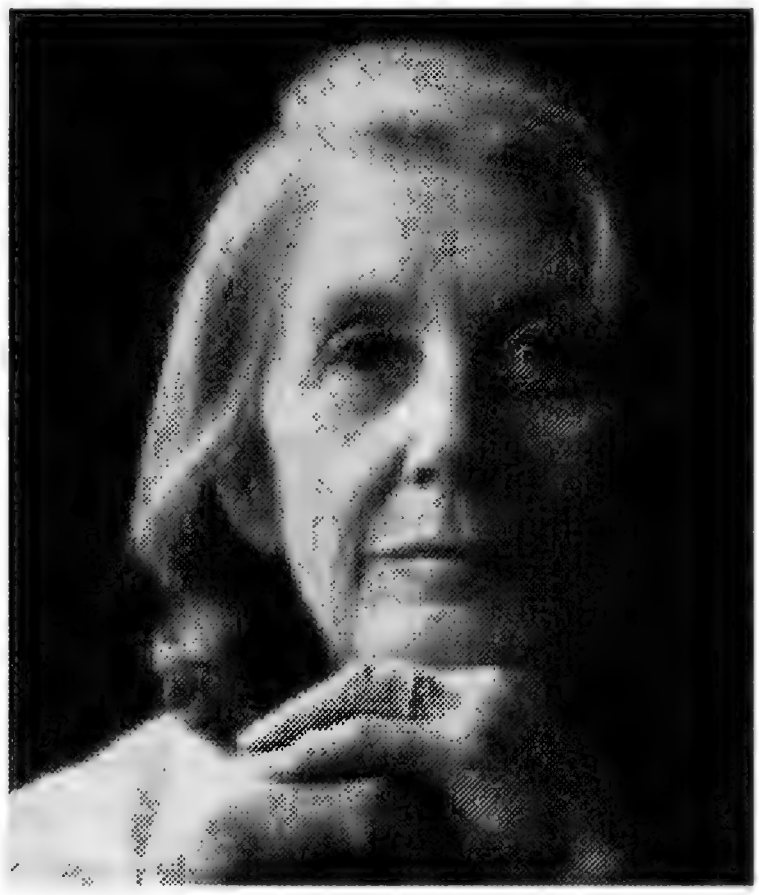
10 час. 29 мин.

Самолет, уносящий меня в Париж, рассекал облака акульим плавником. Сидя в кресле, мчащемся со скоростью 2000 км/ч над глубинами океана, я возвращался сквозь тучи просить твоей руки. Я чувствовал, как жизнь течет в моих жилах, словно электрический ток. Чтобы размяться, я встал. Наклонился вперед. А потом мне пришла в голову мысль. Я вытянулся на полу, на ковре, в проходе, обеими руками вперед, к кабине экипажа. Стюардесса улыбнулась в уверенности, что я делаю упражнение на растяжку. А я знаешь что себе говорил? Что стоит закрыть глаза и убрать корпус самолета, и реакторы, и всех прочих пассажиров, и тогда я буду лететь один в небесном эфире, на высоте 16 000 метров, со сверхзвуковой скоростью, пронзая лазурь стрелой своего тела. Да, я говорил себе, что я супергерой.

Париж – Нью-Йорк, 2002–2003

1. У меня в душе мир, / у меня есть любовь, которая дает мне надежду, / с тех пор как ты открыла мне свое сердце и осветила меня (*англ*).

Надин Гордимер



Нобелевская премия 1991 года

Кто для радости рожден...[1]

Рассказ

Перевод с английского Инны Стам

ОНИ все-таки взяли его постояльцем: сын-то завербовался на нефтеразработки и ушел в море на целых полтора года; стало быть, комнатушка его все равно пустует, а денежки им очень бы-ли бы кстати. Отец работал швейцаром в клубе; принимая и подавая почтенным членам клуба пальто и портфели, он, видимо, подсознательно, из преданности заразился от господ страхом перед взрывными устройствами, от которых взлетают на воздух лимузины членов парламента и финансистов. Когда семья только въезжала в полуподвальную квартиру, владельцы дома поставили условие: "Но ирландцев чтоб тут и духу не было". — "И правильно, я того же мнения", — заметил отец. Однако к приезжим из других уголков бывшей империи хозяева относились совершенно иначе — никакой предвзятости. Мать работала здесь же: трижды в неделю убирала дом да нянчила с младенчества троих хозяйских мальчишек, которых считала за родных детей. Выходит, хозяевам они тоже вроде как угодили, сдав комнатку этому малому, иностранцу. Тот небось уже прошел по всем адресам, что увидел в супермаркете на доске объявлений, да везде получил от ворот поворот. Парень оказался не грязнулей, даже аккуратистом; не топтался на кухне в надежде, что его тоже пригласят к столу. Свои-то непременно напросились бы на дармовщинку. И на Веру не пялился.

Вере было семнадцать; она работала в канцелярии крупной фирмы и имела шансы продвинуться повыше; устроил ее на это место отец, по

© 1991 by Felix Licensing BV
© И. Стам. Перевод, 2004

1. Вильям Блейк. Из "Прорицаний невинности" (перев. С. Маршака). Полностью строфа звучит так: "Кто для радости рожден, / Кто на горе осужден". (*Прим. перев.*)

ходатайству одного добродетеля из важных господ, членов клуба. Словечко такого человека дорогого стоит. А теперь уж сама должна выбиваться в секретарши; кто знает, может, когда-нибудь станет *личной секретаршей у какой-нибудь шишки, вроде тех, что ходят в отцовский клуб; там, глядишь, съездит в Европу, в Америку – и Бог знает куда еще.*

– В такой фирме надо одеваться прилично. Пусть другие задницами сверкают.

– Папа!

Вера вспыхнула, зрачки у нее расширились от смущения и от досады — вдруг жилец услышит? Квартирка-то маленькая, стены тонкие.

В пятницу и субботу, надев майку с отделанным блестками рисунком поперек груди, она вечером отправлялась с подружками на дискотеку — для этого, правда, сначала пришлось дожидаться, когда можно будет состричь крашенные в розовый цвет волосы. По воскресеньям девушки собирались у пивной и, рассевшись вместе с приставучими местными парнями на деревянных лавках, потягивали пиво с лимонадом. Однажды в пиво что-то подлили. Вера сильно опьянела, но, к счастью, в тот день какое-то богатое семейство устроило прием и отца наняли швейцаром, а мать ушла с хозяйскими детьми в зоопарк, так что никто не слышал, как ее мучительно рвало в ванной.

По крайней мере, Вера на это надеялась.

С трудом переводя дух и утирая с лица мерзкую слизь, Вера пошла в кухню, чтобы выпить воды, — а там *он.*

— Добрый день, мисс. — Он всегда называл ее только “мисс”.

Как раз тоже наливал себе воду.

Вера застыла на месте; в горле и в носу скопилось что-то противное, кислое; вот-вот вытечет прямо на глазах этого чужака-иностранца. Сквозь тошноту и подступившие слезы ее ожег стыд; нельзя к нему приближаться! От стыда резко свело живот, она едва успела подскочить к раковине, как изо рта фонтаном хлынуло пиво с остатками пережеванной и полупереваренной пиццы. Вера повелительно взмахнула за спиной ладошкой:

— Уйди! Уйди!

И открыла оба крана, чтобы побыстрее смыть свой позор.

— Сгинь!

А он уже стоял рядом, в облаке исходившего от нее зловония, и, намочив посудное полотенце, утирал ей лоб, перепачканные губы, слезы со щек. Поддерживая под руку, довел до стула и усадил возле кухонного стола. Она знала, что его сородичи не пьют вообще; он, поди, спиртного и не нюхал. Любой парень из своих повел бы себя совсем по-другому.

Она снова заплакала. Тихонько, почти незаметно, он опустил ладонь на Верину руку, обхватил запястье, точно врач, собравшийся определить по пульсу, как работает сердце. Так же тихо и незаметно, словно подражая ему, Вера успокоилась; не поворачивая головы, взглянула на его руку. Медленно вытянула из-под его ладони свою — в знак расставания.

Когда Вера была уже у двери кухни, они с постояльцем обменялись ничего не значащими фразами, слабыми намеками на то, что с ней случилось: “Все нормально?” — “Нормально”. — “Ты уверена?” — “Да, все в порядке”.

Она уснула и не слышала, как вернулись родители, а наутро сказалась больной, грипп-де подхватила.

Вера по-прежнему целые дни проводила на работе, где завела себе приятелей из младшего персонала; в свободное время охотно бегала на дискотеку и ходила с местными ребятами в кино; девчонки млели, держа соседа за руку или притворно отбиваясь от настырных приставаний. Но не замечать *его* присутствия дома стало уже невозможно. "Добрый день", — говорил он, сталкиваясь с Верой в коридоре или у калитки в крошечный палисадник перед их полуподвальной квартирой. В палисаднике буйно цвели мамины герани и стояли бутылки из-под молока. Он перестал называть ее "мисс", словно давая понять: не бойся, я никому ничего не скажу, *хотя твои грешки мне прекрасно известны*, известны досконально; и с друзьями тебя обсуждать не стану. А друзья-то у него хоть есть? Мать рассказала Вере, что работает он в шикарном ресторане, не в зале, конечно, а на кухне. Прежде чем брать квартиранта, надо же убедиться, что у парня есть постоянный заработок, объяснила мать. Вере частенько случалось видеть таких же иностранцев: сбившись в кучку, стоят с неприкаянным видом, словно не зная, куда двинуться. На дискотеку они, естественно, не ходят, в кино их тоже не встретишь. И вроде вместе стоят, но каждый сам по себе. И на лице чудно́е такое выражение — хотя смысл его она разгадать и не пыталась, — как у зверя, сидящего в клетке далеко от родных мест.

Надо было дать ему понять, что она ценит его умение держать язык за зубами.

— Меня зовут Вера, — сказала она, случайно столкнувшись с ним дома.

А то он сам не знал, наверняка же слышал, как мать с отцом ее называют. И снова он сделал то, что нужно: просто вежливо кивнул.

— А я не расслышала, как тебя зовут.

— Вам трудно произносить наши имена. Зови меня просто Рад. — По-английски он говорил с трудом, тихим голосом произнося слог за слогом.

— Это уменьшительное?

— Что значит "уменьшительное"?

— Ну, прозвище, что ли. К примеру, Боб вместо Роберта.

— Вроде того.

Это уже был шаг вперед в их отношениях; Вера завершила разговор единственным известным ей способом:

— Ну, пока, до встречи.

Ни к чему не обязывающая фраза, которую они с приятелями привыкли небрежно бросать друг другу, прощаясь. Но в воскресенье, когда Вера решила пройтись до пивной, посмотреть, кто там собрался, в палисаднике у полуподвала вдруг увидела квартиранта. Он читал газету; еще три-четыре штуки лежали стопкой рядом на заляпанной грязью траве. Вера сразу вспомнила его имя и впервые произнесла его вслух — легко, без усилия, будто повернула ключ в хорошо смазанном замке:

— Привет, Рад.

Он встал со стула, принесенного из своей комнатушки:

— Надеюсь, твоя мать не рассердится? Я хотел спросить разрешения, но ее нет дома.

— Мама-то? Нет, конечно. Этому стулу в обед сто лет, от свежего воздуха он вряд ли еще больше рассохнется.

Она стояла на дорожке, а он — возле старого плетеного стула; помедлив, Рад снова сел, чтобы она могла уйти к друзьям, не боясь его обидеть, он тогда спокойно вернется к чтению газет.

— Я ей не скажу, — проронила она.

Вот и выплыло то, что произошло между ними в доме, известное им одним. И оба заулыбались, засмеялись. Она подошла к стулу.

— У тебя выходной-то есть? Ты ведь в ресторане работаешь, да? Ну и как оно там?

— Сегодня иду в вечернюю смену. — Он помедлил, склонив голову набок; на лице — выражение безразличия и скуки. — Ничего особенного. Работа как работа. Подвернулась, и ладно.

— Ясно. Зато в ресторане, поди, не тратишься на еду.

Он отвел глаза и, глядя вдаль, процедил:

— Я этой еды не ем.

Вере вдруг совершенно расхотелось идти под внимательным взглядом его черных глаз к калитке и, свернув за угол, шагать в новеньких цветастых бермудах к "Митре", где ее наверняка встретят восхищенным свистом и дружескими щипками; возможно, впрочем, что, позабыв о ней, Рад снова примется за чтение. Оттягивая время, она стала рассматривать газеты. В руках он держал английскую. А со страниц остальных, лежавших рядом, ей бросился в глаза округлый шрифт, с хвостиками и завитушками, — тайнопись чужого языка. Ну как тут пойдешь в пивную? Как покажешь ему, куда на самом деле направляешься? Нет, невозможно. Уловки, испытанные на родителях, тут не годятся. А главное, уловки и не нужны вовсе. В пивную она просто-напросто *не пойдет.*

Вера опустилась на выброшенную из английской газеты тетрадку новостей автомобильного спорта и, оголив круглые коленки, скрестила ноги.

— Что хорошего слышно на родине?

Он мотнул ногой в сторону газет на загадочном языке; босая ступня показалась чем-то сокровенным — еще одна загадка.

— На моей родине ничего хорошего не слышно.

Понятно: там какая-то политическая заваруха. Политика для Веры — темный лес, неизменно наводящий страх; да и не ее ума это дело.

— Вот, значит, почему ты уехал.

Он не ответил, все и так было ясно.

— Знаешь, я даже не представляю, как это — взять и уехать.

— Конечно — с друзьями-приятелями расставаться не хочешь.

Догадавшись, на что он намекает, она скорчила пренебрежительную гримаску, давая понять, что речь не о том:

— Да нет; мама с папой... и вообще.

Он кивнул, словно сочувствуя ее воображаемой кручине, но о своей не обмолвился ни словом.

— А вот попутешествовать мне жутко охота. Я потому и пошла в нашу контору. Чтобы съездить куда-нибудь, просто посмотреть другие края, понимаешь? Если сумею на работе себя, типа, проявить, может, и получится. Есть у нас одна секретарша, так она со своим шефом в какие только страны не ездила! А нам всем сувениры привозит, в щедрости ей не откажешь.

— Хочешь посмотреть мир. Но сейчас тебя друзья ждут...

— А ты хочешь уехать домой! — засмеялась она, словно не замечая намека.

— Нет. — Он взглянул на нее отстраненно, как взрослый на несмышленыша. — Пока еще нет.

Вера снова, как тогда в кухне, почувствовала себя во власти его настроения. Уже не игриво, а робко и неуверенно она переменила тему:

— Хочешь... Давай попьем чайку... Я заварю, ладно?

До сих пор он в доме не ел ни разу; наверно, религия запрещает ему все то, что едят и пьют здесь, включая даже ресторанную снедь, хоть она и бесплатная.

— Хорошо. — Рад улыбнулся, встал и, бесшумно ступая худощавыми ногами, пошел за Верой.

Привычные хлопоты — заварить чай, достать из буфета чашки — словно бы стерли то, что произошло тогда на кухне, — так протирают дочиста раковину и стол. Вера поручила Раду нарезать коврижку:

— Бери-бери, ешь, это мама испекла.

Возбужденно улыбаясь, она с любопытством наблюдала, как под его красивыми зубами крошится податливая мякоть коврижки. Он сдержанно кивнул в знак одобрения и продолжал жевать. Вера тоже важно кивнула, передразнивая его, и снова заулыбалась; потом, как лань, подбирающаяся к аппетитному листочку, взяла из Радовой руки ароматный ломоть с полукруглой выемкой от его зубов и тоже куснула.

В пивную Вера ходить перестала. Поначалу они, ее приятели, нет-нет да заглядывали к ней домой — узнать, куда Вера запропала, позвать с собой. Она под разными предлогами отнекивалась, но никто ее отговоркам не верил. Даже по воскресеньям она безвылазно сидела дома, помогая матери по хозяйству.

— Повздорила со своей компанией, что ли? — удивлялась та.

Вера много раз хвасталась закадычным подружкам, что ей очень повезло с матерью: не строгая и не подозрительная, не то что другие мамаши.

— Да нет, мам. Все нормально, только надоело: вечно одно и то же, даже разговоры из недели в неделю одни и те же...

— Вон оно как... Взрослеешь, стало быть, умнеешь понемножку. Ничего удивительного. А друзей заведешь новых, поинтереснее этих, тебе под стать.

Вера прислушивалась, стараясь понять, дома Рад или ушел в свой ресторан. Засекая его приходы и уходы, она давно поняла, что работает он нерегулярно. В квартире он вел себя очень тихо, не слушал ни радио, ни магнитофон, но все равно Вера всегда знала точно, сидит он у себя или нет. В кои-то веки лето выдалось похожее на лето. Если Раду сейчас на смену не идти, он обязательно вынесет в садик старый плетеный стул и примется за чтение, или растянется на спине, подставляя лицо отсыревшему солнцу. В такие минуты наверняка родные края вспоминает; вот где небось жарища, думала Вера, кругом пустыня да местами сбившиеся под пальмами в кучку беленые кубики домов. Она вынесла себе коврик; просто захотелось позагорать в палисаднике, что тут особенного? А рядом случайно оказался Рад, вот она с ним и заговорила. Какое-то время она наблюдала, как глаза его скользят справа налево по газетным строчкам с загадочными завитушками, а когда он оторвался, зевнул, откинул голову и закрыл от света глаза, стала расспрашивать о родине — о его, само собой, родине. Он описывал улицы и города, кофейни и базары; все это

совсем не походило на пустыню с редкими оазисами, которые она себе навоображала.

— Но пальмы-то там есть?

— Есть, и ночные клубы есть, и дворцы богачей, которые показывают туристам, а еще есть заводы, тюрьмы и лагеря да бедняки, пробавляющиеся горсткой бобов в день.

Вера потеребила травинку.

— Ясно. А ты... У вас в семье... Вы бобы любите?

Но его так просто не разговорить; из него вообще лишнего слова не вытянешь.

— Надо знать, как их готовить, тогда вкусно.

— Если мы купим, научишь?

— Я сам их для вас приготовлю.

И как-то в воскресенье Вера объявила матери, что Рад, их квартирант, вызвался состряпать для всех для них обед. Родители были тронуты. Очень мило с его стороны, надо же, какую вдруг деликатность проявил, а жил ведь как бирюк, ничего подобного и заподозрить было нельзя. Верин отец приготовился есть даже то, что будет ему, чего доброго, не по нутру.

— Люди все разные, и обычаи разные. Может, у них принято таким способом благодарить за приют — как у нас принести букет.

Обед прошел прекрасно. Состряпанное постояльцем блюдо оказалось вкуснейшим и не слишком пряным. И потом, даже в коврижку пряности кладут. Но когда отец открыл бутылку пива и поставил перед Радом, Вера быстренько ее убрала:

— Он не пьет, папа.

Щедрое угощение требовало ответного широкого жеста. Верина мать в свою очередь пригласила Рада на семейную трапезу.

— Непременно как-нибудь в воскресенье отобедаешь с нами. Попробуешь, как я курицу готовлю, а на сладкое — мой яблочный пирог.

Но приглашение было из той же серии, что и формула “еще увидимся”. Больше о нем никто ни разу не вспомнил.

Однажды в воскресенье Вера встала с коврика и отряхнула его от налипшей травы.

— Пойду пройдусь.

Рад не спеша поднялся со стула, отложил газету и направился за Верой к калитке. Соседи, конечно же, засекли, что Вера гуляет с квартирантом. Хотя шли они рядом, задавала направление Вера; шли, правда, не плечом к плечу, а словно бы порознь; по Вериным наблюдениям, так обычно прогуливаются его соплеменники. Они долго бродили по городу, потом свернули в парк. Вера всегда любила смотреть, как запускают змеев, но тут заметила, что, пока она глазеет на змеев, за ней самой внимательно наблюдает Рад. Старается, видно, получше ее узнать, хоть малость в ней разобраться. Свои-то действуют иначе, но ведь он здесь чужак, ему небось все внове. В следующие выходные ей пришло в голову устроить пикник, а это занятие на целый день. Под взглядом матери она уложила в корзинку яблоки и бутерброды с сыром (никакой ветчины, это она знала твердо). Обе женщины не проронили ни слова. Мать словно подтверждала вину, которую дочь и сама должна бы за собой чувствовать: она, Вера, вешается на шею мужику, парню этому.

— Всей компанией поедете? — только и спросила мать.

Дочь врать не стала:

– Нет. Он еще ни разу не бывал в верховьях реки. Вот я и решила прокатиться с ним на прогулочном пароходике.

Какое-то время спустя она почувствовала, что соскучилась по кино. Без всякой задней мысли стала спрашивать Рада, видел ли он тот или иной фильм. Она давно заметила, что по вечерам квартирант изредка уходит из дому, и про себя решила, что он с друзьями – из своих, ясное дело, хоть она их ни разу в глаза не видала, – отправляется прямиком в кино. Что им еще делать? По барам же они не шатаются. Чутье подсказывало ей, что и на дискотеке их не увидишь; даже вообразить невозможно, чтобы они дрыгались и топотали ногами в разноцветных вспышках света.

Но Рад не видел ни одной картины из тех, что она назвала.

– А со мной не пойдешь?

Все вышло похоже на их первую прогулку. Он поглядел на нее так же, как в тот раз.

– Думаешь, стоит?

– А почему нет? В кино все ходят.

Но сама-то знала, почему нет. С торжественным видом сидела она в знакомом зале возле Рада. Сколько там было проведено приятных минут! Но сейчас все было по-другому. Он даже за руку ее не взял, как в тот раз, на кухне.

Теперь они зачастили в кино. Молчание, повисшее между Верой и родителями, разрасталось. Мать напоминала веселую пичугу, чью клетку накрыли плотной тканью. О чем размышляли отец и мать, какие страхи их мучили – неизвестно, внешне все было по-прежнему, словно ничего не случилось. Так оно и шло, пока не наступила какая-то важная и торжественная дата: вся страна отмечала то ли день рождения королевы, то ли церковный праздник, не имевший для квартиранта ни малейшего смысла, зато у Веры и у Рада выдался выходной. Они опять отправились за город погулять. (Это у них уже вошло в обычай; да и что еще им оставалось делать? В спортивные игры Рад не играл и чурался прочих молодежных развлечений.) И в тот день под могучими деревьями Рад впервые лег с Верой в высокую траву и занялся тем, чего она давно ждала. А до этого он даже не попытался ее поцеловать, хотя возможностей было предостаточно: сколько раз они поздно вечером возвращались из кино домой, сколько раз оставались одни в квартире, где слышалось лишь сдержанное тиканье кухонных часов, эхом отдававшееся в пустом коридоре, да незряче таращился телевизор. Все то, чего Рад не делал с Верой ни разу, он вдруг, словно по команде, обрушил на нее с неуемной страстью. А между этим водопадом и слабым пожатием ее руки на кухне несколько месяцев назад – ничего. Зато теперь ей, Вере, принадлежали его губы, из которых она, будто лань, вынула тогда смоченный его слюною ломтик; ей принадлежало его голое тело, то самое, которое сулили увиденные мельком босые ноги. Как и все одноклассницы, Вера потеряла девственность в четырнадцать или пятнадцать лет: преодолев нерешительное девчачье сопротивление, ее трахнул пару раз какой-то вахлак из местных – то ли в машине, то ли где-то в подсобке. Но теперь Веру затопила изумившая ее саму чувственность: ни о чем подобном в себе Вера и не подозревала; это походило на нежданно-негаданно открывшийся дар – будто песня, вырвавшаяся из груди человека, который точно знает, что голоса у него отродясь не было. Она плакала от любви к этому

парню, от того, что он мог никогда с ней и не встретиться, мог бы не отыскать ее здесь, за тридевять земель от его родного края. Плакала от страха, что этого всего запросто могло и не случиться. Рад утирал ей слезы, одевал ее спокойно и невозмутимо, ничуть не удивляясь этому взрыву чувств; так мать одевает перевозбудившегося ребенка.

Вера не надеялась скрыть от матери, чем они с Радом занимаются. Знала, что та обо всем догадалась: хотя Вера ловко обходила в темноте все скрипучие половицы и держалась подальше от стен, чтобы ненароком не шаркнуть по ним пижамой, мать чуяла, как по ночам дочь неслышно крадется коридором в постояльцеву комнату, где еще пахнет братом, а под утро возвращается к себе. На рассвете Вера смотрела на косые лучи восходящего солнца; она и не подозревала, что солнце, скользя по небосводу, день-деньской светит в ее окно. Как же теперь все переменилось!

Да и что могла сказать ей мать? Возможно, в Радовом языке есть другие слова. Но те, что были известны Вере с матерью, тут не годились, ведь случай-то — из ряда вон, к нему и слов подходящих не подберешь. *Ты соображаешь, что делаешь? Кумекаешь, что он за птица? Мы, конечно, против них ничего не имеем, но все равно, это ж ни в какие ворота... Жить-то как собираешься? Отец тебя на хорошую работу в приличную фирму устроил. И как там на это посмотрят?*

Проснувшаяся в Вере безыскусная чувственность наделила девушку властью над домочадцами. Теперь она усаживала квартиранта за семейный стол; Рад ел, что мог. По усвоенным с детства правилам родители рассматривали его появление за общей трапезой как знак: "помолвленная" дочь привела в свой дом суженого. Тем не менее делали вид, что он по-прежнему квартирант, постоялец, непонятным образом ставший чем-то вроде семейной принадлежности. Раду же незачем было притворяться и играть роль. Никаких прав на их дочь он никогда не заявлял, разговаривал с ней столь же сдержанно, что и с ними, — посторонний же человек все-таки. Когда они с Верой, встав из-за стола, отправлялись куда-нибудь вместе, он шел с таким видом, будто сопровождает девушку по ее желанию, без всякого интереса со своей стороны.

Как мужчина, хоть и старый, и отец взрослой дочери, Верин отец ощущал силу женской чувственности и робел перед ее напором. Не его дело обсуждать с дочкой заварившуюся кашу; этим должна заниматься мать. Он даже поругался с женой; та поставила перед Верой вопрос ребром: *И чем это все кончится?* Обе женщины понимали подспудный смысл вопроса: рано или поздно квартирант уедет туда, откуда явился, а ты куда денешься? Он получит от тебя, что хочет, а потом бросит.

Чем же это кончится? Теперь Рад стал изредка знакомить Веру с приятелями. Выяснилось, что приятели у него все же имеются — парни вроде него, из тех же краев. Раньше, когда они порой встречались с его друзьями на улице, Рад, извинившись, отходил поболтать, а Вера стояла и послушно ждала, словно собачка, которую хозяин привязал у дверей магазина. Теперь же, потрепавшись с сородичами пару минут, Рад, будто внезапно вспомнив о ней, говорил: "Это Вера". По их взглядам, по тому, как они с ней здоровались, Вера догадывалась, что он им о ней рассказывал, и ее охватывала радость. Приятели переговаривались на своем наречии, и Вера не сомневалась, что они обсуждают ее. И пускай она уже не ходит в пивную и на дискотеку, даже от родителей отдалилась, зато здесь ее принимают.

А потом Вера обнаружила, что забеременела. Посоветоваться было не с кем, подружки наверняка сказали бы то же, что и мать: он уедет туда, откуда явился; получит от тебя все, что хочет, и бросит. На второй месяц она купила в аптеке все необходимое, чтобы самой сделать анализ мочи на беременность. Но потом все же пошла к врачу, потому что кустарно сделанный анализ может и наврать.

— Ты же говорила, что не попадешься, — после небольшой паузы только и обронил Рад, когда Вера ему все рассказала.

— Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Найду выход. Извини, Рад. Не бери в голову.

Она очень боялась, что он перестанет ее *любить* — так она называла их отношения.

Ночью, робея, она все же пробралась к нему в комнату; он ласкал ее нежно и искренне, как никогда прежде.

В одном женском журнале, припомнила она, ей однажды попалась статья о том, что начиная с четвертого месяца все доморощенные попытки избавиться от "этого" (так она обозначала свою беременность) очень опасны. Окольными путями узнала про врача, который делал аборты, записалась на операцию, а чтобы оплатить ее, попросила на работе выдать ей отпускные пораньше. Несколько недель она избегала говорить с Радом на эту тему, но теперь решилась и застенчиво сообщила:

— Да, кстати, в следующую субботу все уже будет в порядке.

Он долго смотрел на нее, словно тщательно обдумывал, что сказать, и думал не так, как она, а на своем наречии — Вера не сомневалась, что он только на нем и думает. Может, он вообще забыл про "это"; дело-то и впрямь касается ее одной; чего там, сама виновата.

— Ты про ребенка? — вдруг спросил Рад; этого слова ни он, ни Вера не произносили прежде ни разу.

— Ну... — Она смолкла, подтверждая его догадку.

Он не обнял ее, вообще до нее не дотронулся.

— Ребенка ты оставишь. Мы поженимся.

— Ты хочешь на мне жениться?! — вырвалось у Веры; она ошалела от радости, не смея поверить своему счастью.

— Да, ты станешь моей женой.

— Потому что?.. Из-за ребенка?

Какое-то время он напряженно всматривался в нее, обвел внимательным взглядом всю, с головы до пят.

— Потому что я тебя выбрал.

Он ведь иностранец, вот и высказал это совсем иначе, чем обычно говорят в таких случаях.

— А я тебя люблю, люблю, люблю и всегда буду любить, — обливаясь слезами, бормотала она.

Он положил ладонь на ее запястье, как тогда, на родительской кухне; а ведь за все это время он ни разу Веру за руку не брал.

В одном сериале Вера видела, как молодая пара, держась за руки, сообщает родителям: "Мы хотим пожениться", и все обнимаются и радостно смеются.

Но Вера сообщила своим новость одна, в отсутствие Рада. Так для него проще, решила она.

— Рад собирается на мне жениться.

Этой фразой она подтверждала его добрые намерения и победно опровергала все высказанные и невысказанные упреки матери.

— Он хочет на тебе жениться? — пронзительным от напряжения голосом уточнила мать.

Отец метнул на жену сердитый взгляд.

Тут и настал момент повторить сцену из телефильма:

— Мы хотим пожениться.

Отец резко вскинул голову, потом медленно опустил и отвернулся.

— И ты хочешь за него выйти? — Материна ладонь взлетела к сердцу, прикрывая нанесенную рану.

Лучась переполнявшим ее счастьем, дочь потянулась к ним.

Отец мотал головой, как больной пес.

— Я забеременела, и он очень обрадовался.

Мать обернулась к отцу, но он ничем не мог ей помочь.

— Вот оно в чем дело! — сухо и резко произнесла она.

— Нет, не в этом. Совсем даже не в этом.

Не надо говорить им "Я его люблю", а то они станут ее стыдить и все испортят.

— Я сама этого хочу.

— Сама хочет, — повторила мать, обращаясь к отцу.

Пора было и ему сказать свое слово. Он указал рукой на дочкин живот, по которому еще нельзя было догадаться о зародившейся в нем жизни.

— Тогда ничего не поделаешь.

Когда Вера вышла, он злобно глянул на жену:

— Чертов ублюдок!

— Тише, тише.

Младенчик-то теперь уже все равно появится на свет, бедное невинное дитятко.

Новая жизнь, зревшая в Верином животе, на который указывал пальцем ее отец, переменила все. Чужак, их постоялец — а теперь положено было считать его Вериным суженым, их будущим зятем, — объявил Вере и ее родителям, что отправляет ее к себе на родину знакомиться со своими родственниками.

— В твои края, что ли?

— Невеста обязана познакомиться с родителями жениха. Они должны узнать ее не хуже, чем я знаю ее отца с матерью, — важно и торжественно ответил Рад.

Видать, у них к женитьбе относятся очень и очень ответственно.

Если раньше кто-то и сомневался в серьезности его намерений, теперь, наверное, стыдился об этом вспоминать: Рад открыто, даже с гордостью отправлял на родину Веру, свою чужеземку, чтобы его родня ее приняла.

— А ты сказал им про ребенка, Рад?

При родителях она была не в силах задать вслух этот смущавший ее вопрос.

— А ты как думала? Потому и поедешь. — Он помолчал, затем продолжил: — Ребенок принадлежит всей нашей семье.

Наконец-то она отправится в путешествие! Вдобавок ко всем прочим радостям! Вера жила в состоянии непрерывного возбуждения, переполненная страстью к Раду, который теперь не таясь спал с ней в ее

комнате, и гордостью от того, что она может объявить на работе, зачем именно сейчас ей понадобился очередной отпуск. Она искала встреч с прежними приятелями, которых так долго сторонилась: ей хотелось рассказать, что она едет знакомиться с родней жениха, через считаные месяцы выходит замуж и уже ждет ребенка. В доказательство она самодовольно указывала на заметно округлившийся живот, обтянутый цветастым комбинезоном. Верина мать вскоре успокоилась, почувствовав, что зять-чужеземец вызывает у окружающих не презрение, а, скорее, уважительный интерес.

– Наша Вера всегда жила своим умом. Все в мире меняется, и повторять нашу с отцом жизнь ей неохота.

Единственное, что в мире осталось без перемен, – это радостное ожидание новорожденного. Вера таяла от счастья, да и родители были в восторге от того, что скоро появится малыш, их первенец, внучек. То-то они его заласкают, забалуют. Будущая бабушка уже принялась вязать одежки, хотя Вера со смехом убеждала ее, что младенцев нынче так не одевают, и ее ребенок, хоть девочка, хоть мальчик, будет носить яркие современные ползунки. И уже был заплачен первый взнос за коляску, в которую даже принца или принцессу положить не зазорно.

Раз жених может позволить себе отправить невесту в родные края знакомиться с его семьей, значит, дела у него в ресторане идут в гору. А это совсем не просто, ведь к молодым людям вроде него здесь относятся не слишком приветливо и часто ставят палки в колеса. Хозяевам дома новость понравилась. Как-то вечерком они даже спустились в полуподвал с бутылкой шампанского – в подарок! – чтобы поздравить Веру, которую знали с малолетства. Все очень веселились, когда будущий муж, наполнив бокалы шампанским, налил себе апельсинового сока. И швейцар-отец даже решился и рассказал одному из знакомых господ в клубе, что дочка у него выходит замуж, но сначала едет за границу знакомиться с родителями жениха. Дети завсегдатаев клуба путешествуют непрерывно. Каждый день только и слышишь: “Представляете, на велосипеде по Китаю...”, “два месяца в Перу, совсем неплохо...”, “по последним сведениям, сейчас плавает с трубкой у Барьерного рифа...”. *Едет в пустыню, там под пальмами познакомится с будущими свекром и свекровью.* Каково?!

Перед Вериным отъездом родители решили устроить на прощанье маленькую вечеринку и заодно отметить помолвку. Вера, было, собралась пригласить нескольких старых приятелей и тех из друзей Рада, с кем он ее познакомил. Он продолжал с ними встречаться, но ее с собой не брал; Вера не обижалась, она знала, что по отношению к женщинам у них свои порядки, к тому же языка ихнего она все равно не понимает. Но Рад усомнился в успехе этой затеи. Когда Вере выдали отпускные (каждый раз, вспоминая, почему, собственно, они ей вообще вдруг понадобились, и ощущая в животе мягкие толчки, она едва могла поверить, что это правда), она стала выспрашивать у Рада, что купить в подарок его родным: родителям, сестрам и братьям; она уже выучила их имена. Но Рад сказал, что купит все сам, он знает, что кому нужно. Близился день отъезда, а он так еще ничего и не купил.

– Но мне же надо укладываться, Рад! Я хочу знать, сколько места оставить на подарки!

Он принес кое-какую мужскую одежду, но в ней Вера не разбиралась, а еще платья и шали, которые Вере не понравились, но она не посмела сказать это вслух. Наверно, его сестрам нравится совсем другая одежда,

не та, которую привыкла носить сама Вера, — выходит, к лучшему, что не она выбирала обновки.

Вере не хотелось, чтобы мать ехала с ней в аэропорт: они обе сильно разволновались бы. Совсем другое дело — расставание с Радом. Она и не расставалась с ним вовсе, а неся в себе его ребенка, отправлялась навстречу тайне, которая крылась в самом Раде, в его молчаливости, его бурных ночных ласках, в том, как он наблюдает за ней, размышляя на своем наречии, и поэтому она ничего не может прочесть в его глазах. Но стоит ей съездить в его родные края, и все прояснится.

В день ее отъезда Рад ушел на работу и вернулся только, когда пора уже было ехать в аэропорт. Вместе с ним прикатили двое его друзей; она их с трудом узнала, хотя встречала и раньше в Радовой компании, — уж очень все они друг на друга похожи. В такси, которое вел один из этих двоих, они и уселись. Мужчины заговорили на своем языке; Вера сплела пальцы с пальцами Рада в тугой двойной кулак, лежавший на его бедре. В аэропорту те двое остались у машины, а Рад пошел ее провожать. В последнюю минуту он дал ей еще один подарок домашним.

— Ой, Рад, ну куда я его суну? На билете же написано: ручная кладь — только одно место!

И сжала ему руку, давая понять, что ее очень радует его забота о родных.

— Не бойся, войдет, только клади осторожно.

Пока они стояли в очереди на регистрацию, он расстегнул ее дорожную сумку. Надо ему помочь; она присела рядом, широко раздвинув колени, чтобы не стиснуть ненароком живот.

— А что там? Надеюсь, не хрупкое?

— Игрушки для сестриного малыша. Пластиковые, — ответил Рад, выравнивая место для свертка.

— Так я же могла втиснуть их в чемодан. Ох, Рад... И куда теперь класть покупки из "Дьюти-фри"?

Разволновавшись, она обратилась с этим вопросом к пассажирам, ожидавшим регистрации на тот же самолет американской авиакомпании, на котором Вере предстояло лететь до первой пересадки. Пассажиры тоже были иностранцы, только другие — из Штатов, но Вере казалось, что она с ними прекрасно знакома; ее спутники разделят с ней счастье этого путешествия, она берет их с собой.

Вера крепко, изо всех сил обняла Рада, он тоже прижал ее к себе; ей не удалось взглянуть ему в лицо. Потом он стоял и смотрел, как она проходит паспортный контроль, а она то и дело останавливалась и махала ему рукой, но Рад явно не мог махнуть в ответ, не мог, и все. Он только смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. А она мысленно и потом представляла себе, что он еще смотрит ей в спину, как в самом начале, воскресным утром представляла себе, что он смотрит ей вслед, пока она идет к пивной.

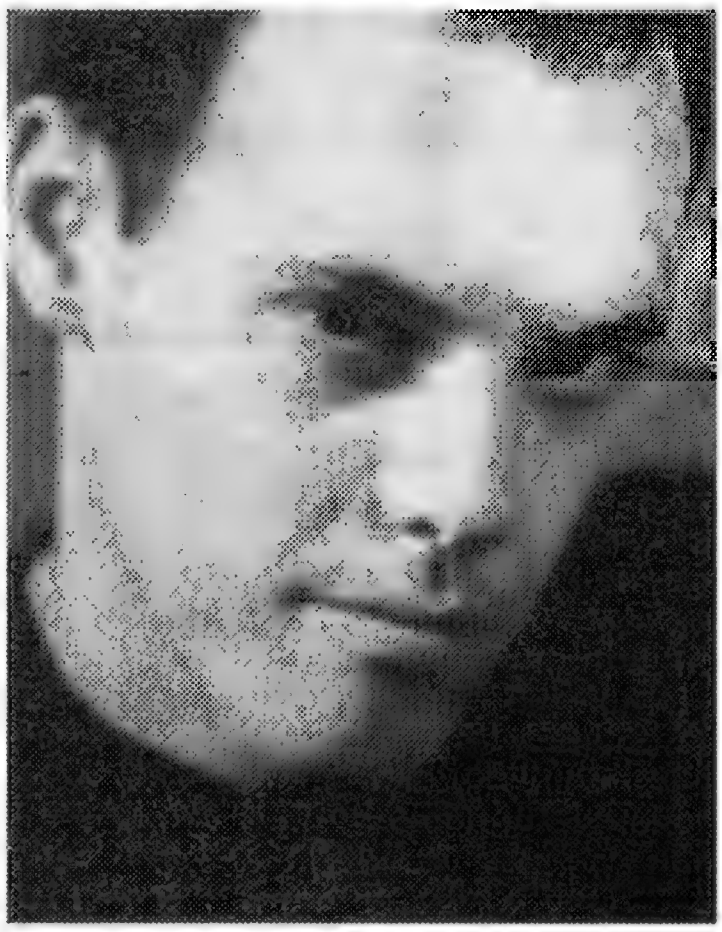
Самолет взорвался, когда летел над морем. Все, кто был на борту, погибли. Черный ящик подняли со дна и по сохранившейся записи установили, что в салоне эконом-класса произошел взрыв, затем начался пожар. На этом запись обрывалась; самолет развалился на части, тишина. Неизвестно, погибли все пассажиры мгновенно или выжившие утонули в море. Целый год шло расследование катастрофы. Подробнейшим образом изучались биографии пассажиров, причины и обстоятельства, побудив-

шие каждого пуститься в это путешествие. Было арестовано несколько человек; их допросили, затем отпустили. Они — разумеется, иностранцы — оказались непричастны. Затем произошла аналогичная катастрофа, за которой последовало заявление группировки со зловещим названием, выступающей от имени некоего круга обездоленных. Группировка взяла на себя ответственность за подрыв обоих самолетов, объявив эти акции звеном в сложной, не доступной для понимания непосвященных схеме возмездия за Крестовые походы, захваты земель, военные вторжения, за аресты и заключение в тюрьмы, за приграничные налеты, территориальные конфликты и бомбардировки, за потопленные корабли и похищения людей. Член группировки, известный под именем Рад (он скрывался и под другими фальшивыми именами), подложил в ручную кладь девушки, у родителей которой снимал комнату и которая от него забеременела, взрывное устройство. Пластиковую бомбу. Обычные системы безопасности аэропортов не способны обнаруживать бомбы этого типа.

Выбор пал на Веру.

Вместе со своим счастьем она унесла на дно всех, включая и нерожденного ребенка.

Узи Вайль



Это не Хамас, это Смерть, мать твою...

Рассказ

Перевод с иврита Александра Крюкова

КАК только малышка наконец задремала, Меир Коэн без сил рухнул на диван в гостиной.

– Заснула? – спросила Ронит.

– Заснула, – ответил он. Глаза у него закрывались уже сами собой, но тут раздался звонок в дверь.

Ронит открыла – на пороге стоял невысокий человек в очках, державший в руках большую папку с бланками.

– Меиль и Монит Кохам? – спросил он.

Ронит молча смотрела на него, не понимая[1].

Человек повторил вопрос.

– Меир и Ронит Коэн, – поколебавшись, поправила она.

– А, – проговорил тот и заглянул в свои бумаги. – Ох уж эти мне компьютеры, вечно все перепутают. Я демограф, из Института национального страхования, – наконец представился он и протянул руку.

– Очень приятно, – Ронит пожала ему руку и переспросила: – Вы кто?

– Демограф. Я провожу социологический опрос. Вас не затруднит ответить на несколько вопросов?

– Да мы только что...

– Всего лишь несколько маленьких вопросов.

© Modan hotzaa laor Ltd., 2001
© А. Крюков. Перевод, 2004

1. Незнакомец перепутал имена и фамилию героев, и на иврите это звучит забавно: меиль – пальто, монит – такси, кохам – их сила. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

Ронит обернулась и вопросительно посмотрела на мужа – Меир безразлично пожал плечами.

– Отлично! – обрадовался демограф и вошел в квартиру.

***

Спустя полчаса он все еще сидел у них в гостиной, копаясь в своих бланках и продолжая монотонно задавать вопросы.

– Так, теперь относительно детей, – почти ласково произнес он и огляделся. – Дети есть?

– Есть, девочка, – ответил Меир.

– И сколько ей?

– Полгодика, – устало сказал Меир. – У вас еще надолго, а?

– Нет-нет, уже заканчиваю, – бормотал тот, записывая что-то в свои бумаги. – Так, полгода. Наверное, уже говорит.

Ронит и Меир удивленно на него посмотрели.

– Не говорит? – почувствовал демограф свою оплошность.

– Нет, – сказала Ронит, – а вы знаете много полугодовалых младенцев, которые разговаривают?

– Я... – мужчина растерялся. – Извините, у меня нет своих детей, я еще слишком молод. Я просто выгляжу старше, это из-за очков. Или из-за этой работы в национальном страховании.

Меир молча поднял глаза к потолку, Ронит смотрела себе под ноги.

– А как ее зовут?

– Яэль, – ответила Ронит.

– Красивое имя. – Он сделал запись. – Это в честь кого-нибудь из близких?

– В честь Рабина, – сказал Меир. – Еще много вопросов?

– Нет-нет, – ответил очкарик и записал в анкете: "В честь Рабина".

Меир и Ронит переглянулись.

– Да это шутка, – сказала Ронит. – Муж пошутил.

Молодой человек посмотрел на нее вопросительно, но потом до него дошло.

– А, чувство юмора, это очень важно. – Он понимающе кивнул, однако не зачеркнул написанное. – Профессия? – обратился он к Меиру.

Тот некоторое время смотрел на демографа в упор, потом произнес:

– Я произвожу воздух. Воздух произвожу, вот моя профессия.

Статистик записал, потом перешел к следующему вопросу:

– А сколько, если позволительно спросить, вы зарабатываете? Ваш ответ будет сохранен в полном секрете. Итак, от тысячи до двух, от двух до четырех или более четырех тысяч?

– Я хочу взглянуть на ваше служебное удостоверение, – произнес вдруг Меир.

Молодой человек несколько погрустнел, но достал документ. Это было официальное удостоверение Института национального страхования с фотографией и указанием должности – демограф-статистик.

– Итак... – продолжил он.

– Итак, более четырех тысяч, – продолжил и Меир. – Намного больше, может, восемь тысяч. – Он смотрел на очкарика с искренним любопытством: неужели кретин и это запишет?

Кретин и это записал.

– Больше восьми тысяч? Вот это да... – он задумался. Казалось, у него даже промелькнула мысль о переквалификации. – Вот это неплохо.

– Совсем неплохо, – согласился Меир, – но летом нет работы.

– Правда? А почему?

– Да вы же знаете, как у нас здесь летом – совершенно нечем дышать. Воздуха практически нет.

– А, понятно, – сказал демограф и записал в свои бумаги. – А вы? – обратился он к Ронит.

– А я работаю девушкой по вызову. – Подумав немного, она прибавила: – С гостями из-за границы, но это официально.

Статистик покраснел.

– В свое время я ублажала Рока Хадсона, – добавила Ронит с гордостью.

Очкарик склонился к своим бумагам и записывал, записывал... Меиру и Ронит не было понятно – чего он там столько пишет? Наконец статистик поднял голову и спросил:

– А из какой вы этнической общины?

– Мы – пришельцы, – сказала Ронит.

– То есть?

– Ну, мы с некой звезды, – пояснил Меир.

На этот раз молодой человек наконец оторвался от бумаг, снял свои большие очки и уставился на супругов. Тут проснулась их маленькая дочка и начала плакать.

– Малышка запела, – сказала Ронит и встала, – извините меня.

– Она кормит девочку грудью, да? – спросил демограф, посмотрев вслед Ронит.

– Да нет, что вы, – ответил Меир, – жена мочится на ребенка каждые пять часов. Так принято на нашей звезде.

Статистик покраснел. На мгновение Меиру стало неловко.

– Простите, – произнес он, – я должен посмотреть, как там ребенок.

Когда он вошел в спальню, Ронит стояла, склонившись над кроваткой малышки, с трудом сдерживая хохот.

– Тихо, тихо, – остановил ее Меир, – мы переборщили, уже становится неудобно.

– Ну и идиот, – прыснула Ронит, – ну и идиот, а?

– Да нет, он не идиот, так, немного... тугой, не въезжает. Наивный. Но, мне кажется, до него начинает доходить.

– Ты проверил, его удостоверение настоящее?

– Да вроде настоящее, написано: "Институт национального страхования", а там поди знай.

Меир взял дочку на руки, и тут позвонили в дверь

– Кто это в такой час? – спросил он. Ронит пожала плечами.

Меир подошел к двери, открыл: на пороге стояла Смерть. Она не была одета в черное, не держала в руках косы. Голос – обычный. Но это была Смерть, вне всяких сомнений.

Что впечатляло, так это ее глаза. Спустя годы, когда демограф будет пытаться вспомнить, как выглядела Смерть, единственное, что останется в его памяти, – ее глаза. Причем они были не какие-нибудь там холодные или пугающие, наоборот, добрые и нежные. Однако решительные...

Меир с малышкой на руках окаменел. Ронит вышла из спальни и тоже застыла на месте.

Смерть посмотрела Меиру прямо в глаза.

– Я? – прошептал он.

– Ты.

Меир не пошевелился.

– Я?!

– Ты, – подтвердила Смерть.

– Но... почему я?

– Время пришло...

– Но я еще молодой, у меня дочке всего полгода!

– А молодые не умирают? Пойдем, через полчаса у тебя автокатастрофа.

И тут вдруг Ронит бросилась вперед, обхватила мужа и закричала Смерти:

– Нет! Ты не можешь вломиться вот так, сразу, посреди... посреди всего.

Смерть удивленно взглянула на нее:

– Это почему же?

– Но... За что? – продолжала молодая женщина. – Что он сделал?

Смерть грустно улыбнулась.

– Нет, – не могла смириться Ронит, – я хочу знать: почему? Ты не можешь забрать его вот так вдруг, даже не объяснив мне почему.

– Сейчас ты хочешь знать почему, – проговорила Смерть, – потом захочешь узнать – куда? Нет, мы не сообщаем.

Меир открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но передумал. Он обернулся к жене и протянул ей ребенка. И посмотрел на них обеих. Затем повернулся и вышел на темную лестничную площадку. Ронит слышала, как постепенно затихают звуки шагов по ступенькам.

***

Молодой демограф очнулся первым. Он закрыл входную дверь и бережно провел Ронит назад в гостиную.

– Присядь, – сказал он ей, – прежде всего присядь.

Все еще в шоке, она села.

– Это ужасно, что с тобой произошло, – сказал очкарик, – ужасно. Может, дать тебе стакан чаю? Или... или чего-нибудь покрепче?

– Там есть виски Меира, – проговорила Ронит и заплакала.

Статистик огляделся, увидел небольшой бар с напитками и налил ей немного виски в высокий стакан. Ронит машинально глотнула и закашлялась. Постепенно ее дыхание выровнялось. Она взглянула на дочку и снова начала плакать:

– Что же мне теперь делать? Как нам жить? Как я одна справлюсь?

Демограф беспомощно молчал.

– Как я... – слезы душили Ронит, – как я скажу ей, что у нее нет отца?

Сейчас она плакала тихо и горько, долго, пока совсем не обессилела. Потом взглянула на девочку и проговорила:

– Теперь мы одни, малышка, только ты и я.

И тут снова позвонили в дверь... Никто не двинулся с места, и после третьего звонка дверь распахнулась сама.

Это опять была Смерть.

Ронит и демограф, онемев, смотрели на нее. Смерть вошла в комнату и указала на женщину. Ронит, не веря своим глазам, остолбенела.

– Да, – печально проговорила Смерть, – такое иногда случается.

– Но что... – начала было Ронит.

– Заминированная автомашина на улице Ибн Габироль, – прервала ее Смерть.

Очкарик вдруг вскочил на ноги.

– Минутку! Одну минутку, – начал он торопливо. – Здесь наверняка ошибка, вы ведь только что забрали ее мужа.

– И что? – Смерть устало пожала плечами. – Как там они обычно пишут в "Едиот ахронот"[1]: "Спустя считаные часы после автокатастрофы, в которой погиб ее отец, маленькая Яэль потеряла и мать в результате террористического акта". Такова жизнь, вы ведь не вчера родились?

– Но я... Прошу вас! – Ронит умоляюще смотрела в глаза Смерти. – Я не могу оставить девочку одну! Ей только полгода!

Озадаченная, Смерть задумалась.

– Ну, – предложила она неохотно, – я и ее могу забрать.

Ронит ничего не ответила.

– Ладно, прощайся с дочкой.

Женщина уложила девочку на диван, поцеловала и тщательно завернула в розовое шерстяное одеяло. Затем направилась к выходу, Смерть открыла перед ней дверь.

– Ох уж эти мне теракты, – пробормотала она себе под нос, когда Ронит вышла из квартиры и стала спускаться по лестнице. – Работы невпроворот.

***

Когда дверь за ними закрылась и молодой демограф остался с малышкой вдвоем, он некоторое время не мог прийти в себя. Наконец глубоко вздохнул и подсел к девочке на диван. Та проснулась и начала плакать.

Очкарик взял ее на руки и стал напевать:

Как рождается песенка?
Да как младенец.
Сначала... Тра-та-та,
А потом, а потом... Нет, не помню.

И замолчал.

– Эй, малышка, что же мне с тобой делать? Не знаю даже, как и сказать тебе, но произошло нечто очень скверное.

Девочка перестала плакать и улыбнулась ему.

– Послушай, – сказал он и взял ее за малюсенькие ручки. – Знаешь... э-э-э... тебе придется расти без папы с мамой.

Она забавно пискнула.

– Но это все-таки не конец, ты не думай, жизнь в общем не такая плохая штука. Жизнь хорошая, правда, очень хорошая. Но вот иногда случается такое, что невозможно... что трудно... Ну, то есть я имею в виду...

Мужчина вздохнул. Малышка смотрела на него широко открытыми глазами.

1. "Едиот ахронот" ("Последние новости") – популярная ежедневная газета, выходящая в Тель-Авиве.

– Но это не значит, – повторил он, – что жизнь нехороша.
Девочка улыбнулась и выпустила изо рта пузырь.
– Я думаю, – демограф заговорил уже сам с собой, – что они меня разыграли. Во всем. Начиная с твоего имени. Наверное, никакая ты не Яэль.

Она снова заплакала.

– Ну, ну, не плачь, я здесь. Послушай, я почти ничего не знаю о маленьких детях, у меня их никогда не было, но я постараюсь. Я тебя не оставлю.

Он начал укачивать ее и опять тихонько запел:

Спи-засыпай,
Баюшки-бай...

Раздался звонок в дверь, и в квартиру нерешительно вошла Смерть.

– Еще один теракт, – как бы извиняясь, произнесла она и кивнула в сторону ребенка.

Демограф вскочил на ноги:

– Ах ты сволочь, мать твою!.. А ну пошла отсюда!

Смерть неуверенно помялась, посмотрела в потолок...

– Ладно, пусть так, – пробормотала она, повернулась и вышла.

Не веря себе, очкарик тихонько положил девочку на диван, покачал головой и повторил:

– Сволочь.

Шавьер Мендигурен

Фетиш

Рассказ

Перевод с испанского Надежды Мечтаевой

СВЕДЕНИЯ были точные. Подготовка к операции прошла безупречно. В положенное время подъехал и остановился в нужном месте фургончик. Из него вышли двое, а третий, водитель, остался в кабине. Готовясь приступить к осмотру, один из них чесал между ног, а другой оглядывался по сторонам. На большее мы не дали им времени.

Короткий танец в нервном ритме мощного взрыва. Дернулись руки, выкинули коленца ноги. Они еще не упали на землю, когда из фургончика выскочил третий, тот что оставался за рулем, и попытался убежать. Вытаскиваю пушку, стреляю и попадаю ему точно в лоб. Тренировки даром не прошли. Однако мне показалось, что он еще пытается ползти. Пришлось подойти к нему и добить с расстояния полметра выстрелом в затылок.

Вот тогда-то, заглянув в кабину (дверца была открыта), я и увидела его. Он лежал в углублении между сиденьями водителя и пассажира. Положенный на это место, он казался амулетом. Он выглядел странно в этой машине, его присутствию здесь не было объяснения — их так давно не носят, надевают только на парады. Я не удержалась: протянула руку и взяла его.

— С ума сошла? Положи на место и пошли отсюда. Быстро! — услышала я за спиной.

Он сверкал на солнце. Его черный блеск заворожил меня, и я побежала за своими товарищами, крепко прижав его к себе. Машина рванула с места. Все думали только о том, чтобы как можно скорее скрыться, и только когда оказались далеко от того места и остановились, обратили внимание на то, что было у меня в руках.

— Какого черта! Выбрось немедленно!

— Нет, здесь лучше не надо, здесь нас кто-нибудь может увидеть, — возразил другой.

Они заспорили о том, где его лучше выбросить. Я молчала. Наконец мы доехали и вышли из машины.

— Сотри отпечатки пальцев и немедленно выброс!

— Нет, — сказала я.

Он сверкнул глазами. Кулаки сжались.

— Оставь ее в покое. Выбросит на каком-нибудь углу.

Времени не было. Им нужно было пересаживаться на другую машину и уезжать. А мне нужно было добираться до дому одной.

— У тебя с головой все в порядке? Если у тебя это увидят, нам конец. Всем троим.

© Xabier Mendiguren, 1992
© Н. Мечтаева. Перевод, 2004
Редакция благодарит Шавьера Мендигурена, любезно предоставившего нам право на безвозмездную публикацию своего рассказа, а также — Луиса Беррисбейтиа, безвозмездно приславшего переведенный им с баскского испанский вариант рассказа, с которого выполнен русский перевод.

Я согласно кивнула. Они, словно только того и ждали, быстро сели в машину и умчались. Вокруг не было ни души. До дома недалеко — только спуститься по длинной, уходящей вниз улице. Я спрятала трикорнио[1] под куртку и зашагала к дому. Не оглядываясь.

***

Я повесила его на крючок, на который никогда ничего не вешаю, и легла на кровать. Сейчас он висел прямо передо мной. Я погасила верхний свет и включила настольную лампу, направив луч на него. Он сиял ярче самого яркого лака. Если присмотреться, можно было разглядеть на нем отпечатки пальцев. Я старательно протерла его белым платком и снова повесила на место.

На следующий день, когда я, вернувшись с работы, стирала с него пыль, в дверь позвонили.

— Выбросила?

Не дождавшись ответа, он прошел в спальню. Комната небольшая, и он сразу увидел его: на крючке над кроватью. И тряпка, чтобы стирать пыль, рядом. Он не мог оторвать от него взгляда, пристального и настороженного. Он словно онемел и заговорил, только когда услышал сзади мои шаги.

— Ты... Ты ненормальная! Ты что, не понимаешь?.. Как тебе объяснить?.. Ты...

Словно в отчаянии, он опустился на кровать, так и не сумев закончить ни одной фразы. Потом (возможно, потому, что понял, что сидит рядом *с этим*) быстро встал, продолжая смотреть на него, отбросил со лба волосы.

— Ты не понимаешь... — он провел рукой по лбу, сглотнул, а когда снова заговорил, в его голосе не было той металлической ноты, что предвещает истерику: — Послушай, давай поговорим серьезно. Эта штука очень опасна, очень. Если кто-нибудь ее у тебя увидит, тебя к стенке поставят. Без разговоров. И нас всех заодно. Сегодня ночью — слышишь? Сегодня же ночью! — ты набьешь ее опилками или еще чем, засунешь в мешок для мусора и выбросишь, поняла? Чтобы никто никогда ее не нашел. Никто и никогда.

С каждым повтором голос звучал все громче и тверже, теряя наигранную мягкость. Заметив, что уже почти кричит, он обвел глазами комнату в поисках предмета, на который он мог бы опереться взглядом и телом, предмета, который помог бы ему успокоиться. Единственный стул находился по другую сторону от кровати, был словно защищен силовым полем.

— Хотя и этого делать нельзя. В мусорных баках каждую ночь бездомные роются. А вдруг...

Я спросила, известно ли уже о пропаже.

— А мне откуда знать? Ты что думаешь, об этом по радио объявят?

Он снова поднял руку, чтобы откинуть со лба волосы.

— Нет. Мы сделаем вот что. Я приеду сегодня вечером. Подожду внизу в машине, а ты спустишься. Это сунешь в корзину или еще во что-нибудь. Отвезем в горы или в реку выбросим. Там посмотрим. Идет?

1. Трикорнио — черная лакированная шапочка, головной убор гвардейца испанской гражданской гвардии, главной задачей которой в Стране Басков является борьба с терроризмом. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Я молчала. Он снова начал терять терпение. Вены на шее вздулись.

— Это приказ. Поняла? Приказ. Я приеду в половине двенадцатого. И давай без глупостей. Сейчас не до этого.

Твердый и ровный тон. Разговор окончен. Он направился к двери, и я посторонилась, давая ему пройти. В дверях он оглянулся, посмотрел в сторону кровати, потом посмотрел на меня и произнес:

— Чтобы такого больше никогда не было. Никогда.

***

В пять минут двенадцатого я была уже готова. Включила телевизор, но не могла сосредоточиться на том, что происходило на экране. Я нервничала. Садилась, вставала, снова и снова мерила шагами свою маленькую комнату. Каждый раз, подходя к окну, отодвигала штору и выглядывала на улицу. Шел дождь. Мокрые тротуары были пустынны. Редкие машины на миг разрезали темноту светом фар.

Он приехал в двадцать пять минут двенадцатого. Я схватила корзину, набросила плащ, сунула ключи в карман и поспешила вниз. Когда вышла из подъезда, не увидела ни одной машины с включенными фарами. Уехал? Я увидела его в машине, припаркованной на противоположном тротуаре. Он махал мне рукой. Я пробежала под дождем разделявшие нас десять метров. На вопрос, почему он выключил фары, он ответил:

— А ты хочешь, чтобы все соседи были в курсе? Я же тебе сказал, сейчас не до глупостей. Речь идет о безопасности. Понятно? О безопасности. Это не игрушки. Принесла? — он бросил взгляд в сторону корзины.

Я утвердительно кивнула. Он завел мотор, и больше мы ни о чем не говорили. Я не знала, куда мы едем. Город остался позади, мы направлялись в сторону гор. Машины попадались все реже.

— Нам бы только на патруль не нарваться.

На патруль мы не нарвались, а когда приехали на место, мне показалось, что оно мне чем-то знакомо, хотя я никак не могла сообразить, чем именно.

— Ты знаешь, где мы?

На моем лице было написано, что не знаю.

— Оно и лучше. Меньше риск, что проболтаешься. Брось его в эту старую яму. Там его никто не найдет.

При слове «старая» я вспомнила. Мы были на заброшенной шахте, на давно выработанном месторождении.

— Дай сюда. Я сам брошу.

Он протянул руку за корзиной. Но я крепко сжимала обе ручки.

— Ладно. Не собираюсь я у тебя отнимать. Пойдем вместе, если хочешь.

Когда мы вышли из машины, дождь припустил сильнее. Но мы не ускоряли шаг, шли плечо к плечу, настороженно следя друг за другом. Не проронили ни слова, пока не дошли до навеса над входом в шахту.

— До костей сегодня промокнем, — он достал из кармана и включил фонарик. — Яма чуть дальше. Пошли.

Луч фонарика освещал землю, и было видно, куда можно ступать, а где можно споткнуться о камень. Но я все-таки споткнулась и ничком упала в темноту. Падая, я выпустила из рук корзину, и ее содержимое покатилось вниз, лязгая по камням.

— Что случилось? — меня осветил луч фонарика. — Ты ушиблась? Осторожно. Давай помогу подняться. Ты не поранилась?

Встав на колени, я тут же принялась искать то, что выронила. Протянув руку, нащупала пустую корзину. Начала в темноте шарить по земле руками. Но ему повезло больше.

— Что это? — он держал в руке завернутую в газету кастрюлю. — Что это? — он уже кричал, переводя луч фонарика с кастрюли на мое лицо и с моего лица на кастрюлю.

— Вот это ты собиралась в яму бросить? Эту кастрюлю? Кастрюлю?

Он отшвырнул кастрюлю, и она зазвенела по камням, а он кричал, и фонарик все приближался ко мне, пока не замер, слепя меня, у самого моего лица.

— Ты что думаешь? Что это игры? Знаешь, что с тобой нужно за это сделать? Тебя саму в эту яму бросить! Вместе с твоей кастрюлей!

Было темно, но мне казалось, что я вижу, как он отбрасывает рукой прядь со лба. Потом голос его зазвучал мягче.

— Ты просто сумасшедшая. И мы все с тобой с ума сойдем. Пошли. Нужно уходить отсюда поскорее.

Он направил луч фонарика вперед и зашагал к выходу. Я плелась за ним, стараясь не спотыкаться о камни. Он говорил не оборачиваясь:

— Не понимаю. В какую игру ты играешь? Ты что, не догадываешься, чем это для нас может закончиться? Мы все сгнием в какой-нибудь яме!

Последнюю фразу он произнес, когда мы уже вышли наружу, произнес громко, глядя мне прямо в глаза. Он снова поднял руку ко лбу и на минуту задумался. Дождь перестал, в траве трещали кузнечики.

— Сейчас мы сделаем вот что. Поедем к тебе, возьмем эту чертову шапку и уничтожим ее раз и навсегда. Дай мне ключи.

Я молчала.

— Давай ключи, черт тебя побери!

Мое молчание выводило его из себя, он даже волосы со лба забыл отбросить. Потом отшвырнул фонарик и с силой схватил меня за плечи. Мы оба упали и покатились по лужам. В темноте нам приходилось прижиматься друг к другу, чтобы наносить удары точнее. Наша драка напоминала любовную игру и закончилась его поражением, потому что, хотя мы оба взмокли и вымазались в грязи, ключей у меня отнять он так и не смог.

— Идиотка! — сейчас он снова кричал, хотя во время драки старался голоса не повышать.

Я не видела, куда он пошел, но предполагала, что к машине. Так и было. Он сел в машину, завел мотор, опустил боковое стекло и сказал:

— Оставайся тут, лунатичка! Пошла ты к черту. Делай что хочешь.

Зажженный фонарик валялся на земле. Не знаю, забыл он его или оставил ex profeso. В любом случае он оказал мне этим большую услугу. Я подобрала пустую корзину и зашагала вперед. Посмотрела на часы: четверть первого. Я не знала, сколько времени мне понадобится, чтобы добраться до дому. Если, конечно, найду дорогу. Луна иногда выглядывала из-за облаков, но бóльшую часть пути я шла в тумане. Несмотря на фонарик, я еще не раз споткнулась. Наконец я увидела вдалеке свет и направилась в его сторону, пытаясь угадать, откуда он идет. Мне пришлось перебраться через три или четыре проволочных заграждения, луг, картофельное поле, еще одно поле, засаженное не то свеклой, не то турнепсом. И только тогда я вышла на дорогу, которая вела прямо к источ-

нику света. Раньше я предполагала, что это хутор, но теперь стало ясно, что это что-то другое: слишком много света и шума. «Сидрерия, наверное», — подумала я. Подойдя поближе и увидев вывеску, я поняла, что это был публичный дом.

Мое появление там произвело большой эффект. Как только я открыла дверь, головы одна за другой начали поворачиваться в мою сторону, и вскоре все, кто был внутри, уже с изумлением смотрели на меня. Смех и разговоры стихли, и на несколько мгновений мощный голос Тины Тернер полностью завладел пространством: «We don't need another hero...», — пока чья-то рука не заглушила и его, убавив звук.

— Что с тобой сделали, детка?

Из-за стойки вышла мне навстречу пятидесятилетняя старуха. Толстая, размалеванная, вымя болтается в огромном вырезе, и при каждом шаге бренчат бусы и браслеты. Наверняка хозяйка заведения.

— Детка... Бедняжка... Мужчины иногда такие свиньи! — она повернулась к своим клиентам. — Просто свиньи вонючие!

Теперь стало понятно: она решила, что меня изнасиловали. Впрочем, что еще она могла подумать, увидев меня в такое время в таком месте и в таком виде — промокшую, всю в грязи, в разорванной одежде, с измазанным кровью (это я увидела позднее в зеркале) лицом.

— Что вы на нее уставились, пни? Вам делать нечего? И включите музыку, тут не больница!

Она забрала у меня корзину и обняла за плечи, ласково приговаривая:

— Пойдем, милая, пойдем, девочка, пойдем со мной.

Она увела меня в комнату за стойкой, сняла с меня мокрый плащ, умыла, усадила в кресло, разула, включила и поставила рядом со мной электрический обогреватель.

— Тебе лучше совсем раздеться, а то схватишь воспаление легких. Сейчас я принесу тебе чистую одежду.

Я отрицательно помотала головой.

— Не хочешь? Почему? Послушай, я не собираюсь давать тебе наши платья. У меня есть и другие.

Я снова помотала головой.

— А что ты хочешь? Хочешь кофе? Или коньяк, или вина? Апельсиновый сок? Ай, детка, все мужчины одинаковы, все мерзавцы. Но все пройдет, все пройдет, милая. Хочешь, позвоним в больницу? Вот телефон. Или хочешь позвонить в полицию? Нам это очень некстати, но если хочешь... Или домой? Может быть, тебя там ждут? Хочешь, я позвоню? Если ты не в состоянии, я сама позвоню и их успокою...

Я попросила ее никуда не звонить и, если можно, принести мне кофе.

В справочнике я нашла телефон такси, набрала номер и, только когда меня спросили, куда за мной приехать, сообразила, что не знаю где я, и обратилась с этим вопросом к хозяйке, которая вернулась с кофе.

— Клуб «Венус». По дороге в Мартичипи.

Я пила кофе, а она сидела напротив меня, прикасаясь к моей руке длинным красным ногтем, словно не решалась взять меня за руку.

— Не надо было вызывать такси. Любой из наших клиентов тебя отвез бы. Сама я не могу и к тому же обязана постоянно здесь находиться, но ребята все свои, им можно доверять.

Я поблагодарила и сказала, что не стоит беспокоиться.

— Понимаю... После того, что с тобой случилось... Я тоже, не сейчас, а раньше...

Она начала рассказывать истории из своей жизни.

Когда пришло такси, она принесла мой плащ и туфли, проложенные изнутри газетной бумагой, чтобы быстрее сохли.

— У тебя есть деньги? На такси, я имею в виду.

Я сказала, что есть. Она проводила меня к выходу другим путем, нам не пришлось проходить через общий зал.

— Ладно, до свидания, всего тебе хорошего. Если что-то будет нужно, знаешь где меня искать. Такие, как ты, сюда, конечно, не приходят, но я хочу сказать... В общем, у тебя здесь есть подруга.

Слеза размазала тушь и оставила черный след на щеке. Таксист, к счастью, ни о чем меня не расспрашивал. Наверное, ехал и думал: что это за шлюха такая, со старой корзиной и в грязном плаще. Домой я вернулась в двадцать пять минут третьего. Трикорнио ждал меня на своем месте.

***

Будильник я заводить не стала и на следующее утро проснулась очень поздно. Проснувшись, позвонила на работу, сказала, что плохо себя чувствую и не приду. Наполнила ванну горячей водой, пошла в спальню, взяла трикорнио и, вернувшись в ванную, примерила его. Черное сияние над моим лбом.

Я раздевалась, стоя перед зеркалом. Медленно, словно тело мое болело намного больше, чем оно болело на самом деле. Потом погрузилась в горячую воду и почувствовала, как усталость и напряжение покинули меня, словно ушли с той водой, что выплеснулась через борт ванны.

Я лежала в ванне, зачерпывала трикорнио воду, надевала его себе на голову, снова снимала, снова зачерпывала воду, снова надевала. Я слышала, как звонил телефон, но мне не было до него дела. Я вылезла из ванны только когда вода совсем остыла.

В дверь позвонили. Перед тем, как открыть, я на всякий случай спрятала трикорнио в шкаф и на всякий случай плотнее запахнула халат.

— Ты дома? Я уж не знал, где тебя и искать.

Я не пригласила его войти, но он вошел. От вчерашней истерики не осталось и следа, но лицо было жестким.

— Как ты вчера добралась? Я вернулся за тобой, но тебя не нашел.

Я в ответ только улыбнулась.

— Сегодня позвонил тебе на работу, но мне ответили, что тебя нет. Звонил сюда, но никто не брал трубку. Я уже начал волноваться.

Я сказала, что не знала, что он так обо мне беспокоится.

— Не о тебе. Обо всех нас. И уверен, что ты знаешь почему.

Я не сразу поняла, о чем он.

— Где он?

Я хотела спросить: «Ты это о чем?» — но не стала: видно было, что он настроен решительно. И сказала, что выбросила.

— Не врешь?

Он помолчал. Не поверил, конечно, и было видно, что колеблется: обыскивать квартиру или нет. Иначе почему бы кулаки были так стиснуты и губы слегка подрагивали?

— Мы посовещались и приняли решение, — он перевел дыхание. — Ты исключена из организации. Дай мне пушку.

Наверное, он ждал ответа. Ждал протеста. Но я молчала, и он заговорил снова:

— Тебе не хватает серьезности, не хватает дисциплины, без которой в организации нельзя. Ты представляешь опасность для всех нас. Огромную опасность. Поэтому мы тебя исключаем. Дай пушку.

Я направилась в ванную. Он пошел следом.

В ванной я взяла со шкафа две присоски, прилепила их к одной из плиток, вынула ее, достала из тайника пистолет, завернутый в полиэтиленовый пакет, отдала ему. Он проверил обойму, сунул пушку за ремень, прикрыл сверху свитером.

— На самом деле ты даже вне организации опасна. Слишком много знаешь. Лучше всего было бы, наверное, если бы ты уехала. Но тут не угадаешь: а вдруг они начнут слежку за теми, с кем ты раньше встречалась? С другой стороны, если оставить все как есть...

Я смотрела на его ботинки. Он рукой откинул прядь со лба.

— Попробуй, по крайней мере, не наделать больше глупостей. И забудь все, что видела. В том числе и ту яму. Забудь поскорее. Что до остального... будем надеяться, что ничего плохого не случится.

Он пошел к дверям. Я шла сзади. Взявшись за ручку двери, он повернулся ко мне.

— Ты поняла? Забудь все. Меня ты только на улице случайно встречала. Ты ничего не видела и ничего не делала. И... — он сглотнул слюну, — избавься ты от этой штуки. Забрось ее подальше, я тебя прошу.

Он ушел не попрощавшись, как уходит человек, который знает, что вернется очень скоро. Или что не вернется никогда.

***

Прошло много времени. За это время было несколько арестов и несколько человек, среди которых и двое моих бывших товарищей по группе, предпочли заблаговременно скрыться. Я тоже сначала хотела удариться в бега, но потом рассудила, что если те двое, единственные, кто знал меня, скрылись, то бояться мне нечего, и лучше вести себя так, словно ничего не случилось.

Так что я жила, как и раньше. Я почти никуда не ходила, и ко мне почти никто не приходил, только мать да сестра. В этих редких случаях я прятала трикорнио в угол шкафа под грудой одежды.

В остальные дни он висел там же, где и прежде: на крючке над кроватью. Как и в первый день, я направляла на него свет лампы, ложилась на кровать и завороженно смотрела на блестящую черную поверхность. Или наводила луч на себя, нахлобучивала трикорнио и выделывала ногами неловкие па, воображая себя звездой кабаре. Очень часто я, плотно занавесив все окна, надевала его и расхаживала по квартире, глядясь во все зеркала. Иногда кроме трикорнио на мне ничего не было, а иногда я примеряла одно за другим все свои платья, словно на показе мод или костюмированном балу.

А потом подошло время карнавалов. На этот раз они совпали с объявленной организацией передышкой.

Я уже много лет не надевала маскарадного костюма. У меня даже желания такого не было. И не было ощущения праздника. Но на этот раз

мною овладела предпраздничная лихорадка. Мне не терпелось выйти на улицу в маскарадном костюме моей мечты. Хотя бы один раз. Я купила ткань и попросила мать сшить то, что я хотела. Остальные элементы костюма я купила в разных лавках.

Друзья звонили мне и спрашивали, пойду ли я на карнавал. Я говорила, что не пойду. Я хотела пойти одна. До самого вечера шли примерки и устранялись малейшие недочеты, а когда стемнело, мой костюм гвардейца гражданской гвардии был готов. Наклеить усы и нацепить темные очки. Блеск.

Костюм имел шумный успех. Хотя в костюмах были почти все, люди смотрели именно на меня и про себя улыбались. Парни и девушки показывали на меня пальцами, а порой показывал пальцем и что-то шептал на ухо своему ребенку какой-нибудь отец. Подвыпившие гуляки, иногда целыми компаниями, подходили ко мне и говорили всякие глупости. Я притворно сердилась, делала вид, что достаю ручной пулемет, и они отбегали, хохоча еще громче.

Меня никто не узнавал. Рта я не открывала, чтобы нельзя было догадаться даже о том, что я женщина. И по походке моей никто об этом догадаться бы не смог: я несколько месяцев тренировалась дома, и к тому же на мне был плащ, а что может лучше скрыть походку и фигуру? Единственной проблемой мог бы быть мой рост, но, правду сказать, в гражданской гвардии не так уж мало коротышек.

Когда мне надоедало бродить по улицам, я заходила в какой-нибудь бар. Я понятия не имела о том, что пьют гражданские гвардейцы. А потому спрашивала вина, стараясь говорить низким мужским голосом или просто указывая на стакан какого-нибудь из пристроившихся у стойки посетителей.

Не знаю, каким по счету был тот бар. Это был даже не бар, а паб. Народу было полно. Одни танцевали, другие создавали невероятный шум, пытаясь докричаться каждый до своего собеседника. Из колонок лился голос Джоржа Майкла – «I want your sex». Работая локтями, я с трудом (никто не оказывал почтения моему мундиру) пробиралась к стойке, по мере приближения к ней все чаще замечая, как окружающие, взглянув на меня, тут же украдкой переводят взгляд на другой ее конец. Когда я таки протиснулась к стойке, я поняла, в чем было дело: там стоял он, наряженный севильской цыганкой. С сильным андалузским акцентом он кричал бармену: «Эй, мачо, слышишь? Поставь севильяну!» Я узнала его сразу: один из гвардейцев нашего поселка. Я помнила его по демонстрациям и тому подобным событиям. После объявления передышки они выползли из своих казарм и чувствовали себя так спокойно! Сержант прогуливается с женой по главной улице, целые компании по вечерам заваливаются в бары. Семейные пары отправляются за покупками в гипермаркет по субботам. Смотреть противно.

– Компаньеро, компадре, коллега! – он заметил меня и направлялся в мою сторону. Подошел, положил руку мне на плечо.

– Что это вы пьете? Вино?! Гражданский гвардеец пьет только виски, даже если он гвардеец ряженый. Не позорьте честь мундира! – и он прямо-таки покатился со смеху.

Он потребовал виски для меня и снова повторил: «И заведи севильяну, эй!»

Бармен удовлетворил первую его просьбу, но оставил без внимания вторую.

– Слушай, мачо, – наклонился он ко мне, – а ну, достань пушку! С пушкой он тебя сразу послушается!

Потом ему вздумалось запеть: «...a bailá, a bailá, a bailá, alegre seviyaana», — пел он, ударяя в ладоши и пытаясь выстукивать ритм каблуками. Все расступились, оставив ему не меньше метра, но танцор он был никудышный: споткнулся, чуть не вывихнул лодыжку и запищал: «Ay mi mare, ay mi mare», — а потом снова громко захохотал.

— Пошли в другой бар, мачо!

На сей раз мне пришлось поддерживать его за плечи. Но скоро боль у него прошла, и он снова стал напевать: «...a bailá, a bailá, a bailá, alegre seviyaana».

Мы зашли еще в один бар. Потом еще в один, и еще в один. Во всех он заказывал виски для нас обоих. И ни разу не заплатил. Во всех барах он требовал: «Эй ты, поставь севильяну!» — и в последнем баре его просьбу уважили: «...a bailá, a bailá, a bailá, alegre seviyaana». В этом баре официантка, когда мы уже уходили, напомнила ему, что он не заплатил.

— Ты что думаешь, глупая баба, что гражданская гвардия не платит? Гражданская гвардия расплачивается и отплачивает! — и с хохотом швырнул на стойку купюру в пять тысяч песет.

Так, переходя из бара в бар, мы провели всю ночь. Я не произнесла ни слова. В крайнем случае ограничивалась короткими «да» и «нет». Ему мой лаконизм был как нельзя кстати: сам он болтал без умолку. Уже во втором баре он стал называть меня сержантом, в следующем — повысил до лейтенанта, потом я была капитаном, полковником, а под конец, на рассвете, когда бары уже закрывались, я доросла до генерала.

— Послушайте, мой генерал, — он уже еле ворочал языком, — эти баски все с-сукин-ны дети!

Я кивнула.

— Сейчас они овечками прикидываются, но я им неее вееерююю! Ни на волос! Да у меня и волос-то нет! — он снял парик и с хохотом похлопал себя по лысине.

Выпив еще, он заговорил по-другому: что он понимает басков, что вообще-то они правы и правительству нужно задать, но что сам он — только «пешка», исполнитель. И еще что-то в том же духе. Мы оба изрядно набрались, и я не понимала половины того, что он говорил, да и он сам, я уверена, не понимал, что нес.

Все бары были уже закрыты. Улицы были усеяны конфетти и залиты рвотой. Последние гуляки расходились по домам. Восток холодно розовел, предвещая скорый восход, ветер пронизывал до костей. Но гвардейцу, казалось, рассветный холод придал сил. Мы добрели уже до окраины, шли мимо заброшенных фабрик. Внезапно он остановился:

— Если бы я б-был б-баском, я бы пошел в ЭТА и давай стрелять, черт всех п-подери!

И принялся прыгать и кричать, словно обращаясь к закрытым фабрикам:

— Gora ETA militarra! Txakurrak barrura, presoak kalera, amnistia osoa! PSOE, GAL, berdin da! Guardia civil, jo ta bertan hil! Gora ETA mili-ta-rra![1] — последний лозунг был у него, похоже, любимым. Или ему просто нравилось его повторять. Потом он схватился за мой плащ, притянул меня к себе, хитро улыбнулся и, дыша мне в лицо перегаром виски, произнес:

1. Да здравствует ЭТА! Собак запереть, заключенных выпустить, всеобщая амнистия! Убивай гражданских гвардейцев! Да здравствует ЭТА! — Набор политических лозунгов ЭТА.

— Я про вас все знаю, мачо. Я здесь уже столько лет... И ваша ЭТА, и все вы... Клал я на вас на всех. Вы у меня вот где!

Он тряс меня все сильнее и сильнее, и вдруг понял, что под плащом, в который он с такой силой вцепился, была женская грудь. На миг он замер с открытым ртом.

— Так ты баба, сучка чертова! Но меня не проведешь, хоть ты кем вырядись! Шлюха, дрянь, сейчас я тебе покажу!

Он все больше горячился, на носу у него выступили капли пота. Внезапно он задрал свою цыганскую юбку, и я увидела ремень с кобурой. Продолжая одной рукой держать меня за плащ, другой он выхватил пистолет, направил дуло мне в лицо и взвел курок.

— Смеяться надо мной вздумала? Никому не позволю над собой смеяться, никому, понятно?

Не опуская пистолета, он начал шарить рукой по моему телу: мял грудь, живот, забирался под одежду. Изо рта потекли слюни.

— Сейчас я тебе покажу! Так тебя оттрахаю, что неделю в себя не придешь! Можешь потом всем ходить рассказывать, шлюха!

И вдруг закашлялся. Ужасный приступ кашля заставил его согнуться, его начало рвать. Он схватился за грудь, глаза закатились. Я вырвала у него пистолет. Он смотрел на меня изумленно, забыв закрыть рот. Не раздумывая, я сунула дуло пистолета ему в рот и выстрелила. Мне показалось, что это был ужасный взрыв. Тело дернулось, закачалось. Я слегка подтолкнула его рукой, и тело рухнуло на мостовую. Там оно и осталось — глаза широко раскрыты, изо рта, булькая, течет кровь. Пуля проделала в черепе огромную дыру, и парик намок от крови. Я хотела вытащить пистолет у него изо рта, но рта уже не было — еще одна огромная дыра, ни зубов, ни подбородка. Вокруг все было забрызгано кровью. Я вытерла пистолет и вложила ему в руку. Сняла трикорнио и хотела надеть ему на голову, но поверх съехавшего и залитого кровью парика он выглядел бы нелепо. И я положила его ему на живот: так было лучше, красивее.

***

Когда я вернулась домой, меня тоже вырвало. Я не раздеваясь рухнула в постель и тут же уснула мертвым сном. Когда я проснулась на следующий день, голова у меня просто раскалывалась. Я выпила две таблетки аспирина и наполнила ванну горячей водой. Сняла с себя всю одежду и выбросила в мусорное ведро. Включила радио. Погружаясь в горячую ванну, услышала, как в новостях сообщали о смерти гражданского гвардейца. Непонятно было, шла ли речь о самоубийстве. Политические мотивы, во всяком случае, исключались.

Джузеппе Бонаволонта, Марк Иннаро

Осада церкви Рождества Христова

Фрагменты книги

Перевод с итальянского Е. Дмитриевой

— Заметили, ребята? Сегодня офицер у блок-поста что-то уж слишком добрый.

2 апреля 2002 года, десять часов утра. Всего несколько минут ожидания — и мы проезжаем. Просто не верится. Парадокс в том, что журналист, работающий в горячих точках, рад, даже счастлив, когда ему удается попасть туда, откуда все остальные бегут сломя голову.

Полчаса назад у блок-поста-300, главного въезда в Вифлеем, майор Авнер Фуксман в промокшем камуфляже (по виду добропорядочный отец семейства) предупредил нас: "Если вы действительно хотите попасть в город, езжайте через деревню Валлахе, только поторопитесь. И запомните, там уж вы сами за себя отвечаете. Да, еще, — добавил он, — по правде говоря, не знаю, когда вы сможете выехать обратно". <...>

Старый бронированный "лендровер" Итальянского радио и телевидения (RAI), ветеран балканских войн, обклеенный со всех сторон большими буквами "TV", набит до отказа: внутри нас шестеро. Кроме армянина из Иерусалима Гару Налбандяна, фотографа и оператора free-lance, все — итальянские журналисты.

Израильское радио — фантастика! — транслирует "Va' pensiero". В машине нестерпимо душно, окна запотели, вентилятор лишь гоняет по салону горячий воздух. Снаружи уже сутки моросит мелкий холодный, пробирающий до костей дождик. На дороге, которая спускается от палестинской деревни Валлахе к Бейт-Халле и Вифлеему, ни одной живой души. Люди сидят по домам, и, очевидно, не только из-за дождя. Сначала Дженин, Калкилия, Рамалла, Тулкарем, Наблус, а теперь Вифлеем: ночью и сюда вошли израильские войска.

"Оборонительный щит" — это проводимая правительством Ариэля Шарона операция, которая теоретически должна полностью разрушить так называемую "сеть палестинского террора".

Последней каплей, переполнившей чашу, был террористический акт 27 марта в "Парк-отеле" на набережной в Нетании. Палестинец-

© 2002 Ponte alle Grazie srl — Milano
© Е. Дмитриева. Перевод, 2004
Редакция благодарит Д. Бонаволонту, М. Иннаро, а также издательство "Ponte alle Grazie" за любезно предоставленное право на безвозмездную публикацию.

смертник взорвал себя в банкетном зале, где в это время ни о чем не подозревавшие люди праздновали Песах — еврейскую Пасху. Погибло двадцать девять израильтян — мужчин, женщин и детей.

Через несколько минут въезжаем в Бейт-Халлу и около больницы видим первых людей — небольшую группу иностранных фотографов и журналистов, скорее всего скандинавов. В пуленепробиваемых жилетах и касках они движутся гуськом вдоль стены. Испуганно оглядываются, услышав шум мотора.

Только тут до нас доходит, что мы — единственные, кому пришла в голову безумная идея разъезжать на машине по оккупированной военными территории.

Останавливаемся. Скандинавы объясняют нам жестами, что танки прямо за углом, у пересечения с дорогой, которая ведет к центру Вифлеема. Почти в черепашьем темпе выезжаем на перекресток. Ничего особенного, если не считать поваленных светофоров, гусеничных следов на мокром асфальте, опрокинутых мусорных баков. Невыносимая тишина.

"Что делать?" — спрашиваем мы друг друга, и армянин Гару отвечает, как будто руководит незнакомым с местностью водителем: "Сейчас прямо". Все молчим. Едем. Мауро Маурици, оператор RAI, побывавший на многих войнах во всех частях света, сидя на переднем сиденье, снимает без остановки.

Первая встреча с израильскими военными — около салезианского технического училища. Въезжаем на маленькую площадь как раз в тот момент, когда солдаты вламываются в здание в поисках возможных террористов. Оборачиваются к нам почти неприязненно, направляют на нас оружие. Мы останавливаемся. Тут же повелительный, не терпящий возражений жест начальника патруля: назад! Начинаем кружить по лабиринту узких улочек. Пытаемся подобраться поближе к центру и при этом избежать встречи с танками, которые расположились на главных перекрестках. Вдруг, как далекое эхо, первые пушечные залпы, за ними пулеметные очереди. Замираем. Маленький экипаж бронемашины RAI полностью в руках судьбы.

Вот улица Рождества, она ведет прямо к Ясельной площади — сердцу Вифлеема.

Все явственнее следы военных действий: в асфальте воронки от взрывов, на стенах следы от пуль, искореженные железные жалюзи возле магазинов. Но главное, все ближе взрывы и автоматные очереди.

Тони Капуоццо с пятого телеканала и Фердинандо Пеллегрини с Radio RAI говорят в один голос: "Ребята, тут опасно, это настоящие пушечные залпы, надо возвращаться назад". После короткого совещания все соглашаются, тем более что бой, похоже, набирает силу. Канонада, на этот раз совсем близкая, заглушает последние сомнения. Разворачиваемся и на полном ходу едем обратно — скорей убраться отсюда.

Не успеваем дух перевести, как за первым же поворотом напарываемся на две израильские бронемашины. Это дозор. На башне, обложенной мешками с песком, внушительных размеров пулемет. Мауро продолжает снимать, а мы кричим в громкоговоритель по-английски: "We are foreign journalists, we want to go out!" ("Мы иностранные журналисты, хотим проехать!")

Ничего не получается. Солдат неумолимо машет, езжайте, мол, откуда приехали. Он призывник, лет двадцати двух, из тех ребят, что каж-

дый вечер танцуют на дискотеках Тель-Авива. Он мог оказаться и среди погибших неделю назад в кафе "Момент" в Иерусалиме, стать очередной жертвой очередного террориста-смертника. Есть среди военных, оккупировавших Вифлеем, и резервисты, призванные буквально накануне. Это адвокаты, врачи, мирные отцы семейств, которые беспрекословно явились по телефонному звонку. У блок-поста при въезде в Вифлеем каких-то два часа назад мы видели таких: они обнимали, прощаясь, жен и детей, приехавших на автомобилях их проводить, потом брали автомат, который не держали в руках несколько лет, садились в бронемашины и ехали на войну в незнакомый город, чтобы "покончить раз и навсегда", как они искренне верили, "с палестинским терроризмом". И вот они уже здесь, перед нами.

Как быть? Армянин Гару говорит на всех языках, даже на иврите. Оставив камеру в машине, он решается выйти. Мауро выходит вместе с ним, не переставая снимать. "Televiziya italqit!" ("Итальянское телевидение!") — несколько раз кричит Гару, подходя все ближе к солдату на башне. И тот, не проронив ни слова, стреляет ему под ноги, в асфальт.

Ответ красноречивый: нам приказано уезжать, это яснее ясного. Но куда? Назад возвращаться невозможно, и тут оставаться — чистое безумие.

Из памяти мобильного телефона выуживаем номер отца Ибрагима Фалтаса — францисканского монаха-богатыря из церкви Рождества Христова. Он — один из хранителей Базилики, директор вифлеемского колледжа "Святая Земля", но в первую очередь — друг. Пока слышатся длинные гудки, мы говорим между собой, что в крайнем случае укроемся пока в церкви Рождества, Ибрагим не откажется нас впустить.

Наконец-то он ответил! "Да, конечно, подъезжайте, только будьте осторожны, тут кругом сумасшедшая стрельба".

Пятьсот метров мы преодолеваем на полной скорости. Душа уходит в пятки, но мы надеемся, что и палестинцам, и израильтянам видны опознавательные знаки "TV" на нашей машине. Наконец мы на Ясельной площади. Въезд на стоянку перед церковью Рождества огорожен цепью. Приходится остановиться перед входом в армянский монастырь, отсюда до надежного убежища еще надо добежать. В спешке и панике хватаем все свое имущество — телекамеры, микрофоны, батарейки, кассеты. Те, кто предусмотрительно захватил с собой бронежилеты и каски, надевают их. На последнем дыхании добегаем до укрытия, в жизни каждого из нас это наверняка самая удачная по результатам стометровка. Мауро Маурици, тяжело дыша, продолжает на бегу снимать.

Отец Ибрагим видит, как мы бежим, и открывает большую стеклянную дверь в галерею Святого Иеронима, откуда можно попасть во францисканскую часть комплекса Рождества. В руках у него огромная связка ключей от бесчисленных помещений, часть которых мы вскоре увидим. Он впускает нас, бросает быстрый взгляд на площадь и тут же запирает дверь на четыре оборота. Мы спасены! По крайней мере так нам в эту минуту кажется. "Сегодня ночью, — говорит отец Ибрагим, — группа палестинцев проникла к нам через греко-православный монастырь. Мы с нашим приходским священником отцом Амджадом обнаружили их у себя в притворе, но уговорили уйти". <...>

Канонада, взрывы, близкие автоматные очереди, одиночные выстрелы, похожие на выстрелы снайперов. Оглушительный грохот, усиленный эхом в колоннаде замкнутого двора, где мы в этот момент находимся.

— Как же я передам материал в свою редакцию? — Лучано Гулли первому из нас приходит в голову, что это надолго.

Из библиотеки осторожно высовывается худенький человек в очках, это брат Северин, поляк из Кракова.

— Хотите кофе? — спрашивает он.

Предложение библиотекаря встречается чуть ли не овацией: кофе и сигареты — хлеб насущный напряженно работающего журналиста.

Аромат черного кофе, который брат Северин готовит в маленьком *неаполитанском* кофейнике, растекается по галерее, чудодейственно расслабляя нас после пережитого потрясения. Из библиотеки выходят один за другим послушники, молодые францисканские семинаристы. Они улыбаются, обмениваются шутками, но вид у них взволнованный, озабоченный. Нам бы тоже следовало задуматься о происходящем, но пока мы заняты другим: каждый по своему мобильному телефону разговаривает с редакцией, агентством печати, генеральным консульством Италии в Иерусалиме, успокаивает жену, детей, маму, пока они не услышали пугающих новостей из средств массовой информации.

— Так что будем делать, ребята? — спрашивает Тони Капуоццо.

У францисканца отца Ибрагима ответ есть:

— Какие проблемы? Оставайтесь ночевать.

— Вы шутите, отец Ибрагим? Мне завтра надо быть в Риме.

Отец Ибрагим подносит к уху мобильный телефон. Зрелище просто фантастическое! Мауро Маурици тут же наводит на него камеру. Кажется, мы начинаем осознавать ситуацию только тогда, когда слышим его полные беспокойства слова: “Да, будем надеяться... здесь у нас группа журналистов... Хорошо, перезвонимся завтра, если будем живы... если еще будем живы...”

Отец Ибрагим покидает нас, его телефон звонит без перерыва. Вскоре в галерее появляется монахиня и приглашает в трапезную обедать.

Фердинандо Пеллегрини возвращает нас на землю:

— Вы как хотите, а я должен передать материал.

И тут же, как назло, ураган звонков: редакции теленовостей договариваются с нами о времени выхода по телефону в прямой эфир.

До следующего прямого эфира еще два часа, но не похоже, чтобы за это время бой стих. Холод собачий, мы здесь, в галерее, совсем окоченели. Снова появляется отец Ибрагим: “Вы идете или нет? Паста уже переварилась”.

Сначала кофе, теперь паста — еще одно завораживающее слово: ведь мы давно уже в пути.

Лапша по-болонски, отбивные котлеты по-милански с жареной картошкой, вино, кофе — классический итальянский обед, вызывающий воспоминания детства, а кругом бой, которому конца не видно.

Напряжение последних часов спадает, звучат смех, шутки, всем хочется разрядить обстановку. Журналисты и монахи, представители двух противоположных миров или, если можно так сказать, земного и небесного начал, Дьявола и Бога, соревнуются в оптимизме, который для одних — свойство веры, для других — характера.

Отец Ибрагим валится с ног от усталости, поэтому уходит к себе отдохнуть, а мы возвращаемся во внутренний дворик покурить, поболтать и обдумать, чем заняться теперь. Для работы в нашем распоряжении гостиная странноприимного дома “Каза нова”, куда можно попасть из

галереи. Тони Капуоццо, Гару Налбандян и Мауро Маурици пользуются возможностью, чтобы вздремнуть.

Время — начало пятого. После долгих часов боя наступает тишина, в которой слышатся голоса, много голосов, и они приближаются. И еще быстрый топот, выстрелы, все ближе, все громче. Голоса переходят в крики, в нетерпеливые требования на арабском открыть дверь — ту самую дверь, в которую нас впустил утром отец Ибрагим. Его мобильный отключен, дверь в монастырь со стороны галереи заперта изнутри. Еще несколько секунд — и мы снова будем блокированы. Длинные и страшные автоматные очереди вдребезги разбивают запор, а вместе с ним наши иллюзии о том, что церковь Рождества — самое спокойное место во всем Вифлееме.

Мауро, который спал с камерой в руках, едва успевает ее включить, но здоровенный, точно шкаф, палестинец в камуфляжной форме тут же направляет ему в лицо дуло "калашникова" и приказывает по-арабски: "Не смей!"

Мы в ужасе поднимаем руки вверх и выходим из гостиной в галерею, повторяя без остановки: "Press, Italian press, journalists!" ("Пресса, итальянская пресса, журналисты!")

Гару, наша палочка-выручалочка, арабский тоже знает и объясняет палестинцам, кто мы и как сюда попали.

Через несколько минут входят уже десятки людей, нескольких раненых несут на руках. Старшие отдают приказы по рации и мобильным телефонам.

Внутренний дворик Святого Иеронима забит измученными людьми. У всех на лицах отчаяние и еще — страх. Как и у нас. Мы боимся их, они боятся израильтян, которые снаружи. Одни похожи на Рэмбо: на лбу повязка, на шее автомат Калашникова М-16, на поясе гранаты, пистолет в кобуре; обоймы с патронами оттопыривают боковые карманы. Другие выглядят как солидные отцы семейств. Они гордо размахивают старыми ржавыми винтовками времен Второй мировой войны.

К счастью, палестинцы быстро понимают, что мы не враги; больше того, им кажется, что наше присутствие может их обезопасить. Некоторые даже подходят к нам, хотят пожать руку. "У нас не было выбора, — говорит нам один, словно оправдываясь, — здесь мы в безопасности, сюда солдаты не посмеют войти".

Из неудержимого журналистского любопытства задаем вопросы: к каким группировкам, к каким структурам они принадлежат. "Бригады мучеников Аль-Аксы", "Хамас", "Исламский джихад", отвечают они, а еще полицейские и просто гражданские люди. <...>

Прибегает отец Ибрагим, к счастью, он проснулся. В первый раз видим его таким рассерженным, таким возбужденным. Он долго разговаривает с палестинцами. Единственное, что мы понимаем по жестикуляции, что он берет с них обещание не стрелять, пока они здесь, и что мы, журналисты, свои люди, находимся под его защитой и никто не смеет нас пальцем тронуть.

Нам он велит побыстрей собрать свои вещи и отправляться в "Каза нова", которую отреставрировали и открыли к юбилейному 2000 году, но уже больше года она пустует: очередной памятник надеждам на огромный приток туристов и христианских паломников.

Не зная, куда нам идти, мы расположились в кухне между длинным рядом плит из нержавеющей стали и батареями кастрюль. Все сверкает чистотой, как после генеральной уборки.

Мы в нервном ожидании, курим одну за другой сигареты, запасы которых катастрофически тают, и отвечаем на настойчивые звонки мобильных телефонов. Нам звонят все, и мы звоним всем, начиная от посла Италии в Тель-Авиве и генерального консула в Иерусалиме. Сказать, что они обеспокоены, значит ничего не сказать: для них это не меньшая драма, чем для нас, и в первые часы они еще не знают, как выйти из этой немыслимой ситуации.

Несколько раз в кухню заглядывают два молодых вооруженных палестинца, словно желая убедиться, что мы все еще здесь. Не обронив ни слова, они обводят нас взглядом и уходят. Нас это пугает.

С наступлением темноты бой в Вифлееме прекращается. Из окон нам видна значительная часть города. Слышатся лишь отголоски далеких взрывов и редкие пулеметные очереди. В небе ни одной вспышки.

Очевидно, почти все палестинцы, которые участвовали в сражении, сейчас здесь, в церкви Рождества.

Снова появляется отец Ибрагим, его лицо стало еще мрачнее. Мы спрашиваем, не поможет ли он нам взять интервью у палестинцев, но он решительно отказывается: “Не думаю, что сейчас для этого подходящий момент”.

Кто-то вдруг высказывает идею:

— А не уйти ли нам прямо сейчас?

— Ты с ума сошел! Сейчас, в темноте, когда внутри палестинцы... Хочешь, чтобы израильтяне нас подстрелили? <...>

Когда нам начинают звонить коллеги журналисты из России, Соединенных Штатов, Колумбии, Англии, Франции, Эстонии, Германии, Испании и других стран, не говоря уже об Италии, мы понимаем, что событие принимает планетарные масштабы. Мы осознаем, что наша судьба, судьба священнослужителей и самой церкви Рождества зависит от того, как расскажем об этом мы и как вся мировая пресса будет освещать эту ужасную ситуацию.

В десять часов вечера снова появляется отец Ибрагим:

— Пойдемте в монастырь, поговорим, что-нибудь съедите.

“Каза нова” соединяется с монастырем через четвертый этаж, где мы расположились. В монастырской кухне, несмотря на поздний час, в спешке пекут хлеб в электрической печи. Повариха сестра Нунциатина показывает нам огромные пластиковые мешки с сотнями еще горячих булок.

— Вы что, всех ужином кормить собираетесь? — удивляемся мы.

— Конечно. Посмотрим, что еще сможем им дать кроме хлеба. Они ведь тоже Божьи дети и голодны, бедняжки. Теперь мы все под одной крышей.

Отец Ибрагим с несколькими братьями несут ужин “ребятам”. По дороге встречают возвращающуюся из Базилики сестру Лизетту, она оказывала первую помощь раненым.

— Двое в тяжелом состоянии, — говорит она. — У одного ранение в ногу, ступня раздроблена, у другого в живот, все кишки наружу. Мы засунули их обратно, я наложила тугую повязку и поставила капельницу с раствором глюкозы.

Мы окружаем сестру Лизетту.

— Какое они произвели на вас впечатление?

— Простите, но у меня не было времени их разглядывать.

– И все-таки, они настроены решительно или нет?

– Нет, они скорее подавлены, расстроены.

– Так что, ребята, хотите поспать в нашем благословенном странноприимном доме или нет? – это уже голос отца Ибрагима.

Обезоруживающее своей естественностью предложение отца Ибрагима ни у кого не вызывает возражений.

В два часа ночи звонит мобильный телефон. Спокойный, уверенный голос на фоне других возбужденных голосов говорит:

– Я капитан Ярон, звоню из оперативного штаба израильского министерства обороны. Нам известно, что вы ждете помощи, и у нас есть план. Так что сообщите краткие сведения о каждом из вас и расскажите, кто во что одет. Только прошу, как можно точнее.

– Бога ради, капитан, не надо ничего предпринимать. Мы не заложники и не нуждаемся, чтобы нас спасали. В настоящий момент у нас все хорошо, мы в безопасности. Но имейте в виду, от палестинцев нас отделяет одна-единственная деревянная дверь. Если они заметят, что вы что-то предпринимаете, может случиться катастрофа. И потом, мы на четвертом этаже, как вы намерены нас забирать?

– Я не имею права вам это рассказывать, – следует холодный ответ. – В любом случае будьте готовы к 5.30 утра, мы вас заберем.

Связь прервалась. Мы растерянно смотрим друг на друга.

– Ребята, а ведь они, похоже, не шутят.

Быстро советуемся с теми, кто только что проснулся. Общее решение: уезжаем отсюда только добровольно, на итальянской дипломатической машине, и, главное, чтобы не было никакого "спасения" со стороны тех, кто несколько часов назад в нас стрелял, а теперь представляет дело так, будто мы – заложники палестинцев, укрывшихся в церкви Рождества.

Несмотря на поздний час, решаемся поставить в известность советника премьер-министра. Он отвечает сразу же, значит, еще не спит. Излагаем ему свое решение, и он говорит: "Не беспокойтесь, мы обо всем позаботимся".

Мы верим ему, хотя, если бы подобный ответ услышали не от этого способного дипломата, успевшего собаку съесть на урегулировании многих и многих кризисов, он показался бы нам слишком неопределенным.

После этого одни отправляются досыпать, а другие, нервно куря, ходят взад-вперед по темному коридору.

К четырем утра у нас разразился еще один кризис: кончились сигареты. Ни одной не осталось! К тому же перед нами по-прежнему стояла мучительная дилемма. Уходить или не уходить – вот в чем вопрос. Бросить на произвол судьбы тех, кто спас нам жизнь, или же остаться с ними, с монахами и монахинями, которые и слышать не хотят о том, чтобы покинуть монастырь...

Безусловно, как журналисты, мы, уходя отсюда, делаем неправильный выбор: отказываемся от громкой сенсации, от представившейся нам уникальной возможности. Но если мы решимся остаться, кто гарантирует, что рано или поздно мы в самом деле не превратимся в заложников? Кто гарантирует, что нас не используют как повод для штурма церкви Рождества?

В пять начинает светать. Мы все еще спорим, когда слышим под окнами резкий лязг гусениц.

Наблюдая из-за занавески за происходящим внизу, мы замечаем сначала идущих гуськом израильских солдат, потом двигающийся в нашу сторону огромный военный кран, потом два бронетранспортера, которые останавливаются напротив автомобильной стоянки. "Вот они, — кричит кто-то, — приехали нас забирать". Медленно движется темный силуэт гигантского танка "Меркава". На башне сидит солдат. У него в руках, судя по всему, план церкви Рождества. Он долго изучает его, потом поднимает глаза на наши окна.

Точно по команде, кто-то будит спящих, кто-то бросается собирать вещи, кто-то снова звонит высокому дипломатическому чину в Рим, потому что уверен, что настал час X. И на этот раз, слава богу, тот сразу же берет трубку.

И вот буквально через несколько минут сюрприз: и солдаты, и кран, и два бронетранспортера, и танк вдруг исчезают.

Мы все на́ ногах, ждем, что вот-вот из-за угла в конце коридора появятся израильские солдаты. Адреналин на пределе.

Впрочем, если они появятся, убеждаем мы друг друга, нам ничего не останется, как дать себя отсюда вывести, хотя нас и пугает перспектива быть выставленными перед всем миром в качестве "освобожденных заложников".

Наши страхи напрасны: никаких солдат нет. Теперь мы все как один ложимся спать, хотя солнце уже поднялось.

Просыпаемся от запаха кофе, который приготовила для нас сестра Нунциатина в огромном дымящемся термосе. И от телефонного звонка. Звонит Джанни Гизи, итальянский генеральный консул:

— Ребята, почти все улажено. Мы добились разрешения приехать за вами на двух дипломатических бронемашинах. Осталось уладить технические детали. Как только будет полная ясность, я перезвоню.

8 часов. Всего за три часа ситуация радикально изменилась. Кто решится сказать монахам, что мы уходим?

Но наши волнения напрасны, отец Ибрагим сам уже разговаривает с консулом:

— Конечно, господин консул, никаких проблем, как я их впустил сюда, так и выпущу обратно. Нет, я ничего не имею против, но подумайте и о тех, кто остается. Нас, францисканцев, здесь сорок человек, и еще греко-православные и армяне.

Ожидая, что с минуты на минуту мы уедем, торопимся записать обращение отца Ибрагима к миру от имени францисканской общины Вифлеема. Эти полные драматизма слова он произносит перед нашими телекамерами почти со слезами:

– Где человеческая совесть? Где международное сообщество? Здесь поставлена на карту жизнь трех религиозных общин, более двухсот палестинцев, судьба самой церкви Рождества Христова... Возможно ли, что никто не решается сказать слово, вмешаться в эту ситуацию? Не завтра, не через час, а сию минуту, потому что мы сейчас нуждаемся в вашей помощи. Вы не должны больше молчать... Мир действительно несправедлив... Прошу вас, Христа ради, помогите своим братьям, ибо мы в опасности...

Только после шести вечера звонок с блок-поста: "Мы получили добро на въезд. Через десять минут будем у вас. Выходите к автостоянке 'Каза нова'".

Наступил момент прощания. Почти все собираются в кухне. Нас мучают сомненья, действительно ли мы правильно поступаем...

В тишине отец Амджад, приходский священник храма Святой Екатерины, и отец Ибрагим провожают нас вниз по лестнице. Выходим к автостоянке. Только далекие удары колокола нарушают тишину комендантского часа.

Из церкви Рождества не доносится ни звука, все спокойно. Двести палестинцев, проникшие в Базилику, чувствуют себя, по всей видимости, под защитой.

Ожидание, кажется, длится целую вечность. Но вот пучок света пронизывает темноту. "Это они". Отец Ибрагим отпирает калитку. Армейский конвой останавливается в начале улицы. Согласно договоренности, к нам допущены только две итальянские дипломатические машины. Ну вот и все. Обнимаемся с отцом Ибрагимом и отцом Амджадом, садимся в машину, медленно отъезжаем.

Рассказ отца Ибрагима Фалтаса, хранителя пещеры, где родился Иисус, о тридцати девяти днях осады церкви Рождества — свидетельство преданности верующего человека своим идеалам. Намерение двух журналистов, оказавшихся в ближневосточном аду всего в двух шагах от христианского рая, написать эту книгу — прежде всего знак уважения к францисканским хранителям Святой Земли. <...>

Мы решили взяться за перо, убежденные, что у всякой медали есть две стороны, что правота и неправота находятся за бруствером каждого окопа. Уверенность в своей правоте, равно как страдание от несправедливости, одурманивает тех, кто способен убивать без малейших угрызений совести, и тех, кто, ослепленный ненавистью, видит лишь собственную — искаженную — правду.

Правда, к счастью, не принадлежит ни одной партии. На Ближнем Востоке правда выбросила бы партийный билет еще до того, как его получить. Потому что там каждый глаз видит свое, каждое ухо слышит по-своему, каждый хорист считает себя солистом. Не говоря уже о безнадежном оркестровом сумбуре, когда каждый дирижер требует от своих музыкантов предельной громкости, чтобы у соперника лопнули барабанные перепонки.

Начались эти события 2 апреля 2002 года, когда в Вифлееме группа почти из двухсот палестинцев ворвалась в церковь Рождества Христова. Выломав дверь францисканского монастыря, палестинцы укрылись в Базилике, после чего израильские войска окружили церковь. Осада продолжалась тридцать девять дней и закончилась 10 мая, когда палестинцы освободили церковь, и тринадцать "опасных террористов" по настоянию израильских властей были высланы через Кипр в Европу.

Вифлеем не похож на другие города земного шара. Он — олицетворение истории человечества, символ единения и вражды, святое место для евреев, христиан и мусульман; он упоминается как в Ветхом и Новом Завете, так и в Коране.

Если обратиться к истокам, то первоначально — это пастушье поселение, возникшее на границе с Иудейской пустыней и потому, возможно, названное Вифлеемом Иудейским (не путать с Вифлеемом Галилейским, что близ Назарета). В Вифлееме Иудейском около 1004 года до

Р. Х. родился Давид, объединивший под своим началом двенадцать колен Израилевых и сделавший столицей своего царства Иерусалим. Иисус Христос, появившийся на свет в том же Вифлееме через тысячу лет, — из рода Давидова. И Иисус Христос, сын Божий для христиан, и Давид, царь-спаситель для иудеев, почитаются в исламе как пророки.

О происхождении названия Вифлеем существует несколько версий. В египетских текстах времен XVIII династии фараонов упоминается поселение к югу от Иерусалима под названием Бит-Лахам — дом богини Лахам. На арабском языке Вифлеем звучит как "Бейт-Лахм" — город мяса, а на иврите "Бейт-Лехем" — город хлеба.

Тысячелетняя история Вифлеема была трудной, город разрушался и восстанавливался много раз. Пещера, в которой родился Иисус Христос, и Базилика, возведенная над ней впоследствии, чудом уцелели; их не коснулись бушевавшие вокруг войны. Так было до начала апреля 2002 года.

В последних числах марта правительство Ариэля Шарона начало осуществлять оккупацию главных палестинских городов на западном берегу реки Иордан. Название операции "Оборонительный щит" подчеркивало, что целью наступления является защита от террористических действий палестинцев.

Арафат с декабря фактически был пленником в Мукате — своей резиденции в Рамалле, окруженной израильскими войсками. Израильтяне требовали выдать им для ареста нескольких человек из ближайшего окружения палестинского лидера, подозреваемых в терроризме.

Во время Песаха по Израилю прокатилась волна массовых убийств.

17 марта, в день начала американо-израильских переговоров о прекращении огня, молодой палестинец открыл беспорядочную стрельбу по людям в городе Кфар-Саба неподалеку от Тель-Авива.

На следующий день в Израиль прибыл американский вице-президент Чейни. Палестинцы твердо стояли на том, что единственным переговорщиком от них остается Арафат. Чейни не захотел ехать в осажденную резиденцию Арафата и, не добившись никаких результатов, прямо из Тель-Авива улетел назад в Вашингтон. Однако аналитики ближневосточного конфликта расценили его действия как негласную поддержку военных действий на палестинских территориях, объявленных премьер-министром Израиля Шароном.

20 марта автобус № 823, следовавший по маршруту Назарет—Тель-Авив, подъехал к остановке Умм-эль-Фахем точно по расписанию — в 7 часов 5 минут. Пассажиры обратили внимание на молодого палестинца с подозрительно тяжелой сумкой, который быстро вбежал в салон. Раздался взрыв. Семь человек погибли, включая террориста.

На следующий день еще один человек-бомба взорвал себя в центре Иерусалима, на улице Короля Георга. В этот момент вокруг было полно народу, все спешили за покупками. Взрыв прогремел напротив одного из фаст-фудов. Трое убитых, восемьдесят шесть раненых.

Мы уже упоминали о ресторане в Нетании. Двадцать девять убитых там 27 марта. Это во многом определило ответные меры израильтян.

Прошло два дня, и смерть снова вернулась в центр Иерусалима: девушка-камикадзе взорвала себя перед входом в супермаркет. Вместе с ней погибли охранник и проходившая в эту минуту мимо женщина. На предварительно снятой видеокассете террористка объявила себя чле-

ном организации "Бригады мучеников Аль-Аксы", вооруженного крыла арафатовской партии "Фатх".

Израильское правительство больше не верило Арафату, который на словах отмежевывался от террористических актов и осуждал их. Утром 30 марта, несмотря на то что это была суббота, шаббат, для евреев — день молитвы и отдыха, двадцать тысяч резервистов согласно Приказу № 8 прибыли на военные базы, чтобы принять участие в массовой антитеррористической операции на западных палестинских территориях. В тот же день произошло еще одно убийство в кафе Тель-Авива.

Но то, что случилось в воскресенье — последний день еврейской Пасхи, казалось просто немыслимым: человек с рюкзаком, в котором было взрывное устройство, привел его в действие при входе в полный зал ресторана "Маца" в Хайфе. Горожане, избегавшие в последнее время людных мест, ресторанов и поездок в общественном транспорте, даже предположить не могли, что мишенью камикадзе из Хамас может стать ресторан, хозяин и управляющий которого по происхождению палестинцы.

Вскоре израильские войска заняли западный берег реки Иордан. Если прежде они входили в те или иные города, чтобы произвести аресты и сровнять с землей отдельные дома, то теперь это была тотальная оккупация с жестким режимом комендантского часа. Первым городом на их пути стала Рамалла, за ней последовали Тулкарем — один из рассадников палестинского экстремизма, лагерь беженцев в Калкилии, а через несколько дней — Дженин и самый населенный палестинский город — Наблус.

Мощные танки "Меркава" взяли в кольцо центр Вифлеема в ночь с первого на второе апреля. На рассвете военные патрули начали прочесывать квартал за кварталом. Группы вооруженных людей из разных палестинских формирований оказались запертыми между Старым рынком и Ясельной площадью. Израильтяне уверяли, что 2 апреля у них не было намерения штурмовать церковь Рождества, когда во время чудовищного боя в нее проникли около двухсот палестинцев. Для них вифлеемская Базилика была в тот момент единственным убежищем, единственным спасением. Сначала ворвалась первая группа беглецов, через некоторое время — другая. В течение нескольких часов кольцо осады еще не замкнулось, и те, кто вошел в Базилику, еще имели возможность из нее выйти. <...>

Рассказывает отец Ибрагим

2 апреля 2002 года

В Вифлееме подобное не редкость: раньше тоже стреляли, и израильские танки входили, и палестинцы не ждали сложа руки, пока их арестуют. Здесь, кроме Христа, которому я служу, всегда было мало таких, кто готов подставить под удар вторую щеку.

Сегодня день начался рано, примерно в два часа пополуночи. Девять вооруженных палестинцев, людей мне не знакомых, проникли в Базилику через заднюю дверь греко-православной церкви. Мы были вместе с нашим приходским священником отцом Амджадом и настоятелем церкви Святой Екатерины отцом

Иоханнесом, когда увидели их в храме. Я спросил, что они здесь делают, и велел им уходить. Они послушались без лишних уговоров. Я вывел их на Ясельную площадь, и они ушли. Больше я их никогда не видел.

А в полдень зазвонил мобильный телефон. Это был Марк Иннаро, журналист RAI, мой друг. Он с другими журналистами оказался в западне: израильтяне не пропускали их ни вперед, ни назад, и они попросились к нам. Захватив ключи, я вышел, чтобы встретить их у входа в церковь Святой Екатерины. Слышались частые взрывы. Журналисты взяли у меня интервью, потом я открыл для них нашу гостиницу "Каза нова" и предоставил в их распоряжение свой кабинет, чтобы они могли там работать, пока вынуждены оставаться у нас.

Мы вместе поужинали. Потом я оставил их и пошел спать.

Но едва я заснул, пришел отец Амджад. Он был очень взволнован. Знаешь, сказал он, к нам ворвались палестинцы, их много, и они с оружием. Что будем делать?

Я спустился вниз. Их и вправду было много, не меньше сотни, некоторые совсем дети. Они взломали запертую дверь церкви Святой Екатерины. Уходить не собирались, это было ясно. Снаружи слышалась артиллерийская и автоматная стрельба. Выгнать их – все равно что отправить на смерть. Они нервничали, но, поговорив с нами, успокоились. Я взял с них обещание, что они не воспользуются своим оружием. Никто и никогда не должен здесь стрелять, ни внутри, ни снаружи.

На этот раз, к счастью, обошлось. Журналисты, которые даже в момент опасности не могут угомониться, хотели интервьюировать палестинцев. Потом, правда, передумали, хотя те не возражали. Палестинцы держались спокойно, ни у одного из нас не возникло впечатления, будто мы заложники. Их заботили в первую очередь раненые, которых они принесли с собой, десять человек. Один, по имени Джихад, был совсем плох, ему раздробило ступни. К нему подошла сестра Лизетта. Она медсестра и сразу сказала: нужна операция.

Среди палестинцев оказался Абул Кассем Дауд. Я хорошо его знаю, он начальник тайной полиции Вифлеема. Я спросил, не нужно ли ему что-нибудь. Но он от помощи отказался, сказал, как все, так и он.

Что нам делать? – спрашивал я себя. Решение надо принимать сообща, вместе с руководством других религиозных общин церкви Рождества. И вот в девять часов вечера отец Иоханнес и я отправляемся на совет к православным. В кои-то веки мы – латиняне, греки и армяне – единодушны в своем решении: пусть палестинцы останутся в Базилике до утра, пусть переночуют.

Но мне этого решения недостаточно, потому что скоро там, снаружи, станет известно, что у нас происходит. И я звоню своему начальству – хранителю Святой Земли и папскому нунцию.

Как раз сегодня утром мы с отцом Амджадом приготовили много продуктов для жителей Вифлеема, ведь уже было известно, что в город должны войти израильские войска. Предвидя трудные времена, мы начиная со Страстной пятницы закупали в больших количествах продукты, чтобы поддерживать тех, кто окажется запертым в своих домах. Часть этих запасов мы выделили палестинцам, и еще я дал им пятьдесят одеял, потому что ночь была холодная.

Спать лег очень поздно, никак не мог прийти в себя. Базилика осквернена оружием! Одно успокаивало: я был уверен, что поступил правильно. Священник я во вторую очередь, а в первую – христианин, и мой долг помогать всем, кто нуждается в убежище или испытывает голод. Святой Франциск даже ворам не отказывал, если те просили у него приюта и пищи. Это не долго продлится, ду-

мал я, день-два, от силы три. Хуже то, что происходит за стеной, в самом Вифлееме. Хорошо, что журналисты с нами. Иногда они бывают назойливы, но в данных обстоятельствах смогут помочь: будут сообщать отсюда, час за часом, о развитии событий.

Я возглавляю в Вифлееме колледж "Святая Земля". Сегодня должны были возобновиться занятия после пасхальных каникул. Но ученики, их у меня тысяча, остались дома, как и остальные жители города, ведь вокруг стреляют. Жаль, что пропадают занятия, тем более перед экзаменами.

Да уж, моя комната совсем не рассчитана на военную осаду. Она угловая, две стены из четырех – с окнами. Такая же маленькая, как и кельи других братьев, хотя сам я довольно внушительных размеров.

Из-за взрывов долго не мог уснуть.

Молился:

Спокойно ложусь я и сплю: ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.

3 апреля 2002 года

В колледже я каждое утро служу мессу. Сегодня впервые не смогу выполнить свои обязанности.

Из окна мне виден почти весь Вифлеем. В это раннее время на улицах ни души: комендантский час. Опасно даже нос высунуть из монастыря. Никто из нас не пошел в город служить мессу. Впервые братья не совершают богослужения и в Пещере Рождества – там палестинцы уложили своих раненых.

Тороплюсь предупредить сестру Фаизу, которая по утрам отпирает колледж. Сегодня это опасно, да и ни к чему.

Иду проведать палестинцев и вижу, что за ночь их стало больше. Израильтянам не удалось блокировать все подходы, и еще одна многочисленная группа проникла в монастырь со стороны Молочной пещеры, через сад православных. Вошли они сами или им кто-то открыл – неизвестно. Все вместе они расположились в Базилике на полу, ведут себя спокойно. Попросили еще одеял, мы им дали. Абул Кассем Дауд, с которым я перекинулся парой слов, тоже считает, что все скоро закончится.

Потом начались беспрерывные звонки по мобильному телефону. Звонили друзья из Италии и других стран. Журналисты переговаривались со своими коллегами. Сам я звонил начальству в Иерусалим.

Когда я узнал, что журналисты собираются уходить и оставляют нас в таком положении, признаюсь, я рассердился. Я открыл для них двери монастыря, потому что Марк – мой большой друг. Я проявил гостеприимство, отдал в полное их распоряжение гостиницу "Каза нова". Они тоже могли бы нам помочь, привлечь к нам общественное внимание, да и для братьев их присутствие здесь служило определенной гарантией. Я просил их остаться. Долго убеждал итальянского консула в Иерусалиме, но в конце концов сдался: решили уйти – уходите. В семь часов вечера отпер дверь и вывел их к дипломатическим машинам, которые за ними пришли. Нет, я не считал, что это предательство, просто мне казалось, что они думают только о себе.

С того вечера я сам стал журналистом, других здесь не осталось. Телефон звонил и звонил, и я вел свои репортажи из церкви Рождества, атакуемой средствами массовой информации всего мира. Звонили из Америки, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Египта, Катара, Иордании – из всех точек планеты.

Со своей семьей я редко перезваниваюсь. У меня есть мама, она живет в Египте, в Александрии, и шесть братьев. Один брат, как и я, монах, он в Луксоре. Я

всем позвонил, чтобы не волновались, мама плакала, повторяла сквозь слезы: будь осторожен.

Сразу после разговора с мамой пришло известие о смерти Самира, звонаря греко-православной общины. Он был убит пулей перед входом в Базилику, прямо у Врат Смирения. Бедняга.

Лежа без сна в постели, я думал о своей матери, о том, как она за меня волнуется.

Молился:

Простираю к Тебе руки мои; душа моя – к Тебе, как жаждущая земля.

Существуют особые подразделения, куда входят военные психологи; их задача – разрешать проблемы деликатно, пытаться договориться, пока идут военные действия.

Одним из первых, кто заметил, что израильские военные пользуются нетрадиционными средствами для "установления контакта с врагом", был отец Поль Делаланд. За свои восемьдесят шесть лет, большую часть которых он провел здесь, водя экскурсии паломников по церкви Рождества, он впервые оказался в таких условиях.

И речь не только о палестинцах, присутствие которых нарушало тишину его ученых занятий и сон, и не об автоматных перестрелках; начиная с пятого апреля израильтяне стали использовать по ночам оглушительные шумовые гранаты. Прошло несколько дней, пока израильские эксперты поняли, что грохот шумовых гранат, от которого дрожат стены францисканского монастыря и едва не лопаются барабанные перепонки монахов, не проходит через толстые стены Базилики, где расположились палестинцы.

Отец Делаланд лишился сна. В телефонном разговоре с журналистом из английского еженедельника он пожаловался на то, что от взрывов этих гранат страдают только священнослужители, как будто израильтяне именно их стараются оглушить, а не палестинцев.

Точно такая же история получилась и с громкоговорителями, установленными "психологами" прямо под церковью Рождества: обращения, адресованные палестинцам, доходили только до францисканских братьев.

Отец Делаланд рассказал, что "кантилена" начиналась под вечер. Голос на арабском языке с ливанским акцентом уговаривал палестинцев выйти, обещал безнаказанное возвращение домой, напоминал, что их ждут близкие, что женам и детям нужны мужья и отцы, постоянно повторял номера телефонов, по которым желающие могут войти в контакт с израильскими офицерами.

Время от времени (также на арабском) по радио транслировались новости, включая то, что происходит за стенами церкви Рождества. Это были настоящие, не фальсифицированные новости, просто они отбирались с выгодой для осаждавших и должны были деморализовать осажденных. Например, не сообщалось, что американский госсекретарь Пауэлл встретился с Шароном и Арафатом, зато передавался комментарий палестинского министра, в котором он называл результаты этих переговоров "катастрофическими".

Цель психологов в униформе во время событий в Вифлееме была проста: убедить палестинцев, занявших Базилику, в необходимости как можно скорее разрешить конфликт, лишить их чувства уверенности,

убежденности в том, что, сопротивляясь, они демонстрируют силу; внушить им, что они не правы, вынудить уступить.

И для этого они использовали любую возможность. Израильские эксперты заметили, что жители соседних домов снабжают палестинцев сигаретами и бутылками с водой, бросая их из окон. Тогда они тоже стали бросать бутылки во двор греко-православного монастыря. Только не с водой, а с записками примерно такого содержания: "Уходите, ваша судьба зависит от вас самих. Ваши семьи, ваши жены и дети ждут вас".

Для установления контактов они решили использовать и последнее достижение современности — мобильные телефоны. По мнению пресс-атташе израильской армии подполковника Рафовича, именно благодаря мобильникам ситуация в церкви Рождества разрешилась благополучно.

"С самого начала, — говорит он, — мы поддерживали связь с теми, кто укрылся в Базилике. Инициатива исходила от нас. Нам удалось определить некоторые номера телефонов. Начали им звонить, одному за другим, надеясь выйти на тех, кто не откажется разговаривать, кто нам ответит. Так, постепенно, начался диалог между "Peace Center" и Базиликой. Мы говорили искренне, по-дружески, называли себя, объясняли, чего хотим, советовали им выйти или, по крайней мере, обсудить условия выхода. У нас были десятки номеров. Сначала, долгое время, ничего не получалось. Абсолютно ничего. Прошло три недели, три долгие недели, пока наши звонки не принесли результатов и мы не вышли на группу палестинцев, согласившихся вести с нами переговоры. Это было начало разрешения кризиса".

Рассказывает отец Ибрагим

4 апреля 2002 года

До сих пор я занимался только неотложными делами, но утром в четверг решил: будь что будет, но сегодня я отслужу мессу в Пещере Рождества. Около восьми мы спустились туда с отцом Амджадом и еще несколькими братьями. Ступая между спящими на полу палестинцами, я совершил таинство евхаристии и помолился, чтобы все это поскорей закончилось.

Какие ужасные часы пережили мы в тот четверг! Страшнее всего было, когда израильтяне взорвали железные ворота со стороны православных и испуганные палестинцы, высадив две двери, устремились к нам, францисканцам, даже наверх поднялись, в кельи. Братья и сестры, которые находились в кухне, разбежались.

Это случилось в 11.25. Палестинцы заняли позиции в окнах с оружием на изготовку. Очевидно, израильтяне еще не контролировали полностью весь комплекс, иначе бы они заметили их, и тогда началась бы настоящая бойня.

К счастью, этого не произошло. Но в те минуты мы с братьями чувствовали себя между двух огней. Мы побоялись обедать в трапезной и отнесли еду наверх. Хорошо, что сестра Нунциатина, всегда очень обязательная, сварила обед. Ей помог в этом брат Марио.

Нам было по-настоящему страшно. Но я успокаивал братьев: ничего, мол, все обойдется; успокаивал и руководство по ту сторону стены.

Палестинцы не стали стрелять еще и потому, что я с ними все время разговаривал. Пытался остановить, убеждал вернуться на прежнее место. Они были очень озлоблены, чувствовали себя в опасности; им казалось, что израильтяне готовят штурм и войдут со стороны православных. Член городского совета Вифлеема Аль-Мадани, адвокат Сальман и я попытались их успокоить. В конце концов они пообещали не стрелять, но сказали, что должны держать ситуацию под контролем.

Мы решили закрыть проем, образовавшийся после взрыва ворот, кое-как заделали его. И около пяти часов вечера палестинцы вняли моим просьбам, освободили кельи и спустились вниз, в помещение рядом с кухней, где и оставались до следующей среды. Это был первый случай, когда в монастыре находились люди с оружием.

Мало нам плохих известий, так вот еще одно (к счастью, в дальнейшем не подтвердившееся), о смерти отца Жака, который жил у монахинь из церкви Святой Бригитты. Только через три дня мы узнали, что он в добром здравии, просто у него не было возможности связаться с внешним миром. Слава Тебе, Господи, что не забрал его у нас!

Я подавлен обрушившимися на меня событиями. За весь день даже не притронулся к еде. Возвращаться к себе в комнату не хочется. Там у меня мобильный телефон и прямой – с колледжем. Тот и другой звонят не переставая.

Слава Богу, хоть электричество есть, так что мы включили телевизор, чтобы скоротать время и немного отвлечься, но тщетно.

Молился:

Сохрани меня от силков, поставленных для меня; на Тебя уповаю, не отринь души моей.

5 апреля 2002 года

С братом Амджадом отслужили мессу в Пещере Рождества. Едва закончили, позвонил нунций: мы должны организовать выход четырех монахов. Они попросили разрешения покинуть монастырь, сославшись на нездоровье. Вместе с ними нужно отправить австрийских мастеров, которые реставрировали орган и оказались блокированными в Молочной пещере. Связаться с мастерами мне не удалось, поэтому их отправка была отложена.

Со мной вышли на прямой контакт израильские военные: позвонил некто Юссеф, не знаю, в каком он был чине, кажется, капитан. Мы договорились: братья выйдут через маленькую дверь гостиницы "Каза нова" и уедут на нашей машине. За руль сядет один из монахов. Я должен буду их проводить до ворот.

Все прошло гладко. Я вышел с отцом Северином. Нас ждала группа солдат. Они приготовили для каждого по бутылке воды и по яблоку. Я отказался. Сказал, что мне ничего не нужно.

Стоял у двери, пока четыре наших брата не уехали. Посмотрел на часы. Было без пяти два. Потом вошел внутрь.

Вечером израильтяне начали взрывать шумовые гранаты, включили на полную мощность громкоговорители. Это была настоящая пытка. Обращаясь к молодым палестинцам, они предлагали им выйти. Говорили, что отправят их домой и что никакая опасность им не грозит.

Всю ночь не сомкнул глаз, заснул только под утро.

Молился:

И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.

6 апреля 2002 года

Проснулся я в десять. Как обычно, поднял жалюзи на большом окне, оно занимает всю стену. Хотел посмотреть, что там, снаружи. У ворот моего колледжа – солдаты с автоматами, их много, даже не знаю сколько. Я выглянул, и они стали стрелять.

Просто чудо, что в меня не попали. Услышав звук открывающегося окна, они тут же взяли его под прицел, чтобы в случае чего начать стрелять.

И начали.

Я очень испугался. В голове было только одно: спрятаться! Но куда? Пули пробили стекла, ударили в стену. Попробовал залезть под кровать, но не смог – слишком большой. Выскочил из комнаты как был, в одной пижаме. В коридоре столкнулся с послушником Рами. Что случилось? – удивился он. В меня стреляли, иди посмотри. Он зашел и увидел, что стало с комнатой. Он был потрясен. Я обулся, надел рясу прямо на пижаму.

С этой ночи я переселился вниз, спал в других комнатах монастыря. Днем отключили электричество, причем только у нас, францисканцев. Мы перешли на генератор, но горючего хватило всего на несколько часов.

После совещания в первый день оккупации у меня не было случая встретиться ни с греческими, ни с армянскими монахами. Сегодня настоятель греко-православного монастыря уехал в сопровождении диакона и трех находившихся у них гражданских. Они вышли через свою дверь и сели в израильскую бронемашину. Попрощаться с ними мне не удалось: для этого надо было пройти через открытое пространство, а после того, что случилось утром, я не отважился рисковать.

Молился:

Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя.

7 апреля 2002 года

Время от времени звонили военные, причем разные. Первым позвонил тот самый Юссеф, с которым мы договаривались о выходе наших братьев. Все звонившие говорили одно и то же: почему не уходите, почему не думаете о спасении своих жизней, почему не хотите понять, что оставаться в монастыре опасно?

В ответ и я повторял одно и то же: мы не можем покинуть нашу обитель. Уже больше семи веков мы, францисканцы, поставлены стражами этого святого места[1] *и останемся своему долгу верны. Случались ситуации и похуже, но никогда братья не покидали церкви Рождества Христова, никогда не отрекались от своего служения. Почему же вы хотите, чтобы они сделали это теперь? Лучше, говорил я, помогите нам с медикаментами, нам нужны лекарства для отца Иоханнеса, он диабетик, и для отца Маркоса, у которого больное сердце.*

То же самое я объяснял и представителю израильского посольства в Италии. Мы с ним участвовали в телевизионных дебатах, я – по телефону. Я спросил этого господина: простите, а если кто-то придет и займет дом, в котором вы живете, вы что, все бросите и уйдете?

Израильтяне продолжали настаивать. Они обратились к нунцию и хранителю Святой Земли с теми же требованиями. Но в Иерусалиме их попросили, как и я здесь просил, не настаивать на нашем уходе.

Палестинцы, укрывшиеся в монастыре, все время спорили. Израильтяне хотели вести переговоры с кем-то одним, но никто не решался взять на себя такую

1. В 1230 г. папа Григорий IX назначил францисканцев стражами Святых мест. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ответственность. Они думали или, лучше сказать, надеялись, что все может еще разрешиться, как у их товарищей, которые заняли церковь Святой Бригитты. Там все закончилось хорошо: израильтяне отошли, и палестинцы освободили церковь. Тогда-то мы и узнали, что отец Жак Амадеис жив.

Из-за волнений и забот я чуть не забыл, что сегодня седьмого апреля – воскресенье. Здесь я десять лет и впервые за все время не отслужил воскресную мессу для прихожан! Я люблю служить для людей, люблю общаться с людьми и вместе с ними посвящать несколько часов Господу.

Бывает, что из шести воскресных месс в церкви Святой Екатерины три служу я. Во время израильской оккупации в октябре прошлого года нам удалось не нарушить порядка воскресных встреч с католиками Вифлеема. Но седьмого апреля церковь осталась закрытой. Венчания, обручения – все отменилось. Даже отпевания. За период осады умерло пять прихожан, и пока действовал комендантский час, родственники вынуждены были отвозить своих умерших в Бейт-Халлу для временного захоронения. Думаю, подобного в истории Вифлеема еще не случалось.

Зато перед тем как Папа в Риме прочел Angelus Domini[1]*, посвятив эту молитву нам, весь мир услышал звон колоколов церкви Рождества в трансляции RAI. Это оказалось возможным благодаря моему мобильному телефону.*

Вечером снова заревели громкоговорители, установленные на израильских военных машинах. Все тот же жуткий вой вперемешку с лязгом гусениц. Палестинцы получили сообщение от своих, что Вифлеем занят полностью. Израильтяне разворотили своей техникой город, сорвали двери с магазинов. Похоже, мы здесь, за стенами церкви Рождества, в лучшем положении, чем те несчастные, к которым израильтяне врываются в дома.

Молился:

Спаси народ Твой, Господи, и благослови наследие Твое; паси их вовеки!

8 апреля 2002

Мы спали в семинарии, когда это началось. Было три часа ночи. Прямо настоящая война, казалось, вот-вот стены рухнут. Автоматные очереди, орудийные залпы. Телефоны еще работали, потому что кто-то позвонил нам и сказал: у вас пожар в притворе, вызывайте пожарных.

Поднялась невероятная суматоха. Вооруженные палестинцы перебежали из Базилики через внутренний двор в монастырь. Они уверяли, будто группа израильтян проникла на крышу гостиницы "Каза нова", завязалась перестрелка, есть раненые. По словам палестинцев, израильтяне бросили несколько гранат, это и стало причиной пожара. Убегали они так поспешно, что растеряли оружие, бронежилеты, даже одно удостоверение личности обронили.

Молодежь с одеялами в руках бросилась в притвор сбивать пламя. Пожарные всё не ехали.

Уже в пятом часу утра с крыши гостиницы принесли тело Каледа Сиама. Молодой, всего двадцати трех лет от роду, он служил в национальной гвардии. Первый убитый в нашем монастыре. Его друзья сказали мне: отец, это Калед, он погиб. У него была пробита пулей левая щека. Несколько часов он лежал во внутреннем дворе перед нашей кухней. Потом его перенесли в одно из помещений монастыря. Обмыли, подготовили к погребению. Клялись отомстить. Я ста-

1. "Ангел Господень" – католическая молитва, которая повторяется три раза в день и которой предшествует колокольный звон.

рался образумить их, кричал: если не отступитесь, все кончите как Калед. Потом они стали молиться. Читали суры Корана. Они ведь мусульмане. Я тоже молился. Про себя.

Наконец приехали пожарные и потушили огонь. Я пошел посмотреть, что стало с помещением. Слева во всю стену была картина, изображающая Святое семейство. Я любил ее, часто на нее смотрел, знал до малейших деталей. От нее даже рамы не осталось, сгорела вместе с некоторыми частями еще не смонтированного полностью органа, с мебелью, стульями. На полу я заметил пятна крови. Сколько признаний мне довелось услышать в этих стенах от прихожан!

Есть у нас один семинарист, который играет на гитаре. Он всегда собирал здесь вифлеемскую молодежь, они вместе пели.

Пытаемся, по мере возможности, навести порядок. Здесь должна царить жизнь, а не смерть.

Внизу исторический архив монастыря, документы, которые мы храним с седьмого века. Неужели они пропали? В хранилище следы от пуль, но бумаги в целости и сохранности. Благодарим Господа, что он сберег их.

"Мы боимся, что дальше будет еще хуже" – так я сказал журналистам, когда они позвонили в понедельник.

Адвокат Сальман звонит военному координатору вифлеемской полиции, просит разрешения передать тело Каледа его родственникам для погребения. Настаивает, чтобы приехала машина Красного Креста. Абуна (отец) Ибрагим, просят меня палестинцы, желательно, чтобы вы сопровождали тело Каледа. Хорошо, соглашаюсь я, сделаю все, что от меня потребуется. Но израильская сторона настаивает на бронемашине, а палестинцы против. В результате Калед остается в монастыре.

Молился:

Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?

9 апреля 2002 года

Не зря говорят "Божественное провидение". Настроение у меня было, прямо сказать, неспокойное, но в то утро я не удержался от улыбки.

Когда встал вопрос о гробе для усопшего, я вспомнил, что наш пономарь по имени Иосиф до того, как принять монашеский обет, был плотником. Кто же, кроме самого Господа, мог послать к нам сюда, в Вифлеем, еще одного Иосифа-плотника?

Мы взяли деревянный ящик из-под органных труб. Он был очень длинный. Тут и на двух покойников места хватит, пошутили мы, и Иосиф, распилив ящик пополам, сделал из него два – в рост человека. Знай мы, что через несколько дней потребуется гроб для еще одного палестинца, мы не стали бы так глупо шутить. Прости меня, Господи! Не ведая того, я невольно накликал беду.

Несколько ударов молотка – и Иосиф-плотник вбивает последний гвоздь в гроб бедного Каледа.

Куда его девать? Скоро тело начнет разлагаться, появится ужасный запах, не можем же мы держать гроб здесь, рядом с более чем двумя сотнями живых?

В конце концов, поговорив с православными, решаем поставить гроб к ним, в Пещеру Непорочных. Это самое прохладное и влажное место в Базилике. За все время, что гроб там стоял, запаха не было.

Мы ждали, что с часу на час придет разрешение на вывоз гроба. Нунций звонил мне из Иерусалима и повторял одно и то же: "Вопрос вот-вот решится, тело скоро заберут".

Однако Калед пробыл с нами семнадцать дней. Семнадцать дней без погребения!

Мы, священники и монахи монастыря, выполняли посредническую миссию. Вооруженные только словом, как святой Франциск, отправившийся к египетскому султану Мелик-Камилю, мы обращались то к одной, то к другой стороне. В тот вечер я возблагодарил Бога за то, что он и нас наделил даром убеждения.

Молился:

Блаженны миротворцы; ибо они будут наречены сынами Божиими.

10 апреля 2002 года

Мы решили убедить палестинцев покинуть наш монастырь. Тут слишком много окон, через них видны постоянные передвижения людей, говорили мы, вы подвергаете опасности и нас, и себя. Они послушались и ушли. Вместе с Иосифом-плотником мы починили двери, поправили запоры, которые они сорвали, ринувшись к нам в поисках спасенья.

В келью армянского монастыря влетела пуля и ранила в бедро диакона. Он совсем еще мальчик, мне так жаль его, представляю, как он страдает. Идти проведывать его – очень рискованно. Чтобы попасть к армянам, надо пересечь Базилику из конца в конец, и к тому же к ним не достучишься: они никогда не слышат, а значит, и не откроют. Решил позвонить по мобильному. Оказалось, все не так плохо, раненого должны с минуты на минуту отправить в больницу.

Уже три дня, как у нас отрезано электричество. Горючее кончилось, и электрогенератор, оставшись без питания, превратился в ненужный хлам. Но Бог послал нам Рами, послушника, он по профессии электрик. В нашей гостинице "Каза нова" свет пока есть, и Рами протянул оттуда провод, чтобы можно было пользоваться самыми необходимыми электроприборами, подзаряжать мобильные телефоны, смотреть телевизор.

Таким же образом решили проблему и с водой: Рами, уже в качестве слесаря, провел ее все из той же гостиницы в кухню. Чтобы напиться или умыться, мы, двадцать четыре брата и четыре сестры, выстраиваемся в очередь к одному-единственному крану. Но от жажды мы не умираем и за это не устаем благодарить Господа.

Палестинцы берут воду в колодце у православных, а в уборную ходят к нам, в монастырскую галерею. Чтобы их не увидели израильтяне, они зашили стеклянные двери досками.

Начались и трудности с едой. До сих пор мы давали все, что у нас просили, но десятого апреля выяснилось, что палестинцы взяли у православных уже последние мешки риса.

Мы с отцом Амджадом решили нормировать распределение наших запасов. Палестинцам, теперь снова обосновавшимся в Базилике, будем выдавать еду один раз в сутки, иначе через несколько дней вообще нечего будет есть. Спускаемся в кладовую, чтобы провести инвентаризацию: у нас осталось четыре мешка риса по двадцать пять килограммов в каждом и центнер итальянских макарон. Эти макароны были из контейнера, присланного в дар нуждающимся Вифлеема тосканскими прихожанами. Эти нуждающиеся находились сейчас здесь, у нас, их надо было кормить. Решили чередовать: один день рис – пятнадцать килограммов на всех, другой день – столько же макарон. Мы посчитали, что таким образом сможем некоторое время продержаться, и не ошиблись: никто не объедался, но никто и не умирал с голоду.

В тот вечер я молился:

И кто хочет быть первым, да будет всем рабом.

11 апреля 2002 года

Бедный брат Маркос, что ему пришлось пережить! И почему это должно было случиться именно с ним – человеком пожилым, к тому же сердечником?

Ранним утром он примчался в одной пижаме в семинарию. "В меня стреляли, – задыхаясь, кричал он, – я чистил зубы, и в меня начали стрелять!"

В его келье валялась опрокинутая бутылка с водой, умывальник был расколот пополам, везде следы от пуль – на двери, на стенах. Одна пуля застряла в узле грязного белья. Когда Маркос успокоился, он рассказал, что проявил чудеса акробатики, уклоняясь от выстрелов: одна пуля просвистела у самого живота, другая врезалась в стену в каких-нибудь двух сантиметрах от его головы.

Я сказал Маркосу, что прекрасно понимаю его состояние, ведь три дня назад сам пережил то же самое. Но, видно, Господь решил пока не призывать нас к себе, потому оба мы, он и я, остались живы.

По церкви Рождества то и дело стреляли. Опасно было даже ходить в кухню за водой.

Я молился:

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

12 апреля 2002 года

Мы мечтали о свечах, как о манне небесной. Пономарь церкви Святой Екатерины сетовал, что они кончаются. Как же нам теперь передвигаться по монастырю в темноте? Ведь даже днем ставни наглухо закрыты.

Вокруг монастыря, особенно в нашей стороне, висит дымовая завеса, ни на минуту не прекращаются взрывы, автоматные очереди.

Положение кажется безвыходным. Мы стараемся держаться вместе, так легче справиться со страхом и постоянным напряжением; только уверенность, что ты не один, позволяет немного расслабиться, если можно так выразиться – отдохнуть.

Две ночи мы, братья и сестры, провели в кладовой. Она такая маленькая, что в ней и сидеть-то тесно, не то что лежать. Сижу закрыв глаза. О том, чтобы уснуть, и речи быть не может: война совсем рядом, в двух шагах.

В такие часы я терял присутствие духа. И не только я. Все мы были подавлены, не видели выхода, но, обсудив вместе ситуацию, снова начинали надеяться. На этот раз мы надеялись на мистера Пауэлла, американского госсекретаря. Говорили, что он уполномочен президентом Бушем и прибыл на Ближний Восток с планом мирного урегулирования. Значит, он наверняка займется и нашей проблемой. Мы знали, что он уже виделся с Шароном, а на следующее утро должен встретиться с Арафатом.

Мы полагались на Господа и молились:

Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей.

13 апреля 2002 года

Я разговаривал с отцом Баттистелли, хранителем Святой Земли. Он сообщил мне, что Пауэлл перенес встречу с Арафатом на воскресенье из-за очередного террористического акта, в котором погибли израильтяне.

Я спрашивал себя: когда же остановится эта лавина насилия? И сам себе отвечал: никогда, никогда не остановится.

Но хранитель вновь вернул мне надежду: сегодня Пауэлл должен встретиться с главами христианских общин. Это хороший знак для церкви Рождества, может, удастся найти выход из положения.

Мэр Вифлеема Ханна Нассер сказал мне, что по поводу электричества надо напрямую обращаться к израильтянам. Военные сменили замок на центральной станции, объяснил он, ключи у них, значит, только они и могут возобновить подачу электроэнергии в монастырь. И вот уже в пятый раз я звоню в оперативный штаб израильской армии: "Будьте добры, включите нам свет. С тех пор, как в Базилике палестинцы, францисканский монастырь остается без электричества".

На этот раз я разговариваю с каким-то Яиром, кажется, он офицер. Разговор идет на арабском. Яир очень любезен, уверяет меня, что приложит все усилия для восстановления линии.

Электричества так и нет. Мало того, православным его тоже отключили.

В темноте укладываем во второй гроб второго убитого палестинца по имени Хассан, полицейского из Газы. Пуля настигла его на террасе гостиницы "Каза нова". Теперь он составит компанию Каледу, который все еще ждет погребения в Пещере Непорочных.

Сегодня вечером палестинцы сами стали звонить в колокола, чтобы напомнить о себе жителям Вифлеема.

Раненые поправляются. Опасение вызывает только Джихад с раздробленными ступнями. Он не может подняться, не может дойти до уборной. Сестра Лизетта бессменно находится возле него и продолжает настаивать на срочной операции.

Я убеждал и палестинцев, и израильтян, чтобы они согласились на госпитализацию раненого. Больше я ничего не мог сделать.

Вечером с остальными братьями отправился в кладовку, чтобы провести там ночь (сказать "спать" – язык не поворачивается).

Молился:

К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои.

14 апреля 2002 года

Мы отслужили мессу. Сегодня уже второе воскресенье без прихожан. Пока был комендантский час, никто не мог выйти из дома. Но даже когда его отменили, территория вокруг церкви Рождества осталась закрытой: кордоны и военные машины никого не пропускают.

Звонок израильтян: "У нас продукты для вас, францисканцев".

Договариваемся на два часа дня у входа в гостиницу "Каза нова". Идем втроем. Наконец-то получаем лекарства для отца Иоханнеса и отца Маркоса. Еще нам вручают двадцать четыре бутылки минеральной воды и десять плиток шоколада. Не густо, но и на том спасибо: доброму христианину роптать не пристало.

Настроение у нас все время то падает, то поднимается. Пауэлл должен встретиться с Арафатом. Ждем конкретных результатов. Благодаря Рами, протянувшему провод из гостиницы, мы имеем возможность смотреть телевизор. Катарская телекомпания "Аль-Джазира" передает интервью с палестинским министром Абедом Раббо. Он называет только что закончившуюся встречу Пауэлла и Арафата "катастрофической": ни о чем не удалось договориться. Мы снова на грани отчаяния.

Молился:

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Постоянная проблема этого района – нехватка работы. Начиная с восемнадцатого века францисканцы, обеспокоенные тем, что палестинские христиане уезжают отсюда в поисках счастья, старались всеми силами бороться с нищетой. В Иерусалиме они покупали и строили дома, чтобы сдавать их христианскому населению. В Вифлееме создавали артели по производству деревянных и перламутровых предметов культа. Привозили специалистов из Европы, способствовали обучению ремеслам, по поручению Ватикана организовывали паломничество в Святую Землю.

Но им не удалось сохранить христианскую диаспору, которая была составной частью диаспоры палестинской.

С 1897 года палестинские христиане начали уезжать из Вифлеема, где в то время правили турки и не было работы. Половина отправилась на другой край земли, в Сантьяго-де-Чили. Второй поток эмиграции приходится на 1967 год, он начался после Шестидневной войны, когда иорданскую администрацию сменила израильская. Многие христиане Вифлеема из-за экономических трудностей продавали собственность. Дома и земельные участки скупали представители крупных мусульманских кланов, которые по традиции отличались сплоченностью и знали толк в бизнесе. Связанные родственными узами, они помогали друг другу удерживать низкие цены на собственность, которую продавали христиане, отправляясь за удачей в дальние края. Только в Чили и Гондурасе сегодня больше вифлеемцев, чем в самом Вифлееме. За границей живет около трехсот тысяч выходцев из этого города, причем не только в Южной Америке, но и в Соединенных Штатах, Австралии, даже на Гаити.

Исход христиан не повлиял на религиозный туризм, который издавна служил средством к существованию города. В юбилейном двухтысячном году, чтобы попасть в церковь Рождества, нужно было часами стоять в многотысячной очереди на Ясельной площади.

К началу торжеств в Вифлееме построили гостиницы и дома для туристов, открыли новые рестораны. В "Peace Center", также построенном к юбилею, заработал офис по обслуживанию туристов.

К концу года все было закрыто, разрушено в боях с израильтянами или приспособлено под жилье для тех, кто лишился крова.

Рассказывает отец Ибрагим

15 апреля 2002 года

Как такое возможно? – спрашивал я себя. Как могло получиться, что американская дипломатия потерпела поражение? Неужели мир настолько одичал, что не осознает: еще немного – и мы уже ничего не сможем сделать? Госсекретарь Пауэлл, прежде чем приехать в Иерусалим, побывал в Марокко, Египте, Иордании. Все были согласны: да, надо действовать. Но едва Пауэлл ступил на Святую Землю, сговорчивых в неофициальных беседах лидеров точно подменили. Насилие день за днем продолжается, жестокость порождает ответную жестокость.

Мы теряли последнюю надежду. Особенно я беспокоился за молодых. В порыве отчаяния они могли пойти на что угодно. Я пытался их успокоить. Но с трудом находил убедительные аргументы: общее отчаяние сломило и меня.

В три часа зазвонил мой мобильный. Это был монсеньор Саббах, латинский патриарх Иерусалимской епархии. Не дав мне и рта раскрыть, он сказал: "Здравствуй, Ибрагим, звоню тебе из Рима. Я у Папы, он хочет с тобой поговорить. Передаю трубку его секретарю".

Я решил, что он меня разыгрывает. Признаться, готов был уже спросить, не желает ли он побеседовать с Юлием Цезарем, мы тут как раз спорим с ним о римской истории.

НО ЭТО БЫЛА ПРАВДА! Сердце мое забилось от радости. Все слова вылетели из головы, я только и мог, что повторять секретарю понтифика, монсеньеру Станиславу: "Спасибо, спасибо..."

Папа спросил меня по-итальянски, как мы. Я ответил: "Слава Господу, у нас, братьев Вифлеема, все хорошо". А он в ответ: "Держитесь, наберитесь мужества, оставайтесь на страже Святого места. Я молюсь за вас".

Вы не представляете себе, до чего это было трогательно! Я ответил так: "Ваше святейшество! Клянусь вам, что мы навсегда сохраним верность этим местам, и в первую очередь – Святой пещере, в которой родился Иисус; мы и впредь будем хранить ее вместе с братьями других христианских общин".

И еще он мне сказал: "Крепитесь, не бойтесь, Господь с вами. Я ни на минуту не перестаю думать о вас. Благословенно имя Иисуса Христа".

Именно в тот момент, когда растерянность моя достигла наивысшего предела, услышал я голос Папы, укрепивший мой дух.

Я стоял в коридоре монастыря, возле статуи Архангела, потому что в этом месте самая хорошая слышимость. Позади меня стояли Рами и отец Амджад. Тихо, Ибрагим говорит с Папой, зашептал Рами, я сам слышал, как он сказал "Ваше святейшество"! Амджад не верил своим ушам.

Я записал слова Папы, и в 16.30 во время мессы отец настоятель Святой Екатерины прочитал их братьям.

Монсеньер Самби, папский нунций в Иерусалиме, тоже не хотел верить. Он в тот день мне еще не звонил, и я позвонил ему сам. Хочу сообщить тебе одну новость, начал я, ты вот мне не звонишь, а Папа позвонил. Причем лично.

Похоже, он спал, но, когда услышал новость, сон как рукой сняло. Вот видишь, обрадовался он, я же говорил, наберись терпения, светлый день придет. И он уже не за горами, раз Папа тебе позвонил.

Я опять обрел веру в себя. Но сколько еще горя было вокруг!

В тот вечер нам с адвокатом Сальманом удалось сделать важное дело – эвакуировать одного юношу с осколочным ранением в живот и одного больного. Я хотел отправить и Джихада с раздробленными ступнями, чтобы ему сделали операцию, пошел к нему, но он отказался покидать товарищей, да и израильтянам не верил.

Так и не убедив его, я отправился спать и возблагодарил Господа, что он дал мне дожить до такого дня.

Молился:

Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего.

16 апреля 2002 года

Утро прошло в хлопотах: занимались отъездом двух братьев – француза отца Делаланда и американца отца Джорджа. Отец Делаланд – человек высочайшей культуры. Он уже в преклонном возрасте, ходит с трудом, в таких тяжелых условиях ему нельзя оставаться.

Какое счастье, что они успели уехать прежде, чем завязался бой! Около половины седьмого вечера началась стрельба, которая не прекращалась в течение сорока минут. Мы ничего не понимали: кто стреляет, в кого, откуда? В православном монастыре возник пожар, две комнаты пострадали. Идти туда и проверять, что произошло, было опасно; даже сами православные смогли оценить нанесенный им урон лишь спустя несколько дней.

Вечером Арафат обратился из Рамаллы к христианам всего мира, призывая их сохранить церковь Рождества в Вифлееме. Палестинцы, находившиеся в Базилике, не принимали самостоятельных решений, а действовали только по приказу Арафата. Они подчинились его решению пойти на переговоры. Арафат выбрал в переговорщики адвоката Сальмана, находившегося здесь, в церкви Рождества, мэра Вифлеема Нассера, министра туризма и члена Законодательного собрания Салаха Таамари.

В разговоре с Таамари я настаивал на создании комиссии, которая бы обсудила с израильтянами возникшие у нас гуманитарные проблемы, но Таамари сказал мне, что Арафат пока не дал на это согласия.

15 апреля из церкви был совершен побег, но узнал я о нем только на следующий день. Сбежал мальчишка, очень симпатичный, живой и веселый. Он из лагеря беженцев в Дехейше, где во время уличных сражений в начале последней интифады был ранен в бедро и с тех пор хромает. Как ему удалось бежать, когда Базилика окружена плотным кольцом военных, неизвестно, но уже через сутки его товарищи знали, что он дома и с ним все в порядке. Ему лет пятнадцать, зовут его тоже Джихад, это распространенное мусульманское имя. Тут, в Базилике, среди палестинцев есть еще подростки, лет тринадцати-четырнадцати. Они ведут себя шумно, сломали несколько дверей в "Каза нова"; мне кажется, взрослые не очень ими довольны. Я спросил: почему вы не отпустите их отсюда? А мне ответили: ребята сами не хотят уходить.

И все-таки один из этих подростков на свободе, он спасен.

Я молился:

Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.

17 апреля 2002 года

А другому подростку, его звали Тахер Манасра, не повезло. Насколько я знаю, бежать он не собирался, просто хотел нарвать бобов, которые растут у нас в саду. Это было в одиннадцать часов утра. Назад его принесли товарищи. Он потерял много крови. Пули попали в ногу. Сестра Лизетта обработала раны, они были не смертельные. Но этот случай показал, что голодные обитатели Базилики дошли до отчаяния, раз готовы рисковать жизнью ради горстки бобов.

Меня мучил вопрос: что будет, когда кончатся наши запасы риса и макарон, которыми мы ежедневно делимся с палестинцами?

Видел по телевизору Джихада – подростка, который убежал. Он рассказывал, что, как только оказался по ту сторону стены, его сразу же задержали израильские военные. После допроса, продолжавшегося несколько часов, он был отправлен домой. Журналистка телекомпании "Аль-Джазира" поинтересовалась, слышны ли внутри громкоговорители и шумовые гранаты и насколько они мешают. Джихад ответил, что внутри ничего не слышно.

В Базилике конечно не слышно! Стены двухметровой толщины и низкие Врата Смирения, в которые я вхожу, сгибаясь в три погибели, никаких звуков не пропускают. Для нас же, обитателей монастыря, это настоящая пытка.

Как ни странно, вопрос тележурналистки возымел действие: в тот вечер израильтяне приостановили свои "музыкальные" бомбардировки. Ночью нам удалось наконец поспать.

Перед сном молился:

Ложусь я, сплю и встаю: ибо Господь защищает меня.

18 апреля 2002 года

В десять утра назначенные Арафатом и израильским правительством переговорщики должны были сесть за стол переговоров. Переговоры сорвались, даже не начавшись. Мне объяснили, что Арафат хотел включить в комиссию религиозных представителей. От римско-католической церкви он пригласил латинского патриарха Иерусалимской епархии и папского нунция монсеньера Самби. Но израильское правительство сказало "нет": переговоры должны быть строго двусторонними. Таким образом, все вернулось к нулевой отметке.

Несмотря на острую нехватку продуктов, организация питания в Базилике была налажена четко. Полицейские, гражданские, члены движений "Хамас" и "Танцим" питались отдельно, получая при этом от нас ежедневную порцию макарон или риса. Порции эти были мизерные, я сам видел, как повар Абу Ибрагим кипятил воду с пучком зелени и делил это варево между группами. Мы готовили еду в огромной кастрюле, газовые баллоны нам давали из своих запасов православные.

К вечеру за стенами стали подниматься облака дыма, но к нам внутрь дым не проникал. Мы недоумевали: что бы это могло быть? Журналисты объяснили нам по телефону: дымовая завеса скрывает церковь Рождества от телекамер.

Я молился:

Подай нам помощь, Боже, ибо защита человеческая суетна.

19 апреля 2002 года

За стенами церкви Рождества, на территории палестинской автономии, уже перешли на декретное время; у нас же, отрезанных от внешнего мира, жизнь текла без изменений.

Впрочем, нет, изменения произошли, да еще какие! Нам и православным отрезали телефоны. Возмущенный до глубины души, я бросился звонить по мобильному в главный армейский штаб, расположившийся как раз напротив церкви Рождества, в "Peace Center". Наши братья и семинаристы родом из разных стран, объяснял я, им просто необходимо сообщать о себе близким, ведь те за них волнуются!

Какие проблемы, успокоили меня израильтяне, будет у вас телефон для связи с внешним миром.

Они протянули два провода – один к нам, другой к православным, и оставили перед Вратами Смирения телефонные аппараты. Мы взяли тот, что предназначался для нас, но воспользоваться им так и не смогли: звонить с него можно было только в одно место – все к тем же израильским военным.

Отец Джованни связался по мобильному с Италией, с францисканским монастырем в Лаверно, где наши братья проводили всенощное бдение за мир. Он рассказал им о трудностях, которые мы испытываем в Вифлееме.

Главная из них – нехватка воды. Как поделить единственный кран между двадцатью тремя братьями, четырьмя сестрами и палестинцами, которым также нужна вода?

Вечером молился:

Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды.

20 апреля 2002 года

Джихаду с раздробленными ступнями становится все хуже, но он упорно отказывался покидать церковь Рождества. Сегодня я в очередной раз пытался его переубедить. Тебе сделают операцию, настаивал я, никто тебя не арестует. Но он – ни в какую, говорит, израильтяне давно за ним охотятся. Сестра Лизетта, видя, что улучшения нет и даже облегчить страдания Джихада ей не удается, попросила адвоката Сальмана связаться с госпиталем в Бейт-Халле и позвать к телефону врача. Перечислив ему все имеющиеся у нее препараты, она спросила, что он посоветует. Сестра Лизетта всегда так поступает, когда не уверена в лечении.

Эта суббота прошла быстро. Короткая передышка в ожидании продолжения кошмара.

Мы воспользовались затишьем, чтобы спуститься в кладовую и подсчитать запасы: рис на исходе, но макароны еще остались.

Кстати, о макаронах: некоторые палестинцы стали поговаривать о том, что, если не будет другого выхода, они были бы рады получить убежище в Италии. Они считали, что Италия – гостеприимная страна и там к ним не будут относиться предвзято.

Да, итальянцы ко всем относятся дружелюбно. Я и сам, когда представляется возможность, с удовольствием езжу в Италию. Не только потому, что там Папа. У меня в этой стране много друзей. Сегодня вечером я грустил, вспоминая их.

А потом молился:

Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.

21 апреля 2002 года

В интервью, которое у меня брали по телефону, я напомнил журналистам, что сегодня третье воскресенье после Пасхи и в третий раз мы не служим мессу для наших прихожан. Утром нас известили из Иерусалима, что церковные патриархи, монахи и верующие попытаются преодолеть израильские посты и войти в Базилику.

Я был уверен, что им это не удастся, и все же слабая надежда теплилась. Она угасла, когда мне позвонили из канцелярии хранителя Святой Земли и сказали: ничего не вышло, солдаты перегородили дорогу и не пропустили религиозную процессию.

А вечером потух свет: отключили электричество в "Каза нова", откуда умелец Рами протянул к нам провод; отрезали нас от мира, лишив телевизора и возможности заряжать мобильные телефоны, которые из-за интенсивности наших разговоров очень быстро разряжаются. Мы надеялись продержаться какое-то время на аварийном генераторе, хотя и опасались за "чихающий" мотор, но подвел не мотор, а карбюратор: через несколько часов он вышел из строя.

Воспользовавшись темнотой, из Базилики в тот вечер убежали пять палестинских полицейских. Никому ничего не сказав, они ускользнули через дверь, ведущую к армянам. Должно быть, договорились с израильтянами, иначе бы их убили. Это коллаборационисты, говорили оставшиеся, кипя от злости. А по-моему, они просто не выдержали трудностей, напряжения. Им было плохо.

Я молился, и насчет света – тоже:

А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои.

22 апреля 2002 года

Я вдруг вспомнил: в "Каза нова" в моем директорском кабинете лежит новый мобильный телефон. Оказалось, он еще не успел разрядиться. Звоню своему начальству в Иерусалим: имейте в виду, дорогие, с сегодняшнего дня я больше не смогу отвечать на ваши звонки. Если удастся подзарядить батарейки, сам позвоню.

До сих пор телефонная связь служила определенной защитой. Разговоры с журналистами помогали мне сохранять присутствие духа все двадцать дней мучительного затворничества. Теперь и палестинцы лишатся связи: ведь без электричества остались все помещения церкви Рождества.

Единственным местом, где вечером загорался свет, была колокольня. Кому-то пришло в голову, что этим можно воспользоваться, и некий Вахель, наплевав на снайперов, залез туда, подсоединил провод и спустил его вниз. Нам тоже сделал отвод. Теперь мы сможем заряжать свои телефоны. Вокруг кромешная тьма.

В двух комнатах греко-православного монастыря возник пожар. Нам видно пламя. Вскоре пожарные потушили его.

Вечерние новости: Арафат согласился на двустороннюю встречу, израильтяне и палестинцы сядут за стол переговоров.

Молился:

Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.

Чтобы скрыть от глаз и камер журналистов то, что происходило вокруг церкви Рождества, израильтяне использовали дымовую завесу. Пиротехник поджигал содержимое больших металлических баков, и оттуда валил густой дым. Несколько минут ничего не было видно, но потом благодаря сильному ветру, который дул в те дни, видимость восстанавливалась, и перед нами, репортерами, стоящими на смотровой площадке гостиницы "Star Hotel", вновь открывалась оккупированная и осажденная церковь Рождества.

И все же они достигли цели, не зря римские францисканцы выражали свое беспокойство: и церковь Рождества, и события, которые вокруг нее разворачивались, постепенно стали исчезать с газетных полос и телеэкранов. <...>

"Star Hotel" в Вифлееме опустел, поскольку многие газеты и телеканалы отозвали своих корреспондентов, следуя известному в каждой редакции принципу: "Нет новостей — нет материала".

Даже самые упорные из освещавших ближневосточные беды переключили свое внимание на другие проблемы, например, на ожесточенные бои в Наблусе или на выяснение числа жертв в лагере беженцев в Дженине. Те, кто продолжал погибать в церкви Рождества и под ее стенами, никого не интересовали. Цирковое представление в Вифлееме закончилось, средства массовой информации сворачивали свои шатры.

Рассказывает отец Ибрагим

24 апреля 2002 года

Я разговаривал с Арафатом, который находился в Рамалле. Мы знакомы давно, еще с девяносто третьего года, когда он приезжал в Иерихон и посетил франци-

сканскую школу, директором которой я тогда был. Спустя два года на Рождество, в день его триумфального возвращения в Вифлеем, именно я встречал его на Ясельной площади. Тогда казалось, что начинаются лучшие времена, и вот мы снова погрузились в пучину нетерпимости.

Арафат поблагодарил меня. Прощаясь, он призвал францисканцев к выдержке. Скоро все разрешится, сказал он, осталось недолго.

Вместе с Аль-Мадани, Тони Сальманом и еще несколькими палестинцами мы отправились к армянам. Долго стучали. Нам не открывали. Мы продолжали стучать. Наконец я узнал голос настоятеля отца Размика: "Я никому не открою". Один мальчик крикнул ему: "С нами отец Ибрагим, он просит тебя открыть!" – "Я не слышу голоса отца Ибрагима. Если он точно с вами, я открою". Тогда я крикнул ему по-арабски: "Это я, Ибрагим, впусти меня!"

Он впустил. Показал нам взломанные двери, сказал, что к ним ворвались палестинцы, унесли все съестное, украли золотые кресты.

Мы с Сальманом вернулись в Базилику. Мы были очень сердиты. Собрали молодежь, потребовали, чтобы все украденное в армянском монастыре нашли и вернули в течение часа. Нашли и вернули.

Я поделился с армянами продуктами. У них, несчастных, совсем ничего не осталось. Отец Размик – диабетик, вся его еда состояла из диабетического хлеба, который он размачивал в воде. Один из вышедших накануне армянских монахов вернулся с несколькими банками мясных консервов и сигаретами. Один блок он подарил отцу Амджаду, у которого закончилось курево. Армяне – щедрый народ, последнее готовы отдать.

Второй день переговоров. Условились о прекращении огня, чтобы выпустить десяток самых молодых, уже ставших неуправляемыми. Это именно они ворвались к армянам и напугали их.

Вместе с ними покинут церковь Рождества и покойники, восемнадцать дней дожидавшиеся этого дня в Пещере Непорочных.

О включении электричества и речи нет. Зато военные пообещали, что, пока идут переговоры, нас будут обеспечивать продовольствием и водой.

Но начались перестрелки, и выполнение обещаний отложили до лучших времен.

Ассам Джарахида находился около цистерны с водой, когда раздались выстрелы со стороны православных. Брат Иосиф и Сальман вынесли раненого к машине "скорой помощи", но спасти его не удалось, он умер.

И еще одного ранили, тоже со стороны православных. Звали его Аль-Катиб. До Врат Смирения его донес один семинарист. Я не могу поднимать тяжести, у меня грыжа.

Молился:

Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного.

25 апреля 2002 года

Опасность с каждым днем возрастала. Израильские снайперы заняли помещения Православного общества. С этих позиций они отлично контролировали территорию православного монастыря, а там было немало молодых палестинцев.

В час дня израильтяне привезли первую порцию продуктов, причем только нам, францисканцам. Когда мы пришли на условленное место, в гараж гостиницы "Каза нова", солдаты передали нам пакет. Он оказался до смешного ма-

ленький. Вот, сказал один из них, и протянул пакет. Отец Северин взял его и вернулся в монастырь. Мы с отцом-настоятелем церкви Святой Екатерины остались и потребовали встречи с военным начальством. Старший группы сказал, что мы можем поехать с ними, на их бронемашине. Но я ответил ему очередным НЕТ. "Где мы можем встретиться с вашими командирами? – спросил я. – В "Peace Center"? Так он рядом, мы и пешком дойдем".

Их было трое или четверо, во главе с полковником по имени Маркел Авив. Говорили об электричестве, о нехватке продуктов. "Почему вы нас лишаете самого необходимого? Вы же знаете, как нам трудно". Они сказали: "Мы вас ни в чем не обвиняем. Мы знаем, что вы не виноваты".

Настоятель церкви Святой Екатерины пришел в ярость. Он немец, наш отец Иоханнес, человек строгого нрава. "Ja, ja, – сказал он, – вы отнимаете у нас воду, свет, телефоны, еду и при этом говорите, что убеждены в нашей невиновности!"

Они предложили зарядить наши сотовые. А если хотим, то можем позвонить из их штаба. Мы воспользовались первым предложением, но подзарядки хватило всего на один вечер.

Я сказал им о двух умерших, которые лежат непогребенные в церкви Рождества, и о группе палестинских подростков, с которыми все труднее справляться. Израильтяне выразили готовность выпустить и мертвых и живых. Последних отправят прямиком домой. Нам выдадут маски, чтобы мы не задохнулись, когда будем выносить трупы. Если верить израильтянам, это Арафат препятствует решению вопроса.

Возможно, они правы. Тем не менее, когда мы с отцом Иоханнесом вернулись, Арафат уже дал согласие на частичную эвакуацию: девять подростков были готовы к отправке, а с ними покидали церковь Рождества и два тела, которые, когда их подняли из пещеры, начали невыносимо смердеть. Мы тоже участвовали в этой операции.

В отношении восьмерых палестинцев израильтяне сдержали обещание и сразу же передали их родственникам, девятого же на несколько часов задержали секретные израильские службы.

Господь наконец ниспослал на нас свою благодать.

Я молился:

Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся.

27 апреля 2002 года

В этот день разговоры о высылке в Италию зазвучали определеннее. Пока Таамари консультировался с Арафатом, палестинцы, которые узнавали все новости раньше меня, уже начали обсуждать возможные варианты. По их мнению, Арафат пойдет на уступки и согласится, чтобы кого-то выслали в дальние края без права возвращения. Были и такие, кто не слишком по этому поводу горевал.

Абу Саид готов был отправиться в итальянское изгнание по личным мотивам: там он смог бы соединиться со своей невестой из Иордании. Судьба улыбнулась ему, он оказался среди тех, кого Италия согласилась принять.

Вахель, который протянул электричество с колокольни, плохо себя чувствовал. Сначала у него просто заболел живот, а потом вдруг начались такие спазмы, что он кричал от боли. Виной всему голод: Вахель наелся какой-то неизвестной травы, нарвав ее в саду. По договоренности с израильтянами мы и его отправили.

Ужасная вещь – голод! Я впервые увидел, что это такое. И представить себе невозможно, что́ люди едят здесь, в Базилике. Практически все, что растет

и выглядит более или менее съедобным. Во внутреннем дворике Святой Екатерины росли два молодых лимонных деревца, которые еще не плодоносили. С них ободрали все листья, и я сомневаюсь, что деревья выживут. Палестинцы жарили эти листья и ели.

Нам, монахам, израильтяне опять привезли продукты, и опять совсем мало: несколько банок тунца, немного хлеба.

Послушнику Рами пришла в голову гениальная идея, он придумал, как нам разжиться водой: с помощью пожарного рукава он выкачал аварийный запас из цистерны в "Каза нова". Но радость была недолгой, вода быстро кончилась.

Вчера вечером четверо палестинцев решили уйти из церкви Рождества по крышам.

Я молился:

То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами.

29 апреля 2002 года

В этот день у меня было такое чувство, что ситуация безнадежна. Переговоры зашли в тупик, у нас в церкви Рождества обстановка на грани взрыва. В довершение всего – еще двое раненых и один убитый. Каждый раз, когда кого-то ранят или убивают, палестинцы хватаются за оружие и готовятся с боем выйти из Базилики. Они говорят, что лучше мученическая смерть, геройский конец, чем жалкое, нищенское существование.

Убитый – Нидал Абаят, один из руководителей "Аль-Аксы". Возможно, его идентифицировали с помощью телекамер, установленных на израильском дирижабле, который висел над нами.

Это случилось в десять утра. Мы услышали выстрел. Я бросился из монастыря в Базилику. Когда я прибежал, он был еще жив. Пуля пробила ему сердце, когда он подошел к колодцу православных, наверно, собирался умыться.

Нидал умер на моих глазах. Его товарищи спели надлежащие молитвы. Они были крайне возбуждены. Некоторые готовы были открыть ворота и стрелять, что равносильно самоубийству. Потом один сказал: отец, у тебя есть фотоаппарат, сфотографируй меня рядом с Нидалом. Сначала мне это показалось кощунством. Потом я понял, что они относятся к этому иначе: так они отдают дань уважения покойному. Я сделал снимок. Другие тоже попросили сфотографировать их, все хотели сняться рядом с убитым. Я отщелкал целую пленку и все это время разговаривал с ними. Постепенно даже самые возбужденные успокоились. Спасибо фотоаппарату, а то бы не избежать побоища.

Они стали рассказывать мне о последних минутах Нидала. За полчаса перед тем, как пойти к колодцу, он спал, и его отец позвонил по мобильному телефону другому юноше и спросил: "Как там Нидал? Он не отвечает на звонок. Мне приснилось, что его убили". "Не волнуйтесь, – ответил юноша, – Нидал жив и здоров, просто он сейчас спит".

Через тридцать минут Нидал и в самом деле отправился в мир иной, и никто не мог решиться сообщить о его смерти отцу.

Тони Сальман организовал через израильтян эвакуацию тела. Палестинцы одели Нидала во все самое лучшее, что у них было, положили его в центральном нефе и двумя шеренгами выстроились для прощанья. В полной тишине мы пронесли тело по этому живому коридору к выходу, где ждала машина Красного Креста, чтобы отвезти Нидала домой. Когда я вернулся в Базилику, товарищи покойного попросили у меня кофе. Такова арабская традиция – поминать умершего, медленно попивая кофе. Я выполнил их просьбу.

Вскоре адвокат Сальман отправился на новые переговоры с израильтянами. Речь должна была идти об отправке из Базилики еще одной группы. Палестинцы говорили: "О'кей, мы отпустим еще нескольких молодых, но за это пришлите продукты для тех, кто остается".

С переговоров Сальман вернулся измученный до предела и сказал, что хороших новостей у него нет.

Приехал посланник из Ватикана, кардинал Эчегарай. Он хочет встретиться с израильским и палестинским руководством. И еще хочет отслужить мессу в церкви Рождества.

Я молился, чтобы все получилось:

К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже; приклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои.

30 апреля 2002 года

Когда я проснулся, палестинские руководители составляли список. Вот это новость! Из Рамаллы поступил приказ на отправку тридцати человек. Согласно договоренности, их должны развезти по домам. Список они представили израильтянам, и те вычеркнули четыре имени, сказав, что разыскивают их, чтобы арестовать. К оставшимся двадцати шести претензий не было, и в четыре часа дня они вместе со мной вышли из Врат Смирения. Я посадил их, одного за другим, в израильский автобус, который отвез их на допрос в казарму Гуш Этцион. К вечеру все были уже свободны и могли обнять своих близких.

Я подумал, что наступает май – месяц, который католики посвящают Богородице. На этот раз всегдашних праздников в Вифлееме не будет.

Молился:

Царица моя преблагая, надежда моя, Богородица, покровительница сирых и странных!

1 мая 2002 года

Как хочется помыться! Уже несколько недель никто из обитателей церкви Рождества и мечтать не может о такой роскоши. Я надеялся принять душ у отца Лоуренса, воспользовавшись разрешением израильских военных его навестить. Молчаливый американец отец Лоуренс живет недалеко от Молочной пещеры. Это в двух шагах от церкви Рождества, но мы уже месяц его не видели, отрезанные друг от друга осадой и военными действиями. Нам было известно, что он не испытывает никаких трудностей: едой его снабжали сестры из соседнего монастыря, электричество и воду он получал бесперебойно.

Мы отправились втроем, в сопровождении вооруженного израильского патруля. Брат Иосиф собирался постирать у отца Лоуренса, преподаватель семинарии Николас мечтал, как и я, о горячем душе. Улица, по которой мы шли, была изуродована танками: на брусчатке следы от гусениц, на стенах – глубокие выбоины, фонарные столбы повалены – все, без исключения. Некоторые жители, увидев нас, выходят из своих домов. Непривычно видеть на улице людей не в военной форме. Солдаты, наставляя на них автоматы, грубо теснят их назад, к домам.

Когда мы подошли к месту, командир патруля обыскал нас, даже перерыл мешок с грязным бельем, а потом с невинным видом сказал: у вас десять минут, чтобы проведать вашего отца Лоуренса. Я стал с ним спорить, чтобы оттянуть время, а Иосиф с Николасом тем временем побежали мыться. Я же вернулся в церковь Рождества таким же грязным, каким из нее вышел. Правда, я успел

на несколько минут включить зарядное устройство своего мобильного телефона, словно почувствовал, что, когда мы вернемся назад, электричество на колокольне тоже отключат. Теперь у нас больше нечего отнять.

Снайпер стрелял из бронированной кабины крана, возвышавшегося над стеной, так что мы были перед ним как на ладони. Попал в подростка перед воротами церкви Святой Екатерины, и мы вынесли его наружу вместе с одним больным.

Кардинал Эчегарай, прибыв на Святую Землю, позвонил мне из Иерусалима. Уверял, что не уедет, пока не добьется разрешения побывать у нас.

Ночью возобновилась перестрелка.

Молился:

Господи! Даруй мир уповающим на Тебя!

2 мая 2002 года

С пяти часов утра беспрерывные автоматные очереди то с одной, то с другой стороны. Это ужасно. Попали в церковь Святой Екатерины. Вторично загорелся притвор, на этот раз пострадал только пол. Огонь сам потух, так что пожарных вызывать не пришлось. В православном монастыре тоже вспыхнул пожар. Когда мы вместе пришли туда, чтобы оценить ущерб, нас ждал приятный сюрприз: в одной, не тронутой огнем комнате было электричество! Очередной удлинитель – и мобильные телефоны снова заработали...

Во второй половине дня мы с настоятелем православного монастыря отправились к израильтянам, чтобы снова выразить им свое возмущение по поводу лишения нас продуктов. Голод – странная вещь, на него сначала реагирует не желудок, а голова. Она отказывается работать или, наоборот, работает без отдыха. А рвота, понос, постоянная слабость – это уже потом.

Предложение военных звучало, мягко говоря, странно: или мы, монахи, в две смены питаемся в Молочной пещере под их надзором, или они сами кормят нас в гараже "Каза нова". Когда мы отказались, они откровенно объяснили: если мы дадим вам продукты, вы поделитесь ими с палестинцами, поэтому лучше мы ничего вам не дадим.

Конечно, поделимся, сказали мы, мы всегда делимся тем, что у нас есть. Мы посвятили себя служению бедным и любви к страждущим, кем бы они ни были. Так что спасибо за предложение и до свидания.

Лишний раз убедившись в том, что палестинцы не могут рассчитывать на снисхождение, отец настоятель запретил монахам и послушникам покидать пределы монастыря и ходить в Базилику. Эта привилегия осталась только у меня и отца Амджада.

Едва я задремал, раздался телефонный звонок. Это уже стало правилом: стоит мне закрыть глаза, тут же кто-то из журналистов набирает мой номер. На этот раз я услышал: "Хорошие новости! Мы узнали, что к вам для поддержки направляется группа пацифистов".

Я ничего об этом не знал. За те десять минут, что я отдыхал, пацифисты, одиннадцать молодых людей, уже успели войти к нам. С ними проникла и одна американка, фоторепортер. Потом мне стало известно, что акцию организовали палестинцы: поддерживая мобильную связь с пацифистами, они открыли им Врата Смирения.

В Базилике царило ликование. Те, кто был заперт внутри, видели в появлении пацифистов защиту, увеличивающую их шансы на выживание. Мне же их присутствие лишь добавило проблем.

Молодые люди были из разных стран – из Америки, Канады, Швеции, Ирландии... Сигареты и еда, которые они принесли с собой, исчезли в мгновение ока. В тот день еще никто ничего не ел: вся растительность в саду, включая лимонные листья, была съедена.

Нетрудно себе представить реакцию израильских военных. Они утверждали, что это не пацифисты, а "пособники террористов, а значит, тоже террористы". Так они говорили. И добавляли, что никакой еды палестинцам не дадут, тем более "этим лжепацифистам".

Конца нашим мучениям не предвиделось.

Я молился:

Благоволи, Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне. <...>

4 мая 2002

По традиции в Святую субботу православные священнослужители отправляются за Благодатным огнем в храм Гроба Господня и приносят его в Вифлеем, в церковь Рождества. Народ встречает их на Ясельной площади, это всегда происходит очень празднично. Четвертого мая только я и отец Амджад встречали процессию. Да еще израильская бронемашина. Грустное зрелище.

Когда закончилась служба, палестинцы, находившиеся в Базилике, встали. Растроганные до глубины души, все мы принялись обмениваться рукопожатиями и поздравлять друг друга: православная Пасха объединила нас всех. <...>

5 мая 2002 года

Наконец-то! Накопившаяся усталость свалила меня, и я проспал всю ночь. Отец Амджад не стал меня будить даже ради добрых новостей. В два часа дня израильтяне привезли семьдесят наборов продуктов – для палестинцев и пацифистов.

Я был рад за них, ведь они совсем изголодались. В пакетах были банки с тунцом, мясные консервы, сигареты, даже финики.

Около девяти часов утра мы с отцом Амджадом под охраной солдат отправились служить мессу: я – в Вифлеемский университет, отец Амджад – в церковь Святого Антония. Завтра, сказал я журналистам, если на то будет воля Божья, отслужим мессу в церкви Рождества, и посланник папы кардинал Этчегарай сможет принять в ней участие.

Палестинцы Базилики обсуждали высылку. Семерых из нас отправят в Италию, сказали они. Это их устраивало, и они решили учить итальянские слова. Спрашивали у нас, как будет по-итальянски "здравствуйте". Когда я проходил мимо них, один сказал мне ласково: "Abuna, ti amo! (Отец, я люблю тебя)". На следующее утро они уже приветствовали меня по-итальянски – "buonasera" (добрый вечер), а вечером пожелали мне доброго утра – "buongiorno".

Среди стран, готовых их принять, назывались Египет и Иордания. По-прежнему речь шла и об Италии.

Казалось, развязка близка. Переговоры в Рамалле продолжались. Премьер-министр Израиля Шарон отправился в Соединенные Штаты на встречу с Бушем. По мнению президента Соединенных Штатов, ситуацию с церковью Рождества надо разрешить как можно скорее. <...>

Поздно вечером позвонили из Рамаллы. Это был доктор Рамци, человек из окружения Арафата. Он сказал, что израильтяне согласились выпустить восемьдесят пять гражданских, которые не значатся в их черном списке. Я съел маленькую тарелочку ничем не приправленных спагетти и лег спать.

Перед сном молился:

Блажен человек, который не следует советам нечестивого, не ходит путями грешника и не водит дружбы с глупцами.

6 мая 2002 года

Израильское радио подтвердило: соглашение будет вот-вот достигнуто. Итак, восемьдесят пять гражданских лиц смогут вернуться домой. Тринадцать отправятся в Италию, Иорданию или Египет. Оружие останется в Базилике. О том, как его оттуда вывозить, позаботятся американские и английские советники.

Молодые палестинцы звонили своим начальникам: одни просились туда, другие сюда, третьи спрашивали, куда им ехать.

Потом пришли новые известия, которые опровергли старые: Египет и Иордания, несмотря на достигнутое в Рамалле соглашение, не намерены предоставлять убежище кому бы то ни было. Италию, оказывается, официально не поставили в известность, что она фигурирует в соглашении как страна предпочтительной высылки палестинцев из церкви Рождества.

Неразбериха могла затянуть дело, а то и сорвать его. Озлобленность и голод – как мина замедленного действия: в любой момент может взорваться.

Я думал об этом перед тем как помолиться:

Станем любить друг друга, потому что любовь от Бога; и всякий любящий рожден от Бога, и знает Бога.

***

В настоящее время право убежища в христианских церквях не является правом, гарантированным Женевской конвенцией. Тем не менее испокон века существует понятие, которое на юридическом языке называется "распространенным правовым сознанием народов", согласно которому в святых местах традиционно искали защиту. И с наибольшим основанием на роль защитницы может претендовать "мать всех церквей" – Базилика Рождества.

Не случайно поэтому с первых же часов осады латинский патриарх Иерусалимской епархии монсеньер Саббах напомнил захватившим Базилику палестинцам о многовековом праве убежища, которым по традиции всегда пользовались те, кто укрывался под священным кровом. Но лишь при одном условии: если они сложат оружие.

"Только в том случае, – разъяснял в те первые дни апреля известный историк, специалист по Средним векам профессор Франко Кардини, – право убежища может быть признанно неоспоримым, если те, кто о нем просят, признают себя "pauper", что в переводе с латинского означает "бедный", "беззащитный" или, в данном случае, "безоружный". Одним словом, "pauper" – это тот, кто не может защитить себя сам, и тогда церковь берет его под свою защиту. А тот, кто тронет его в таких обстоятельствах, будет предан анафеме.

Здесь события развивались совсем иначе – по двум причинам. Во-первых, ни один из укрывшихся в церкви Рождества палестинцев не заявил о намерении сложить оружие и признать себя "pauper". Во-вторых, израильские военные поспешили публично объявить террористами все двести человек, заявив, правда, что не намерены брать церковь штурмом, чтобы арестовать их или убить.

В связи с этим уместно напомнить, что в 1993 году Израильское государство окончательно нормализовало дипломатические отношения с Ватиканом и заключило с ним специальное соглашение об охране христианских святынь. Следует признать, что это соглашение вплоть до настоящего времени неукоснительно соблюдалось всеми предыдущими израильскими правительствами.

Таким образом, с самых первых часов осады было ясно, что вифлеемский кризис трудноразрешим во всех отношениях – в юридическом, военном и политико-дипломатическом.

Рассказывает отец Ибрагим

7 мая 2002 года

В ночь с понедельника на вторник отдохнуть совсем не удалось. В половине четвертого утра меня внезапно разбудил телефонный звонок: звонили из Мукаты – центральной администрации Арафата. Мне объявили, что в семь часов родственник Арафата Рибхи привезет в церковь Рождества решение. На сей раз оно окончательное, никто его менять не будет. Это решение касалось судьбы ста двадцати четырех человек. Тринадцать из них депортируются из страны, получают билет в одну сторону, причем в качестве пункта назначения называется Италия; двадцать шесть высылаются в сектор Газа; остальные восемьдесят пять отправляются по домам.

Рибхи приехал раньше назначенного времени, еще и пяти не было. Его сопровождали американские представители, они остались в машине. Он был с Фаруком Амином, возглавляющим в администрации Арафата службу по связям с Израилем. После обмена приветствиями я предложил им пройти в монастырь, чтобы оттуда "возвестить будущее" обитателям Базилики. Вместе с Сальманом и Аль-Мадани идем в Базилику и говорим, чтобы от каждой группы пришел представитель. Пришли пятеро молодых людей.

Бужу отца Амджада, потом нескольких послушников, прошу их сварить для всех кофе. Хоть и жалко их поднимать, но ничего не поделаешь, наступил решающий момент. Палестинцы требуют показать бумагу. Демонстративным жестом Рибхи вынимает из кармана список.

Палестинцы читают имена тех, кто должен покинуть страну, не выражая ни малейшего удивления, будто уже знакомы со списком. Будто уже смирились с ним заранее. Несколько имен вызывают у них несогласие: среди тех, кого высылают в сектор Газа, много гражданских лиц, не связанных ни с оружием, ни с терроризмом. Но решение принято, никому не дано его оспаривать.

Рибхи между тем разбудил Арафата и доложил ему: ребята в Базилике документ приняли и подписали, они полностью тебе доверяют.

Около восьми Амин и Рибхи уехали от нас в Иерусалим. В отеле "Царь Давид" им предстояла встреча с израильскими переговорщиками и американскими посредниками, оставалось обговорить последние детали. <...>

Вечером стало известно об ужасном террористическом акте в местечке Ришон ле-Цион под Тель-Авивом: смертник из организации "Хамас" взорвал себя и еще шестнадцать человек в зале игровых автоматов. Палестинцев Базилики охватила паника. Те из них, кто был из Хамаса, словно в рот воды набрали: вели себя как ни в чем не бывало, будто к ним это не имеет отношения. Другие спорили, говорили, что этот акт направлен против их освобождения, что теперь

все придется начинать сначала. Инцидент произошел как раз тогда, когда премьер-министр Израиля Шарон улетел в Соединенные Штаты на встречу с Бушем. Шарон немедленно вылетел обратно в Иерусалим. Люди в Базилике стали терять последнюю надежду.

Меня тоже обуревали невеселые мысли.

Днем казалось, что осада снята: с площади ушла большая часть бронетехники; а вечером уехали и автобусы – пустые.

Этот день начался с радостного ожидания, а закончился глубоким разочарованием.

Я молился:

Господи! Если Ты не строишь дом, какой смысл нам подносить камни?

8 мая 2002 года

Старик Абу Хани, исследуя местность в поисках травы, сделал сенсационное открытие: он шел вдоль стены, огораживающей наш монастырь, и обнаружил, что в одном месте к ней примыкает жилой дом. Он постучал в дверь, надеясь найти спасение для голодающих узников церкви Рождества. В доме обитала мусульманская семья, и Абу Хани попросил хлеба. Дело в том, объяснил хитрый Абу Хани, что монахи монастыря умирают с голоду. Хозяйка, добрая душа, вынула из морозильника два пакета с нарезанным хлебом и отдала ему.

Я очень люблю хлеб. Этот еще не размороженный кусок я съел с небольшим количеством тунца, и он показался мне необычайно вкусным. Щедрость Абу Хани тронула меня до глубины души, особенно если учесть, в каком моральном состоянии были люди, как безнадежно было их положение. И я возблагодарил за этот дар Господа.

Жуя хлеб, я думал: если из нашего сада можно дойти до дома мусульманской семьи, то надо наладить доставку в этот дом еды, которая поможет нам выжить.

Отец Амджад знает всех своих прихожан, его память надежнее любого телефонного справочника. Он вспомнил о своей кузине Дорис, вдове, живущей как раз напротив наших спасителей. Решили попробовать, вдруг получится? Позвонили одному священнику из Бейт-Сахура и попросили его привезти Дорис побольше продуктов. Дорис, в свою очередь, должна была передать их нашим соседям. А дальше уже Абу Хани, улучив благоприятный момент, заберет их к нам.

Отец Шауки, не теряя времени, в тот же день привез двадцать упаковок хлеба, которые в скором времени оказались у нас. Пока мы думали, что положить на этот хлеб, палестинцы Базилики тоже получили посылку. Они пошли тем же путем, что и мы, и их родственникам удалось передать им некоторое количество продовольствия. <...>

Было около восьми вечера, когда нас с отцом Амджадом и двух монахов греческой православной церкви вызвали в "Peace Center". Переговорщики торопились выполнить соглашение до возвращения Шарона, опасаясь, что при нем спор только еще больше затянется.

Согласно предусмотренному плану мы, священнослужители, выводим восемьдесят пять палестинцев, которым предстоит свободно отправиться домой, и двадцать шесть, которые препровождаются в Газу. Тринадцать высылаемых из страны остаются внутри и ждут своей участи в одном из помещений Базилики под присмотром англичанина Алистера Крука.

Кажется, все согласны.

Впервые с нами вышел за стены церкви Рождества и член городского совета Вифлеема Аль-Мадани. Поскольку все проблемы казались решенными, он спросил, нельзя ли ему больше не возвращаться обратно, а сразу же после meeting от-

правиться домой. Вполне понятное желание после сорока дней тяжелого заточения. Израильтяне разрешили.

Мы вернулись в Базилику и только собрались выводить людей, как палестинские руководители спросили: а где же Алистер? как, его нет с вами? тогда стоп!

Оказалось, ни Алистер, ни кто-либо другой не захотели быть посредниками и лично участвовать в процессе. Израильтяне ушли. Палестинцы никого не выпустили.

Переговоры продолжались до ночи: сначала в "Peace Center", потом у блок-поста в Бейт-Халле, потом снова в "Peace Center". Автобусы ушли, фонари освещали пустую площадь. Снова неудача!

В ту ночь я не ложился. Отчаяние, злость, глубокое беспокойство – вот чувства, которые бурлили во мне. Я только на несколько минут покинул ребят и вышел из Базилики. Мне хотелось помолиться в одиночестве.

Матерь Божия, преблагая Богородица, испроси для нас сострадания у Господа, испроси для нас мира.

9 мая 2002 года

<...>

Адвоката Сальмана, после немалых усилий с его стороны, отвели к палестинскому министру туризма, где и находился Алистер Крук. Оттуда он позвонил мне. Слушай, сказал он, израильтяне не пускают меня обратно, они требуют, чтобы я отправлялся домой. Возникли и другие проблемы, в частности – проблема оружия. Военные хотят изъять его сами, а потом уже передать палестинской полиции ту часть, которая принадлежит ей.

Тони Сальман и Аль-Мадани, которые до этого времени представляли на переговорах палестинцев Базилики, выводились из игры. Кто же теперь будет представлять интересы осажденных?

Между тем, понимая, что дело затягивается, мы решили позаботиться о еде. Позвонили отцу Шауки и Дорис, кузине Амджада. Те вместе с еще одной женщиной принесли немного продуктов в соседний с монастырем дом. Но Абу Хани удалось взять лишь одну банку сгущенного молока. В него начали стрелять, и он только чудом спасся. Отца Шауки арестовали, дом наших соседей обыскали.

Мы поставили в известность патриарха, сообщили всем, кому можно, об аресте нашего благодетеля, и через семь часов он был отпущен.

Взглянув в окно, я увидел группу военных, которые пытались взломать дверь моего колледжа. Я позвонил их начальнику и спросил: зачем вы это делаете? У меня есть ключ, я могу выйти и отпереть вам дверь. Нет, ответили мне, оставайтесь внутри, вам опасно выходить.

Пока я с ними препирался, военные уже выбили дверь и заняли позицию на террасе.

Я получил прозвище Падре-мобила, потому что в телевизионных интервью мой голос звучал под фотографию, на которой я прижимаю к уху мобильный телефон. Смех смехом, а в тот вечер именно по моему телефону дошла до нас благая весть.

В отчаянии я решил позвонить начальнику палестинской полиции. Набрал номер и услышал скороговорку, что-то вроде: кто там еще? У меня нет времени разговаривать!

Я все-таки рискнул: "Это я, Ибрагим, звоню тебе из церкви Рождества".

И он мне ответил: "Ибрагим, не волнуйся, я в Иерусалиме, занимаюсь вами. Соглашение достигнуто, скоро все закончится".

Возможно, они пошли на очередные уступки, как это уже случалось в последние дни, но я все равно ему не верил.

Начальник полиции посвятил меня в детали: Европа изучает вопрос, по каким странам распределить тринадцать человек, которые в ближайшее время будут отправлены на Кипр. Оружие должно остаться в условленном месте, откуда американцы его заберут сразу после окончания эвакуации.

Он попросил меня пока никому об этом не рассказывать, но я разбудил всех и рассказал. Потом спустился в Пещеру Рождества и вспомнил там слова пророка Михея:

И ты, Вифлеем-Ефрафа, из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и будет Он мир.

На этот раз действительно все закончилось. Нам, сотрудникам RAI, вместе с английскими и греческими журналистами разрешено войти в церковь в качестве представителей трех христианских общин.

Отведенное время — тридцать минут. Остальных журналистов, фотографов и телерепортеров, толпящихся у входа, внутрь не пускают. По согласованию с церковными иерархами и израильским военным руководством должно быть так: RAI и BBC поделятся с остальными отснятым материалом, а газетчики расскажут, что увидели в Базилике.

Два часа дня, церковь Рождества Христова свободна, мы переступаем порог Врат Смирения. Сразу же в нос ударяет нестерпимо едкий запах мочи. Пока здесь еще не убрали, перед нами все в том самом виде, как несколько часов назад, когда Базилику покинули оккупировавшие ее палестинцы. Ужасающий беспорядок, вонь. На полу тут и там коврики, на них кучи мусора. Дырявые матрацы, тряпки, грязная одежда, камуфляжные куртки, противогазы, грязные пластиковые тарелки, ножницы, старая обувь. И везде остатки еды, даже на древних алтарях, превращенных в обеденные столы. Нам известно, что в последние дни палестинцев стали наконец снабжать продуктами. Прямо перед иконостасом газовые плитки и кастрюли, повсюду канистры с ржавой водой из монастырских колодцев, на полках шкафов с церковной утварью, предназначенной для богослужений, навалены пачки спагетти, пакеты с рисом, консервные банки. Если бы мы не увидели это своими глазами, ни за что бы не поверили. Готовые ко всему, спускаемся в Пещеру Рождества. К нашему удивлению, здесь порядок, чистота и тишина. Темно, потому что не горят, как обычно, большие масляные лампады под сводом; одна-единственная свеча теплится перед прекрасной византийской иконой Рождества Христова, установленной в маленьком греко-православном алтаре. Позже мы узнали, что перед началом служб, которые проводили здесь три христианские общины, в пещере каждое утро убирали, и палестинцы помогали мыть пол.

Единственный признак долгого пребывания людей — сотни, тысячи окурков в больших латунных и серебряных канделябрах. Как и в Базилике, в пещере мы не нашли следов осквернения: все священные картины, древние иконы, кресты — на положенных местах, убранство не тронуто, нет и надписей на стенах. Честно говоря, нас это удивило.

Поднимаемся наверх и видим армянского монаха. Это отец Размик, он в почти невменяемом состоянии. Разбирая кучи тряпья, оставленной одежды, старых одеял, он только что обнаружил пластиковый ящик с са-

модельными гранатами: обрезки металлических водопроводных труб, начиненные взрывчаткой, с выпущенным бикфордовым шнуром. "Боже мой, Боже мой", — беспомощно повторяет он.

Через две минуты нас бесцеремонно оттесняют израильские саперы, прибывшие по просьбе трех религиозных общин для разминирования Базилики.

Позже майор С. нам рассказывает:

"Когда мне сообщили, что найден ящик с гранатами, я тут же объяснил представителям всех трех христианских общин, что не требую, чтобы меня впустили, и не имею намерения нарушать нашим присутствием святость этих мест, однако, добавил я, если мы не войдем, вы рискуете наткнуться и на другие взрывные устройства или оружие. Последствия могут быть самые непредсказуемые. Пока наши саперы все не проверят, ничего нельзя гарантировать. Так что это они сами нас упросили, даже умолили прийти. Мы пробыли здесь около часа, и за это время мои люди вынесли из церкви много оружия, гранат, боеприпасов. В Пещере Рождества саперы даже нашли автомат М-16 с оптическим прицелом, он был спрятан за иконой. Уходя, мы указали священнослужителям и другие тайники, где лежало оружие, у нас уже не оставалось времени его выносить. Мы сами назначили такой срок на разминирование — один час, дольше мы не хотели, просто не могли задерживаться, потому что должны были уходить, вывозить оружие и боеприпасы, освобождать Ясельную площадь. Через несколько часов в Вифлееме израильских войск уже не было. И знаете, что случилось в тот вечер? В толпу жителей, которые вышли на улицу после тридцати девяти дней действия комендантского часа, просочились ребята из группы "Танцим". Церковь была открыта, они вошли. Они знали, где искать, и забрали оружие, главным образом автоматы Калашникова, которые мы обнаружили, но не успели вынести".

В тот же вечер, выступая по радио Ватикана, папский нунций в Иерусалиме слегка охладил пыл оптимистов. Он сказал:

"Если для разрешения проблемы церкви Рождества Христова в Вифлееме нам потребовалось столько усилий и времени, то когда же можно рассчитывать достичь мира между палестинцами и израильтянами?"

Нам кажется, что за время осады мы научились отличать истинных поборников мира от тех, кто лишь на словах стремится установить его на Святой Земле. Эти тридцать девять дней Вифлеема не изменили к лучшему ситуацию на Ближнем Востоке, но высветили прошлые ошибки, которые начиная с давних времен провоцировали вражду на самой священной для всех верующих земле.

Сейчас нужен новый святой Франциск, который смог бы донести слово миротворца до каждой из враждующих сторон. Нового святого Франциска мы не встретили, но братья францисканцы продемонстрировали пример верности идеям своего учителя.

Не важно, сколько их было внутри церкви, какими запасами продуктов они располагали, всегда ли царило полное согласие между братьями; важна их твердая позиция по отношению к палестинцам, захватившим Базилику, и к израильтянам, ее осаждавшим. Эта позиция основана на христианской вере, которая учит помогать нуждающимся и по примеру самого святого Франциска способствовать миру между воюющими людьми.

И в заключение мы опять даем слово летописцу тридцати девяти дней осады церкви Рождества Христова – отцу Ибрагиму Фалтасу.

Рассказывает отец Ибрагим

10 мая 2002 года

Третья ночь без сна. Не тороплюсь сообщать последние новости своему иерусалимскому начальству. Сколько раз уже мои сообщения не оправдывались!

В семь часов утра палестинцы начинают наконец выходить. Греко-православный монах отец Партениос по-арабски не говорит, он стоит с израильтянами. У Врат Смирения со списком в руках офицер связи вифлеемского района Фарук Амин, он переговаривается по мобильному телефону с израильским командиром Али Ноором, который стоит на другой стороне площади с таким же списком. Моя задача по сигналу обеих сторон провожать каждого палестинца от церкви Рождества до автобуса, где их встречает палестинский офицер Ахмед Аид. И всякий раз я должен проходить через металлоискатель, установленный перед Вратами Смирения.

В предыдущие дни я привык сопровождать раненых, больных и мертвых. Наконец-то я вывожу людей, которые идут на своих ногах.

Первым выходит Абул Кассем Дауд. Он очень серьезен, впрочем, он всегда серьезный и молчаливый. На прощанье меня благодарит. Все, уходя, благодарят. Абуна, спасибо, говорят мне, простите, если что-то было не так.

В это время мне позвонил нунций. Я вижу тебя по телевизору в прямом эфире, сказал он, ну теперь, кажется, действительно конец?

Телефон буквально раскален: звонят журналисты, звонят из агентств печати. Репортер телеканала "Абу-Даби" так комментирует мои действия: "Отец Ибрагим совершает утреннюю пробежку по Ясельной площади – туда и обратно". Вторым я вывел человека по имени Рами. Третьим был Ибрагим Абаят. Про него надо сказать особо. Не знаю, как ему это удалось, но он как новенький: борода и волосы аккуратно подстрижены и причесаны, одежда чистая, во рту сигарета. Вид просто отличный. Он объясняет мне, что среди них был парикмахер, который и помог ему привести себя в порядок. Если бы мы раньше об этом знали! У нас в монастыре Иосиф-плотник всем предлагал свои услуги в качестве парикмахера, но, откровенно говоря, с молотком и гвоздями он лучше управляется, чем с ножницами. Последним из первой группы был Джихад – тот самый Джихад с раздробленными ступнями, который не хотел уходить. Три товарища вынесли его на руках. Я сердечно с ним простился.

После выхода тринадцати, которым надлежало лететь на Кипр, израильтяне потребовали, чтобы выходили пацифисты. Я пошел за ними, но они сказали, что не выйдут.

Израильский командир воздел руки к небу, как бы призывая на помощь Всевышнего, и отдал приказ эвакуировать группу, отправляемую в сектор Газа. Выходя, некоторые целовали землю, некоторые поднимали указательный и средний пальцы – знак победы. Израильтяне выражали неудовольствие, им не нравился этот "театр", а я понимал людей: сорок дней взаперти, без солнца, они действительно были счастливы, некоторые даже плакали. Один, по имени Хатим, умолял меня, чтобы я записал его сына в мой колледж. Могу сказать, что его просьбу я выполнил: сын Хатима внесен в список учеников будущего учебного года.

Я вывел всю группу из двадцати шести человек, после чего меня снова послали за пацифистами. Но они опять отказались выходить, сказали, только после последнего палестинца.

Мое терпение готово было лопнуть. Даже когда в Базилике не осталось ни одного палестинца, пацифисты продолжали упорствовать, непонятно даже почему. Они закрыли глаза, заткнули пальцами уши, чтобы ничего не видеть и не слышать. Отец Амджад, греческий монах и я уговаривали их, но они нам не отвечали. Только американка, когда я спросил, хочет ли она уйти, тут же согласилась и с радостной улыбкой побежала к выходу, торопясь поскорей напечатать свои сенсационные фотографии.

С этими пацифистами действительно было трудно. Вместо того чтобы помогать разрешать проблемы, они их еще больше усложняли. Они даже не поддались на уговоры палестинских полицейских, которых тоже послали их убеждать. Лишь через несколько часов израильские полицейские вывели их из Базилики буквально за руку.

И все это время не переставал звонить телефон. Мне звонили отовсюду – из Бангкока и Канады, из Италии и Японии. Все хотели услышать хорошие новости, и я, одновременно приветствуя уходящих палестинцев, с удовольствием их сообщал.

Когда Базилику покинул последний человек, весь мир увидел танцующих, скачущих от радости францисканцев. Даже израильские солдаты улыбались и хлопали.

Я кричал: отец Амджад, все кончилось, на самом деле кончилось!

И бросился обниматься и целоваться со всеми, включая и греческого монаха, который уже в следующую минуту повернулся ко мне спиной.

Я потому об этом рассказываю, что не ожидал такого, по-моему, так поступать нечестно.

Все эти дни я действовал сообща и с греко-православными, и с армянами; думал, что между нами полное доверие. Если страдали они, я тоже страдал вместе с ними. Делился едой, которая у меня была. Неужели теперь, когда все позади, мы снова должны погрузиться в состояние векового непонимания?

Когда я вышел встретить начальство, которое наконец-то смогло нас навестить, православные, в том числе и этот греческий монах, с которым мы прожили душа в душу тридцать девять осадных дней, попытались не пустить меня обратно в церковь. Пришлось силой пробиваться.

Меня обвинили в том, будто я открыл второго апреля ворота палестинцам, после чего началась осада. Это было несправедливое обвинение. Когда произошло вторжение, я спал. Хорошо, что у нас тогда находились журналисты, они все видели.

Я не умею плакать. Даже от злости. А иногда так хочется поплакать.

Спасибо, Господи, что помог не сойти с праведного пути, что удержал от греха гордыни, которому многие подвержены на моей второй родине, где каждый упорно говорит на своем языке, не заботясь, чтобы его поняли другие.

Я отключил свой мобильный телефон и съел кусок хлеба, которым угостила меня одна вифлеемская монахиня.

Пещера Рождества снова принадлежит верующим. Человек десять молодых прихожан всю ночь бодрствовали у входа, охраняя ее. Я среди своих.

Перед тем как лечь спать, позвонил маме. Все в порядке, сказал я ей, Господь с нами, он нас не покинул; он помогал нам относиться ко всем людям одинаково, независимо от того, какого цвета их кожа, во что они одеты. И по обе стороны нас услышали, как будто сам святой Франциск пришел и помогал нам.

Сколько войн велось за господство над Святой Землей! Но мы, францисканцы, всегда оставались здесь. Они верили в силу оружия, но не смогли отобрать у нас эту святыню. Вспомните историю. Что осталось от всех империй? Ничего. Силой веры мы держимся здесь семь веков. Как страдали братья под турками, какие гонения были, мучениками умирали, но ни на один день не оставили своего служения – хранить колыбель Господню.

За все время ни разу не было, чтобы в церкви Рождества шла война. Осажденные, осаждающие – какая между ними разница, если у тех и других одна цель: убивать. Первый раз такое и, надеюсь, последний.

Меня запомнят как Падре-мобилу – монаха-францисканца, похожего на своих древних братьев и современного настолько, чтобы выжить сегодня.

Я не претендую на то, чтобы указывать прямой путь в этой стране глухих закоулков, я только говорю: выход в непреложности правды. Я это и журналистам говорю, у которых обучился ремеслу военного репортера, потому что хочу мира.

Пока вы будете колесить по планете, охотясь за новостями, мы будем ждать здесь, в Вифлееме, в доме Господнем, вокруг которого бушует ураган человеческой нетерпимости. Здесь, где быть человеком среди марионеток – невидаль, а говорить правду – достижение, за которое не получают пулицеровских премий, но идут навстречу жизни вечной... с молитвенником и мобильником.

Господи!
Пошли Твой мир через меня,
чтобы нес я любовь туда, где ненависть,
и прощение туда, где обида,
и согласие туда, где раздоры,
и веру туда, где сомненье,
и истину заблудшим,
и надежду отчаявшимся,
и радость печальным,
и свет во тьму.

Ильич Рамирес Санчес

Кто я?

Перевод с французского Е. Клоковой

ХВАЛА Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному!

Я выходец из зажиточной семьи, где принято, достигнув определенного положения, переселяться в столицу. Моя мать была преданной женой и образцовой хозяйкой дома, отец, доктор права, — поэтом, интеллектуалом, политиком, трибуном и пламенным революционером. Мое детство прошло в мелкобуржуазной, но проникнутой революционным мистицизмом среде.

Этим объясняется данное мне, старшему ребенку в семье, имя — Ильич. Мы с моим братом Лениным назвали нашего младшего брата Владимиром. В контексте той эпохи подобный выбор был, пожалуй, дерзким вызовом обществу, но отец вряд ли серьезно рисковал, он всегда был близок к кругам находившихся у власти военных и гражданских политиков — соратников по борьбе, старых друзей, родственников...

Имена наши громко и ясно заявляли об отношении семьи к знаковым фигурам революционной борьбы. Все великие люди, зачисленные в мой личный пантеон, посвятили себя борьбе за освобождение человека: Ленин, Сталин, Гайтан[1] — глава Либеральной партии Колумбии, Сиприано Кастро — президент Венесуэлы в 1899 году, убежденный националист, Мао Цзэдун, Морасан[2] — объединитель Центральной Америки, Густаво Мачадо — легендарный глава венесуэльской компартии, Гамаль Абдель Насер, Фидель Кастро, Че Гевара... И, разумеется, мой отец!

Мировосприятие отца влияло на формирование моего политического сознания, я воспитывался на примерах жизни великих людей — властителей дум и символов революционной борьбы в XIX—XX веках. Эти люди были для меня образцом для подражания, ведь их замыслы и деяния выходили за рамки жизни одной, отдельно взятой страны и влияли на весь мир.

Должен заметить, что на определенном этапе я стал ярым антинасеровцем и, единственный из собратьев-федаинов, не оплакивал в сентябре 1970 года его смерть. Лишь много позже я понял и оценил все истинное величие Гамаля Абделя Насера, сумевшего отвоевать для арабов место в современной истории, сделавшего их ее активными участниками.

Мы не виделись с отцом около тридцати лет. Я наивно упрекал его в нежелании реально участвовать в революционном процессе, он же безуспешно пытался примирить меня с некоторыми политическими реалиями, давно утратившими свой романтический ореол. Мы отдалились

© Éditions du Rocher, 2003
© Е. Клокова. Перевод, 2004

1. Хорхе Эльесер Гайтан (1898—1948) — лидер Либеральной партии Колумбии с 1946 г., председатель Сената с 1947 г. Убит политическими противниками.
2. Франсиско Морасан (1792—1842) — президент федерации Соединенные провинции Центральной Америки. Казнен в Коста-Рике.

друг от друга, отношения наши стали в основном "эпистолярными", потом иногда встречались на нейтральной территории. Но, вопреки времени и расстояниям, связь между нами всегда оставалась прочной, отношения были проникнуты теплом и любовью.

Мой отец всегда, в любых обстоятельствах, очень гордился тем, что я выбрал для себя путь профессионального революционера и храню верность делу, хотя и воспринимал революционное насилие как нечто сугубо теоретическое. Он был убежден, что насилие в исторической перспективе может и должно принимать формы военных государственных переворотов и путчей, призванных разрушить буржуазный строй. Хочу подчеркнуть, что выбор в пользу вооруженной борьбы мне был навязан обстоятельствами, в том числе жестокостью врагов революции.

Я, безусловно, хотел в своей борьбе пойти дальше отца. Изживание прошлого, расставание с идеалами и идеями, заложенными в семье, стали для меня одним из главных факторов в выборе пути — пути политического протеста целого поколения, отразившего требования и настроения исторического момента.

Студентом я преуспевал в гуманитарных науках — истории, географии, литературе и особенно в психологии. В июле 1966 года я получил в Каракасе степень бакалавра. Приехав в августе того же 1966-го в Лондон, я через год стал бакалавром по специальности *ordinary levels London University Board*, а в 1968-м сдал экзамены по *advanced levels*.

Практически все мои так называемые биографии (печатные и устные) пестрят ошибками, а кое-кто из авторов не гнушался и вымысла, поэтому я считаю необходимым описать некоторые поворотные моменты своей жизни, что поможет читателям понять мой идейный и духовный путь борца за свободу и достоинство человека, за революцию.

Среди навечно оставшихся в памяти тяжелых событий назову преждевременное появление на свет моей сестры и ее смерть спустя три месяца после рождения, поездку в Боготу и возвращение по суше в Венесуэлу в самый разгар гражданской войны в Колумбии. Когда мы прилетели в Колумбию, мне было года три или четыре. Отец хотел купить кофейную плантацию и скотоводческую ферму, воспользовавшись падением цен на землю. Обратный путь домой оказался делом крайне рискованным: отец и водитель машины из оружия имели лишь револьверы, мама была на пятом месяце беременности, а сопровождали нас две преданные гувернантки...

Из других событий, оставивших неизгладимое впечатление, назову всеобщую забастовку 1952 года — ответ на путч военных, попытавшихся отменить выборы в Учредительное собрание, развод моих родителей, народное восстание 23 января 1958 года против находившейся у власти хунты, кубинскую революцию, национально-освободительную войну в Алжире. Некоторые эпизоды более личного характера также глубоко повлияли на мою жизнь, в том числе исключение в ноябре 1969 года из Венесуэльской организации молодых коммунистов, отчисление из Московского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы за отказ вернуться в лоно венесуэльского комсомола и страстный роман с женщиной, ставшей матерью моего сына...

Я рано сделал свой политический выбор. Уже в юности я пошел по стопам отца, хотя в конечном итоге не сам человек решает, быть ему революционером или нет — выбор за нас делает Революция! В январе 1964 года я примкнул к тайной организации Венесуэльской коммунистичес-

кой молодежи. Убежденность в правильности избранного пути крепла на протяжении всей моей жизни, и разочарование, связанное с крушением советской системы, лишь укрепило мою революционную веру.

В июне 1970 года меня, в числе других шестнадцати студентов, по требованию компартии Венесуэлы исключили из Университета имени Патриса Лумумбы. Покинув Советский Союз, я в июле того же года прибыл в Бейрут, откуда перебрался в Иорданию, где и начался активный период моей жизни борца за дело освобождения палестинского народа в рядах Национального фронта освобождения Палестины.

Расскажу подробнее об отъезде из Москвы, сыгравшем определяющую роль в моей боевой биографии. Сумей тогда КГБ привлечь меня к сотрудничеству, я, возможно, никогда не стал бы участником палестинского сопротивления. Пути Господни неисповедимы... В июле 1970 года официальный представитель НФОП убедил меня встретиться с одним из проректоров УДН. Этот достойный человек дружески поинтересовался, почему мы с братом Лениным и еще пятнадцатью студентами-венесуэльцами хотим покинуть СССР, заявив, что никаких проблем с продлением нашего пребывания в стране больше нет. Уши вездесущего КГБ торчали отовсюду!

Я ответил, что мне как настоящему коммунисту пора переходить от теории к практике. Тогда проректор поинтересовался моим возрастом — "двадцать лет" — и закончил беседу следующей фразой: "Адрес университета вам хорошо известен. У нас можно учиться до тридцати пяти лет, так что вам достаточно будет просто написать ректору — и вы немедленно получите визу и билет, где бы вы ни находились!" Вот так — за пять минут, со старомодной вежливостью и отеческой теплотой, на чистом русском языке, коротко и ясно, без малейшей угрозы — было сказано абсолютно все. Снимаю шляпу перед КГБ!

В Москве, кстати, меня искушал не только Комитет. Один мой знакомый — человек солидного возраста, заканчивавший в Москве аспирантуру, — вознамерился ввести меня в "золотую" мафию. Он, разумеется, никому не доверял, но хотел, чтобы я находился в контакте с одним старым евреем (тот был видной фигурой в московском воровском мире). В то время золото в слитках на черном рынке Москвы стоило в рублевом эквиваленте в двенадцать раз дороже, чем в Женеве (естественно, в долларах!), а в Ташкенте эта цена удваивалась! Никакого политического продолжения история эта для меня не имела, но тогда же я узнал — совершенно случайно! — что большинство членов "золотой" сети были настроены просионистски.

Я упомянул эти эпизоды моей московской жизни, желая четко дать всем понять, что уже в молодости мы высоко ценили свою независимость и твердо ее отстаивали. В дальнейшем я всегда придерживался той же позиции, и ни ГРУ, ни КГБ никогда не чинили мне препятствий, я же, со своей стороны, всегда старался избегать любых конфликтов с этими организациями. Многие в КГБ не слишком мне доверяли, но встречались и такие, кто был настроен откровенно "прокарлосовски" — и в частных разговорах они этого не скрывали. Так же обстояло дело и в подчинявшихся КГБ пограничных войсках: офицеры не раз проявляли "интернациональную" солидарность.

За долгие годы странствий и борьбы я особенно полюбил города, где пережил страстную любовь — Лондон, Москву, Будапешт, Амман, Дамаск, Бейрут и Париж, куда я впервые попал в августе 1967 года. Париж

в августе — без парижан и туристов, при закрытых магазинах — прекрасен, несмотря на пропитанный влагой воздух, грозы и дожди... Эти города навсегда останутся в моей памяти, ибо связаны они с четырьмя женщинами, которых я любил больше всего на свете, а каждая любовь несравненна и неповторима. Возрождаясь раз за разом, пламя страсти разгорается все сильнее — обжигающее, бескорыстное, великодушное, преданное, почти всеведущее и неугасимое!

***

Считается, что Судан выдал Франции выдохшегося наемника-алкоголика и даже, возможно, наркомана. В действительности французская исправительная система, погрязшая в собственных противоречиях, держит в цепях льва. Боюсь, обрети я сегодня свободу, меня тут же убили бы безо всякого суда, а может, похитили бы, заставив исчезнуть навсегда.

Сегодня я — пленник Французского государства, не уважающего собственные законы. Положение могло бы изменить либо вмешательство Венесуэлы, либо вооруженная акция патриотов-интернационалистов. Я же продолжаю противостоять судебной машине и делаю это из удовольствия и по принципиальным соображениям.

С сентября 1994 года, практически сразу после прибытия во Францию, меня много раз склоняли к побегу... Думаю, особых разъяснений не требуется! Автоматы АК-47, автоматические пистолеты, взрывчатка, детонаторы и гранаты... Чего мне только не предлагали! Достаточно, чтобы вооружить с десяток заключенных тюрьмы Сантэ и попробовать прорваться. "Посланцы смерти" действовали якобы от имени алжирского генерала Смаила Ламари. Попытки эти выглядели совершенно нелепо — всем известна свирепость алжирских спецслужб! Провокации следовали одна за другой, и самая опасная была предпринята 26 декабря 2000 года: вряд ли можно назвать случайностью или совпадением тот факт, что в соседних с моей камерах сидели либо "особо опасные" заключенные (они много раз пытались бежать, брали заложников, требовали предоставить им вертолет), либо психопаты, сексуальные маньяки, люди, зараженные СПИДом, отчаявшиеся бедняги, готовые на любую крайность, чтобы избежать пожизненного заключения.

Хочу заявить сразу и однозначно: я никогда, ни при каких обстоятельствах не попытаюсь бежать, даже если мне захотят "помочь" политики. Я не имею права из личного эгоизма попасть живым в руки врага и заговорить. Весь мир знает, как "эксперты" американских спецслужб обращаются сегодня с военнопленными на базе в Гуантанамо. Я был и остаюсь революционным борцом, а революция сегодня говорит на языке Корана...

***

Я принял ислам в начале октября 1975 года, в тренировочном лагере Движения освобождения Палестины в Йемене близ Хаара в провинции Абиян. Я помню это так ясно, словно все случилось вчера, а не двадцать семь лет назад. Я готовился к обряду среди моих боевых товарищей — арабов, которыми мне предстояло командовать во время опасной боевой операции в Западной Африке. Все они были мусульманами и попросили меня разделить их веру, чтобы — в случае гибели в бою — я повел их

в Рай. Братство по оружию стало одной из главных – глубинных – причин обращения в ислам, сыгравшего решающую роль в моей судьбе. Неотвратимость вечной спутницы воина – смерти – не пугала меня. Я воспринимал ее как нечто естественное, без тоски и отчаяния, ибо случайности в революционной войне, которую ведет любой профессиональный идейный борец, неизбежны.

В тот день я отнесся к обряду посвящения почти легкомысленно, мною руководило скорее чувство товарищества, чем зрелое размышление. Но потом в моей жизни случилась встреча с мужественным провидцем, иранским муллой Абу Акрамом – он был близок к иранским моджахедам (позже им пришлось скрываться на территории Ирака). Сегодня эти люди вынуждены соблюдать крайнюю осторожность – американцы записали их в террористы. Абу Акрам был в моем подчинении, что не помешало ему отчитать нас за легкомыслие. На сочном и цветистом арабском – не забудьте, он был иранцем, то есть *не*арабом – Абу Акрам дал нам множество теологических разъяснений и комментариев, после чего заставил снова прочесть Fatiha[1] – обет веры, на сей раз с полным осознанием важности происходящего. Таким образом, я дважды совершил ритуал обращения, и он дал начало долгому пути нравственного и духовного созревания. Путь этот не окончен, и я не намерен с него сворачивать. Хочу опровергнуть некоторых биографов, утверждающих, что я принял ислам в Алжире: в моих отношениях с правительством этой страны не было религиозной составляющей, несмотря на тесную дружбу с Абдельазизом Бутефликой (я ни разу не был ни в одной алжирской мечети).

Я не являюсь "воином Аллаха" в прямом смысле этого слова – моей вере недостает мистицизма. Я мусульманин, но моя борьба носит скорее политический, чем религиозный характер. Замечу, что, вопреки большевистской традиции, я никогда не относился к марксизму как к религии. Моя связь с коммунизмом носит интеллектуальный, рациональный характер. В основе моего политического выбора лежал разум, а не идеалистическая страсть, как у отца-мистика, почти фанатика. Первое образование он получил в Венесуэле, в маленькой семинарии отцов-эвдистов, где преподавание велось на французском языке, и отец сохранил о преподавателях самые лучшие воспоминания. Утратив веру в Бога, он в некотором смысле транспонировал ее на Маркса и Ленина.

Что до моего "неверия" в политические догмы, оно, вне всякого сомнения, было реакцией на духовный экстремизм отца; его глубинная религиозность практически не повлияла на мое будущее духовное развитие и религиозное обращение. Мои отношения с марксизмом никогда не были ни догматичными, ни религиозными, и пусть никто не думает, что я механически заменил материалистическую "религию" мусульманской верой.

Понятие "политической религии" не до конца применимо к марксизму: если он и порождал фанатизм всех мастей, изначально в нем не было ничего исповедального или эсхатологического. Можно умереть или убить за любое дело – самое справедливое и бесконечно гнусное, – и в этом не будет ни преодоления себя, ни осязаемого присутствия Бога.

1. Первая сура Корана.

Я осваивал марксизм с критических позиций; так должен был бы поступать каждый истинный коммунист, ибо теория — это живая субстанция, которой ни в коем случае нельзя позволить застыть. Теория развивается, живет, меняется. В противном случае все мгновенно сводится к торжественным догмам, и тогда умирают мысль, преданность идеалам и готовность к революционному действию.

Без критики нет развития, но если материализм в исторической перспективе теряет свои позиции, то диалектический материализм как метод анализа и исследования актуален и сегодня. Кто из самых ярых хулителей посмеет утверждать, что не принимает его во внимание? Коммунизм все еще жив в Китае, Вьетнаме, Северной Корее, на Кубе, в Лаосе и Камбодже, он пропитал всю западную культуру, изменил видение мира и общества для многих и многих поколений.

Одна из величайших заслуг Маркса состоит в том, что он выявил всю плодотворность диалектики как метода познания, которым пользовались уже великие материалисты античности. Но только Маркс превратил диалектику в инструмент анализа и социального развития. Для Гегеля диалектика была инструментом познания теории, Маркс же сумел превратить ее в метод анализа социальной действительности.

Я был поражен, осознав, что многие — если не все — руководители компартий, находившиеся у власти в конце 1980-х, превратили марксизм-ленинизм в подсобный политический инструмент. Идеология марксизма, пользуясь догматическим "дубовым языком", стремилась к единственной цели — обеспечить власть бюрократической касты номенклатуры и оправдать ее политический оппортунизм. Марксизм-ленинизм превратился в удобный инструмент в руках людей, давно утративших революционные идеалы (если они у них вообще когда-нибудь имелись!).

На той стадии марксистская доктрина являлась идеологическим оформлением власти, чьей единственной целью было самосохранение, желание обеспечить преемственность и ничего более. Коммунистические руководители перестали быть проводниками марксистских идеалов, но марксизм давал им в руки волшебную палочку, с помощью которой они манипулировали массами, направляя энергию людей на осуществление ложных теорий. У *аппаратчиков* была в руках власть, какую правители имели лишь на заре человеческой истории. И на что же они ее употребили?

Именно потеря идеалов и веры в справедливое будущее, предательство надежд огромных масс людей, откровенный, ничем не прикрытый обман стали, на мой взгляд, теми подводными рифами, на которые напоролись коммунистические режимы. Американцам, конечно, гораздо приятнее думать, что падением Берлинской стены мир обязан превосходству их стратегического видения, афганской ловушке и СОИ, пресловутому плану "звездных войн". Все это, вместе взятое, подорвало волюнтаристскую, искусственную экономику находившегося на последнем издыхании социалистического лагеря, не способного выдержать ни затрат на войну в Афганистане, ни конкуренции с новейшими американскими технологиями.

Но "аналитики", на мой взгляд, упустили из виду глубинные причины крушения советской системы — я говорю об отказе от идеи перманентной революции (как идеи и как реального действия), многие годы питавшей революционный порыв всего советского общества. Мир ра-

венства и справедливости — это мир, который нужно творчески создавать и совершенствовать, избегая шаблонов.

Диалектический материализм — в том случае, если его используют осознанно, без убогой риторики, с остро критических позиций, — может быть бесконечно продуктивен как метод. Речь идет о необходимости честно и прагматично констатировать все ошибки и тупики исторического материализма — системы, претендовавшей на всеохватность, которая не могла ни все объяснить, ни все предвидеть. Если соединить этот подход со светом веры, в руках окажется мощное оружие, очень действенное в битве за справедливость...

Этот теоретический, научный метод может идти рука об руку с великой битвой за духовное самосовершенствование. Ничто не является раз и навсегда установленным, необходимо снова и снова бороться за себя самого, одновременно участвуя в революционном совершенствовании общества: только так человек сможет выбраться из кокона собственного эгоизма, отречься от убийственных стремлений к завоеванию и подавлению других людей.

Преодоление в ленинской доктрине ошибок Маркса, с одной стороны, и применение диалектики как метода научного анализа вкупе с праведной духовной жизнью, с другой, — таков рецепт осуществления человеком собственного предназначения, во всяком случае для меня.

Современный человек убедил себя еще и в том, что может обойтись без Бога, без этой *бесполезной составляющей бытия!* Он имеет невероятную глупость заявлять, что сам управляет своей судьбой и собственными успехами обязан только себе! Все это, конечно, чистейшей воды абсурд. Вера — верховный акт развития, а не наоборот. Впрочем, только здесь, в Европе, атеизм приобрел столь нагло-воинствующие формы. Американцы — те хоть пытаются прикрывать свои низкие цели Библией...

Бог есть живой, конкретный и даже материальный опыт. Бог — не абстракция, не дух, верующий человек убеждается в этом ежедневно. Запад, на свое несчастье, эту истину забыл, он не помнит, что оба порядка — естественный и Божественный — суть одно и то же. Нарушить один — значит преступить и другой. А разве можно безнаказанно нарушать физические законы?

Мое обращение в ислам не оказало немедленного и непосредственного воздействия на жизненные привычки, в том числе на систему питания. Идея греха для меня отделена от изначального понимания зла, познание последнего идет рука об руку с приобретением человеком жизненного опыта. У зла есть "онтологическая" сторона, оно присутствует в мире, оно действует, оказывая на людей ощутимое материальное и духовное влияние. Грех — другое дело, в нем отсутствует аспект абсолюта. Его очень часто обнаруживаешь постфактум, испытывая мгновенный укол совести.

Проходя путь духовного развития, я все яснее осознавал трасцендентальный характер собственных поступков и приобрел привычку молча взывать к Господу, произнося благодарственные молитвы: я просил Бога указать мне путь, защитить и просветить. Находясь в заточении, я вынужденно воздерживаюсь от алкоголя, но меня это совершенно не угнетает. Я ненавижу пьянство. Привычка пить вино за едой была для меня скорее частью "культурного" ритуала, укоренившегося в странах Латинской Америки.

Мое ви́дение мира и действующих в нем сил не слишком существенно изменилось после принятия ислама, оно упростилось, потому что я нашел в Коране и вере логичные, здравые ответы на мои собственные вопросы и вопросы других людей. Вера укрепила мою убежденность и боевой дух. Я борюсь против активных материальных и нематериальных сил, против людей и идей, против учреждений, хотя сражение мое носит интеллектуальный характер. Я верю, что первопроходцы должны иметь возможность передавать свой опыт тем, кого завтра жизнь пошлет на́ передовую... Мы должны указать им дорогу к Вере, справедливости и борьбе за истину, зная, как тяжел путь ко Всемогущему...

***

Сегодня мне смешно то антирелигиозное манихейство, которое когда-то, до обращения к Божественному Началу, вдохновляло меня и моих товарищей. Тогда я неоднократно отмечал для себя, сколь важную роль играли в национально-освободительных и революционных сражениях священнослужители-воины. В контексте палестинского сопротивления роль религии неуклонно возрастает. Меня поразила убежденность федаинов, и я проникся их верой. Мне смешна нелепая борьба против Бога, против самой идеи о том, что в этом низком мире может существовать Нечто, превосходящее наше понимание и недоступное нашему воображению. Злобный и бессмысленный предрассудок, которым многие защитники пролетарской революции размахивали как хоругвью, был в те времена в большой моде. Я находился в тупике — теперь я это понимаю, благодарение Небу, я нашел выход, и моя новая — нет, обновленная! — вера только подтвердила былые обязательства по отношению к Революции и новому человеческому порядку, подчиняющемуся Божественному замыслу.

Вера оказала мне неоценимую помощь в понимании сочетания психологических и социологических факторов в человеческих отношениях и важности религиозного фактора в историческом развитии в прошлом, настоящем и будущем. Предназначение истории — предвидеть, в ретроспективном анализе важно перспективное предвидение. Это избитая истина, но ее полезно время от времени вспоминать. Она позволяет мне расшифровать природу внутренних и межгосударственных столкновений в странах так называемого Юга.

Как разобраться в конфликтах и столкновениях сегодняшнего дня исключительно с материалистических позиций? Теперь, когда снято двенадцатилетнее эмбарго, писаки-журналисты словно по мановению волшебной палочки вдруг осознали, какую важную роль играет нефтяной фактор в объяснении нынешнего кризиса и американской политики.

Контроль над энергетическими ресурсами является определяющим, но не единственным параметром, далеко не единственным. Было бы странно и неестественно зацикливаться на одном аспекте — безусловно главенствующем, но являющемся лишь частью целого, пытаясь объяснить всю сложность ситуации публике, ровным счетом ничего не понимающей в геополитике.

Они либо наивные ослы, либо — и эта версия кажется мне наиболее правдоподобной — повторяют, как верные псы, то, что трубит *голос его хо-*

зяшна[1]. Педалировать нефтяную составляющую конфликта — значит затушевывать другие, не менее — если не более — важные стороны ведущейся войны. Судьба Палестины тоже поставлена на кон, но понимают это на Западе считаные единицы посвященных, все остальные — средства массовой информации и их клиенты — даже не задаются этим вопросом.

Восьмилетнее заключение ни на йоту меня не изменило — я был и остаюсь революционером и коммунистом. Я буду всеми допустимыми способами бороться за освобождение мира от империалистической эксплуатации, а Палестины — от сионистской оккупации. Хотите верьте, хотите нет, но это не мечты выжившего из ума идеалиста и не бахвальство *бывшего.*

Антиглобализм сегодня сильнее любых нынешних и прошлых политических и идеологических расхождений. На повестке дня — вопрос о выживании человеческого вида: если мы продолжим разрушать планету теми же темпами, как делаем это сейчас на потребу империалистическому Молоху, то очень скоро вернемся в первобытные времена и окончательно одичаем. Бороться против империализма — значит бороться за человека и цивилизацию, а не за одну, отдельно взятую религию.

***

Я полагаю, что глубинная духовная сила ислама помогает нам вернуться к естественным и одновременно ниспосланным свыше отношениям с людским сообществом и природой. Кажется, Мальро писал, что "XXI век будет веком религий или его не будет вовсе". Все разумные люди должны осознать, сколь серьезен брошенный нам вызов, поскольку будущее выглядит далеко не безоблачным — несмотря на всю безграничную демагогию вождей, проповедующих мир во имя того, чтобы было удобнее вести войны. Грозовые тучи уже затянули небо над головой "демократий". Великая Америка под предлогом борьбы с терроризмом обирает всю планету. "Старшая сестра Америка" уже на марше, ее военная машина отлажена. Думаете, ее можно остановить? Что касается меня, я знаю, в чем мой долг, но оружия в руки не возьму! Прошли годы, условия борьбы изменились. Остается политическая борьба, от которой я не откажусь ни при каких обстоятельствах.

Ислам укрепил мое чувство солидарности, избавил от склонности к индивидуализму — этот первородный грех характерен для всех обществ эпохи упадка. Ислам постоянно напоминает нам о принадлежности к сообществу и о том, что верующий всегда должен помнить о Боге. Это вовсе не значит, что личность полностью утрачивает свою индивидуальность, в исламе нет ничего тоталитарного... Это религия свободных людей, каждый из которых лично отвечает за выбор, сделанный в пользу добра или зла. Религия, в которой не должно быть места презрению или ненависти, — только сопереживание и участие, то, что я называю "страдать вместе с...". Как быть счастливым в несчастливом мире, погрязшем в собственных пороках, которые считаются источником счастья? Этот эрзац счастья, больше всего похожий на рекламный слоган, есть в действительности отрицание подлинной жизни.

1. Эта фраза была девизом знаменитой французской фирмы грамзаписи "Патэ".

Должен признаться, что питаю презрение к моральной нечистоплотности и низким чувствам некоторых людей, с которыми вынужден общаться против собственной воли. Судить пороки общества? Это не значит осуждать тех, кто им подвержен. Все они рано или поздно становятся жертвами собственных слабостей. Некоторые виноваты больше остальных, и тут не может быть и речи о полном отпущении грехов, это выглядело бы мерзким попустительством. Возможно, восемь лет судебного преследования и полной изолированности от мира в какой-то степени объясняют недостаточную беспристрастность моих оценок. Впрочем, особой горечи я тоже не чувствую, моя вера слишком сильна и глубока, и, каким бы парадоксальным это ни казалось, она делает меня свободным.

***

Я был женат трижды и сочетался браком с Изабель Кутан, Магдаленой Копп, а также с Ланой Харрар, с ней — по законам шариата. Моя супруга-палестинка взяла на себя труд научить меня молитве и с нежной кротостью наблюдала, как я исполняю обряды. Ее мать объяснила мне, как именно следует воздерживаться от пищи — это мало чем отличается от поста, преданного католиками забвению. В рамадан мусульмане должны строго соблюдать все правила, закон не терпит приблизительности. Ислам требователен, но ведь когда человек идет к Богу, с него много спрашивается и еще больше он должен отдавать.

Я безгранично уважаю мои обязанности мужа и главы семьи, почитая права женщин главнейшей составляющей жизни. В противоположность сложившемуся на Западе нелепому и даже карикатурному представлению о положении мусульманок, их права отражены в духовном законе. Любой человек в Афганистане скажет вам, что учреждение шариатских судов — трибуналов, где судят по законам шариата, — принесло в страну неизвестные ей доселе законы *нуштували*, родового кодекса титульной нации — пуштунов.

Все, конечно, помнят зрелище казни женщин на стадионе в Кабуле — вражеская военная пропаганда транслировала картинку на весь мир, вызвав взрыв возмущения общественного мнения. Англоамериканец Питер Берген из CNN, встречавшийся в конце 1999 года с шейхом Усамой бен Ладеном, вынужден был признать, что футбольные поля в Афганистане всего лишь спортивные площадки, не более того. Публичные казни при талибах проводились в исключительных случаях, так карали лишь за самые тяжкие преступления. Вот только об этом почему-то никто не рассказал миру.

Так же "случайно" никто не обратил внимания на цифры, которые предала гласности организация "Международная амнистия". Интересно, кто-нибудь сравнивал число казненных в Афганистане и в Америке? Сравнение оказалось бы не в пользу последней. Никто там не действовал по неведению или простодушию. Война была запрограммирована, общественное мнение должно было не только согласиться на нее — людей хотели заставить потребовать начала боевых действий. Через год после падения Кабула положение афганцев не изменилось ни на гран, несмотря на формирование марионеточного правительства: Запад не мог допустить, чтобы воцарившийся хаос связывали с так называемым *освобождением* Афганистана.

Хочу заметить, что никакие законы, принятые в ваших замечательных "демократических" государствах по наущению феминисток, не способны защитить несчастных жен от жестокого обращения дурных мужей. Что до положения женщины и уважения к ней — об этом можно говорить долго! Не знаю, что хуже для женщин: носить, соблюдая мусульманский закон, глухую одежду, защищающую их от преступного вожделения мужчин, или видеть женское тело, выставленное безо всякого стыда и уважения на всеобщее обозрение, как кусок мяса на прилавке, во имя отвратительного культа купли-продажи.

Моя мать, донья Эльба, — верующая католичка и прихожанка Апостольской римско-католической церкви. Я назвал Эльбой Розой мою младшую дочь — в честь ее бабушек. Став мусульманином, я сумел побороть в себе враждебность по отношению к католической церкви. В моем сердце зародилась любовь к Иисусу и Его Матери, Пресвятой Деве Марии (люди очень часто не знают, что правоверные мусульмане почитают и Сына, и Мать). Существует целая религиозная исламистская литература о Деве Марии и ее доме близ Эфеса в Турции: часть его превращена в мечеть, и женщины-мусульманки приходят туда молиться Пречистой Деве.

Теологические разногласия, существующие сегодня между исламом и христианством, безусловно очень серьезны, их еще очень долго невозможно будет преодолеть. Неоспорим лишь тот факт, что все мы верим в Единого Бога. Для Господа каждый человек неповторим, а все истинно верующие — будь то мусульмане, христиане или иудеи — составляют единую общность, конечно, если чтят Завет! В конечном счете я совершенно убежден: все, кто привержен Священному писанию, призваны объединиться. Таково предназначение, такова наша судьба. Мы идем сегодня разными путями, но цель у нас одна.

Я очень сурово осуждаю моральный и духовный упадок так называемых "демократий" — бессильных, вымирающих, не способных распоряжаться собой, сбитых с толку, порочных и развращенных избытком материальных благ. Рабы низкопробных наслаждений, они бесстыдно предаются сексуальным излишествам, подпитывая свой мозг изображениями немыслимой жестокости, тем, что Папа Иоанн Павел II называет "культурой смерти". Вы же настолько безумны, что позволяете вашим детям ежевечерне поглощать все эти телегнусности. Ваше общество не слишком далеко ушло от описанного в 1930-е годы Олдосом Хаксли "О дивного нового мира", хотя вы, возможно, чуть менее бесчеловечны. Неизбежная инфантильность гибнущего социализма как нельзя лучше проявляется в общедоступных передачах, соревнующихся друг с другом в глупости. Вряд ли я излишне пессимистичен. Многие, сами себе в этом не признаваясь, постепенно приходят к тем же выводам.

Расставим все точки над i: я совершенно уверен в вырождении и упадке западных обществ, но во мне нет ни горечи, ни ненависти. Обращение в ислам помогло мне избавиться от поспешности в суждениях, сделало чувства простыми и ясными. Я просто констатирую и сокрушаюсь. Я осознаю всю громадность стоящей передо мной задачи. Вера сделала мой взгляд на окружающую действительность острее, но и принципиальнее и мягче, что, впрочем, не имеет ничего общего с *терпимостью* или попустительством; грань, отделяющая эти явления от пособничества — активного или же пассивного, — практически незаметна.

Терпимость кажется мне понятием подозрительным, в ней слишком много, с одной стороны, равнодушия, а с другой — склонности к самоанализу. Быть терпимым — значит сочувствовать, разделять страдания и растерянность, порождаемые неестественным и бесчеловечным миром. Вера помогла мне понять, открыть для себя и почувствовать главное: чудовищный разлом, поразивший современные страны, имеет духовное и моральное происхождение, обществами управляет развращенное меньшинство, не имеющее ни стыда ни совести. Но ведь без путеводной звезды Веры и морали любое начинание проваливается, любой человек сбивается с пути. Слова о блуждании в потемках не есть образ или фигура речи — это конкретная и сиюминутная реальность, с которой каждый человек сталкивается, пока не найдет путь света и истины в Боге.

Нравственная чума Запада обрушилась и на развалины социализма. Я уже объяснял распад Советского Союза моральным разложением большинства его элит (рыба гниет с головы!), постепенно утративших всякий интерес к Революции. С годами идеи Революции, социализма стали для бюрократической касты, дорожащей своей властью и привилегиями, просто идеологическими клише, служащими обману общества. Крушение социалистического лагеря, переход экономики бывшего Советского Союза на рыночные рельсы, подчинение всей жизни интересам купли-продажи окончательно и бесповоротно изменили жизнь тех стран, которые Советский Союз долгое время защищал, одновременно подтачивая их устои. Руководству стран так называемого социалистического лагеря не хватило времени на выработку иммунитета против "дикого" капитализма и его последствия — "ультралиберализма". В современных западных государствах существуют (или формируются) очаги сопротивления негативным последствиям постсоветского развития России и стран Восточной Европы.

Народы бывшей Советской империи заплатили дорогую цену за "открытость" политической и экономической модернизации. Сколько молодых женщин из вновь образовавшихся государств отправились на средиземноморский Запад и в страны Залива, чтобы стать там проститутками, к вящей радости набобов из нефтяных княжеств? Нефтедоллары для нефтекуртизанок... а ведь эти лицемеры с упоением карают своих женщин по устаревшему и жестокому закону шариата, и американские гуманитарные организации крайне редко говорят об этом во весь голос — речь ведь идет об их союзниках. Подобное правоприменение должно быть немедленно упразднено, поскольку дает искаженное представление об исламе.

***

Я был и остаюсь *профессиональным* революционером, солдатом, бойцом в ленинском понимании этого слова. Революция просто не могла бы свершиться без своего авангарда — борцов, которые ее планируют, готовят и начинают. Я руководил сражениями как в полевых условиях, возглавляя десантно-диверсионные группы, так и из оперативного штаба. Тем не менее, по сути своей, я скорее политик и организатор и считаю анализ соотношения стратегических и тактических, конъюнктурных и постоянных вооруженных сил оптимальным методом для определения

своевременности и особенностей революционного действия, его рамок и природы, вплоть до вооруженного выступления.

Теоретизирование обратно пропорционально накалу реальной борьбы и уровню вовлеченности в нее масс, однако полный отказ от теории невозможен — иначе будут утрачены смысл и конечные цели борьбы. Необходимо постоянно корректировать вектор действий, исходя из краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тактических и стратегических целей. Как верующий возвращается каждый день к Священному Писанию, а священник ежедневно читает требник, так же и политик должен постоянно корректировать свои действия в соответствии с поставленными целями. Анализ *a posteriori* различных ситуаций и событий лежит в основе деятельности любого политика, военачальника и революционера, планирующего дальнейший ход событий.

В четырнадцать лет я посвятил свою жизнь Революции. В январе 1964-го вступил в коммунистическую партию, но счастливо избежал искушения стать функционером и продолжаю оставаться коммунистом и непреклонным революционером. Возможно, именно эта бескомпромиссность вызывает наибольшее раздражение у моих оппонентов. Когда мне было двадцать, произошли события, коренным образом изменившие мою жизнь и определившие дальнейшую судьбу: Мировая Революция и борьба палестинского народа слились в моем сознании воедино. Признáюсь, мой политический выбор и тесная духовная связь с Палестиной еще больше укрепились после встречи с Ланой Харрар.

Борьба для меня есть синоним самопожертвования во имя избранного дела. Приняв ислам в октябре 1975 года, я не стал ни мистиком, ни святошей. Я всего лишь пытаюсь найти свет Веры и не дрогнуть в суровых жизненных испытаниях, общаясь с Богом напрямую, без посредников.

Мои коммунистические идеалы устояли во всех жизненных горестях и терзаниях, они нисколько не противоречат вере в Единого Бога. Вера обогатила и расширила мое ви́дение мира, дав дополнительные и очень веские основания не отступать с выбранных позиций. Вера не только утвердила меня в правоте дела, которому я посвятил жизнь, но и помогла исправить многие ошибки и отказаться от неверных оценок и заблуждений. Ислам укрепил мои революционные воззрения, он очистил их, придав одновременно новое — возвышенное — значение.

***

Сегодня кончается моя изоляция — она длилась восемь лет и 63 дня, считая с августа 1994 года, когда суданское правительство, подкупленное на американские нефтедоллары, выдало меня DST[1].

Под изоляцией я имею в виду полное отсутствие каких бы то ни было контактов с людьми — даже с заключенными моей же тюрьмы! Позиция французской администрации явно свидетельствует об отношении ко мне не как к "террористу", но как к политическому заключенному, от которого при возможности неплохо было бы избавиться. Думаю, я сегодня единственный заключенный французских тюрем, которому запрещены свидания. Мелочность судебных властей и тюремной администра-

1. Управление по территориальному надзору. Полицейское подразделение Главного управления по национальной безопасности Франции, отвечающее за борьбу с шпионажем.

ции доходит до того, что мне запрещено изучать французский язык — единственным моим учебником остается словарь.

Чего же они боятся? Что я смогу изъясняться на их языке и хорошо изъясняться? Что поставлю в неловкое положение судей, делая по-французски неприятные для них замечания, указывая на пробелы в материалах дела, обличая недостатки в работе следователей? Чего они так сильно опасаются? Что я сделаю заявления, компрометирующие сильных мира сего, или выставлю на всеобщее обозрение непоследовательность судебной системы? Что мои аргументы камня на камне не оставят от устоявшейся системы идеологических взглядов добропорядочных мелких буржуа — этих винтиков государственной машины, которые, облачившись в судейские мантии, позволяют себе попирать ими же написанные законы? А может, они страшатся, что столь явные, вопиющие противоречия напомнят об их собственной некомпетентности и никчемности? Эти законники нарушают судебную процедуру, ущемляют мои права, боясь, что я использую язык как оружие, чтобы защищать права политического заключенного и обличать их систему, да еще подам другим *дурной исламо-революционный* пример.

Тюрьма для меня — это еще и семейная традиция, которой я горжусь. Я принадлежу к четвертому поколению Рамиресов и Санчесов, которых арестовывали и сажали за то, что они защищали правое дело, руководствуясь политическими идеалами. Не будем забывать, что выбор оружия нам, революционным борцам, был навязан врагом, несоразмерностью противоборствующих сил. Сегодня это называют "асимметричными" конфликтами, объясняют неустойчивым, взрывоопасным международным положением, характерным для "горячих" лет "холодной войны".

Сегодня я — политический заложник, выданный 15 августа 1994 года светским властям на летном поле аэропорта Виллакубле. Никто не убедит меня в том, что люди, организовавшие мое "изъятие" из Судана, превосходно знающие, в какой грязи барахтаются политики и сколько преступлений было совершено во имя "свободы" и так называемых "демократических" ценностей, не поступят со мной так, как поступает *медиакратия*, закармливающая общественное мнение описанием искупительных жертв и охотно на этом наживающаяся! Горе несчастному, осмелившемуся пойти против государственных интересов, — таков закон, правящий западным обществом, но я этот закон отвергаю.

Французские тюрьмы далеко не курорт. Больше всего мне здесь не хватает теплоты человеческого общения, возможности перекинуться с кем-нибудь хоть словом. Я читаю ежедневные газеты, книги, посвященные нашей борьбе, пишу за шатким пластиковым столиком — им заменили старый деревянный стол, служивший мне первые шесть лет заключения. В Париже я слушал "Radio Orient", смотрел новости, переключаясь с программы на программу (за телевизор администрация тюрьмы берет с меня ежемесячную плату в размере десятой части его стоимости).

Я сижу в тюрьме, но мой разум и моя душа свободны. Тюрьма является решающим испытанием в осуществлении моего предназначения. В определенном смысле я, узник, свободнее многих и многих людей, живущих на свободе: эти рабы ложных потребностей каждый вечер накачиваются транквилизаторами — иначе им не вынести ни жалкого существования без идеалов, без перспективы, без надежды, ни самих себя.

Тюрьма подарила мне последнюю великую любовь, одарив неземным богатством. Многие могут позавидовать подобной удаче. Я живу этой любовью, яростно надеясь вернуться в самом скором времени на землю моих предков, в Венесуэлу. Но я мог бы жить и в Ливане — я люблю эту страну и ее народ. Я говорю — "жить", потому что никогда и нигде не чувствовал себя изгнанником, ни в Судане, ни за уныло-серыми тюремными стенами Сантэ и Сен-Мор, где меня пытаются еще больше изолировать от внешнего мира...

Почему Изабель? Почему я? Сегодня закон Корана, заветы Сунны и Пророка Мухаммеда связали нас до конца дней. Что сказать о подобной любви — возвышенной, бескорыстной, честной? Это чудо и тайна. Ни на одно мгновение глупое тщеславие не заставило меня поверить, будто я обязан нашей встречей исключительно собственным заслугам, потому что верю в Бога, а наши судьбы на карту жизни наносит Он один. Я остаюсь неисправимым оптимистом, ибо меня ведут по жизни слившиеся воедино идеалы и Вера. Рано или поздно я выйду из заточения, я в этом убежден, даже если, став свободным, замолчу навеки. Я закончил писать "Воспоминания" в ноябре 1992 года в Аммане. Если Аллаху будет угодно, они увидят свет через двадцать лет — в любом случае уже после моей смерти.

Я подчиняюсь воле Всевышнего. Хвала Аллаху!

КОНЬ В ПАЛЬТО

Шерлок Холмс, оказавшись в Баскервиль-холле, с удивлением уставился на портрет Гуго Баскервиля: "Я-то думал, что он — молодец с разбойничьей рожей, а он такой тихонький, на вид постный". Вот такой же пресно-тоскливый автопортрет рисует и г-н Шакал.

Я-то ждал "Трех мушкетеров", романа плаща и шпаги, эротико-политического триллера, саморекламы в стиле "Неуловимых мстителей", "Робин Гуда", на худой конец, "Доктора Но". А вместо всей этой "красоты дьявола" получил — серым по серому писанные рассуждения о марксизме, советской номенклатуре, Коране и имена каких-то теток, с которыми г-н Шакал познал неземную страсть, с чем его и поздравляю. И больше — ни-че-го. Ни слова о своей работе! Намека даже нет...

Так зачем заходил — может, сказать чего хотел?

Не знаю, как кому, но мне было даже не смешно читать этот учебник научного коммунизма вперемежку с хвалой Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному. Все мы учились понемногу марксизьму-ленинизьму, именно такому "шакальему марксизьму", все мы знали, что существует КГБ, — с этими хохмами не стоит ездить в Одессу. Конечно, Шакал писал не для российского читателя, но получаем-то этот портвешок с чаем пополам вместо огненной текилы мы.

Черт его знает, чего там хотел г-н террорист, продавая вместо дымящейся крови затхлую водичку: предстать шакалом в овечьей шкуре, еще разок разжалобить и так сочувствующих ему — бойцу за национальное освобождение — французских левых интеллигентов? Это, конечно, первое, что приходит в голову. Но может быть, он вел какие-то свои игры с правосудием, адвокатом, прокурором или вот в такой форме "тусанул маляву" подельникам на свободе? Аллах его ведает...

Ясно одно. Шакал — парень не промах, исповедоваться — ищи дурака! Жаль только, что вместо павлиньего вранья, охотничьих рассказов он выбрал ва-

риант "один зайчонка серенький под елочкой скакал". Но может быть, что-то можно прочитать и по следам заячьих лапок?

Честно говоря — очень немного.

Ледяная риторика Шакала говорит о полнейшем хладнокровии его "мохнатого сердца" — так кто же сомневается, что перед нами не мальчик, а профессиональный киллер, который давно уже не дергается на работе?

Пожалуй, единственно занятное в потоке этих гладких шакальих слов одно (это, кстати, роднит его и с бен Ладеном, хотя под именем последнего выходят все-таки тексты "помясистее") — абсолютная пустота, вакуум мысли и чувства. Абсолютная монотонная бессодержательность этих банальностей — развращенный Запад, ужасное ТВ, путь света и истины в Боге — Аллахе и т. д. и т. п., до бесконечности — я добросовестно прочел двадцать две страницы, но так можно исписать и двадцать две тысячи страниц: ноль, помноженный на любую цифру, равен нулю. Так вот, эта бессодержательность, это "революционное лицемерие" доведены до некоторого абсолютного нуля — НИ ЕДИНОГО КОНКРЕТНОГО ФАКТА О СЕБЕ! Так только советские генсеки доклады читали — вода, вода, кругом вода...

Это может нравиться левым интеллектуалам. Это им должно нравиться. Почему? Да потому, что это — их собственный интеллектуальный уровень.

"Острый галльский смысл" социалистических интеллектуалов Франции (я читал, разумеется, ничтожно малую часть их творений, но зато — самое популярное, самое представительное) находится примерно на том же уровне.

Словесные заклинания, ценные только для шаманов "измы", обязательная (и тоже ледяная и полая) ненависть к Америке, чуть более живой антисемитизм (а поскреби каждого второго левака — найдешь еврейские корни) — ну и пойло! И ведь варят, торгуют и сами колются — с неизменным успехом и с важным видом — десятки лет. Ясно, у Шакала большое преимущество перед этими "левыми фраерками" — он-то "пацан конкретный", да еще и "в авторитете".

Болтать, что твой левак-профессор, Шакал умеет — а вот умеют ли они стрелять, резать, организовать киднеппинг, провести допрос с пристрастием, заложить взрывчатку и многое другое, чего я и назвать-то не смогу? Да-с, риторические вопросы, такие же риторические, как и тексты "нашего Шакал Шакалыча". В общем, он бы мог запросто отчитать курс "революционно-исламской этики и эстетики" в любом университете города Парижа — а вот парижские профессора с шакальей работой никак бы не справились.

Автобиография Шакала называется банально-претенциозно: "Кто я?" Екклесиаст, Гамлет, Омар Хайям, Толстой и т. д. — вот такой примерно ряд проглядывает из-за этого вопроса.

Но мне кажется, что перевод вопроса Шакала — неполный. Не сомневаясь в профессионализме переводчика, все же считаю, что он опустил одно словцо. Уверен, что в оригинале Шакал спросил так: "Пацаны, я кто?" По-моему, ответ ясен и прост. Он и дан в заглавии моей заметки.

Леонид Радзиховский

Херфрид Мюнклер

Терроризм сегодня

Война становится асимметричной

Все больше и больше свидетельств тому, что в ближайшие десятилетия угроза терроризма будет оказывать значительное влияние на мировую политику и экономику. Связано это не столько с увеличением разрыва в уровне жизни между богатыми и бедными регионами, сколько с еще более стремительным усилением неравенства между военными потенциалами передовых в технологическом отношении государств и стран "остального мира". Терроризм не служит, как это часто утверждается, оружием бедных, терроризм — способ борьбы слабых. В этом смысле он заменил партизанскую войну.

Но партизанская война — это преимущественно оборонительная стратегия; терроризм, напротив, по сути своей — стратегия наступательная. Партизанское движение возможно лишь при наличии у партизан тесных этнических или социальных связей с местными жителями. Именно отсутствие таких связей привело к провалу проекта Че Гевары по организации наступательной партизанской войны в боливийских джунглях. Без помощи населения неосуществим и классический террор социал-революционеров или национал-сепаратистов.

В то же время новейшие формы транснационального терроризма практически независимы от поддержки местного населения. Террористы новейшей формации гораздо больше зависят от слабых мест в инфраструктуре тех стран, на которые нападают, поскольку используют элементы инфраструктуры как оружие (например, гражданские самолеты в качестве разрушительных снарядов). Таким образом, терроризм, который долгое время осознавался всеми как одна из форм партизанской борьбы, становится самостоятельным игроком. Это уже нашло свое отражение в образе Усамы бен Ладена, созданном средствами массовой информации.

При партизанской войне речь идет о господстве на определенной территории. Цель же терроризма — если он является самостоятельной стратегией, а не подчиненным тактическим элементом революции или сепаратистского движения, — нарушить или остановить потоки товаров, услуг, капитала, людей и информации, то есть всего того, что составляет жизнь современного общества. Партизанам необходимо пространство — так называемые "освобожденные территории", — где рекрутируются будущие бойцы и намечаются контуры режима, который они стремятся установить. Террористы, напротив,

Редакция благодарит журнал "Internationale Politik", любезно предоставившей нам право на безвозмездную публикацию статьи Х. Мюнклера.

практически не связаны пространством, поскольку действуют в неконтролируемых, в конечном счете, потоках современного общества. Это обстоятельство является предпосылкой повышенной дее- и жизнеспособности террористических групп новейшей формации.

Постепенно становится ясно: терроризм в его современном виде — это одна из форм войны. Он полностью подпадает под восходящее к Клаузевицу определение войны как акта насилия с целью навязать противнику свою волю. Разумеется, тот, кто в теории ограничивает войну определенным видом или способом ее ведения, например, обязательным использованием армии, которая сражается за контроль над территорией, будет оспаривать утверждение, что террористические сети, лидеры военизированных формирований и полевые командиры ведут войну. В крайнем случае их назовут "агентами организованного насилия". Но такой подход упрощает историю войн, оставляя от нее лишь межгосударственные войны в Европе в XVII–XX веках.

Формы ведения войны

Война в ходе истории вновь и вновь меняла формы в зависимости от социальных, экономических, демографических, политических факторов и расстановок сил, и это явление нельзя интерпретировать ни как эволюционный процесс, ни как поэтапное "цивилизирование" войны с перспективой ее окончательного устранения из жизни людей, ни как верный путь к самоуничтожению человечества. Изменение форм войны не позволяет выделить в долгосрочной перспективе четкой закономерности — может быть, лишь с тем исключением, что формы войны, "отработанные" во всех своих возможных вариантах, заменяются другими формами, которые содержат новый потенциал.

Представляется, что одной из таких новых форм является транснациональный терроризм, нацеленный на асимметричные действия, посредством которых тот, кто в технологическом и организационном плане бесконечно уступает своему противнику, обретает способность вести долговременные боевые действия. Что же до классической межгосударственной войны, то она вследствие колоссальной силы ядерного оружия и высокой уязвимости современных обществ превратилась в исторически изжившую себя модель.

Террор как предварительная ступень

Терроризм — это одна из новых форм ведения войны, которая, по всей вероятности, будет определять ситуацию с войнами в XXI веке, причем независимо от тесных связей, которые сегодня существуют между терроризмом и радикальным исламом. Терроризм следует рассматривать не как форму выражения определенной идеологии, а как стратегию применения силы, которая в принципе доступна любому слабому политическому игроку.

В своей первоначальной форме, получившей развитие в России в последние десятилетия XIX века, терроризм был тесно связан с идеей социальной революции и в силу этого рассматривался скорее как форма войны гражданской, нежели мировой. Связь террористических действий с практикой социальной, а очень скоро и национальной революции обу-

славливала специфический выбор цели и тем самым – ограничение в применении силы, что совершенно отсутствует в новейших формах транснационального терроризма. Теракты, объектами которых стали Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года или туристические достопримечательности, гостиницы и дискотеки в Джербе, Момбасе и на Бали, были немыслимы для терроризма социально- или национально-революционного толка, поскольку жертвами терактов становились "не те" люди.

"Теми людьми" для социал- или национал-революционеров были функционеры государственного аппарата и вообще все, кто принадлежал к господствующему слою, например, банкиры, фабриканты и помещики. По этой же причине во время терактов исключалось причинение ущерба так называемой "заинтересованной третьей стороне". Существование "заинтересованной третьей стороны" было важнейшим ограничителем применения силы и в определенной степени гарантом тому, что применение оружия массового уничтожения в планы террористов не входит.

Кто при этом фигурировал в качестве "заинтересованной третьей стороны", зависело от постановки целей и от идеологии террористических групп: речь могла идти о крестьянстве, о пролетариате, об угнетенных народах третьего мира, об этнических меньшинствах, о конфессиональных группах или людях, дискриминируемых по расистским соображениям, – у распространяемого посредством насилия "послания" всегда существовал адресат. Именно ему, этому адресату, террористы демонстрировали свою силу, более того, они призывали его к активному участию в насильственных действиях, чтобы борьба, поначалу развернувшаяся между маленькой группой и мощным государственным аппаратом, приобрела бóльшую интенсивность и лучшие шансы на успех.

Нередко террористы, с одной стороны, провоцировали государство на распространение превентивных репрессивных мер по отношению к "заинтересованной третьей стороне", а с другой – подталкивали "третью сторону" к участию в антиправительственной деятельности, расширение которой за счет новых участников позволяло перейти к иным формам борьбы – забастовкам, массовым выступлениям в городах или партизанской войне в сельской местности. Несколько упрощая, тут можно говорить о трехступенчатой модели борьбы социал- или национал-революционеров, где первая ступень – это теракты, вторая – партизанская война или вооруженное восстание в городах, а третья – ведение боевых действий. Согласно такой схеме террористическое насилие – это начальная фаза вооруженной борьбы, которую следует пройти максимально быстро; кроме того, это позиция для отступления в случае, если возникнет необходимость вновь уйти в подполье.

Для социал- или национал-революционеров терроризм всегда – промежуточная стадия, несущая в себе для тех, кто делает ставку на насилие, относительно высокую степень риска потерпеть политическое фиаско. Понимая это, правительства пытаются удержать их именно на начальной стадии и вынудить к действиям, которые приведут к утрате поддержки "заинтересованной третьей стороны". Поддержка может быть утрачена в двух случаях: когда жертвами террористических актов становятся люди, причис-

ляемые к "заинтересованной третьей стороне", или когда террористические группы заботятся исключительно о самосохранении, вследствие чего становятся похожими на самых обычных преступников.

Террор как способ ведения войны

Новейшие формы транснационального терроризма в организационном и оперативном плане так сильно отличаются от обрисованной выше модели терроризма национал- и социал-революционеров, что общее обозначение "терроризм" скорее вводит в заблуждение, чем проясняет ситуацию. В конце концов, оно учитывает одно только непосредственное следствие террористических атак, а именно: распространение страха.

В первоначальном варианте терроризм был нацелен преимущественно на государственный аппарат и господствующие классы, которые следовало запугать или подтолкнуть к иррациональным реакциям. "Заинтересованная третья сторона" при этом оставалась в позиции наблюдателя. Ныне ситуация в корне иная: страх, распространяемый новыми формами терроризма, — это атака на психическую инфраструктуру всего общества. "Заинтересованной третьей стороны" — в том виде, в каком она присутствовала в изначальном варианте терроризма, больше не существует. Таким образом, террористическая кампания более не является этапом в рамках общей стратегии, а представляет собой самостоятельный уровень борьбы, где переход к другой форме насилия, например к партизанской войне, вовсе не обязателен.

Если терроризм национал- и социал-революционеров выполнял функцию мобилизации сил, необходимых, чтобы вступить в серьезное противостояние с государственным репрессивным аппаратом, то новейшие формы терроризма не уделяют особого внимания армии и полиции; они нападают там, где противник слаб или относительно легко уязвим. Поэтому целью ударов часто становятся сложнейшие и наиболее уязвимые структуры современных обществ, дезорганизация которых, даже самая незначительная, весьма серьезно влияет на психическое состояние людей.

Именно поэтому террористическая сеть "Аль-Каиды" при планировании и совершении терактов "обошла" американских военных, нанеся удар непосредственно по экономической инфраструктуре западного общества. Стратегическая цель нападения "Аль-Каиды" на США — остановить или как минимум нарушить потоки людей и капиталов. При этом армия, в которую современное западное общество вкладывает большие средства с целью обеспечить свою безопасность, просто-напросто "обходится с фланга", столкновение с ней исключается, а в качестве мишени выбираются легкоуязвимые гражданские объекты. Террористы уклоняются от непосредственного соприкосновения с железным кулаком противника, нанося вместо этого удары исподтишка в солнечное сплетение. При удачном попадании железный кулак разожмется сам.

Вот простой пример. Взрыв возле синагоги на тунисском курорте Джерба унес жизни девятнадцати человек. Из-за этого сократился туристический поток из Западной Европы, и сразу запахло экономическим кризисом, поскольку Тунис весьма зависит от

туризма. А в условиях кризиса становится возможной дестабилизация и крушение политического режима. Если это произойдет, Запад потеряет важного партнера и союзника, а кроме того, изменится конфигурация власти во всем регионе Магриба.

Или другой пример. Меры безопасности, введенные после 11 сентября 2001 года, привели к замедлению пассажиропотоков на определенных направлениях и, как следствие этого, к финансовому ущербу, что наряду с прямыми затратами на усиление мер безопасности привело к значительному росту издержек западной экономики. Понимая, что в капиталистической экономике потеря времени равнозначна потере денег, террористы заставляют мир постоянно ощущать угрозу и принимать превентивные меры безопасности. И это – независимо от того, осуществились теракты или нет, – ведет к новым издержкам.

Опустошительная война как модель

В этом смысле новейшие формы терроризма следуют классической модели опустошительной войны древности. Так кочующие орды врывались в процветающие центры цивилизаций и огнем и мечом наносили им в первую очередь экономический ущерб. При этом нападающие никоим образом не были заинтересованы в том, чтобы вступить в решающую битву с регулярным войском; напротив, они всячески избегали этого.

Очевидно, что они не были готовы к длительным сражениям. Но зато у них имелось преимущество в подвижности. Таким образом, не военной силой, а постоянным нанесением экономического – в длительной перспективе непосильного – ущерба они пытались навязать противнику свою волю. Цели при этом могли меняться – от получения дани до принуждения к заключению династических браков.

Оборона в случае таких нападений включала в себя массу возможностей, использование которых в значительной степени зависело и от социополитической ситуации, и от особенностей атакующей стороны, и от географии пространства, на котором разворачивались события. Подвижная орда, ведущая войну на опустошение, весьма редко приходила из территориального государства, которое уязвимо для ответного опустошительного удара; преимущественно орда состояла из кочевых племен, территория обитания которых не имела ни государственного оформления, ни четких границ. Для осуществления ориентированных на добычу военных походов эти племена заключали достаточно свободные связи, а затем расходились и как бы "растворялись" в глубине своих территорий. Военные операции против такого противника были чрезвычайно затруднены, поскольку противник исчезал так же быстро, как и появлялся.

Оборона от опустошительных войн

У тех, кому грозит опасность опустошительной войны, есть два варианта организации обороны. Прежде всего это строительство пограничных укреплений, примерами которых могут служить римская пограничная полоса, Великая китайская стена или крепости в восточной части Османской империи. Но такая оборона связана

с высокими затратами на ее поддержание, к тому же она не имеет достаточной гибкости, что чревато серьезной опасностью в условиях, когда атакующая сторона способна к быстрой перегруппировке сил. Поэтому при обороне империи — и это второй вариант — защита границ очень часто сопровождалась опустошительными проникновениями в приграничные пространства.

Аналогии между классической опустошительной войной и новыми формами транснационального терроризма ошеломляют и озадачивают; причем они равным образом эффективны и в том, что касается форм террористических атак, и в том, что касается возможностей обороны. Роль, которую в классической опустошительной войне играла мобильность атакующего, в случае с терроризмом отводится секретности. Террористы действуют тайно, они проявляются только в момент нападения, не оставляя времени для принятия оборонительных мер, и это дает им возможность наносить урон противнику, который сильнее их почти во всем.

Здесь необходимо обратить внимание на два аспекта: противник террористов не располагает достаточным количеством времени и не желает приносить в жертву свое гражданское население. Именно на это делает ставку новейшая террористическая стратегия, используя в качестве целей нападения гражданские объекты в благополучных странах, где готовность человека к жертвам очень низка.

Сложнее всего при столкновении с террористами приходится демократическим правительствам, поскольку политическое устройство их стран исключает саму возможность создания помех распространению информации, даже если она усиливает психологический эффект террористических атак и объективно играет на руку террористам.

Все это позволяет относительно слабым игрокам на международной арене бросить серьезный вызов сильным и богатым государствам.

Стратегическая асимметрия

Террористическая угроза характеризуется, как правило, асимметричной расстановкой сил. В прежние времена терроризм и, конечно, стратегия партизанской войны были формами асимметричной войны, но почти всегда асимметрия выражала слабость революционеров или партизан. По мере наращивания ими сил асимметрия постепенно, шаг за шагом, исчезала. Как раз наращивание сил и достижение возможности симметричного ответа было целью почти всех партизанских войн и основой маоистской партизанской доктрины.

В новейших формах транснационального терроризма этого нет. Асимметричная конфронтация больше не рассматривается как ступень к достижению желанной симметрии, перспектива достижения равенства сил с противником вообще не рассматривается. Новейшая стратегия имеет далеко идущие последствия; она показывает, сколь реалистично оценивают ситуацию те, кто планирует и осуществляет террористические кампании. Если Мао Цзэдун имел основания надеяться, что китайская освободительная армия в ходе войны сравняется или превзойдет по мощи японскую оккупационную армию, а затем и гоминьдановские вооруженные силы, то подобного рода

ожидания у Усамы бен Ладена или Аймона аль-Завахири были бы полной иллюзией.

Новейшие формы терроризма основываются, таким образом, на том, что рассматривают асимметрию не как временное состояние, а как своеобразный ключ к успеху. Поэтому открытое военное столкновение с западными державами не предполагается даже в отдаленном будущем. Напротив, делается все, чтобы такого столкновения не произошло. Этому оптимально соответствует организационная структура в виде не привязанных к определенной территории террористических сетей.

Стратегический ответ

Что позволит нашим обществам одержать победу над террористическим вызовом нового рода и как обстоят дела с объявленной Джорджем Бушем-младшим более двух лет назад войной против терроризма? Тезис, который слышится вновь и вновь: терроризм невозможно победить военными средствами, – следует проверить в свете изложенных здесь размышлений о стратегии терроризма.

В столкновении с террористической угрозой первая линия обороны проходит через работу с населением. Необходимо создать в обществе психологическую атмосферу, в основе которой должны быть "героическое спокойствие и невозмутимость". Террористические атаки нацелены на лабильную психику современных обществ, их задача – относительно малыми средствами достичь глубокого воздействия; следовательно, значительная часть этого воздействия будет снята, если реакцией на теракты будет не истерическая возбужденность, а хладнокровная сдержанность. Тогда не остановятся туристские потоки, не будет подорвана экономика авиакомпаний, а амплитуда колебания курсов акций не окажется столь внушительной. Всплеск патриотизма в США после 11 сентября (с европейской точки зрения чрезмерный) соответствовал этой цели, но такой форме реакции не хватало хладнокровия – обязательной составляющей "героического спокойствия" в условиях долговременного ожидания возможных терактов.

Вторая линия обороны имеет ярко выраженный наступательный характер. Она представляет собой комбинацию полицейских мер, специальных и военных операций, цель которых – преследование террористических групп и ограничение их наступательных возможностей. Очевидно, что террористические сети располагают ограниченными ресурсами. Поэтому речь идет о том, чтобы поставить их в ситуацию, в которой они будут вынуждены бóльшую часть своих ресурсов использовать для самосохранения; соответственно, у них останется совсем мало сил для проведения наступательных операций. Задача спецслужб и военных – ввергнуть противника в постоянное состояние стресса, чтобы таким образом вынудить его к повышенному расходованию ресурсов и к совершению ошибок.

Конечно, не может быть и речи о скором решении проблемы с помощью вооруженных сил, как это происходит в случае симметричных конфликтов. Военные акции в рамках борьбы с терроризмом можно сравнить скорее с превентивной наступательной операцией, которая призвана уменьшить вероятность совершения опустошительного набега. Военными средствами терроризм не может быть окончательно побеж-

ден, так же как превентивная акция не могла полностью исключить вероятность нападения орды. Вместе с тем военными средствами можно снизить способность террористов к нападению.

Остается сказать про третий уровень обороны, который, впрочем, способен сыграть свою роль лишь в средне- и долгосрочной перспективе. Речь идет об отделении террористических групп от их окружения, то есть о лишении их притока новых бойцов, денег и о создании условий, в которых их политическая легитимизация будет в принципе исключена. В перспективе все это может привести к обескровливанию террористических групп. Именно такие способы противоборства наиболее часто оказываются в центре общественных дискуссий, но пока разговоры о них больше похожи на заклинания, от которых – при отсутствии разработанной концепции – вряд ли следует ожидать какой-либо пользы.

Берлин

Перевод с немецкого

Сергей Арутюнов

Терроризм и цивилизация: змея кусает себя за хвост

Гремят взрывы; взлетают на воздух дома, электрички, кафе, дискотеки. Но это только кажется, что взрывается пластит, гексаген, бытовой газ и другие взрывоопасные вещества. На самом деле взрывается лишь одно вещество, которое по природе своей не может не взрываться, которому не нужен даже детонатор. Взрывается ненависть.

Воздух нашей цивилизации пропитан ненавистью, как гнилостными испарениями воздух на болоте. Это ненависть всех ко всем: народа — к власти, которой плевать на народ, плевать на все, кроме собственного самоподдержания и самосохранения; ненависть матерей — к армии, которая бездарно и бесцельно губит их детей; ненависть обывателя — к полиции (или милиции), которая сама совершает преступлений больше, чем раскрывает или предотвращает; ненависть интеллигента — к спецслужбам, которые не хотят и не могут обеспечить его безопасность, а вместо этого заняты фабрикацией дутых дел против ученых, журналистов, экологов, чтобы как-то убедить хозяев бюджета в своей нужности и полезности; ненависть местных — к приезжим и приезжих — к местным; бедных — к богатым и богатых — к бедным; мусульман — к иудеям и христиан — к мусульманам; "черных" — к "белым" и "желтых" — к "черным"; одиноких — к замужним и замужних — к одиноким; естественно, "злых" — к "добрым", впрочем, даже и "добрых" — к "злым".

Все сказанное, конечно, касается и России, и даже, может быть, в первую очередь. Но все это вполне можно отнести и к Америке, и к Англии, и к Франции, и к Филиппинам, и к Шри-Ланке, и к Гондурасу, и к Зимбабве. Кое-что из сказанного (например, об армии) не относится к Израилю, но то, чего нет, с лихвой компенсируется гипертрофией другого; многое неприменимо к Исландии или Новой Зеландии, но там как раз и про теракты что-то не слыхать.

Аэрозоль ненависти плотным облаком окутал всю планету. Там, где его концентрация превышает критическую плотность, он взрывается. Наша цивилизация вырабатывает его неотвратимо и непрерывно, как угольный пласт — метан.

Всеобщая ненависть может не распространяться на лидера: президента, премьера, монарха, обладающего хотя бы минимумом харизмы (правда, как, например, на Гаити или в Пакистане, именно он и может стать главным ее объектом). Безотносительно к пресловутой мифологеме о "добром царе и злых боярах" лидер действительно может обладать иным набором ориентаций и целеполаганий, чем службы его камарильи, и даже втайне и вчуже мечтать о других, более пристойных и достойных службах, но где их взять, пристойные-то? Приходится волей-неволей опираться

© С. Арутюнов, 2004

на те, что есть, а они непристойные.

Опять же общая непристойность силовых служб не отменяет того обстоятельства, что даже в их рядах имеется некоторое (и немалое) число честных, принципиальных и даже энтузиастически настроенных людей, благодаря которым наше общество, собственно, и не погружается в бездну тотальной аномии[1]. Но такие люди не делают погоды, и в системе нынешней гиперконсумеристской цивилизации (т. е. ориентированной на сверхпотребление, а если сказать погрубее — на обжиралов-ку) никогда ее делать и не будут.

Ненависть или озлобленность не обязательно превращают человека в террориста, но непременно — в того, кто не желает сотрудничать с властью.

Между тем вряд ли нужно доказывать ту тривиальную истину, что для успешного противостояния терроризму необходима решимость ВСЕГО общества; необходимо тесное сотрудничество, взаимное доверие, уважение, более того, взаимная симпатия населения и работников спецслужб. В Израиле она — отчасти, по крайней мере, — есть. Но надежда на то, что российский обыватель-интеллигент начнет симпатизировать "ментовке" и "гэбэшникам", может вызвать только горький смех. И никакие пропагандистские сказочки, даже довольно талантливые, типа "Семнадцати мгновений", "Знатоков" или "Разбитых фонарей", этой ситуации не переломят. Нет, сериалы эти смотрят, их любят, их героям и играющим там артистам очень даже симпатизируют, но ни малейшей идентификации между экранными фантомами и соответствующими им реальными людьми в погонах не возникает и возникнуть не может. И когда мы сопереживали и ужасам заложников "Норд-Оста", и горю их родных, потерявших близких уже после ликвидации террористов, совершенно ясно было, что озлобление обывателя против самих террористов (в большинстве своем оболваненных, морально незрелых мальчишек и девчонок) по своему накалу явно уступает накалу озлобления против пьяных (понятное дело, тяпнувших для храбрости) шоферов и фельдшеров машин "скорой помощи" МЧС; против, как всегда, пытавшихся нагло врать "доблестных чекистов", не удосужившихся даже предупредить врачей о том, с какими поражениями им придется иметь дело, а фельдшеров — как нести пострадавших, чтобы не допустить асфиксии или западания языка в гортань. И это при том, что спецназ действовал правильно и четко и число жертв не превысило "международно приемлемых норм", — но дело в том, что не будь обычной гэбэшной тупости, жертв этих могло бы и вовсе почти не быть.

Разве не показательно, что в нашем языке слова "правоохранительный" и "правозащитный", такие похожие по составу (*охрана* и *защита* — почти синонимы), диаметрально противоположны по смыслу?

По разобщенности, по взаимной враждебности или, наоборот, по спаянности и душевной симпатии народа и силовых служб Россия и Израиль — равно как и по суммарной эффективности работы этих служб, т. е. армии, полиции, разведки и контрразведки, — пожалуй, стоят на разных концах шкалы. Но в целом, за некоторым исключением исторически юных,

1. Состояние общества, существенная часть членов которого, зная об обязывающих их нормах, относится к ним негативно или равнодушно; "безнормность", "беззаконие" (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. авт.*)

а посему по-детски наивных и безгранично доверчивых рядовых американцев, большинство стран и народов мира, по-моему, находятся гораздо ближе к российскому полюсу, нежели к израильскому. И осознание этого не может не внушать откровенного пессимизма, если говорить о перспективах тактической борьбы с терроризмом в мировом масштабе.

Да и вообще, что такое терроризм? Где он начинается и на чем кончается? Где грань между терроризмом и бытовой преступностью или рэкетом, с одной стороны, и узаконенной международными конвенциями практикой ведения войны — с другой? Есть ряд определений в национальном и международном праве, но они расплывчаты и спорны.

Терроризм — это не только шахидка, обвешанная бомбами, которая мстит человечеству за изнасилованную сестру, избитую мать, погибшего под пытками брата, а может быть, просто за свою неудавшуюся личную жизнь. Это и бомж, отвинчивающий газовый вентиль в подъезде, где живут "менты", а может быть, и вовсе не менты, а просто с его, бомжовой точки зрения чрезмерно состоятельные люди. Это фанатик, бредящий концом света, распыляющий в метро зарин или рассылающий конверты со спорами сибирской язвы, маньяк, врывающийся в школу с автоматом, или авантюрист и шантажист, обстреливающий бензоколонку из снайперской винтовки. А летчик американских ВВС, запускающий якобы ошибочно одну ракету по китайскому посольству, а другую, точно и безошибочно, по белградскому телецентру, он, что, не террорист? Он сидит в комфортабельной кабине своего бомбардировщика и возвращается целехоньким на базу. Ну а если бы сидел в кабине груженного взрывчаткой самосвала и врезался бы в тот же самый телецентр? Погибшим в телецентре девушкам-гримершам и их родным и близким, наверное, без разницы.

А офицеры-спецназовцы ГРУ, хладнокровно расстрелявшие шестерых безоружных российских граждан, включая 68-летнюю женщину, и недавно оправданные судом присяжных в Ростове, — это что, не террористы? Будь их жертвы боевиками, они могли бы сдаться в плен и тем самым сохранить себе жизнь, а потом, возможно, и устроиться на работу в чеченскую милицию, но это были безоружные люди, и поэтому шансов на спасение у них не было. Спрашивается, имеет ли право страна, где суд присяжных оправдывает безжалостных убийц, рядиться в тогу борца с международным терроризмом? И имеют ли право на эту тогу США, которые требуют поставить перед международным судом всех предполагаемых военных преступников — всех, кроме граждан США, которым якобы положен безоговорочный иммунитет.

Прямо скажем, с такими лидерами шансы на успех в борьбе с терроризмом невелики: нельзя бороться с преступниками преступными методами. Нельзя противостоять врагам демократии, искореняя демократию в собственных рядах. И путь завинчивания гаек, путь цензуры и самоцензуры, табу и запретов, сокрытия и утаивания ужасов и стыдливых умолчаний — это порочный путь. Нужен иной путь — путь абсолютной свободы слова, абсолютной свободы информации (а значит, и дезинформации). Пусть разбирается зритель и читатель — он разберется очень скоро. Шок будет недолгим. Нам нужна в качестве гарантии свободы правды — сво-

бода лжи и клеветы, свобода диффамации и пропаганды ненависти, свобода порнографии и мерзости. Не только потому, что любой иной подход означает попытку задавить правду, попытку заменить ее унылой правдоподобной полуложью. Не только потому, что в эпоху Интернета любые формы контроля и цензуры малоэффективны. А прежде всего потому, что инфляция лжи автоматически обесценивает ее собственные кредитки, и их никто уже не примет за банкноты правды. Воспитайте ребенка в полностью стерильном помещении, и любая пустячная инфекция может оказаться для него фатальной из-за отсутствия иммунитета. Напротив, древние восточные владыки систематически принимали малые дозы разных ядов, вырабатывали к ним иммунитет — и отравить их было уже невозможно. Принцип абсолютной свободы слова, кстати, означает и полную допустимость любого плагиата и видеопиратства, и юриспруденции будущего придется отказаться от этих понятий для обозначения правонарушений, как и от понятия интеллектуальной собственности вообще — так, в конце XVIII века европейская юриспруденция отказалась от понятий колдовства и наведенной порчи. Короче говоря, для действенного противостояния терроризму придется отказаться от многих базисных представлений нашей цивилизации, сделать саму эту цивилизацию иной.

Это же, в частности, касается и проблемы борьбы с наркобизнесом. Наиболее последовательные демократы, как и транснациональные радикалы, давно уже выступают за полную легализацию слабых наркотиков типа марихуаны и за предоставление наркозависимым, потребляющим тяжелые наркотики типа героина, возможность приобретать отраву в аптеке по самым низким ценам. Конечно, такие люди должны быть под контролем, что означает и частичное поражение в правах: но ведь и алкоголику не разрешают водить автомобиль! В общем, штемпель в паспорт — и травись себе "на здоровье"! Только это убьет наркотрафик, лишит наркоторговцев сверхдоходов и заодно выбьет из-под ног у террористов финансовую базу.

У краснобаев из ООН, возможно, для разных случаев насилия — разные критерии. Но у обывателя, жертвы теракта, критерий один: безвыходность. Когда нападает бандит со стволом, есть шанс сохранить жизнь, отдав ему деньги. У солдата в окопе, не желающего умирать за интересы "своего" правительства и "своей" буржуазии, есть шанс сдаться в плен. У жертвы теракта такого шанса нет. Некому отдать деньги и некуда идти сдаваться. Остается только умереть, чтобы вождь и хозяин террориста, убив его руками невинного, запугал и заставил расстаться с деньгами того, кого он вовсе убивать не собирался, а хотел оставить в живых — и таким, живым, использовать.

И это удается. Не так давно мы видели, как, убив две сотни людей в мадридских электричках, лжеисламские авантюристы заставили целый народ, еще недавно слывший беспредельно гордым и беззаветно храбрым, трусливо встать на колени и поменять правительство. Куда делись слова пламенной Долорес? Впрочем, Ибаррури — не кастильская, а баскская фамилия. Да и сами слова: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" — это всего лишь парафраз известной строчки Шота Руставели: "Лучше смерть, но смерть со славой, чем позор бесславной жизни". Шахид умирает легко, полагая (хоть и

ошибочно), что выбирает смерть со славой. Носитель глобализованной консумеристской цивилизации готов на все, лишь бы существовать сколь угодно бесславно (в соответствии с экзистенциалистским девизом Ж. П. Сартра: живая собака лучше мертвого льва), но существовать не просто так, а обжираясь. В паническом смятении на своей раскачавшейся лодке он кидает за борт все: либеральные принципы, демократические нормы, права человека, национальную честь, человеческое достоинство, но ничего с полок супермаркета выбросить не хочет. Жвачка и жрачка — вот два столпа постмодернистской цивилизации.

За исключением ввергнутых в тот или иной круг адского хаоса многоплеменных квазигосударств Африки (как теперь ясно, они получили свою "государственную независимость" из рук колонизаторов прежде времени: в большинстве подобных государств, в отличие от ряда стран на других континентах, не сложилось ни ведущей нации, ни национальных языков, ни основных национальных ценностей), почти все прочие государства мира этнонациональны, то есть хотя везде есть этнические меньшинства, почти везде есть и стержневой нациедержащий этнос: в России — русский, в Грузии — грузинский, в Латвии — латышский. Терроризм — это прежде всего орудие этнического или этноконфессионального сепаратизма и ирредентизма[1], политистеблишмента, стремящегося к мировому господству или к господству в своем регионе. Им нужен Великий Халифат, Великий Тамилнад, Великая Албания, Великая Ичкерия, Великая Ирландия, Великая Баскония и т. д. Католикам: ирландцам, баскам, кечуанцам — не важно, что Папа Римский осуждает терроризм, лжемусульманам "ваххабистских" братств не важно, что они нарушают все установления Корана, — им нужна своя держава, свои президентские и губернаторские кресла, свои финансовые потоки, легализация своих наркоденег, то есть все то, что осуществимо только на базе своего этногосударства в системе глобализованной пирамиды уже существующих, входящих в мировую консумеристскую цивилизационную систему мегаполисных этногосударств. Причем каждый новый претендент, будь то Палестина, Биафра, Сулу-Минданао, Тамил-Илам, Ичкерия, Халистан, надеется занять в этой пирамиде отнюдь не самое нижнее, а исламисты — так и самое верхнее место.

Агрессивная, зубастая голова змеи хищнической цивилизации Нового времени, казалось бы некогда уползшая, ушедшая в свое феодально-вотчинное прошлое, сегодня возвращается оттуда и пытается пожрать, поглотить, оттяпать свой собственный безмерно ожиревший постмодернистский хвост.

Можно подумать, что это порочное кольцо не разомкнуть. Ведь яды, разъедающие тело змеи, рождаются в ее же организме. Терроризм, грызущий "либеральную глобализацию", на самом деле ею же и порождается. Он есть производное от ранее двухполюсного, а ныне квазиоднополюсного мира, от неизбежной неравномерности его развития, от органически присущих ему внутренних диалектических противоречий. Нет глобализации без терроризма, и нет терроризма без глобализации. Зубы терроризма, грызущие глобальную цивилизацию, подпитываются жиром ее же собственного хвоста.

1. Ирредентизм — форма национализма, требующая воссоединения всех разобщенных территорий.

Почему терроризм стал насущной проблемой именно в наши дни и где он был раньше? Один из возможных ответов: он просто раньше иначе назывался. Охота за головами у первобытных племен — это форма мести или жертвоприношения, но она имеет и политический смысл — устрашать соседей, держать их на безопасном расстоянии. Спартиаты практиковали террор против илотов[1], римские диктаторы — против своих политических противников. Политический терроризм в полном смысле слова практиковали ранние исмаилиты: идя "на дело", они одурялись гашишем, отсюда слово "хашишин", или "ассасин". Террористами, противопоставлявшими себя государству как политическая сила, были и народовольцы, и эсеры, и все робины гуды, вплоть до абреков XIX–XX века, армянских фидаинов и рыцарей-тамплиеров (о которых написан "Айвенго").

Кстати, уместно вспомнить, что орден Храма Господня (тамплиеров, или храмовников) был учрежден в начале XII века в Иерусалимском королевстве как добровольная организация контрразведки и общественной безопасности, чье дело было охранять христианских паломников, идущих ко Гробу Господню, от нападения мусульманских террористов. Но вскоре, выработав собственную оккультно-мистическую идеологию, орден превратился в скованную железной дисциплиной и тайной обрядностью наднациональную организацию, забравшую в свои руки огромную неофициальную власть в Европе, которой положили конец только сверхжесткие меры Филиппа Красивого (широкий читатель знает об этом по "Проклятым королям" Мориса Дрюона).

Все еврейские погромы — это форма терроризма, осуществлявшаяся определенными политическими силами с определенными политическими целями. История нацизма, от штурмовиков Рёма, "ночи длинных ножей", "хрустальной ночи" и до Освенцима, — это история самодеятельного терроризма, постепенно превращавшегося в государственный. Терроризм — это силовое продолжение политики тех сообществ, у которых нет своих государственных структур или меньше, чем им бы того желалось, это продолжение кризиса власти, кризиса государства, уважения народа к власти.

Лишь в особо благоприятные для государственной власти эпохи ей удавалось успешно противостоять терроризму. Такой была эпоха абсолютистских монархий, когда монарх мог заявить: "Государство — это я", религиозная идеология освящала эту претензию, а народное сознание принимало ее. Шайки разбойников продолжали безобразничать на дорогах, но уже безо всяких притязаний на политическую платформу (как в "Расёмоне" Акутагавы Рюноскэ).

То была эпоха становления государства вестфальской системы, при которой межгосудаственная политика резко преобладала над внутригосударственной, а государства выступали этакими ньютоновскими абсолютно твердыми телами, и перенос межгосударственных политических конфликтов в область внутригосударственных отношений рассматривался как святотатство. Пломбированный вагон с В. И. Лениным и дальнейший экспорт революций положил начало распаду этой системы, а бомбардировка Югославии в 1999 году обрушила ее окончательно, и начиная с 2001 года

1. Высший и низший классы в Спарте.

негосударственные террористические группировки типа "Аль-Каиды" вошли в число главных актеров политической сцены — прочно и надолго.

Как показало 11 сентября 2001 года, идеальной мишенью для террористической атаки является многоэтажная башня, держащаяся на жестких вертикальных связях. И это верно не только для архитектурных сооружений, но и в социально-структурном плане. Чем многояруснее государственные структуры, тем хуже они противостоят терроризму. Одноярусные структуры гораздо эффективнее. Художественный пример противостояния малой общины банде террористов — фильм "Холодное лето 53-го". Точно так же и еврейские поселения на Западном берегу справились бы с палестинским террором своими силами быстрее любой армии, если бы им не связывали руки и не обращали так много участливого внимания на арафатолюбивые стенания западноевропейских лицемеров.

Итак, терроризм есть болезнь, органически присущая нашей цивилизации — нашей глобализованной консумеристской мегаполисной цивилизации — так же, как ей оказался органически присущ СПИД, или ежегодные пандемии новых штаммов гриппа, или ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, ставшие причиной большинства смертей. Все эти болезни невозможно представить себе в контексте, скажем, европейской средневековой цивилизации. Зато последней были органически присущи оспа, чума, проказа, ведовские сатанинские культы и инквизиция как реакция на таковые и многое, многое другое, что либо отмерло само собой, либо было изжито, побеждено, как оспа, или взято под контроль, как чума.

Следовательно, в рамках многоярусной мегаполисной цивилизации терроризм вообще нельзя победить, а возможность взять его под контроль весьма невелика и относительна. Все предложения и меры по ужесточению наказаний, ограничению свободы передвижения (досмотры, визы, регистрации), идеологические кампании и преследования действенны ничуть не больше, чем скипидарные припарки при лечении проказы.

Итог, как видим, неутешителен: терроризм будет существовать, пока существует наша цивилизация. Ну а как долго она будет существовать? И что придет ей на смену?

Экспоненциальный рост народонаселения скоро прекратится сам собой. Поневоле прекратится и экспоненциальный рост потребления ресурсов, в том числе энергоресурсов. Прежде всего — невозобновимых. Все разговоры относительно "sustainable development" — это "сапоги всмятку". Не развитие, а сворачивание, сматывание — вот что нам предстоит. Смотаться и слинять — вот наше будущее как в метафорически-сленговом, так и в прямом, жизненно важном смысле этих слов. Мы уйдем из кусающей себя за хвост цивилизации, как из слинявшей змеиной шкурки, но выйдет оттуда не новая змея, а другой организм, состоящий из конфедераций тысяч малых общин типа нынешних Андорры, Сан-Марино, княжества Мустанг, амишских поселений в графстве Ланкастер, или израильских киббуцев, или даже бесславно разгромленной, но имеющей все шансы возродиться на базе мирного, неагрессивного ислама Кадарской зоны Дагестана. Произойдет глобальная депопуляция, дезурбанизация, дезиндустриализация и деглобализация. Если основные энергоносители

настоящего — это нефть и газ, то энергоносители будущего — дрова, навоз и ветер. Сегодня основной транспорт — автомобиль, завтра — велосипед, а послезавтра — ослик. На смену жестким и давно уже не удовлетворяющим граждан "вертикалям власти" придет гибкая структура горизонтальных и диагональных связей микрополисов.

Конечно, мегаполисы отомрут не сразу, но жить в них будет все меньше и меньше желающих. Гораздо предпочтительнее будет жить в локальных микрополисах.

Это будет жизнь, внешне похожая на жизнь эпохи неолита, но на иной технологической основе.

Не всем захочется сегодня идти в подобное будущее, тем более что путь в него может быть ознаменован такими социальными конфликтами, по сравнению с которыми нынешний терроризм покажется цветочками. Правда, их основную тяжесть придется вынести не нам, ныне живущим, а нашим правнукам и праправнукам. Но и на нашу долю кое-что достанется, в том числе терроризм, и надолго. Наша жизнь и жизнь наших детей, а может быть, и внуков пройдет в борьбе со многими видами бед и зол, включая терроризм. Но чтобы эта борьба проходила по возможности с меньшими потерями, нужно, чтобы и народы, и их лидеры осознали тенденции и перспективы исторического развития: не государствостроительство, а разгосударствление. Не вертикаль власти, а максимум самоуправления. Не индустриализация, а дезиндустриализация, не глобализация, а максимальная автаркия[1]. И так далее.

Повторяю, многим этого очень не хочется. Почти всем хочется верить, что обжираловка золотого миллиарда будет и дальше возрастать и у пяти жестяных миллиардов планеты есть шансы пробиться в золотые. Напрасные надежды. Шансов нет. И с золотого (точнее, позолоченного) миллиарда позолота вскоре начнет облезать. Терроризм — лишь один из факторов такого облезания, но немаловажный.

Чем скорее человечество встанет на путь перехода к разумной минимизации потребления, тем безболезненнее будет этот переход. А тем миллиардам, которым и минимизировать-то нечего, необходимо будет встать на путь депопуляции, на который высокоразвитые народы мира уже естественным образом встали. Надо идти в сторону естественного движения истории, а не пытаться плыть против течения. Как говорили древние: "Ducunt volentem fata, nolentem trahunt": судьбы разумных ведут, неразумных — тащат.

1. Автаркия — политика полностью самообеспечивающейся экономики.

Дон Делилло
На *руинах будущего*

Тень Сентября: раздумья о терроре и потерях

Перевод с английского Елены Зиминой

1

В последнее десятилетие подъем рынков не только горячо обсуждался в мире, но и способствовал усилению курса на глобализацию. По жизнеспособности и влиятельности межнациональные корпорации обогнали государственные. Ошеломляющий взлет индекса Доу–Джонса и скорость распространения Интернета призывали нас устремиться в будущее — в утопический манящий мир киберкапитала, где никому не докучает память, рынки не контролируются, а инвестиционные капиталовложения не знают границ.

Все это кончилось 11 сентября — мировую историю снова пишут террористы. Но главной мишенью тех, кто атаковал Пентагон и Всемирный торговый центр, была не мировая экономика. Ярость у них вызывала сама Америка. Ее ставка на модернизацию. Надежность ее технологий. Кажущееся безбожие. Жесткость нашей внешней политики. Влияние американской культуры, проникшей буквально в каждый дом и изменившей жизнь, привычки, мировосприятие самых разных людей в самых разных уголках.

Терроризм стал ответной реакцией, назревавшей давно, на протяжении многих лет, но теперь мы уже не можем о нем не думать: наши души и сердца оказались в его власти. Происшедшее день за днем, неделя за неделей меняет наши мысли и поступки, и кто знает, сколько таких недель, месяцев и суровых лет ждет нас впереди. Наш мир, вернее, часть его, рухнул, превратившись в их мир, опасный и яростный, в котором теперь живем и мы.

Жители разных стран и городов — Генуи, Праги, Сиэтла — протестуют против глобализации, желая отсрочить ее приход, так как она, пусть и вопреки поставленным целям, ведет к появлению роботов-потребителей, к социальной нестабильности, утрате независимости многими народами. И хотя такие демонстрации порой и сопровождаются актами насилия, большинство протестующих стремится умерить накал страстей и разрядить обстановку, чтобы не допустить страшного будущего.

Но террористы 11 сентября хотят другого — вернуть нас в прошлое.

2

Те, кто готов к самоубийственному террору, по-видимому, воспринимают как вызов нашу традицию свободного выражения мнений и

© Harper's Magazine, 2001
© Е. Зимина. Перевод, 2004

нашу систему правосудия, соблюдающую права подсудимых. На нашей стороне богатство, сила, много других преимуществ, а они — хотят умереть. Их оружие — жар оскорбленной веры. Нас окружает широкий, пестрый мир: мы работаем, общаемся, растим детей, открыто проявляем чувства. Тогда как жизнь террориста, поселившегося где-нибудь во Флориде, совсем не такова. Он, как и мы, нагружает продуктами тележку в супермаркете, кивает соседу при встрече. Но он дошел до края, и в этом его сила. Заговоры и интриги сужают границы его мира. И топливом для заговоров служит наше безразличие и его гнев. Он живет замкнуто, трудно и смотрит на все со стороны. Это не эгоцентрик, как какой-нибудь белый праздношатающийся, слабохарактерный парень, который открывает пальбу, просто чтобы отвлечься от собственных проблем. У террориста есть тайна, и он полностью владеет собой. Наверное, настает минута, когда для него и его товарищей интересы братства становятся важнее ненависти. У всех у них одни и те же законы, одни и те же инструкции, но объединяет их нечто большее — знание того, какими будут суд и кара. Дрогнет ли сердце такого человека при виде мирной женщины с коляской, пощадит ли он ее ребенка, сжалится ли над другими людьми?

Да он просто не замечает эту женщину, и в этом его преимущество. Он живет здесь долгие годы, выжидая: учится в летной школе, открывает счет в банке, заводит кредитную карту и абонентский почтовый ящик, ведет себя, как остальные — у него есть крыша над головой, знакомые. Все заранее продумано, связано, выстроено камень за камнем. Он знает, что́ это за страна и какой у нее вес в мире, и, думая об этом, горит праведным гневом. Его устремленный вдаль взор не различает такую малость, как беззащитная человеческая особь.

Сегодня дух разобщенности, которым наполнены слова "мы и они" — а их произносит каждая из сторон, — явственен, как никогда.

Америка могла бы сказать себе, что, если и провинилась — вызвала горечь, недоверие и озлобление, возмездие оказалось слишком суровым. Но в апокалипсисе нет логики. И дело не в мести, пусть самой безжалостной. Здесь смешались рай и ад — мученики, взявшиеся за оружие, ощущают себя носителями высшей трагической миссии.

Они смиренно склоняются перед Господом, замышляя кровопролитие.

3

Раньше правительство Буша испытывало ностальгию по "холодной войне". Теперь ностальгии нет. Как нет и многого другого. Грохот падающих обломков прервал ход повести — теперь придется сочинять другую.

В Нью-Йорке и Вашингтоне, да и где угодно, можно услышать тысячи, сотни тысяч историй о том, как все произошло. Мы говорим о том, где были, кого видели, что слышали о знакомых и незнакомых: кто-то пошел на прием к врачу, и это оказалось спасением; кого-то успели предупредить по мобильному телефону и т. п. Одни истории рождают другие. Мы рассказываем о людях, бежавших от грохота, дыма и пепла в северную часть города: о мужчинах в деловых костюмах и при галстуках, женщинах, терявших на бегу туфли, полицейских, уносивших ноги от рушащейся с небес стальной громады.

Спасающиеся бегством люди — вот один из поворотов сюжета, который нам достался.

Есть рассказы о героизме и пережитом ужасе. Рассказы о чудесных совпадениях, знамениях, предчувствиях. Они нам необходимы, чтобы вынести знание о том, каковы цифры погибших и пропавших без вести, уловить хоть какой-то намек на высшее начало. На сотни безвинных жертв мы пытаемся отыскать одного уцелевшего благодаря божественному знаку. Иные скрещения судеб ужасают и трогают одновременно. Две женщины, две близкие подруги, летевшие в разных самолетах, соединились в смерти: одна погибла при атаке первой башни, другая — второй. Как написать трагическую повесть, способную вынести груз подобного параллелизма? И в силу какого закона симметрии, неумолимого и при этом милосердного, обе они не узнали горечь потери друга? Заметим, что брат одной из них работал во Всемирном торговом центре и спасся.

В последующие пятьдесят лет даже те, что находились далеко от места событий, будут клясться, что видели все собственными глазами. Со временем некоторые, должно быть, поверят в собственные слова. Кое-кто будет рассказывать о погибших друзьях и родственниках, хотя никого не потерял. Это еще одна история — история ложных воспоминаний и мнимых потерь.

Свою историю пишет и Интернет. Добрая половина появившегося там — слухи, домыслы, мистика.

Брошенные мобильные телефоны, потерянная на бегу обувь, комки носовых платков, которыми бегущие закрывали лица, канцелярские ножницы, кредитные карты. Ворохи бумаги, выметенной из башен и унесенной ветром за реку до самых окраин Бруклина: деловые отчеты, страховые документы, заявления о приеме на работу. По словам очевидцев, бумага приваривалась к бетону, наматывалась на колеса грузовиков. Но и мелкие вещественные доказательства, и частные человеческие истории — просеянные памятью обломки случившегося — необходимы нам не меньше, чем знание о том, как действуют террористы, чтобы противопоставить нечто реальное чудовищному спектаклю, который мы никак не можем осмыслить.

4

Пепел оседал на окнах. Полуодетая Карен, схватив детей, пыталась натянуть на них одежду, что-то говорила мужу, сгребала в кучу вещи, которые хотела взять с собой, и бросала их к дверям квартиры. Дочки-близняшки смотрели на нее с испугом.

Потом какое-то время они все стояли в вестибюле, прислушиваясь, — ожидали повторных взрывов. Ничего не последовало, они немного успокоились и вернулись в квартиру.

Когда волна от следующего удара докатилась до их дома, Марк понял, что на вторую башню тоже упал самолет. Они жили в двух кварталах от места происшествия, и первый взрыв он принял за авиакатастрофу.

Они снова вышли в вестибюль, где собралось человек пятнадцать-двадцать соседей.

Карен бросилась обратно в квартиру за мобильным телефоном, прихватила радиотелефон и зарядное устройство. Нужно было взять теплую одежду и еду для детей. Она вбежала в спальню и схватила обручальное кольцо.

Выглянув из окна, она увидела множество людей. Одни бежали по улице, другие неподвижно стояли, стиснутые толпой, под градом падающих обломков. Бегущие наступали на упавших, повсюду носились пепел и бумага. Бумага летала по воздуху, свет померк, небо потемнело.

Мобильные телефоны отключились. Люди говорили по радиотелефонам и плакали. Все понимали, что на улице гораздо опаснее, чем внутри.

В вестибюль начал просачиваться дым.

Когда рухнула первая башня, Карен подумала, что разорвалась бомба. Узнав из очередного телефонного разговора, что́ произошло на самом деле, она испытала странное облегчение. Значит, это не бомбежка. Не война. Во всяком случае — пока.

Марк кинулся в квартиру за стульями: в вестибюле стояло много пожилых людей, в том числе женщина, перенесшая операцию на шейке бедра. Он помертвел, услышав низкий вибрирующий гул. "Что это, Господи?" — подумал он. Но звук и не мог быть иным — это падала высоченная башня.

Окна замело черным пеплом, и Марку не видно было, что делалось на улице. А может, там уже и смотреть было не на что?

Жильцы дома высыпали на лестницу и бросились к пожарному выходу, но дыму все прибывало. Пепел был с песком, хрустел на зубах.

Марк вбежал в квартиру, сорвал с крючков полотенца, вытащил простыни из шкафа, намочил в раковине, налил воды в пластиковые велосипедные бутылки и схватил детское белье.

Больше всего он боялся, что башни-близнецы рухнут. "Тогда всем нам конец", — думал он.

Карен позвонила подруге, работавшей в районной адвокатской конторе неподалеку от их дома. Она просила о помощи. Молила, заклинала, потом повесила трубку. Весь следующий час звонили из полиции, подбадривали, давали советы.

Марк вернулся в вестибюль. "Похоже, мы не выживем", — говорил он себе, но все-таки старался не думать о том, что будет в следующую минуту.

Карен позвонили из полиции и велели не выходить из здания.

Когда рухнула вторая башня, у меня оборвалось сердце — Марк приходится мне племянником. Я позвонил ему на радиотелефон. Представляя себе высоту башен, я пытался высчитать расстояние от них до его дома. Марк спрашивал меня о чем-то, я отвечал. Не помню ни слова, осталось в памяти только, что он оборвал разговор, потому что до него дозвонились по второй линии и обещали прислать подмогу.

Из шахты лифта начал просачиваться дым. Карен прощалась по телефону с отцом, позвонившим из Орегона. Прощалась навсегда. Как будто говорила: "Мы больше не увидимся". Она боялась, что все задохнутся от дыма.

Собравшиеся расставили стулья вдоль стен, сели. Старались не молчать, говорили о чем-то, пели вместе с детьми. Те не капризничали, видя, как напуганы взрослые. Потом прибыла добровольная спасательная команда. Друг Карен и ее коллега сумели не только добраться сюда с Центр-стрит, но и, встретив по дороге двух полицейских, раздобыли пылезащитные маски и узнали, куда доставляют потерпевших. Этаж за этажом спасатели обошли здание и, убедившись, что все в сборе, вывели жильцов на улицу.

Кругом лежал пепел, было темно как ночью и совершенно безлюдно. На машинах и тротуарах лежал слой золы. Серые хлопья кружились в воздухе, все еще несло ветром бумагу, всюду валялась обувь, портфели, детские коляски. Надев маски и прикрыв лица влажными полотенцами, группа двинулась сначала в восточном направлении, а потом, дойдя до Нассау-стрит, повернула на север. Держа детей на руках, люди медленно шли вперед. Они старались не смотреть по сторонам, глядели лишь под ноги. Двигались в полном молчании.

С ног до головы покрытые пеплом, они добрались до убежища в Пейс-Юниверсити, где их ждали пища и вода, помощь внимательных и умелых спасателей. Потом началась паника из-за утечки газа. А люди все прибывали. Их поливали водой. "Одежда должна быть влажной", — говорили им. Так прошли первые полчаса.

Немного позже у стойки с едой начала выстраиваться очередь.

Молодая женщина попросила бутерброд с сыром, а не с ветчиной. Другая отказалась от подгорелого хлеба. И в этом не было ничего бестактного, неуместного — просто все начинали оживать, приходить в себя, ощущать голод.

5

Технология — наша судьба и наш жизненный принцип. Именно развитие технологии позволило нам стать сильной державой.

Башни Всемирного торгового центра были не столько символом технического развития, сколько стремлением воплотить в большом масштабе теоретически возможный результат. Если все рассчитать правильно — нет ничего невыполнимого. Сплошная обшивка стен нужна была для того, чтобы подавить в людях страх перед взметнувшейся в небо громадой. С годами к исполинам привыкли, их перестали бояться и даже полюбили.

Сегодня небольшой группке людей удалось изменить — в прямом смысле слова — нашу линию горизонта. Нас отбросило назад во времени и в пространстве. Теперь наша жизнь определяется их смертоносными техническими достижениями: как малыми — радиоприемниками, переделанными в детонаторы с дистанционным управлением, так и большими, похищенными у нас — вроде пассажирских самолетов, которые эти люди превращают в начиненные людьми снаряды.

Может быть, во всем этом есть свой зловещий смысл. Технику они считают разрушительной по самой своей природе: она несет смерть их обычаям и вере. А раз она убивает, то и пользоваться ею следует как орудием убийства.

6

Почти одиннадцать лет назад, во время операции в Персидском заливе, было трудно отделить настоящую войну от той, что освещалась средствами массовой информации. Когда прошла эйфория первых дней, радио- и телесообщения стали более скупыми. И люди, с увлечением смотревшие по телевизору пугающе-зеленые ролики, отснятые прямо с бортов самолетов камерами ночного видения, не сразу осознали, что война идет на самом деле, а не только по телевизору. Но осознав и лишившись защитного слоя непонимания — встревожились, заропта-ли. Их оставили один на один с войной.

Репортажи о событиях 11 сентября скупыми не назовешь. На этот раз телевидение прекрасно справилось со своей задачей. Но реальное событие — одно дело, а репортаж о нем — совсем другое. Впрочем, происходившее было неподвластно информационной обработке. Оно было таким слепящим, таким ошеломляющим, что многим из нас показалось каким-то нереальным. Называя нечто нереальным, мы в действительности хотим сказать, что оно слишком реально — то есть столь непостижимо и в то же время так привязано к объективным фактам, что не умещается в рамках нашего восприятия.

Сначала самолеты пронзили башни — поверить в это мы смогли лишь какое-то время спустя. Но вот башни рухнули. Вот, обвивая этаж за этажом, книзу повалил дым. Это было так страшно, что ум отказывался принять то, что мы видели воочию. Наше воображение не могло с этим справиться. И тем не менее все совершалось на самом деле: в соответствии с законами физики конструкция разваливалась и оседала, оставляя в душах пустоту; огромная антенна летела тупым концом вниз, словно возвращалась обратно выпущенная из лука стрела.

Никакие аналогии не принесут нам облегчения — прецедентов не существует. Нужно принять потрясение и ужас. Но не стоит при этом преуменьшать возможности языка. Мне как писателю хочется понять, что сотворил с нами этот день. Не слишком ли я спешу? Нет, потому что у нас мало времени. Его просто нет. Оно осязаемо сгустилось, планы строятся в спешке, время летит и искажается. Однако живой язык неотделим от порождающего его мира, и писатель пробует заговорить, отчаянно напрягая память. Начинать нужно не с политики, истории или религии, а с первозданного чувства ужаса. Люди, взявшись за руки, прыгают с башен. Вот что мы можем противопоставить увиденному — соединенные вместе руки и души, красота человека на фоне искореженной стали.

Из-за того, что у нас нет опоры на чей-либо сходный опыт, мы не знаем, как говорить о случившемся. Но в небе чего-то не хватает. И писатель должен попробовать спасти от забвения, исполнить чувства и смысла это пустующее место — оно о том взывает.

7

Нам приятно думать, что Америка созидает будущее. Мы относимся к нему как к чему-то обжитому, хорошо представимому. Но теперь слишком многое — и большое, и малое — внушает тревогу, и пора все переосмыслить заново. Например, где жить. Куда ездить отдыхать. Что ждет детей.

11 сентября изменило уклад жизни большинства людей.

Крушение башен отразилось буквально на всем — иногда не прямо, а косвенно.

Новенький "палм-пайлот"[1]; припаркованный у стен гостиницы длинный лимузин; строящийся в центре города небоскреб с эмблемой одного из ведущих инвестиционных банков — теперь все наводит на мысль о пережитом, и нас уже не так впечатляют достижения технического прогресса.

Существует угроза и других видов терроризма: биологическое и химическое оружие могут загрязнить среду, отравить воздух и во-

1. "Palm Pilot" — миниатюрный, умещающийся в ладони компьютер. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

ду. Ни о чем таком мы не думали после прежних террористических актов. Теперь же, пытаясь заглянуть в будущее, мы больше не исходим из привычной оптимистической перспективы — нам мешает страх.

Испытанного оказалось достаточно, чтобы омрачить психологическую атмосферу. Мы вдыхаем испарения нижнего Манхэттена, где все отмечено смертью — ее приносит с собой легкий речной ветерок, ее знак стоит на крышах и окнах зданий, ее запах въелся в волосы и одежду.

Представим себе будущее, в котором детали микросхемы не больше атомов, а приборы, отмеряющие дни нашей жизни, управляются разумными квантовыми пространствами чистой информации. После чего вообразим распаленную гневом и жаждущую мщения многотысячную толпу. Увеличенные фотопортреты мучеников и святых свисают с балконов, и с самого большого портрета взирает на нас лидер террористов.

Есть две силы в мире — прошлое и будущее. С окончанием эпохи коммунизма идеи и принципы современной демократии, несмотря на все ее недостатки, явно стали брать верх. Пока тенденция не изменилась. Но появилось международное теократическое государство, огромное, расползающееся, отжившее свой век, и достигнуть намеченных целей оно может лишь в порыве самоубийственной ярости.

Идеи появляются и изживают себя, а история идет к своему концу.

8

С того дня прошла неделя. В пятницу длинные вереницы машин движутся по Канал-стрит на запад. Идут самосвалы, грузовые платформы, мусоровозы. Надсадно ревут гигантские землеройные машины. Людей на улице немного. На некоторых пылезащитные маски, другие просто стоят, прислонившись к дверным косякам и стенам домов, и, как дикари, глазеют на автомобили, в которых нет ни продавцов, ни покупателей, ни товаров, ни денег... Проезжает пожарная машина, за ней патрульная, полицейские фургоны оглашают окрестности стаккато сирен. Выстроившиеся вдоль деревянного ограждения регулировщики пытаются освободить транспорту дорогу. Едут машины "скорой помощи", миниатюрные подъемные краны, идет флотилия грузовиков "Кон Эд"[1], вся эта грохочущая техника движется в одном направлении. Еще несколько кварталов, и транспорт скроется в облаке песка и пепла.

Месяц тому назад я гулял в этих местах. Был ранний вечер, я шел в многонациональной толпе нагруженных покупками людей, торговцев, местных жителей, случайных прохожих и немногочисленных туристов. Пристроившись у кромки тротуара, работал массажист, мчался велосипедист с головой в дредах. То была привычная атмосфера Канал-стрит с ее вечной толкотней и шумом, совсем другая, чем в находящемся повыше Сохо, где много ресторанов и мастерских художников, или чем в богатом архитектурными изысками Три-бе-ка[2], расположенном несколькими кварталами ниже. Здесь, на Канал-стрит, по дешевке продавались компьютеры, автомобильные радиоприемники, пенопласт, промышленная

1. Con Ed, или Con Edison, — компания, обеспечивающая Нью-Йорк электроэнергией, газом, теплом.
2. TriBeCa (Triangle Below Canal) — район в нижней части Манхэттена.

пластмасса, работали салоны татуажа, пиццерии.

Мое внимание привлекла женщина, стоявшая на молитвенном коврике. Я только что свернул за угол, направляясь в южную часть города, где должен был встретиться с друзьями, и вдруг увидел ее, молодую, тоненькую, в шелковом головном платке. Было время вечерней молитвы, она стояла на коленях, чуть ли не доставая лбом до коврика. Ее почти не видно было за тележками продавцов, и мало кто обращал на нее внимание. Другая женщина сидела на складном стуле у края тротуара. Молившаяся была обращена лицом на восток, я видел лишь ее ступни и спину. Прямо перед ней находились витрины магазинов, и со стороны все выглядело так, будто именно к ним она обращает свои молитвы. На самом деле она мысленно обращалась к Мекке, священному городу ислама.

На молитвенных ковриках иногда бывает выткан михраб — рисунок в виде арки, которая символизирует молитвенную нишу в мечети и должна быть повернута в сторону Мекки. Для того чтобы узнать, где восток, женщине только и потребовалось, что указатель сторон света на манхэттенском переходе.

Глядя на молящуюся, я как никогда ясно осознал щедрость и благородство не делающего различий между людьми Нью-Йорка. Тут есть место любым языкам, обычаям, вероисповеданиям и убеждениям. Как видно из списков погибших 11 сентября, ни для кого не было сделано исключения, все без разбору были преданы гибели и огню. До сих пор тела многих не найдены. На долю выживших досталось только горе. Но у мертвых — молодых и старых, набожных и безбожников — нет национальности, расы, индивидуальности, у них есть только одно: союз душ. Во время хаджа, ежегодного паломничества в Мекку, правоверные обязаны снять с себя все, что говорило бы об их положении в обществе, доходах и национальности. И мужчины в одинаковых белых просторных балахонах, и женщины, скрывающие лица, — все, молясь, вспоминают о своем братстве с умершими.

Аллах акбар. Бог велик.

Декабрь 2001 года

Анджей Стасюк
Сегодня умирают иначе

Перевод с польского Ирины Адельгейм

Чтоб не скучно было,
я его убила...

Из тюремной песенки

Весьма интересное, хоть и невеселое занятие — наблюдать за тем, как облекается в плоть и кровь какая-нибудь элитарная интеллектуальная идея. Сперва она носится в воздухе, затем посещает иные изощренные, а то и смятенные умы, принося с собой бессонницу, и наконец укореняется в них, чтобы покинуть уже в форме книги, замысла или разработанной системы. На некоторое время она поселяется в салонах и кафе в виде темы для дискуссии или светской беседы, после чего банализируется и слегка уминается под обложкой школьного учебника. Время отодвигает ее на задний план, помещает в кунсткамеру разного рода изысков, а жизнь идет своим, отнюдь не изысканным чередом. Идею нашу уже мало кто помнит — как мало кто присутствовал при ее рождении. Казалось бы, она вновь погрузилась в небытие. Однако на самом деле она витает в воздухе или прячется где-нибудь в укромном уголке, словно куколка насекомого, чтобы однажды в самом прямом смысле слова принять человеческий облик, о чем сообщают нам газеты.

Константы Еленский[1] писал в эссе о Хансе Бельмере[2], что раньше для исследования человеческого тела всегда требовался предлог. Когда-то — научный, позволявший штудировать анатомию с помощью вскрытия, затем — художественный, внедрявший в общественное сознание (примерно со времен сюрреализма) идею деформации тела. Однако на этом XX век не остановился и расширил область исследования за счет политики, избравшей в качестве главного своего инструмента членение человека на "детали" в массовых бойнях. Впрочем, во всех этих случаях есть хотя бы намек на прагматику — художественную или, как в последнем случае, шизофреническую.

Убийства, совершаемые детьми или очень молодыми людьми, сродни эксперименту. Один ставит радикальный опыт на себе самом — выходит ночью из дому, чтобы проверить, способен ли он на убийст-

© Andrzej Stasiuk, 2000
© И. Адельгейм. Перевод, 2004

1. Константы Еленский (1922—1987) — польский литературный критик, публицист, переводчик (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Ханс Бельмер (1902—1975) — польско-французский художник-сюрреалист, известный своими поражавшими воображение огромными куклами, в которых он стремился запечатлеть сексуальные переживания.

во. Другой решается на это днем, причем, возможно, им движет не столько желание убить, сколько стремление одним махом изменить действительность: сделать так, чтобы "что-то произошло", с помощью простого, даже примитивного действия опрокинуть весь уклад бытия, "побезумствовать".

Наверняка никто из них никогда не слышал о Раскольникове, Верховенском или Лафкадио[1], не читал Камю, и тем не менее они на практике осуществляют то, что сто с лишним лет назад было ядром теоретических построений интеллектуальной элиты. Сюрреалистическая идея выйти на улицу и выбрать жертву наугад, в толпе реализуется банальнейшим образом, с помощью бейсбольной биты, отколотого бутылочного горлышка, а с действительностью тем временем ничего не происходит, она так и остается действительностью. Мы наблюдаем, как размывается понятие преступления, как оно превращается в сюжет масскультуры.

В детстве на меня огромное впечатление произвел фильм "О тех, кто украл Луну". Помню царившую на экране холодную атмосферу сверхъестественного. Яцек и Плацек отправляются на край света, чтобы совершить геройский и одновременно дьявольский поступок. Нарушители извечного миропорядка в коротких штанишках. Эта фантастическая затея завораживала меня и одновременно пугала. Я восхищался их хладнокровием и эгоизмом, чувствуя, что они приближаются к чему-то абсолютно запретному, стоят на пороге Тайны.

Снимайся сегодня фильм под названием "О тех, кто убил...", пределом того, что поддается изображению, оказались бы лишь лужи крови и разрушение телесной оболочки человека. Причем вряд ли даже самому лучшему (и достаточно честному) режиссеру удалось бы выйти за рамки душераздирающего псевдодокументализма: герои представляли бы исключительно антропологический интерес, а зритель, вероятно, задался вопросом, где же проходят границы культуры. Времена, когда исследовательскую страсть можно было удовлетворить, препарируя мух, лягушек и кошек, показались бы нам после просмотра подобного фильма новым fin de siècle – отшумевшей эпохой паровых машин и первых автомобилей.

Весьма интересным, хоть и удручающим занятием является чтение ежедневных газет. Они значительно обогнали литературу, с параноидальной и педантичной дотошностью реализуя ее фантазии. В определенном смысле пресса честнее литературного вымысла. Она не кокетничает, не пытается обольстить читателя изысканно-трусоватой формой. Прочтите, к примеру, "Заводной апельсин" Энтони Бёрджесса. После чего возьмите любой номер газеты за март 1998 года. Ночь, Млочинский лес, несколько молодых людей сидят у костра. Все как обычно. Пикник уже заканчивается. Подъезжают две машины, откуда выскакивают ровесники собравшихся и устраивают кровавое побоище. Своих жертв они не знают, скорее всего, видят впервые. Хватают одного из парней, заталкивают в машину. Везут довольно далеко – через мост на другой берег Вислы, здорово рискуя. Затем истязают в одной из квартир многоэтажного дома в районе Брудно. Я знаю эту улицу. Трудно вообра-

1. Герой "Подземелий Ватикана" (1914) А. Жида.

зить место, более обычное в своей безнадежности. Прикончив юношу, они отвозят тело на берег Жеранского канала. По дороге минуют бойню, склады, бараки, гаражи, промышленный пригород. Закапывают останки "в небольшой роще на берегу канала". Эта "небольшая роща" на самом деле — поросшая кустами свалка. Чуть поодаль — огромный цементный завод. Все покрыто слоем серой пыли. Рядом — стальной железнодорожный мост.

История совершенно дикая. Так, стараясь не соотносить с реальностью, воспринимает ее ужаснувшийся разум — иначе выдержать просто невозможно. Один из подозреваемых работал на писчебумажной фабрике. В лес, где все началось, они приехали на стареньком "фиате". На память оставили кусок бейсбольной биты. На них были спортивные костюмы и кроссовки. Действующие лица, декорации и костюмы — все из того же материала, что и сама серая действительность. Однако эти молодчики попытались разыграть драму, оспаривающую онтологические основы бытия, — карикатурную версию теомахии. С точки зрения правдоподобия и статистики, эти малые — воплощенная посредственность. Готов биться об заклад, что в нормальной жизни общаться с ними скучно, а то и весьма неприятно. Но, по сути, они совершают настоящий переворот: превращают другого человека в неодушевленный предмет, осколок реальности. Убийство человеческого существа здесь совершенно обезличенно, случайно и стихийно, но одновременно, в своей крайней жестокости, последовательно и продуманно. Это, если можно так выразиться, — просто "эксперимент". Что такое смерть? Что означает то удивительное мгновение, когда тело замирает, чтобы уже навсегда остаться неподвижным? В этом месте мы нажимаем клавишу "стоп", гасим свет, теперь в ванную — и на боковую. Последний год я подолгу засиживаюсь перед видеомагнитофоном. Причем идея этого хитрого механизма, который позволяет в мгновение ока вызвать к жизни или стереть с лица земли людей и целые вселенные, занимает меня порой даже больше, чем сам сюжет. Ночью, когда все уже спят, я ставлю фильм — динамичный американский или не столь динамичный европейский, — но не могу сосредоточиться: мне мерещатся бесконечные ряды кассет, сотни и тысячи полок по всему миру, на которых стоят миллионы готовых историй. На пленках двигаются и совершают более или менее обычные действия люди, у них такие же лица, как у нас, а фигуры, несмотря на фантастические порой костюмы, напоминают силуэты за окном.

Не исключено, что бытие не так уж неистребимо, и, оживляя своих многотысячных двойников, мы постепенно умерщвляем себя и обесцениваемся. Вот парадокс: одновременно с демографическим взрывом возникли также и технологии, позволяющие бесконечно умножать реальность. Таким образом, наше существование лишилось уникальности. Возможно, оно никогда уникальным и не было, просто, чтобы сделать это открытие, нам не хватало инструментов. Мы впервые окружены таким количеством отражений, фантомов, чье сходство с нами вселяет тревогу. Теперь игра ведется не с ближним, а с порождениями своего и чужого разума.

Воображая себе минувшие эпохи, их повседневный, будничный облик, нельзя не поразиться ничтожно малому количеству

средств удвоения бытия, находившемуся в распоряжении наших предков. Небольшие окна из мутного матового стекла. Зеркала — предмет роскоши. С заходом солнца опускалась тьма, изредка рассеиваемая слабым светом. Если где-нибудь и можно было столкнуться с собственным отражением, то чаще всего — в глазах другого человека или на поверхности изменчивой и капризной водной глади. Представления о реальности, скорее всего, основывались на чем-то запредельном, мифическом, а если речь шла об обыденной жизни, то ощущалось желание не умножать действительность, а трансформировать. Вымысел, по сути, отсутствовал, поскольку даже самые фантастические и изощренные порождения человеческого разума оказывались лишь посредниками между областью божественного или демонического и миром.

Незримое не существует, а существование зримого спорно, раз мы не слишком хорошо понимаем, что же такое это самое существование и каковы его последствия. Шестнадцатилетние юнцы выходят из дому и пытаются очертить границы мира, подойти к ним вплотную, а затем и перешагнуть. Они немного напоминают путешественников прошлого, правда, после этих первооткрывателей не останется никаких записок, кроме газетных репортажей, из которых, однако, не почерпнуть информации о далеких материках. Ubi leones[1]. Никто туда не стремится, но кое-кто все же попадает. И невольно обнаруживает, что пространство наших действий, в сущности, безгранично, а следовательно, поступки растворяются в нем, словно капли воды в море. Даже преступление утратило свою мотивацию, стало самодостаточным. Преступление ради преступления. Собственно, это уже и не преступление вовсе, поскольку существует оно в вакууме.

1. Доверять себе. 2. Уважать себя. 3. Не наговаривать на себя. 4. Никому не доверять. 5. Никого не жалеть. 6. Око за око, зуб за зуб. 7. Никого не щадить. 8. Сохранять бесстрастное выражение лица. 9. Помогать друг другу. 10. Не показывать, что думаешь на самом деле. 11. Убить, если это будет необходимо. 12. Носить с собой нож.

Эту, несколько упрощенную, версию катехизиса Нечаева сочинили и записали две четырнадцатилетние девочки. Страничка, вырванная из школьной тетради в клеточку, синие чернила. Помещение, где хранятся вещественные доказательства, напоминает канцелярию или стол находок на провинциальном вокзале. Еще имеются данные медэкспертизы — скрупулезно подсчитанные шестьдесят ножевых ударов. В четырнадцать лет, видимо, не хватает сил на более радикальные действия. Жертва — их ровесница. И вновь самые обыденные декорации: большой город, многоэтажки, прибрежные заросли.

Этот кодекс из двенадцати пунктов столь же продуман, сколь самодостаточен. Подобной была организация тайных союзов — и реальных, и вымышленных. Достаточно вспомнить Общество друзей преступления маркиза де Сада или — если вернуться к реальности — элитарные части гитлеровской армии, с параноидальным упорством воплощавшие в жизнь, как это ни поразительно, фантасмагорию "Протоколов си-

1. "Там, где львы" (*лат.*) — так древние римляне обозначали на картах места незнакомые, еще не открытые.

онских мудрецов". Конечно, между подростковыми фантазиями и исторической действительностью или (как в случае де Сада) литературной жестокостью лежит пропасть, однако миф девальвируется на глазах. То, что некогда было привилегией немногих или избранных, становится товаром вполне доступным, словно доза амфетамина или банка "Ред булл".

Я все пытаюсь разобраться, что же изменилось в структуре смерти как феномена, в какой момент она перестала быть организующим началом культуры. Ведь нет никаких сомнений: людьми нас сделало именно осознание того, что мы смертны. Возвращение к животному существованию — отнюдь не привилегия убийц. Скорее уж это удел жертв, умирающих в полном одиночестве, точь-в-точь как животные, для которых смерть являет собой чистую, лишенную смысла тревогу. Беспочвенность преступления разрывает последние узы, связующие палача и жертву. Такая смерть вовсе не еще один феномен культуры, вроде войны или убийства (ради наживы, из ревности, из ненависти). И дело не в грехе — понятие греха здесь, в сущности, неприменимо, во всяком случае в прежнем его понимании. Дело в другом — смерть перестала быть общественным явлением. Она утратила какие бы то ни было причинно-следственные связи и приобрела архаический, изначальный, дологический смысл. Это смерть в чистом виде. Тревога, охватывающая непонятно почему и совершенно случайно. Между нами и нею нет ни посредников, ни смыслов, нет вообще ничего. Мы можем принять ее как нечто исключительно личное, переживаемое в одиночку. Мы предстаем перед ней совершенно нагими, и никакой опыт человечества не в силах нам помочь.

Удивительно, каким парадоксальным способом реагирует общество на бессмысленные убийства. По улицам движутся безмолвные манифестанты. Почти религиозный, обрядовый характер шествия очевиден. Литургия тишины якобы говорит о том, что мы стоим на пороге глубочайшей тайны, которую способно выразить только молчание. На самом деле эти бессловесные демонстрации вовсе не поклонение смерти, а протест против самого абсурдного ее варианта. Но лишь на первый взгляд может показаться, что толпа выражает себя посредством тишины. В действительности все наоборот: молчание — следствие этого бессмысленного акта, низводящего социум до уровня пораженного немотой стада. То, что могло бы быть обращением к миру, переходит в мутную область эмоций и рудиментов ритуальных действий. Сентиментальная и благородная попытка идентифицировать себя с жертвой — ужасающий символ нашей беспомощности. Такое ощущение, что беззвучная демонстрация следует за своим идолом к разверстой могиле.

Совершенно иначе ведут себя защитники всего прочего. Манифестации в защиту деревьев, животных, ландшафта стихийны и эмоциональны. Высвобождаются огромные запасы энергии, выступления проходят шумно, это что-то среднее между театром и цирком. Борцы за экологию подвергаются репрессиям и всякого рода гонениям, но они готовы рисковать физически. Их способ самовыражения — полная противоположность молчанию.

Очень может быть, что мы слишком устали, надоели себе как вид и теперь будем умирать в абсо-

лютной тишине, не привлекая ничьего внимания. А всю энергию направим на сострадание к остальному миру: к умирающим деревьям, китам и экосистемам. Своего рода трансплантация человеческой духовности. В конце концов мы вернемся туда, откуда пришли.

В окно мне виден соседский дворик. Это довольно далеко, но я отчетливо его вижу. Ранняя осень, пасмурная послеобеденная пора, воздух от дождя мерцает, словно экран старого телевизора. В дощатом загоне лежит сотня овец. Они жуют жвачку, отдыхают, перед тем как вернуться на луг, где будут пастись до сумерек. Из дому выходит сосед. Спокойным, ленивым шагом преодолевает те несколько десятков метров, что отделяют его от загона. Заходит к овцам, выбирает восьмимесячного ягненка, хватает его за шерстку на загривке. Ягненок встает и покорно следует за хозяином. Они исчезают за углом красного кирпичного здания. В эту минуту из дома появляется женщина. В руке у нее нож. Издали лезвие напоминает серебряную полоску. Женщина уходит туда, где скрылись муж и животное. Остальные овцы продолжают спокойно лежать. Ни одна не шелохнется. Картинку обрамляет квадрат окна. Между мной и нею — двойное стекло. Абсолютная тишина и абсолютная неподвижность. Крышка неба идеально прилегает к линии горизонта. Спустя мгновение от случившегося не останется и следа.

Чарльз Симик
Летопись страха

Перевод с английского Антона Нестерова

...Трагичность предельной ясности.

Витольд Гомбрович

Я до сих пор помню бабушкин дом, хранившиеся у нее кипы журналов начала века, а ведь прошло уже шестьдесят лет. Как я любил их перелистывать! Журналы эти отличались тем, что в них вовсе не было фотографий — только гравюры и рисунки. Особенно мне нравились батальные сцены. Сейчас я догадываюсь, что по большей части они изображали эпизоды последних балканских войн и восстаний. Рисунки подчеркивали героику войны: солдаты, с беспощадной решительностью рвущиеся сквозь дым и ураганный огонь в атаку; раненый герой в разорванной на груди рубахе — товарищи на руках выносят его с поля боя, но он знает: враг сломлен, и лицо его светится от счастья. После этого нельзя было не затеять игру в войну. И вот я уже несся через весь дом, палил из невидимой винтовки, смертельно раненый, падал на пол, чтобы вновь вскочить и открыть огонь по врагу, покуда бабушка не призывала меня к порядку. Ее нервы и так были на пределе: за окнами ни на минуту не затихали хлопки настоящих выстрелов.

Дело было в 1944 году, русские стояли под Белградом, немцы готовились дать им отпор и рыли вокруг города траншеи, а американцы и англичане денно и нощно бомбили нас. Но если кому-то удавалось вырваться из города, то он оказывался в еще большей опасности: за пределами столицы бушевала гражданская война; коммунисты, роялисты и бог весть кто еще сцепились не на жизнь, а на смерть; о жертвах среди мирного населения никто не думал. Родители то пытались осесть в деревне, то возвращались в город, таская меня за собой, — так что у меня, в мои шесть лет, была масса возможностей увидеть трупы и ужаснуться. Но сколько я себя помню, у меня не возникало никакой связи между картинками в журнале и окружавшей меня реальностью. Трупы на улицах не имели никакого отношения к той войне, в которую я играл с друзьями. Возможно, это покажется невероятным, но я не очень понимал, что мне довелось пережить, покуда несколько лет спустя не столкнулся с военными фотографиями и не увидел документальные фильмы о той войне.

Однажды — я был тогда в третьем или четвертом классе — вместо урока нас повели в музей на вы-

© The New York Review of Books, 2003
© Антон Нестеров. Перевод, 2004

1. Эта статья была написана как отклик на книгу Сьюзен Сонтаг "Глядя на чужую боль" (Regarding the Pain of the Others by Susan Sontag. Farrar, Straus and Giroux, 2003).

ставку этих самых фотографий. Видимо, наши наставники считали, что подрастающему поколению страны, официально живущей под лозунгом "братства и единения", полагается знать, что творили фашисты и их пособники. Мы совершенно не подозревали, что́ за зрелище нас ждет, думали только, что это будет нечто, наводящее тоску: какие-нибудь очередные портреты героев революции. Вместо глянцевых портретов мы увидели фотографии расправ и массовых казней. Снимки повешенных. Снимки людей, стоящих у стены в ожидании расстрела. Мы увидели, как людям перерезают горло... Обычно такие походы служили хорошим поводом побузить и подразнить девчонок, но в тот день нам было не до проказ. Мне запомнился снимок: человек с ножом сидит на груди лежащей на земле жертвы и картинно позирует в объектив.

Сознание отказывалось запомнить этот ужас, поэтому в памяти остались лишь разрозненные детали: булавка, на которую, вместо оторвавшейся пуговицы, застегнуто пальто одной из жертв; ботинок с протертой до дыр подошвой, свалившийся с ноги человека, лежащего в луже крови; белая собачонка с черным пятном на лбу, настороженно стоящая в стороне, но внимательно следящая за происходящим. Общее впечатление было сродни первому столкновению с жестким порно, когда смотришь на экран и с изумлением узнаешь, что же люди могут друг с другом вытворять. После выставки мне не хотелось о ней говорить, и точно так же подавленно молчали мои одноклассники. Наверно, потом учителя прочли нам что-то вроде лекции об увиденном — но что́ они говорили, начисто стерлось из памяти. Абсолютно точно я знаю одно — это воспоминание не отпускает меня и сегодня.

Подозреваю, что когда Сьюзен Сонтаг садилась за книгу, она виделась ей иначе, но выговорить все ей просто не хватило сил. Массовая бойня, запечатленная объективом фотоаппарата, — казалось бы, сколько всего можно об этом сказать, но слова не идут, не получается. Это свойство всякого сильного визуального впечатления: зияющий провал простирается между тем, что предстает взору, и тем, что проговаривается. Например, я могу вспомнить до мельчайших деталей фотографию, снятую в 1992 году Роном Хавивом: городок Белджина в Боснии, улица и крупным планом — лицо мусульманина, умоляющего солдат сохранить ему жизнь. Я чувствую ужас перед тем, что́ должно сейчас произойти, кажется, я даже слышу сбивчивое бормотание несчастного — и я знаю, что эти люди с автоматами не ведают жалости. Но все, что я могу представить, все, что я могу об этом рассказать, теряет смысл, сто́ит взглянуть на это искаженное ужасом лицо на снимке: состояние на грани срыва, лицо сейчас расплывется слезами.

Кем надо быть, чтобы это снимать? Откуда у фотографа это право быть свидетелем последних мгновений чьей-то жизни? Как он там оказался? Просто проходил мимо? И что произошло потом, после того, как щелкнул затвор камеры? Почему убийцы позволили ему уйти, унося свидетельство их преступления? Перебросились ли они с фотографом парой слов, прежде чем его отпустить? Или же правда написанное Сонтаг в другой ее книге, "О фотографии" (1977): камера — паспорт, позволяющий переступать границы морали, обладание этим мандатом сни-

мает с фотографа всякую ответственность перед людьми, попавшими в кадр? Этот вопрос остается в сознании как заноза, и если кто и может на него ответить, то лишь сама Сонтаг. Прежней своей книгой о фотографии она доказала — в этой зоне она один из самых нелицеприятных критиков.

"Глядя на чужую боль" — еще одна книга на ту же тему... и при этом в ней нет ни единой иллюстрации. Вначале — рассуждения Сонтаг об эссе Вирджинии Вулф "Три гинеи", в котором та попыталась проанализировать корни войны. Вулф говорит о нашей неспособности к взаимопониманию, к общению. Чтобы доказать свой тезис, она предлагает читателям взглянуть на фоторепортажи с полей Гражданской войны в Испании. А потом задает вопрос: похожи ли мы в наших реакциях на эти свидетельства массового убийства? Сходные ли чувства испытываем мы, глядя на ту или иную фотографию? Сонтаг показывает, как Вулф приходит к убеждению: шок от этих снимков столь силен, что они всегда "работают" на идею фотографа, ибо не могут не объединить людей доброй воли:

> Объединить в переживании боли, в желании закрыть глаза и больше такого — не видеть, в стремлении покончить с самими причинами этой резни, этой кровавой бойни. Любая другая реакция, с точки зрения Вулф, чудовищна и аморальна. Но, говорит она, мы ведь не чудовища, мы — представители образованных классов. И наше фиаско — это фиаско нашего воображения, нашей способности сопереживать: мы не способны впустить в сознание *такую реальность*.

Кто же такие эти "мы"? К кому взывают такого рода фоторепортажи, со всей присущей им жестокостью? — задается вопросом Сонтаг. В 1924 году Эрнст Фридрих издал в Германии книгу "Война войне!" ("Krieg dem Kriege!"). В книгу вошли свыше 180 фотографий, добытых им в немецких военных и медицинских архивах. Покуда шла война, цензура считала публикацию этих снимков нежелательной: они могли произвести слишком сильное впечатление. И вот теперь, говорит Сонтаг, читатель мог воочию убедиться, что такое четыре года массовой бойни и разрушений. Там были фотографии изрешеченных снарядами и разграбленных церквей, фотографии деревень, стертых с лица земли. Взрывающиеся после торпедной атаки корабли, повешенные пацифисты, отказавшиеся от воинской службы, полуголые проститутки в борделях, солдаты, корчащиеся в предсмертных муках, груды гниющих трупов, развороченные осколками лица раненых, крупным планом, — все это было снято так, чтобы шокировать, вызывать ужас, внушать отвращение к войне. Смотрите, вот какова на самом деле война — кричат эти снимки. Вот что она творит! К 1930 году "Война войне!" выдержала десять изданий в Германии и была переведена на множество языков. Судя по жестокости Второй мировой войны, эффект книги равнялся нулю. Сонтаг пишет:

> Наши представления о настоящем и совсем недавнем прошлом опираются на образы, знакомые по фотографиям. Именно они предопределяют развертывание наших ассоциаций и поступков, выполняя роль тотема, вокруг которого объединяется общество: не лозунги и призывы, но фотоснимки становятся точкой кристаллизации наших чувств. Именно фотографии помогают оформиться нашему восприятию прошлого. В какие-то моменты мы пе-

ресматриваем свое к нему отношение — когда на нас обрушивается шок, связанный с введением в обиход старых фотографий, неведомых своему времени. Фотография, которая известна всем и каждому, в наши дни она "маркирует" выбор общества: над чем стоит задуматься — или выполняет роль декларации: "обратите на это внимание". Общество называет это "памятью", хотя она насквозь идеологизирована, и, оглядываясь задним числом, мы видим: такая память — не более чем фикция. Строго говоря, коллективной памяти не существует — это понятие принадлежит к числу таких фикций, как "чувство коллективной вины". Коллективной памяти нет, есть лишь инструкция, адресованная данному коллективу.

Что до памяти, то она индивидуальна, не тиражируема — и умирает вместе с ее носителем. То, что называют коллективной памятью, — не воспоминание, а коллективный договор: вот это важно, вот как это происходило, и картинки призваны впечатать это в наше сознание. Идеологии создают "архивные доказательства" — серии образов, воплотивших расхожие идеи о том, что важно именно данное событие, образов, провоцирующих жестко предсказуемые мысли и чувства.

Полагаю, организаторы этнических чисток в Боснии и Хорватии в 90-х годах видели фотографии времен Второй мировой войны: содеянное ими было "повторением пройденного". Преступлениям 90-х годов предшествовала националистическая эйфория, и на ее гребне югославское телевидение только и делало, что показывало фотографии, на которых представители одной этнической группы уничтожали другую. Сонтаг права: картины расправ над гражданским населением способствуют лишь скорейшему формированию ненависти к врагу. Она пишет:

Для израильского еврея фотография ребенка, разорванного на куски бомбой в пиццерии "Сбарро" в центре Иерусалима, — это фотография еврейского ребенка, убитого палестинским террористом-смертником. Для палестинца фотография ребенка из сектора Газа, разорванного снарядом израильского танка, — это фотография палестинского ребенка, убитого израильскими оккупантами.

Глядя на фотоснимки сербских зверств в Хорватии, я не мог отделаться от мысли: в сердцах сербов эти кадры вызывали что-то вроде удовлетворения. Они хотели отплатить хорватам за старые обиды. Кто бы удивлялся, если сегодня они предпочли бы не видеть этих снимков. А ведь все это творилось во имя сербского народа! Но, как пишет Сонтаг, теперь сербы предпочитают утверждать, что все эти снимки — подделка: "Наши бравые солдаты на такое просто неспособны". Видимо, везде и всюду националисты верят в одно и то же: нельзя раскаиваться в совершенной по отношению к другим несправедливости — это первый признак собственной слабости.

Фотография рассчитана на то, чтобы ее рассматривали, чтобы зритель задержал на ней взгляд. Зададимся вопросом: производят ли фотографии насилия в силу этого большее впечатление, чем вид насилия на телеэкране или в кино? Сонтаг полагает, что да, и я готов с нею согласиться. Почти все очевидцы событий 11 сентября 2001 года говорили, что падение небоскребов Всемирного торгового центра казалось им "нереальным", в этом был "какой-то сюрреализм", здания падали, "как в кино". Тогда как професси-

ональные – и даже любительские – фотографии, сделанные в тот день, производят гораздо более сильное впечатление: застывшие, остановленные образы трагедии напрямую взывали к зрителям. То же самое было с войной во Вьетнаме: мы день за днем видели смерть и разрушения по телевизору, эта война была едва ли не поминутно зафиксирована множеством телекорреспондентов. Однако эффект телехроник не мог сравниться с воздействием нескольких фотоснимков, сделанных на этой войне. "Память – это всегда стоп-кадр; в ее основе лежит единичный образ", – пишет Сонтаг. По Сонтаг, фотография, фиксирующая реальность, намного "простодушней" и точнее кино. Фотография – это конкретное свидетельство, своего рода подтверждение: такое-то событие действительно произошло.

Когда мы смотрим художественный или документальный фильм, в душу закрадывается подозрение: а не отредактирован ли предлагаемый материал, не подогнан ли он под ту или иную эстетическую или политическую концепцию? Фотография тоже не свободна от "редактуры", но мы гораздо реже задаемся вопросом: а что же именно предлагали нам увидеть? Самая знаменитая фотография времен Гражданской войны в Испании – нечеткий черно-белый снимок солдата-республиканца, сделанный в тот самый момент, когда его настигла вражеская пуля. Фотографу Роберту Капе хватило самообладания в момент боя поймать кадр и оставить нам это свидетельство. Мы готовы восхищаться снимавшим. "Каждый – буквалист, когда имеет дело с фотографией", – замечает Сонтаг. И какое же смущение мы испытываем, узнав из книги, что эта фотография могла быть простой "постановкой"[1]. И не только она одна: в целях пропаганды весьма нередко прибегали к таким постановкам, и множество "классических" фотографий прошлого – не более чем специально разыгранные сцены.

Есть ли нечто постыдное в наблюдении, причем с близкого расстояния, за актом насилия, суть которого нельзя даже описать словами? Да, есть. Можно ли глядеть на такое без дрожи? – спрашивает фотография. Часто у нас едва хватает на это сил, вспомним знаменитую фотографию времен Вьетнамской войны, снятую Хун Конг Утом: дети, чьи лица перекошены болью и страхом, бегут прочь из деревни, мгновение назад "обработанной" напалмом. Но зритель испытывает стыд еще и оттого, что эта фотография не только шокирует – она по-своему красива: так могут быть красивы страдания какого-нибудь мученика на картине. "Эстетика – в самой реальности", – обронила как-то фотограф Хелен Левитт. Так что же, петь осанну человеку с камерой, который не только оставил нам документальное свидетельство, но при этом еще и добился эффектной картинки? Сонтаг пишет:

То, что залитое кровью поле битвы может быть завораживающе-кра-

1. Сам Капа говорил о том, как был сделан этот снимок: "В тот день мы испытывали сильнейший страх, потому что франкисты стреляли из новых автоматов, и количество убитых республиканцев исчислялось десятками. Я целый день просидел в окопе и, только когда началась атака республиканцев, высунул из него "лейку", а когда услышал автоматную очередь, вслепую нажал на спуск". Точка съемки на этой фотографии вполне соответствует этому описанию, что скорее подтверждает версию фотографа, а не Сонтаг. (См.: http://www.photographer.ru/magazine/article.htm?id=9.) (*Здесь и далее – прим. перев.*)

сиво, хотя это особая – величественная, ужасная и трагичная – красота, мы знаем по работам художников-баталистов. Однако этот критерий не приемлем по отношению к образам, запечатленным объективом фотоаппарата: на военных снимках красота кадра – синоним бессердечия фотографа. Но ведь пейзаж не перестает быть пейзажем, пусть даже это пейзаж опустошения. Руины порой прекрасны... Фотографии свойственно трансформировать объект изображения – что бы ни было этим объектом; запечатленный на снимке образ может быть прекрасен – или ужасающ, невыносим или едва выносим, но суть в том, что это свойство самой фотографии, а не реального объекта.

"Фотография подает зрителю противоречивые сигналы, – пишет Сонтаг. – Положи этому конец, – взывает снимок. И тут же говорит: – Что за зрелище!" Красные кхмеры в 1975–1979 годах сделали тысячи фотографий мужчин и женщин – перед тем как казнить их. Жертвы смотрят прямо в камеру, на рубашке – лагерный номер. На лицах выражение серьезности, неверия, предельной усталости и какого-то недоумения: "Что же произойдет со мной сейчас?" В эти глаза тяжело смотреть – но и оторваться от них нельзя. Мы все так или иначе склонны подглядывать в замочную скважину, пишет Сонтаг. Кто же спорит... "Страдальцы – все на одно лицо", – любит повторять один мой знакомый. До известной степени так оно и есть – покуда камера не выхватит различия между этими "всеми". Приходит фотограф, зажигает маленькую лампочку – и вот наша жизнь выступает из тьмы во всей неповторимости своих очертаний. Наши воспоминания погружены во тьму; они подобны лабиринту музейных переходов, где только изредка подсвечена та или иная витрина, тот или иной образ.

"Можно ли говорить о том, что мы слишком привыкли к жестким снимкам?" – задает вопрос Сонтаг. И действительно: не лучше ли нам не видеть, как выглядят все эти бойни? Или от этого зрелища мы становимся добрее, нравственней, благородней: оно пробуждает в нас сочувствие, негодование, мы хотим выступить против несправедливости и страданий этого мира? И, наконец, можем ли мы вместить увиденное? Сонтаг указывает, что масскультура и без того переполнена "допустимым насилием" и садизмом. Мы сталкиваемся с насилием в кино, на телеэкране, играя в компьютерные игры. Сцены, которые сорок лет назад заставили бы зрителей закрыть глаза, с отвращением отшатнуться, теперь не смущаясь смотрят подростки. То же самое верно и в отношении нашего мира в целом. Люди привыкли к бомбардировкам, массовым убийствам и прочим ужасам войны. Сегодня мне трудно даже поверить, что когда-то я ударом ноги сбил с убитого немецкого солдата каску – но ведь это правда. Сколько бы ни говорили о том, что все наши воспоминания будто бы загнаны вглубь и погребены в недрах сознания, страх и шок имеют свой срок годности, – увы! На каждый отвратительный образ, который я помню, приходится сотня прочно мною забытых. В той старой книге "О фотографии" Сонтаг утверждала, что событие, известное нам по фотоснимкам, становится для нас тем менее реальным, чем чаще эти снимки мелькают в прессе и на телеэкране. Насколько фотографии пробуждают симпатию к жертвам, настолько же они эту симпатию гасят.

В новой книге она уже не столь в этом уверена. "Где свиде-

тельство тому, что фотография приуменьшает значимость происшедшего, а наша привычка к фоторепортажам нейтрализует моральное воздействие снимков, запечатлевших кровопролитие?" Заметим — военные думают точно так же. Во всяком случае, они покуда не собираются наглядно показывать нам, что позиция Сонтаг -- заблуждение, и явно не торопятся предоставить фотографам свободу передвижения на театре военных действий. Где снимки убитых во время войны в Персидском заливе? Мы их не видели. А как же истории о шакалах, пирующих на трупах иракских солдат? Во время войны в Афганистане несколько "жестких" снимков обошли цензуру, однако в целом политика в отношении средств массовой информации направлена на то, чтобы смягчить впечатление от военных действий и — особенно — затушевать страдания мирного населения. Военные выучили уроки Вьетнама. "Война теперь ведется издали: наносятся "точечные удары", объекты для них избираются на основе информации, полученной на расстоянии, на расстоянии же, с другого континента, оценивается и нанесенный ущерб", — пишет Сонтаг. А стоит телевидению "противника" показать репортаж о жертвах среди мирного населения, мы тут же, без колебаний, наносим удар по телестудии: так было во время операций НАТО в Югославии, так расправились с офисом "Аль-Джазира" в Кабуле. "Война обретает 'реальность', когда появляются фотографии с театра военных действий", — пишет Сонтаг. Именно появление в печати фотографий, запечатлевших "зачистки", проводимые сербами в Хорватии, Боснии и Косово, вызвало во всем мире волну антисербских настроений, мобилизовав общественное мнение. К сожалению, фотографии далеко не всегда гарантируют такого рода реакцию: весь мир видел, что происходит в Руанде и Камбодже, — это что-нибудь изменило? Горько? Но куда страшнее мысль о войне, не оставившей следа на фотопленке, или войне, чья хроника стерилизована до дюжины пропагандистских снимков.

И уж куда как права Сонтаг в своих нападках на французских интеллектуалов, провозгласивших "смерть реальности". Послушать их, "реальность" всего лишь спектакль[1]. Идеи такого рода особенно популярны в академической среде. "Тем самым предполагается, будто в мире не существует страдания. Что это как не безответственность и развращенность?" — спрашивает Сонтаг. Будем объективны: когда-то она и сама склонялась к этой точке зрения. Тогда она готова была утверждать: фотография всего лишь образы реальности, а не сама реальность. Сонтаг обвиняла фотографию в том, что та в равной мере способна "убаюкать" нашу совесть — и пробудить нас к действию. В те годы она писала: "Фотография предполагает, что мы обладаем некими знаниями об этом мире, если принимаем его фиксацию на фотопленке. Но такое знание противоположно пониманию, ибо понимание берет начало в том, что мы не принимаем мир таким, каким его видим". Мне попалось несколько рецензий на ее новую книгу, в которых авторы осуждают Сонтаг за отказ от этого положения. На самом деле они просто не до конца поняли идеи о взаимо-

1. Имеются в виду философы, продолжающие разработку идей, сформулированных в знаменитом трактате Ги Дебора "Общество спектакля".

связи мира образов и реальности, изложенные в ее старой книге о фотографии. Мысль Сонтаг была не только тоньше и богаче — она имела долгую историю, восходя еще к Платону. Настаивая на существовании реальности как таковой, Сонтаг вовсе не скатывается к редукционизму, предполагающему, что выбор между истиной и красотой можно разрешить в пользу одной из сторон. Напомню: объект описания в новой книге Сонтаг не фотографии красоток и не Большой Каньон, а то, что однажды она назвала "дыбой истории".

Пространные размышления Сонтаг над порожденным войной визуальным рядом сегодня нужны, как никогда. Но наверняка найдутся читатели, которым "Глядя на чужую боль" покажется шокирующей и неуместной книгой. Есть темы, которых иные люди предпочитают избегать. Кому, как не Сонтаг, знать: потребители ежедневного насилия к сильным чувствам относятся с циничной усмешкой. А "Глядя на чужую боль" просто пропитана возмущением. Сонтаг абсолютно нетерпима по отношению к тем, кто удивленно поднимает брови, услышав, что в этом мире есть подлецы и насильники, которые меняют тему разговора, едва речь заходит о жестокости к ближнему. "После определенного возраста мы лишаемся права на такого рода невинность — права скользить по поверхности вещей, холить свое невежество и амнезию".

Сонтаг — моралист. Можно ли не быть моралистом, когда думаешь о насилии над ни в чем не повинными жертвами? Одно то, сколь долго она пробыла под выстрелами в Сараево, дает ей право предъявлять нам определенные требования. Мало кто из нас представляет, через что довелось пройти тамошнему населению, пишет Сонтаг. Да, у нас есть только фотографии. Но даже если они всего лишь знаки реальности, их функция — указывать на саму жизнь, настаивает писательница. Для меня это — только так. Для меня фотография — не фикция. Например, снимок Жиля Переса, который я видел несколько лет назад: маленький мальчик с повязкой на глазах на людной улице в Сараево; мать за руку ведет его сквозь толпу. Или другая фотография: мужчина в морге стоит перед носилками, на которых лежат трупы; в отчаянье он закрыл лицо ладонями — он узнал кого-то из родных или друзей; за ним равнодушно наблюдает санитар[1].

Оказавшимся в подобной ситуации недоступна роскошь высокомерного презрения к реальности. Фотографии сохраняют отпечаток страданий отдельного человека, вырывая его из массы безликих, безымянных жертв. Мы должны быть признательны Сьюзен Сонтаг за то, что она взяла на себя труд напомнить нам об этом. Если фотография — одна из форм познания мира, то всякий, пишущий о фотографии с пониманием и страстью — а именно так пишет Сонтаг, — посягает на самодовольство интеллектуальных и моральных тартюфов.

1. См. сайт:
http://www.picture-projects.com/
picture-projects/gallery1.15.thml.

Дорота Кубацкая-Ясецкая

Психологический портрет террориста

Перевод с польского Л. Гвозд

На вопросы Кшиштофа Бурнетко, корреспондента "Тыгодника повшехнего", отвечает сотрудник Института общественных проблем при Ягеллонском университете, доктор психологических наук Дорота Кубацкая-Ясецкая.

Не зная угрызений совести

Кшиштоф Бурнетко. Кто идет в террористы? Что это — особый психический тип?

Дорота Кубацкая-Ясецкая. Вопрос нужно поставить несколько иначе. Безусловно, терроризм как явление находится где-то на грани между агрессией и насилием, но в то же время он тесно связан с социальным, политическим, идеологическим контекстом.

К. Б. И все же человеку агрессивному легче прибегнуть к террористическим методам, чтобы добиться желаемого, чем человеку с мягким характером. Или же я не прав и, с точки зрения психологии, террористом может стать каждый?

Д. К.-Я. Начнем с того, что такое агрессия. Это поведение или действие, направленное на причинение ущерба другому человеку вплоть до его уничтожения. Безусловно, есть люди более агрессивные и менее агрессивные. Агрессия — это биологический инстинкт, свойственный всему животному миру, и человек здесь не исключение. Склонность к агрессии в нас заложена. С той только разницей, что не все мы одинаково ее проявляем и уж тем более ею пользуемся. Кроме того, и это тоже очень важно, среди различных типов агрессии выделяют так называемую инструментальную агрессию — это когда ставится задача вести себя агрессивно, использовать жесткие методы воздействия. И человек эту задачу выполняет. Примером могут служить солдаты, полицейские и другие, чья агрессивность вовсе не диктуется их желаниями или свойствами характера. Она следствие того задания, которое они получили.

И значит, подобную агрессию могут проявлять люди с низким уровнем агрессивности. Ведь не все солдаты и полицейские одинаковы. Некоторые агрессивны, другие — нет. Но каковы бы ни были их индивидуальные свойства, они получают задание: убить противника, подвергнуть бомбардировке город и т. п. Одним это ничего не стоит, другим — мучительно трудно.

К. Б. Да, достаточно вспомнить экипаж самолета, который

© Tygodnik Powszechny, 2002
© Л. Гвозд. Перевод, 2004

сбросил атомную бомбу на Хиросиму: одни увидели в этом обычный приказ, а у других был психический срыв.

Д. К.-Я. Вот именно: либо это была позиция "ничего не поделаешь, надо значит надо", либо срабатывало внутреннее сопротивление. Инструментальная агрессия предполагает холодное поведение, холодный расчет по принципу: сам я не имею ничего против этого государства и этих людей, но я должен их уничтожить, ибо таков приказ. То есть позиция эта мотивирована не личной потребностью, а приказом. Кроме того, людей можно воспитать таким образом, что они воспринимают чужой приказ как свое собственное волеизъявление. Тогда результативность инструментальной агрессии значительно возрастает. Так были воспитаны солдаты Гитлера — они не знали угрызений совести. У американцев совсем другая традиция — отсюда и проблемы. Для подогрева инструментальной агрессии чаще всего используется пропаганда. Гитлер внушал своим солдатам: мы — высшие существа, а все остальные — недочеловеки, если мы их уничтожим, то лишь поможем человечеству. Это имело большой эмоциональный резонанс: инструментальная агрессия приобретала внутреннюю мотивацию. По тому же принципу действует террорист. Террор — один из видов насилия. Ибо если для агрессии характерен личный контекст: одна человеческая особь борется с другой, то у насилия иная, социальная природа: одни группы выступают против других или целая группа выступает против отдельной личности. Причем не следует забывать и об общественных мифах и идеологических установках, о поисках козла отпущения. Именно так возникали еврейские погромы: на евреев возлагали вину за самые невероятные преступления и тем самым разряжали накалившуюся общественную обстановку. Но если цель агрессии — уничтожение противника, то в случае насилия речь идет не столько об уничтожении его, сколько о том, чтобы подчинить его себе, повергнуть ниц. Надо, чтобы он сдался, покорился. Конечно, четкую грань провести невозможно. Ведь когда кто-то упорствует и не подчиняется, насилие обычно перерастает в агрессию.

Убедить в своей правоте

К. Б. Можно ли таким образом объяснить эскалацию методов терроризма?

Д. К.-Я. Безусловно. Это как при изнасиловании: если жертва оказывает отчаянное сопротивление, насильник не просто применяет силу, а начинает действовать особенно агрессивно. Именно поэтому некоторые жертвы насилия бывают так страшно изувечены. Вот и террористу необходимо навязать себя, вернее, свою позицию — другим. Ему нужно убедить людей в правоте своего Дела. Но он знает, что мирными средствами этого не добиться: нет такого общества, которое пойдет на освобождение задержанных, а то и получивших приговор террористов, вот он и прибегает к агрессивным методам воздействия. И если они не приводят к желанной цели, остается лишь одна дорога — ужесточать борьбу...

К. Б. Но зачастую его удар направлен не против истинного адресата его требований — власти, а против ни в чем не повинных людей.

Д. К.-Я. Тут как раз проявляется механизм инструментальной, нецеленаправленной агрессии. В

этом случае агрессия продолжает оставаться средством достижения цели, но направляется не прямо на цель, а на других людей. Террористы ведь зачастую не стремятся убить того-то или того-то, а хотят продемонстрировать силу и решимость — показать обществу, что они готовы на все. Следовательно, это все то же насилие — ибо они используют агрессивные средства воздействия, да и мотивация та же — желание подчинить себе других. "Мы не хотим убивать невинных, но...", — обычно говорят они. "Хорошие" террористы закладывают бомбы там, где нет людей, либо взрывают их по ночам.

К. Б. Но можно ли вообще говорить о рационализме террористов?

Д. К.-Я. Способность планировать, поступать расчетливо, уравновешенно или же поддаваться аффекту, действовать импульсивно — это уже проблема индивидуальных особенностей личности.

К. Б. А какие террористы особенно опасны?

Д. К.-Я. Все зависит от характера их действий. Импульсивно действующие террористы опасны своей непредсказуемостью, рациональные — оценивают свои шансы: просчитывают, стоит ли нападать именно сейчас. Иррациональные никогда не сомневаются. Именно такие доставляют неудобства самим террористическим группам: эдакий член группы любит действовать самостоятельно и своей порывистостью может сорвать запланированную акцию. Но в то же время он может быть весьма полезен в особо опасных, подчас самоубийственных акциях. Известно немало примеров подобных "горячих голов" — обычно такие личности характеризуются разными психическими отклонениями, здесь и параноидальные свойства, и подозрительность, и заниженная самооценка.

К. Б. К какому же типу следует отнести профессиональных террористов?

Д. К.-Я. Это обычно проводники инструментальной агрессии: такие люди получают задание и относятся к нему как к способу зарабатывания денег и решения жизненных проблем. Задание получено, и им дела нет до того, что за игра ведется. Их интересуют только деньги, которые достанутся им в определенном месте и от определенных лиц, но — в обмен на определенные услуги.

Важно одно — чтобы вокруг "что-то происходило"

К. Б. Только и всего? Неужели такому террористу не свойственно желание стать героем, мучеником?..

Д. К.-Я. Бывает и такое. Но не стоит обобщать. Террористы — очень разные люди. Трудно сказать, что́ в них говорит. Это как солдаты Иностранного легиона. Почему они туда вступают? Некоторые — с целью заработать. У них нет образования, военная служба для них — работа, как и всякая другая, только лучше оплачиваемая. Но могут влиять и другие мотивы — зачастую скрытые, неосознанные: людям кажется, что именно это занятие больше всего им подходит. Очень может быть, те, что присоединяются к террористическим группировкам, зачастую равнодушны к целям борьбы, они просто хотят заработать, и одновременно такая жизнь отвечает складу их личности. Им нравится подобный стиль, они не хотят просиживать штаны

в офисе или перед окошком на почте. Они любят риск, именно так они понимают мужскую храбрость и т. п. Причем следует учесть, что такое совпадение характера выполняемого задания и склада личности обеспечивает гораздо большую результативность. Психологии известна теория стимулов, согласно которой у разных людей разная потребность в стимулах, получаемых из окружающей среды. Одному их требуется много – он лезет в гору, занимается боксом... Другому достаточно почитать книгу и послушать музыку. Иногда ему даже хочется сократить количество стимулов, идущих извне: он сводит к минимуму контакты и общение, уединяется, а то и вообще замыкается в себе. Террорист – это тип человека, которому необходимы острые ощущения. Когда вокруг "что-то происходит", он чувствует себя в своей стихии. Риск, резкая смена обстановки, а не какая-то серая, будничная жизнь. И он выступает сначала на одной стороне, потом – на другой. Ему безразлично, кому служить. Для него главное – стиль жизни.

К. Б. А восхищение женщин, товарищей?

Д. К.-Я. Важнее всего восхищение самим собой...

К. Б. Ну а внимание со стороны средств массовой информации?

Д. К.-Я. На них террористы как раз и рассчитывают. Обычному человеку жизнь не всегда дает возможность реализоваться по максимуму. Всем нам знакомо ощущение, что мы не сделали в жизни того, что могли. Но наемники и добровольцы довольны своим жизненным выбором. Они нашли свой путь. Правда, патологический. Но только с точки зрения психологии. Для них самих он абсолютно нормален. Безусловно, особый случай – психически больные люди, которые "примазываются" к террористам, потому что лучше всего чувствуют себя в этой среде.

Террор – единственное средство

К. Б. А как же тогда объяснить те случаи, когда террористами становились люди образованные, из так называемых "хороших семей"? Которые идут убивать прямо с университетской скамьи, едва оторвав голову от книги? Вспомним, как это было в 1968 году на Западе – во Франции, в Германии. Разве нет идейных террористов?

Д. К.-Я. Конечно, есть. Идея национальной независимости, борьбы с классовым неравенством может быть таким же стимулом, как и риск. Террористом можно стать и по исключительно идеологическим соображениям. Если веришь в идею, легко соглашаешься, что для достижения цели все средства хороши. Особенно когда знаешь, что другие методы ни к чему не привели... Вот тут-то накопленные знания и становятся дополнительным аргументом. Тем более что под рукой всегда полным-полно исторических примеров: там-то и тогда-то, и вот там, и еще вот там велись переговоры, но ничего путного из всех этих переговоров не вышло. Напрашивается простой вывод: диалог ничего не дает, он обречен на неудачу. Значит, остается только одно – насилие. В ту или иную минуту террористы приходят к мысли, что террор – единственное средство. Следовательно, террорист может быть неагрессивным – достаточно и того, что у него есть уверенность: только агрессия – эффективный способ

борьбы. За примером не нужно далеко ходить: в Подгале[1] горцы все еще дерутся за девушку, и тот, кто одерживает победу, берет ее в жены. Срабатывает чистая биология: победивший — лучше. Когда мне доводилось обследовать агрессивных людей, например рецидивистов, осужденных за убийства и разбойные нападения, они обычно говорили: а как еще я мог доказать, что я прав? Им и в голову не приходило, что можно попробовать договориться, вступить в диалог, — они были убеждены, что правоту можно доказать только силой. Агрессия является первоклассным — в том смысле, что самым быстрым и безоговорочным — способом демонстрации того, кто достойнее. А значит, и кто прав.

К. Б. Да, но ведь вряд ли существуют лучшие общественные условия для диалога, чем западная демократия. И все же начиная с 1968 года именно Запад стал главной ареной террористических вылазок — там совершено более пятидесяти процентов терактов. Конечно, за иными из них когда-то стояла Москва, но для подобных инспираций почва была благодатной. Очевидно, открытость не помогает — всегда находятся те, что предпочитают террор.

Д. К.-Я. Это потому, что демократическое общество несовершенно. Более того, коль скоро там запрещены меры жесткого контроля, оно являет собой удобную почву для потенциальных террористов. Тамошняя свобода — это свобода для всех и каждого. Тогда как в тоталитарном обществе все психопаты не только находятся под контролем государства — их зачастую просто изолируют. А если все же появляются личности, которые прибегают к террору, то и этому есть объяснение: идеологию трактуют как высшую ценность, которая стоит любых жертв, любой борьбы. У животных мотивация биологическая: они борются за пищу, за выживание, за потомство, за партнершу и продолжение вида. Не более того. А человек борется за человеческие ценности: за деньги, за то, что для него свято, и т. п. Ради всего этого он может прибегнуть и к террору. Фромм, кстати, заметил, что человек старается оправдать свою агрессию соображениями высшего порядка: культурными, религиозными и прочими. Взять, например, хотя бы крестовые походы. У терроризма есть еще два побудительных мотива. Символом первого можно считать Патрицию Хёрст...

Берешь *пистолет и стреляешь*

К. Б. ...дочь американского газетного магната Рандольфа Хёрста, которая была похищена в Беркли 4 февраля 1974 года организацией "Армия освобождения". Не прошло и двух месяцев, как Хёрст объявила, что присоединяется к террористам. Впоследствии она стала одним из самых жестоких членов группировки.

Д. К.-Я. И это не случайно: речь здесь идет о переходе жертвы на сторону преследователей. В психологии такое поведение объясняется сильной тягой человека к общению. Если рядом с похищенным никого нет, одни лишь террористы, то он тянется к ним. В конце концов, не всегда же они зверски жестоки.

К. Б. В случае с Пэтти Хёрст значение имело, наверное, также увлечение идеологией "Армии освобождения" и то, что она была

1. Район Южной Польши. *(Прим. перев.)*

одного возраста с "полковниками" этой группы, такими же девушками-студентками, как и она. Ну а второй побудительный мотив?

Д. К.-Я. Это инструментальная агрессия. Механизм простой: зверь использует когти, зубы, а человек — если обстоятельства вынуждают — действует руками или ногами, или палкой. То есть если бы вам захотелось кого-то отделать, пришлось бы взять палку. Однако и здесь действуют биологические механизмы, которые заставляют человека воздерживаться от чего-либо подобного. Вы говорите себе: "Что? Это я-то буду бить кого-то палкой? Ну нет!" А вот взять пистолет и выстрелить...

К. Б. ...гораздо легче.

Д. К.-Я. Именно это называется инструментальной агрессией. Уже сам момент перехода от холодного оружия к огнестрельному был поворотным. Что же говорить о современном террористе? Вы закладываете бомбу...

К. Б. ...и уходите.

Д. К.-Я. Мало того: вы садитесь в машину или в самолет, и все это вас уже не интересует. А через каких-нибудь пару часов вы и вовсе приземляетесь на другом континенте. Подобное справедливо и для нацистских преступников. Ведь они отдавали приказы. Редко кто из них стрелял сам. Если бы им приходилось убивать собственноручно, возможно, кое-кто бы и задумался. В мире животных существует целый ряд ритуальных, символических механизмов поведения. Вспомним битвы в брачный период: если животное опускает голову, или поджимает хвост, или каким-либо иным способом дает понять, что сдается, то соперник тут же перестает нападать. Все заканчивается без кровопролития. У человека эти врожденные инстинкты исчезли. Остался, пожалуй, единственный, да и то не у всех, — сострадание. Если кто-то просит пощады, нередко даже самые непреклонные отступают. В них говорит что-то древнее, инстинктивное: раз противник покоряется, нельзя его уничтожать. Но если вы прибегаете к опосредованной агрессии, то вы уже не оставляете ему шансов на капитуляцию, а себе — на милосердие. Вы хватаете оружие и стреляете. Такого рода агрессия позволяет отделить свои действия от психического "я". Нацисты были хорошими мужьями и отцами. Слушали Бетховена. И одновременно отправляли людей в газовые камеры. Они как будто существовали в двух мирах. Это был механизм защиты, позволявший им функционировать в тех страшных условиях. То же происходит и с террористами. Хотя, безусловно, столь развитый механизм защиты — это уже патология. Человек должен сохранять целостность. Ибо последствия его внутренней дезинтеграции могут быть чудовищны.

Марина Фрёмке

Берлин: пепел Кольхааса стучит в сердце

Этой весной в Берлине было по меньшей мере две возможности поближе познакомиться с фигурой террориста: спектакль молодого режиссера Ульфа Отто по новелле Г. Клейста "Михаэль Кольхаас" и цикл картин немецкого художника Герхарда Рихтера на выставке шедевров из собрания Нью-йоркского музея современного искусства.

Драмы Клейста "Пентиселея" и "Разбитый кувшин" уже давно не сходят с театральных афиш. Сценическая версия новеллы "Михаэль Кольхаас" (1806–1810) – редкость. Подобно "Бесам" в русской традиции, эта новелла воспринимается сегодня как литературная модель поведения террориста. В мае спектакль "Комплекс Кольхааса 0.4" шел в Берлине в "Залах на Софиенштрассе". Это одна из активных экспериментальных сцен города для театра, танца и перформанса молодых авторов. Вы попадаете в краснокирпичное здание рубежа XIX–XX веков в старинном квартале восточного центра города. Интерьер – по контрасту с образцово отреставрированной дорогой улицей – выдержан в стиле "руин": знаки запустения не слизывались ремонтом и не подновлялись в стиле ретро, а становились основой. Наряду с галереей Asian Fine Arts Berlin, кинофирмой "Trafic" и человеком по имени Nataša Drakula в Доме искусств разместились и "Залы на Софиенштрассе" – в так называемом "парадном зале" на втором этаже.

Публика – студенты, пара седых голов (поколение 68-го), две пожилые подруги-театралки – энергично заполняет фойе. Снаружи проливной дождь. Разнокалиберные люстры, на колонне с ионической капителью бумажная стрелка "WC", молодой человек с рюкзаком пристроился что-то писать у рояля. За столиками пьют красное вино и пиво. Впускают. Бальная зала с почерневшими галереями и облезлым потолком, пол покрыт линолеумом, по кирпичным стенам обнаженная проводка. Декорация: несколько уложенных друг на друга брикетов сена.

Начинается театр. Фигура в рабочей робе оранжевого цвета вывозит на сцену тележку из супермаркета – в ней телевизор, видео- и фонореквизит спектакля. Решительно подойдя к первому ряду (рампы нет), актриса Беттина Хоппе начинает: "Я – Михаэль Кольхаас, торговец лошадьми, который жил на берегах Гавела в середине..." (из зала: "Громче! Не слышно!"). Хоппе встает напротив подавшего реплику и, не прибавляя громкости, повторяет: "Я – Михаэль Кольхаас, торговец лошадьми, который жил на берегах Гавела в середине шестнадцатого столетия и которого называли одним из честнейших и в то же время чудовищных людей своего

© М. Фрёмке, 2004

времени". Узнаешь первую фразу новеллы. Только произносит ее не рассказчик, как у Клейста, а сам Михаэль Кольхаас. Ясно, что рассказ пойдет от лица главного героя. На сцене только он (она), и так будет до конца спектакля. Клейст, переписанный в режиме моно?

Посмотрим. Выстраивается психограмма террориста.

Бранденбургский торговец лошадьми Михаэль Кольхаас оказывается жертвой бессовестного произвола. По пути на рынок в соседнюю Саксонию его задерживают люди юнкера фон Тронка – владельца одного из приграничных поместий. У него требуют проездные документы – совершенно необоснованно: понравились лошади. Двух из них, пропустив самого Кольхааса, обидчики забирают в качестве залога. Когда Кольхаас возвращается домой, жена Лизбет (та же актриса Хоппе на видеоэкране) сообщает: лошадей, оставленных в замке юнкера, заездили на полевых работах, а работника избили и выгнали (на стене появляется видеопроекция – Хоппе рисует лошадок; Хоппе в роли работника обильно извергает кровь на стену). Конфликт завязан.

Справедливость попрана, и Кольхаас готов добиваться восстановления своих прав. Более того, он не желает оставлять опасный прецедент без последствий. Поначалу Кольхаас ведет борьбу легальными методами: обращается с письменными прошениями к курфюрстам затронутых конфликтом земель. Однако связи обидчика в высших сферах власти слишком прочны. Все усилия оказываются напрасными (казенные ответы читает записанный на магнитофон женский голос). Быть может, зло в чиновниках двора? Жена вызывается подать прошение лично курфюрсту – ее привозят домой искалеченной (нестерпимо долгая немая сцена, на видеоэкране изо рта Лизбет ручьями льется кровь).

Кольхаас переходит к силовым методам. Борьба за восстановление гражданской справедливости сливается для него с личной местью. Отныне он именует себя Михаилом Ангелом Судящим и вершит террор от лица высшего суда, более справедливого, чем земной. Цель – добиться такого же унижения обидчика, какое испытал сам: "Лучше быть собакой, чем человеком, если уж меня топчут ногами!" Отряд Кольхааса сжигает замок фон Тронка и устраивает в нем резню. Юнкеру, однако, удается скрыться. Охота Кольхааса за ним приносит все новые жертвы и разрушения.

Текст новеллы исчерпан до момента ареста Кольхааса. Последние минуты спектакля заполнены липким потрескиванием упаковочной ленты (извлеченной из чудо-тележки), которой Кольхаас заматывает себя с ног до головы – удачно найденный образ спирали насилия, самоубийственности террора, личного тупика.

Режиссер преобразует новеллу Клейста в политический памфлет. Монологичная форма спектакля способствует неизбежному при этом упрощению клейстовского текста с его трагедийной драматургией и непростым взаимодействием личных и политических мотивов, естественной логики событий и роковых стечений обстоятельств. Спектакль довольно точно следует тексту новеллы, так что любые изменения сразу заметны, и они примечательны.

Бросается, например, в глаза, что жена Кольхааса Лизбет и работник Герзе из носителей альтернативных гуманистических позиций (важно, что отстаивают их жертвы происходящего конфликта) превращаются в двойников

Кольхааса. Не случайно всех троих в спектакле играет один человек.

Чуждой и ненужной оказывается аргументация не только с позиций христианства (у Клейста Лизбет и на смертном одре указывает Кольхаасу то место в Евангелии от Луки, где говорится: "Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас"), но и с позиций внеконфессионального гуманизма. У Клейста работник Герзе, прежде чем оказаться в отряде Кольхааса, проходит через искушение террором и отказ от него; в сценической версии Герзе с самого начала – бессловесная жертва, аргумент в пользу права Кольхааса на месть. В новелле работник хочет поджечь "разбойничий вертеп" – замок юнкера, в котором он натерпелся унижений, но вдруг "услышал, как в нем ребенок плачет", и бросил шнур для фитиля в Эльбу: "Пусть Божья молния его испепелит – не хочу его иметь!" Через полвека Иван Карамазов спросит: "Я зову тебя – отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотмщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!"

Одним из вариантов "комплекса Кольхааса" создатели спектакля, как можно прочитать в программке, предлагают видеть историю террористической группы "Фракция Красной армии" (RAF). Воспоминание об этой самой громкой и трагичной странице леворадикального движения в Германии, возникшего на волне 68-го, вернулось в Берлин в составе взбудоражившей город экспозиции Нью-йоркского музея современного искусства.

Отдельный зал отведен под 15-частный цикл "18 октября 1977 года" (1988) крупного представителя современного поп-арта Герхарда Рихтера. Попав в этот зал, целиком погружаешься в сильное эмоциональное поле странной хроники смерти.

Название цикла отсылает к дате трагического конца RAF. Основателями группы были Андреас Баадер и журналистка Ульрика Майнхоф, затем в нее вошли активный член пацифистского движения Гудрун Энслин, социолог и кинорежиссер Хольгер Майнс, а также Ян Карл Распе и Ирмгард Мёллер. В течение двух лет группа вела вооруженную войну с полицией, правосудием и политическим истеблишментом. Серию терактов удалось пресечь в 1972 году, когда были арестованы основные члены RAF.

Акции протеста продолжались и в заключении (в тюрьме Штамхайм под Штутгартом). В 1974 году от последствий голодовки умер Майнс, а в 1976-м Майнхоф нашли в камере повешенной. Наконец, 18 октября 1977 года потерпела неудачу последняя и наиболее отчаянная попытка освободить заключенных членов RAF в обмен на заложников угнанного в Могадишу самолета. В ходе штурма самолета заложники были освобождены, а все террористы погибли. Наутро после этих событий RAF больше не существовала: Баадер был убит выстрелом в голову, Распе смертельно ранен, Энслин повесилась на решетке тюремного окна, Мёллер погибла от ножевых ран. По всей вероятности, члены группы видели в самоубийстве последнюю возможность революционного протеста. Правда, подозре-

ния в участии государственных служб в этих смертях до сих пор не опровергнуты.

Цикл Рихтера — пятнадцать "черно-белых" полотен маслом — основан на видео- и фотодокументах из современной событиям прессы. Соотношение картины и кадра напоминает работу памяти над фактом: она размывает, высвечивает, стирает, ретуширует. Почти каждый сюжет появляется в двух-трех версиях, и это дает возможность передать движение во времени и пространстве. Напоминает то замедленную съемку, то изменение резкости в фотообъективе.

Это и в самом деле хроника смерти: "Арест" — захват Хольгера Майнса; "Противостояние" — Гудрун Энслин в тюремном коридоре; "Повешенная" — Энслин утром 18 октября; "Камера" — книжный шкаф в камере Баадера; "Проигрыватель" — в нем, согласно официальной версии, был спрятан пистолет, из которого застрелился Баадер; "Убитый" — Баадер на полу камеры; "Мертвая" — Майнхоф с линией от шнура на шее; "Похороны" — траурная процессия во время похорон Баадера, Энслин и Распе в Штутгарте.

Причина горя и смерти, по словам Рихтера, — "разрушение красоты (совершенства)". И в начало цикла вынесен "Портрет в юности" — красивое лицо Майнхоф с фотографии, сделанной еще до ухода в подполье. Рихтер вовсе не стремится усмотреть в чертах этой девочки предвестие зла и не жаждет высказать "мнение о". Цикл рожден глубоким эмоциональным потрясением и несет в себе прежде всего чувства сострадания, горя и ужаса. Смерть вырастает здесь в обобщение самой сути терроризма.

Роберт Штор очень проницательно написал в своей книге о Рихтере: "Рихтер не агиограф, у него более сложный взгляд, прийти к которому гораздо труднее. Во-первых, он создает серию современных по духу картин, выполняющих функцию традиционной исторической живописи в эпоху, когда роль хронистов и хранителей общественной памяти приняли на себя фотография, кино и телевидение. И делает он это таким образом, чтобы заставить нас усомниться в наших собственных осторожных воспоминаниях, равно как и в тех воспоминаниях, что поставляют нам СМИ, политика и наука. Во-вторых, он хочет увидеть человеческое лицо тех жертв идеологии, которые ради идеологии сами потребовали жертв; высвободить из-под плоских объяснений <...> политических обобщений и жесткого антагонизма те страдания, которые они перенесли сами и которые принесли другим. И в-третьих, своим "18 октября 1977 года" Рихтер участвует в переосмыслении смерти"[1].

В современном сознании тема RAF ушла на задний план — пережито. Однако исторический опыт связанных с ней событий продолжает сказываться на восприятии в Германии актов террора, совершенных в последнее время в разных частях мира. Память о RAF сохраняет двойственность: неприятие их пути — и боль за все — и с той и с другой стороны — принесенные жертвы. Отсюда стремление всмотреться в людей террора, понять их; преодолеть в катарсисе трагедию их судьбы, чтобы с памятью о них можно было жить.

1. Das MoMA in Berlin: Meisterwerke aus dem Museum of Modern Art. New York: Katalog, 2004. S. 344.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Арабо-израильские войны, 1967–1973. – М.: АСТ, 2004; СПб.: Terra Fantastica, 2004. – 409 с. (Военно-историческая библиотека). 5000 экз. (п)

Основой сборника стали отрывки из книги израильского историка Хаима Герцога "Арабо-израильские войны", содержащие подробные описания Войны на истощение (1967–1970; такое название получила бесконечная череда пограничных инцидентов в районе Суэцкого канала, которые последовали после окончания Шестидневной войны 1967 года), Войны Судного дня (1973), знаменитого рейда израильских десантников в Энтебе (1976) и Ливанской войны (1982). Так что название не совсем точное: хронологические рамки книги шире тех, которые указаны на титульном листе. В конце книги дается подробная справочная информация о вооруженных силах ближневосточных государств.

Кларк У. К. *Как победить в современной войне* / Пер. с англ. Н. Ломагина. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 240 с. 6000 экз. (п)

Генерал Уэсли Кларк, бывший командующий силами НАТО в Европе, а ныне пламенный демократ (то есть политик из рядов демократической партии США) оценивает действия коллег-республиканцев в Ираке. Что было сделано правильно, а что нет и что нужно было делать. Книжка написана осенью, когда в Ираке взрывались бомбы, но не так часто, как сейчас, поэтому рассуждения Кларка слегка запоздали. Зато вполне логично звучит его вопрос: "А не отвлекает ли война в Ираке Америку от настоящей войны с терроризмом?". Впрочем, у Кларка тоже рыльце в пушку. В 1992–2000 годах, пока у власти стояли демократы, американская армия воевала в самых разных уголках земного шара, от Сомали до Югославии, а тем временем по всему мусульманскому миру как зараза расползались щупальца "Аль-Каиды" и в Афганистане укреплялся режим талибов. Если в конце этого года республиканцы проиграют выборы, то разбираться с Ираком и бен Ладеном придется демократам и конкретно Уэсли Кларку. Программа действий генерала изложена в этой книге.

Рашид А. Талибан. *Ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии* / Пер. с англ. М. Поваляева. – М.: Библион – Русская книга, 2003. – 386 с. 3000 экз. (п)

Английский журналист Ахмед Рашид провел в Афганистане чуть ли не полжизни. Он был там при всех режимах и всех правителях. Рашид пил чай на кандагарском базаре, когда в город вошли советские войска, побывал в застенках разных контрразведок и ухитрился остаться в живых. В общем, если хотите получить информацию об Афганистане, что называется, из первых рук – читайте Ахмеда Рашида. Все это описано бесстрастным пером журналиста. Страшный период талибского правления, постоянные кровь и резня, отсутствие логики в действиях талибского правительства,

если смотреть на них с европейской точки зрения.

Шамир И. *Сосна и олива, или Неприметные прелести Святой Земли* – М.: Ультра Культура, 2004. – 560 с. 3000 экз. (п)

Известный левый публицист Израэль Шамир написал весьма своеобразный путеводитель по Святой Земле. Посмотрите направо – вот развалины крепости времен царя Давида, посмотрите налево – вот стена замка, построенного крестоносцами. Шамир – еврей, сочувствующий палестинцам. Террористами он считает израильтян, а палестинцев – жертвами террора. Помимо рассуждений про агрессивный Израиль и страдающую Палестину, в книге Шамира есть одна интересная, хотя и спорная, идея. Шамир утверждает, что современные палестинцы, – это потомки коренного населения Палестины, жившего на прииорданских холмах с самых древних времен. Во времена Иисуса Навина палестинцы были завоеваны евреями и приняли иудаизм, во времена Давида – отстояли свою независимость в борьбе с филистимлянами, во времена поздней Римской империи приняли христианство, при арабах стали мусульманами, но в принципе – это тот же самый народ, что жил на Святой Земле 8 тысяч лет назад. Земля для этого народа оказалась важнее веры. Современные же израильтяне предпочли земле веру и рассеялись по свету.

Кепель Ж. *Джихад: Экспансия и закат исламизма* / Пер. с фр. В. Ф. Денисова. – М.: Ладомир, 2004. – 486 с. 3000 экз. (п)

Видный французский исламовед Жиль Кепель о возникновении и закате исламизма. Почему о закате? Активные террористические действия есть, по Кеппелю, признак заката. После того как исламисты стали терять влияние на умы, они прибегли к громким террористическим актам, чтобы вернуть себе былой авторитет. Подобные обобщения могут показаться странными, но надо учесть, что бóльшая часть книги написана до событий 11 сентября. Так что насчет "заката" Кепель, наверное, поторопился. Зато подробное изложение истории исламизма делает книгу французского ученого бесценным справочным пособием. Исламизм от самых истоков, от египтянина Сайида Кутба и пакистанца Мадуди до бен Ладена и его товарищей, от первых кружков до сетей планетарного масштаба.

Авторы номера

Фредерик Бегбедер
Frédéric Beigbeder
[р. 1965]. Французский писатель, журналист, критик.

Автор романов *Каникулы в коме* [*Vacances dans le coma*, 1994; рус. перев. 2002], *Любовь живет три года* [*L'Amour dure trois ans*, 1997; рус. перев. 2003]. В *ИЛ* опубликованы его роман *99 франков* [*99 francs*, 2002, № 2] и новеллы из сборника *Рассказики под экстази* [*Nouvelles sous ecstasy*, 2001, № 11].
Роман печатается по изданию "*Windows on the World*" [Paris: Éditions Grasset & Fasquelle, 2003].

Надин Гордимер
Nadine Gordimer
Южноафриканская писательница, лауреат Нобелевской премии [1991]. Пишет на английском языке.

Автор романов *Лживые дни* [*The Lying Days*, 1953], *Земля чужестранцев* [*World of Strangers*, 1958], *Почетный гость* [*A Guest of Honour*, 1970], *Хранитель* [*The Conservationist*, 1974], *История моего сына* [*My Son's Story*, 1990], *Домашнее ружье* [*The House Gun*, 1998] и др., а также сборников рассказов *Шесть футов земли* [*Six Feet of the Country*, 1956], *Не подлежит разглашению* [*Not for Publication*, 1965], *Спутники Ливингстона* [*Livingstone's Companions*, 1971], *Объятия солдата* [*A Soldier's Embrace*, 1980] и др. На русском языке вышел ее сборник *Рассказы* [1971]. Новеллы Надин Гордимер также печатались в *ИЛ* [1970, № 10; 1973, № 9; 1978, № 8].
Публикуемый рассказ *Some Are Born to Sweet* взят из сборника *Прыжок и другие рассказы* [*Jump and Other Stories*. London: Bloomsbury, 1991].

Узи Вайль
Uzi Weill
[р. 1964]. Израильский прозаик, журналист и переводчик.

Автор романа *Куда уходит память после того, как мы умираем* [*Lean holeh a-zikaron aharei she-anahnu metim*, 1996] и двух сборников рассказов: *В день, когда стреляли в премьер-министра* [*Ba-yom she-bo yaru be-rosh a-memshala*, 1992] и *Счастье* [*Osher*, 2001].
Публикуемый рассказ *Ze lo a-hamas, ze a-mavet, a-ben zona* взят из сборника *Счастье* [*Osher*. Tel-Aviv: Modan hotzaa laor Ltd., 2001].

Шавьер Мендигурен
Xabier Mendiguren
[р. 1964]. Испанский писатель, филолог. Пишет на баскском языке.

Автор романов, рассказов, пьес, книг для детей и подростков.
Публикуемый рассказ взят из сборника *Hamalau* [Donostia: Elkar, 1992].

Джузеппе Бонаволонта
Giuseppe Bonavolonta
[р. 1955]. Итальянский журналист.

Специальный корреспондент Итальянского радио и телевидения (RAI). Работал в Южной Африке, Руанде, Либерии, Сомали и Афганистане. В 90-е годы освещал военные действия в Персидском заливе и на Балканах.

Марк Иннаро
Mark Innaro
[р. 1961]. Итальянский филолог-русист, сотрудник международной редакции Итальянского радио и телевидения (RAI).

С 1994-го по 2001 год — корреспондент RAI в Москве. В 2001 г. получил назначение в Иерусалим. В настоящее время работает в Египте.

Публикуемый текст печатается по изданию *L'Assedio della Natività* [Milano: Ponte alle Grazie, 2002].

Ильич Рамирес Санчес (Карлос)
Ilich Ramirez Sanchez (Carlos)
Международный террорист. Был заочно приговорен французским судом к пожизненному заключению; в 1994 г. был арестован в Судане и передан во Францию, где отбывает наказание в парижской тюрьме "Санте".

Фрагмент автобиографии Карлоса печатается по изданию *L'islam revolutionaire* [Monaco: Éditions du Rocher, 2003].

Леонид Александрович Радзиховский
[р. 1953]. Психолог, кандидат психологических наук. С 1990 г. — профессиональный журналист, политолог.

Автор более тысячи статей, напечатанных в различных периодических изданиях.

Херфрид Мюнклер
Herfried Münkler
Немецкий социолог, преподает в Институте социальных наук Гумбольдтского университета.

Автор ряда статей о терроризме, опубликованных в сборниках и различных периодических изданиях.
Публикуемая статья *Terrorismus heute. Die Asymmetriesierung des Krieges* взята из журнала *Internationale Politik* [2004, № 1].

Сергей Александрович Арутюнов
[р. 1932]. Член-корреспондент РАН, заведующий отделом Кавказа в Институте этнологии и этнографии РАН.

Занимается проблемами этнографии Японии, Крайнего Севера, Кавказа, общими проблемами этнических процессов и отношений.
Автор восемнадцати книг, в том числе: *Современный быт японцев* [1968], *У берегов Ледовитого океана* [1987], *Народы и культуры: развитие и взаимодействие* [1989] и др.

Дон Делилло
Don Delillo
[р. 1936]. Американский писатель и драматург, лауреат многих национальных и международных премий.

Автор романов *Американа* [*Americana*, 1971], *Крайняя зона* [*End Zone*, 1972], *Грейт-Джонс-стрит* [*Great Jones Street*, 1973], *Звезда Ратнера* [*Ratner's Star*, 1976], *Игроки* [*Players*, 1977], *Бегущий пес* [*Running Dog*, 1978], *Имена* [*The Names*, 1982; рус. перев. 2000], *Белый шум* [*White Noise*, 1984; Национальная книжная премия 1985 г.; рус. перев. 2003], *Весы* [*Libra*, 1988], *Преисподняя* [*Underworld*, 1997], *Художник тела* [*The Body Artist*, 2001], *Космополис* [*Cosmopolis*, 2003]; пьес *Инженер лунного света* [*The Engineer of Moonlight*, 1979], *Вальпараисо* [*Valparaiso*, 1999] и др. В *ИЛ* печатался его роман *Мао II* [Мао II, 2003, № 11—12].
Статья *In the Ruins of the Future* была опубликована в журнале *Harper's Magazine* [2001, декабрь].

Анджей Стасюк
Andrzej Stasiuk
[р. 1960]. Польский поэт и прозаик, лауреат премии Фонда культуры.

Автор поэтического сборника *Стихи любовные и нет* [*Wiersze miłosne i nie*, 1994], сборников рассказов *Стены Хеврона* [*Mury Hebronu*, 1992], *Через реку* [*Przez rzekę*, 1995], *Дукля* [*Dukla*, 1997; рус. перев. 2004], романов *Белый ворон* [*Biały kruk*, 1995] и *Девять* [*Dziewięć*, 1999; рус. перев. 2004]. В *ИЛ* печатались его рассказы [1998, № 4; 2001, № 5].
Публикуемое эссе *Koniec starej śmierci* взято из книги *Бумажный самолетик* [*Tekturowy samolot*. Sękowa: Widawnictwo Czarne, 2000].

Чарльз Симик
Charles Simic
[р. 1938]. Американский поэт югославского происхождения, переводчик, лауреат Пулицеровской премии [1990].

Автор более 60-ти книг, в том числе поэтических сборников *О чем говорит трава* [*What the Grass Says*, 1967], *Строгие меры* [*Austerities*, 1984], *Прогулка с черной кошкой* [*Walking the Black Cat*, 1996], *Час между собакой и волком* [*The Hour Between Dog and Wolf*, 1997], книги стихотворений в прозе *Мир бесконечен* [*The World Doesn't End*, 1989], книги эссе и мемуаров *Сиротская фабрика* [*Orphan factory*, 1997] и др. В *ИЛ* печатались его стихи [1996, № 10; 1997, № 10; 2003, № 1].
Публикуемое эссе *Archives of Horror* взято из газеты *The New York Review of Books* [2003, май].

Дорота Кубацкая-Ясецкая
Dorota Kubacka-Jasiecka
Польский психолог. Сотрудник Института общественных проблем при Ягеллонском университете в Кракове.

Публикуемое интервью *Terroryst – kto to taki?* взято из газеты *Tygodnik Powszechny* [2002, сентябрь].

Марина Фрёмке
Филолог, переводчик. Живет в Берлине.

Автор многочисленных работ (часть из них печаталась под фамилией Бобрик) по языкознанию и истории русской литературы и культуры, опубликованных в российских и зарубежных периодических изданиях и сборниках. В *ИЛ* публикуется впервые.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Ирина Карловна Стаф
Литературовед и переводчик с французского, кандидат филологических наук.

Автор работ по истории французской литературы эпохи Возрождения. В ее переводе выходили произведения Дж. Казановы, С. Малларме, А. Жида, Р. Роллана, Ж. Старобинского и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались повесть М. Бланшо *При смерти* [1993, № 10], роман В. Равалека *Ностальгия по черной магии* [2003, № 10] и др.

Инна Соломоновна Стам
Лингвист, переводчик с английского, кандидат филологических наук.

В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть С. Таунсенд *Ковентри возрождается* [1991, № 3], рассказы Ч. Джонсона [1992, № 4], очерк Г. Миллера *Время убийц. Этюд о Рембо* [1992, № 10], романы С. Таунсенд *Мы с королевой* [1994, № 7], Г. Адэра *Закрытая книга* [2001, № 6], Дж. Кинкейд *Люси* [2003, № 1] и др. Автор работ по современному английскому языку.

Александр Александрович Крюков
[р. 1953]. Филолог, переводчик с иврита, кандидат исторических наук.

Автор монографий *Очерки по истории новой израильской литературы* [1998], *Восхождение Амоса Оза* [1999], *Краткая история возрождения разговорного иврита* [2003] и др. В его переводах изданы четыре книги произведений современных израильских прозаиков.

Надежда Федоровна Мечтаева
Кандидат филологических наук, переводчик с испанского.

В ее переводе опубликованы романы Х. Мариаса *Белое сердце* [2001] и *В час битвы завтра вспомни обо мне* [*ИЛ*, 2002, № 5].

Елена Борисовна Дмитриева
Переводчик с итальянского и немецкого языков.

Переводила произведения А. Мушга, А. Моравиа, Т. Ландольфи, М. Ригони-Стерна, Т. Гуэрры, Г. Паризе, Л. Шаши, Дж. Бонавири, Примо Леви и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны роман Дж. Д'Агаты *Америка о'кей* [1987, № 1], главы из книги А. Табукки *Сны о снах* [2003, № 12], рассказы Л. Малербы [1980, № 1; 1984, № 8], интервью К. Костантини с Ф. Феллини [1997, № 8].

Елена Викторовна Клокова
Переводчик с французского.

В ее переводе выходили книги С. Коллара *Дикие ночи*, П. Сибо *Эпоха диктатур*, Латифы *Украденное лицо*, А. Труайя *Крушение*, А. Тавальды *Мне бы хотелось...*

Елена Михайловна Зимина
Переводчик с английского.

В ее переводе издана книга К. Шоу *Королевский Вавилон*. В *ИЛ* опубликованы фрагменты книг Л. Бауке и К. Уайна *Нелетучие голландцы* [2002, № 2] и Г. Грина *Мой Собственный Мир* [2003, № 12]. Автор ряда статей о Голландии, опубликованных в периодической печати.

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, переводчик с польского, автор работ о польской литературе.

В ее переводе печатались повесть П. Хюлле *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу* [*ИЛ*, 2004, № 1], автобиография К. Кеслёвского *О себе* [*ИЛ*, 1998, № 11—12], стихотворения В. Шимборской [совместно с А. Хованским; *ИЛ*, 2003, № 5], сценарий трилогии К. Кеслёвского и К. Песевича *Рай. Ад. Чистилище*, воспоминания К. Янды, рассказы Г. Херлинга-Грудзинского, романы М. Гретковской, Ф. Байона.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Литературовед, переводчик с английского и норвежского языков. Лауреат премии *Иноли́ттл* [2002].

В его переводе публиковались произведения У. Рэли, Л. Ферлингетти, С. Мерена, Э. Паунда, Дж. Донна, А. Макена, А. А. Милна, Т. Притчетта, а также роман Т. Фишера *Философы с большой дороги* [2002]. В *ИЛ* неоднократно печатались его статьи и переводы стихов и эссе.

Лариса Евгеньевна Гвозд
Сотрудник Польского культурного центра в Москве.

В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины австрийского художника Готтфрида Хельнвайна [род. в 1948]
Автопортрет [1986].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.

Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran
http://www.inostranka.ru

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: inostranka@lenta.ru
e-mail: journal@inostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

Подписано в печать 11.08.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2171.
Тираж 8300 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[10] 2004

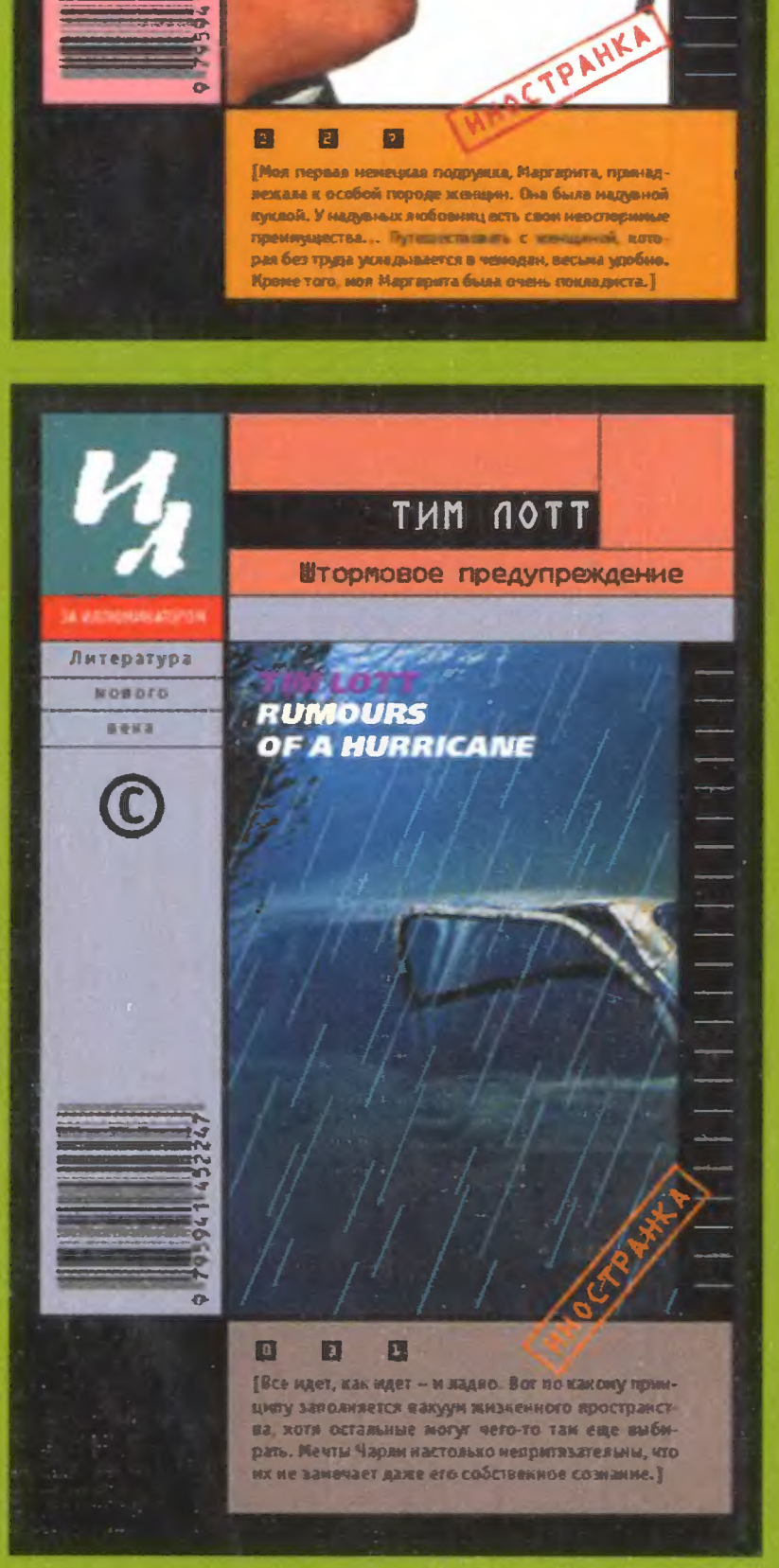
РОМАН АМЕЛИ НОТОМБ “АНТИХРИСТА” / РАССКАЗЫ БАСКСКОГО ПИСАТЕЛЯ БЕРНАРДО АЧАГИ / КНИГА ПАБЛО НЕРУДЫ “ДОМ НА ПЕСКЕ” / РАССКАЗ Э. Л. ДОКТОРОУ “ДОМ НА РАВНИНЕ” / “ТЫ БУДТО КАМНИ ГРЫЗЛА” ВОЙЦЕХА ТОХМАНА В РУБРИКЕ “ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА” / ПЯТЬ ЭССЕ “О КНИГАХ И ЧИТАТЕЛЯХ” ГЕРМАНА ГЕССЕ В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД “В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ПОЭЗИИ” / СТАТЬЯ СЕРГЕЯ ГАНДЛЕВСКОГО “СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ” В РУБРИКЕ “CARTE BLANCHE”

ИНДЕКС 70394

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" нового века



По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284;
в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №9, 1-288